



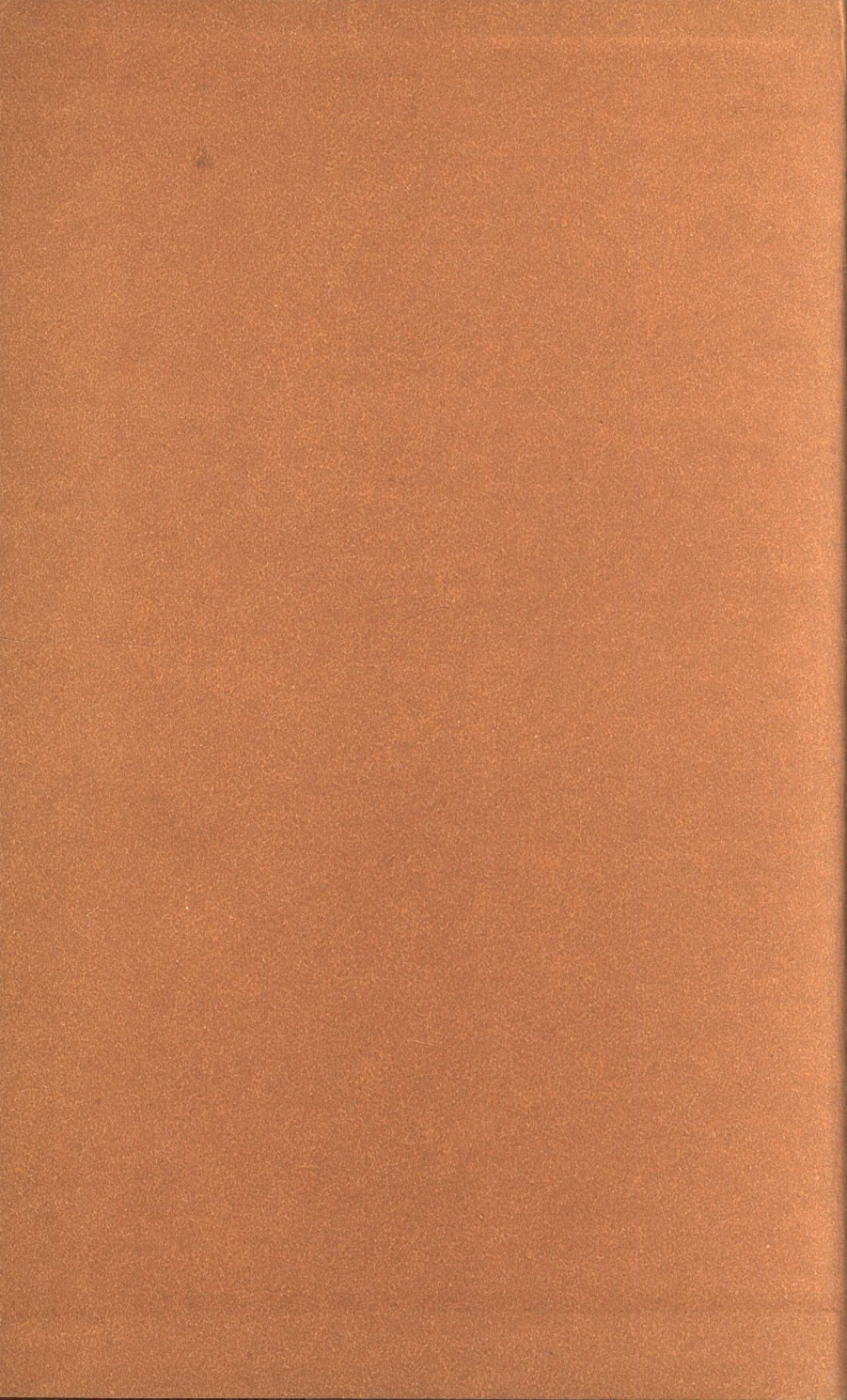
БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОГО РОМАНА

---

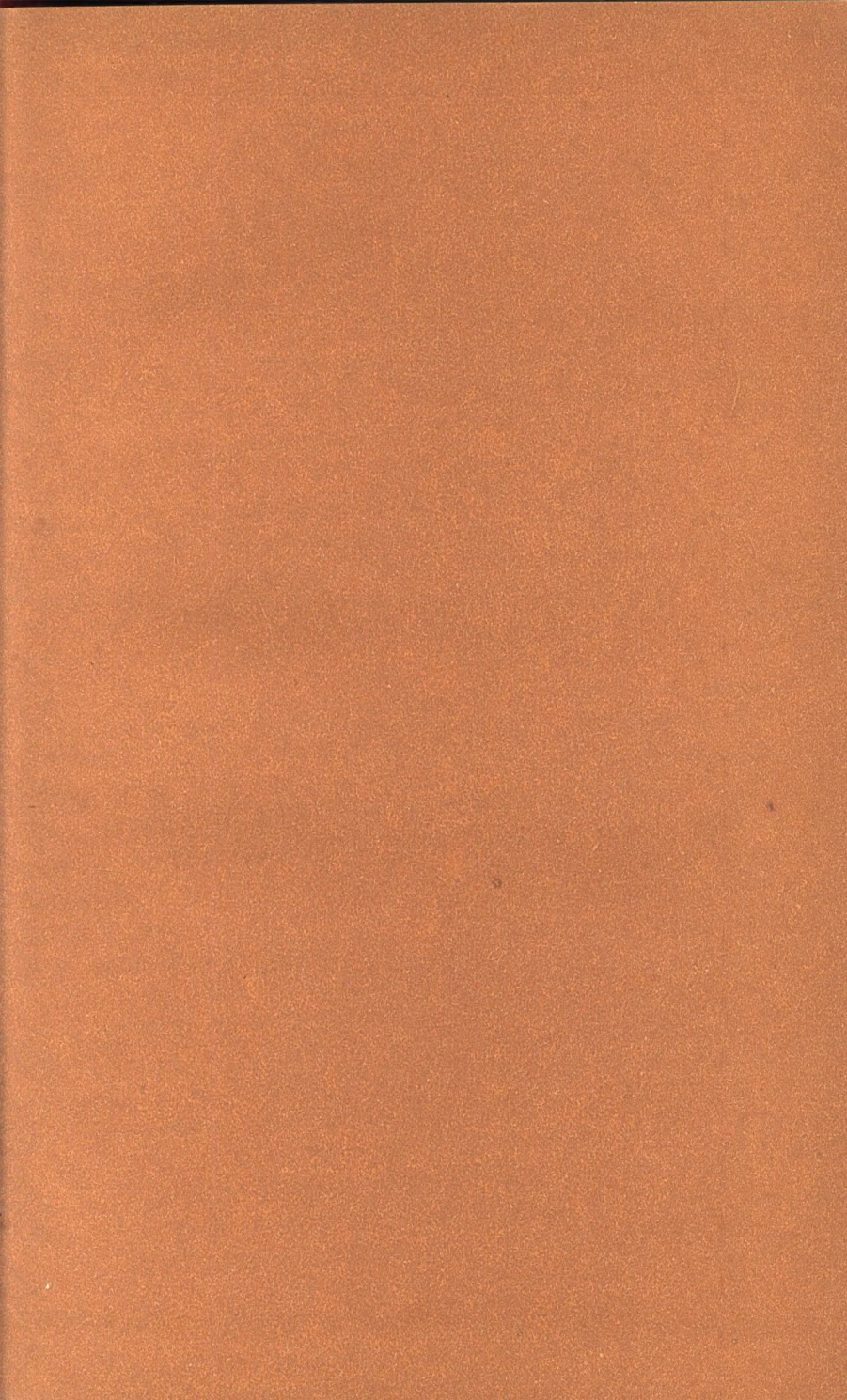
**И. МЕЛЕЖ**

**ЛЮДИ  
НА БОЛОТЕ**

















БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОГО РОМАНА

---







И. МЕЛЕЖ

---

ЛЮДИ  
НА БОЛОТЕ

*Роман  
из «Полесской хроники»*



МИНСК

«МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА»

1987

ББК 84 Бел 7

М 47

Перевод с белорусского

НАУМА КИСЛИКА

Вступительная статья

СЕРАФИМА АНДРЕЮКА

Печатается по изданию:

Мележ И. *Люди на болоте* Роман

Мн., Беларусь, 1967 384 с

М  $\frac{4702120200-114}{М302(03)-87}$  152-87

© Оформление Вступительная статья  
Издательство «Мастацкая літаратура» 1987



## ЕГО ГЛАВНАЯ КНИГА

В 1961 г. в предисловии к сборнику «Какой он человек», оглядываясь на пройденный более чем 15-летний творческий путь. И. П. Мележ писал: «Дорога эта имеет свои подъемы и спады, свои повороты. Есть люди, которые считают, что творчество писателя должно быть простой, непрерывной дорогой в гору. В жизни так бывает — если только бывает! — редко. Даже шоссе, как его ни стараются выравнивать, почти никогда не стелется ровной скатертью. Творческая же дорога, мне кажется, — это дорога в поле среди леса, дорога через насыпи и броды, дорога по обыкновенной земле. Можно засыпать на ней ямы и колеи, сделать гати через броды, но отметки спадов и подъемов, следы того, кто шел здесь, останутся на ней для зоркого глаза навсегда». Так писатель оценивал свою творческую дорогу. Еще до того, как были написаны им романы, составившие известную «Полесскую хронику», до того, как появилась глубокая по мысли, страстного пафоса книга эссе, статей, интервью «Жизненные заботы». Но, думается, и в конце своего жизненного пути Мележ о своей творческой дороге сказал бы то же самое, ибо она никогда не была простой и ровной. Честной, мужественной, целенаправленной — всегда.

Родился Иван Павлович Мележ 8 февраля 1921 г. в деревне Глинищи Хойникского района Гомельской области.

Детство его — обыкновенное детство крестьянских детей: «...еще сонного мать будит гнать свиней; торба через плечо, в торбе — ломоть хлеба, огурец, в лучшие дни — кусочек сала; в холодные дни — на плечах домотканая свитка...» Среднюю школу окончил в Хойниках. Много читает в эти годы. «Книги приобщили к миру, о котором я не подозревал, миру, полному необыкновенного, удивительного...» — напишет позже Мележ в статье «Найти себя».

В 1939 г. будущий писатель уезжает учиться в Москву в Институт истории, философии и литературы, но в том же году его призывают в армию. Служил в Карпатах, здесь встретил первый день войны. Потом было отступление, участие в тяжелых боях, окружение. Летом 1942 г. в бою под Ростовом Мележ был тяжело ранен. Лечился в госпиталях Ростова и Тбилиси. «В госпитале — в Тбилиси — начал писать рассказы». Пришел в литературу с войны. Еще до ее окончания. 25 февраля 1944 г. в газете «Звезда» был напечатан первый рассказ Ивана Мележа «Встреча в госпитале». Писал он о войне, о человеке на войне, писал о том, чем жил народ, чем сам жил, что в нем жило. Лучшие рассказы из сборника «В метель» (1946) выделяются жизненной правдой, психологической достоверностью, волнуют драматизмом, искренностью и теплотой.

В августе 1946 г. писатель создает небольшую повесть «Горячий август». Ему удастся нарисовать привлекательные, наделенные запоминающимися чертами характеры простых тружеников деревни. Повесть подкупает правдивостью деталей, бытовых картиц, сцен труда, яркостью

и поэтичностью пейзажей. Написана она в родных Глинищах, где Мележ был окружен всем, что так близко ему с детства, что стало очень важной частью его существования, с чем связано, чем рождено поэтическое восприятие мира. Очевидно, отсюда весь эмоциональный строй, приподнято-поэтическая атмосфера, естественность и прозрачность повествования. Повесть эта вобрала в себя нечто важное из душевного багажа писателя, связанное в первую очередь с нравственно-поэтическим отношением к жизни.

Сборники «В метель» и «Горячий август» (1948) ознаменовали начало творческого пути Ивана Мележа. То лучшее, что создано в эти годы («В метель», «Ночью», «Перед грозой», «Горячий август»), свидетельствовало, что в белорусскую литературу пришел талантливый, ищущий писатель, тяготеющий к достоверному изображению действительности, психологически убедительному обоснованию поступков человека, наделенный способностью вживаться в его внутренний мир.

Своими первыми рассказами (а лежала еще где-то в столе его «Первая книга» — военные дневники) Мележ не «рассчитался» и не «распрощался» с войною. Она жила в нем — в человеке, в художнике, жила в сердце, в мыслях. Требовала воплощения.

В 1947—1952 годы писатель создает большое эпическое произведение — «Минское направление». «Роман этот похож многими чертами на другие романы о войне, создававшиеся в те годы. Он широк по составу действующих лиц и по охвату событий. Основная тональность его — героическая. Это книга об освободительной битве за белорусскую землю в 1944 году. Это книга по замыслу — о величии народного подвига...

«Я стремился все подчинить основной задаче — нарисовать облик народа в трудную, но замечательную годину. Это стремление всесторонне показать сражающийся народ и потребовало ввести в книгу множество героев, определило сюжетное и композиционное ее построение, ее панорамность». Так позже Мележ раскроет идейную направленность, целевую установку этого произведения, его жанровый характер. Здесь не столько потребность выражения писательского миропонимания, сколько стремление выразить время, его веление. Главная задача романа — воспеть великий подвиг народа, показать массовый, всенародный характер борьбы с фашизмом, борьбы, невиданной по своим масштабам, по напряжению духовных и физических сил, по своим результатам — политическим, социальным, нравственным.

События, показанные в «Минском направлении», непродолжительны во времени — всего четыре месяца, но пространственный масштаб их весьма широк. Тревожные, суровые будни танкистов, готовящихся к битве за освобождение белорусской земли; бессонные, тревожные ночи командующего Третьим Белорусским фронтом И. Д. Черняховского; партизаны, их беспощадная борьба с регулярными частями вермахта; многотрудная жизнь сражающегося подполья Минска; блокады и фашистские концентрационные лагеря — вот тот богатый жизненный материал, который писатель вводит в произведение.

Для Мележа «Минское направление» — важный шаг на пути в большую литературу. Не только в смысле художественной школы (эпическое постижение действительности, драматический, в своей основе, характер

мировосприятия), но и для внутреннего писательского и гражданского самоутверждения. «Она памятная для меня, эта книга, и потому, очевидно, что, может, только с ее выходом я почувствовал себя писателем» Роман дорог для Мележа. Не только как его собственное произведение. Есть причины высшего порядка: понимание гражданского назначения произведения. И именно эти причины побуждали писателя еще и еще раз обращаться к роману, дорабатывать, углублять характеры, идейное содержание. В последнем прижизненном издании «Минского направления» в конце стоят даты: 1947—1953, 1967—1973.

Создание романа, неоднократная его доработка сыграли особую роль в воспитании художнического характера — смелости в подходе к действительности, постоянной неудовлетворенности сделанным, в стремлении ставить и решать сложные идейно-художественные задачи. Работа Мележа над этим романом — кстати, «Минское направление» в этом отношении не является исключением — яркий пример (другой такой трудно найти в национальной литературе) самоотверженного служения избранному делу, пример исключительной требовательности к себе, ответственности перед литературой.

«После «Минского направления» я, — признается Мележ, — оказался словно на распутье. Трудная работа так измотала меня, что я чувствовал себя уже не в состоянии взяться за большую книгу. Около трех лет не писал крупных вещей». Были написаны две небольшие повести: «Земля, которую любишь» (1954) и «Дом под солнцем» (1954—1955), две пьесы: «Пока мы молоды» (1956) и «Дни рождения» (1958), целый ряд рассказов. Наиболее интересны — «В горах дожди» (1955) и «Свидание за городом» (1955). В них впервые органически слились идея, духовный опыт писателя и объективный материал действительности.

Спустя годы, имея уже немалый творческий опыт, Мележ в своих автобиографических заметках напишет: «Очевидно, надо писать прежде всего о том, что особенно дорого душе, что ее волновало и волнует — что стало дорогой частью твоей личной биографии. Эта особенность требует вместе с тем, чтобы писатель жил с людьми, чтобы их надежды и тревоги были его надеждами и тревогами, чтобы биография писателя была естественно, неразрывно слита с биографией своего народа. Без этих двух качеств редко кому удастся написать хорошее произведение; разве что талант вытянет.

С годами я все больше чувствую непреложную справедливость того закона творчества, о котором сказал когда-то Твардовский:

Вся жизнь в одном-единственном завете:  
То, что скажу, до времени тая,  
Я это знаю лучше всех на свете,  
Живых и мертвых. Знаю только я...

Мысль эта для писателя имела принципиально важное значение. Пришел он к ней не сразу, хотя интуитивно улавливал ее уже в ранних произведениях.

В 1956—1960 гг. Иван Павлович Мележ работает над своей «главной книгой» — романом «Люди на болоте», первым произведением широко известной сегодня «Полесской хроники». В 1958, 1961—1965 гг. была



создана вторая книга хроники — роман «Дыхание грозы». В 1972 г. эти два романа были отмечены Ленинской премией. Над третьей книгой, романом «Метели, декабрь», писатель работал до последних дней своей жизни: умер 9 августа 1976 года. В рукописном наследии остались планы и наброски еще нескольких романов из «Полесской хроники».

У писателя долгие годы зрело желание написать книгу о Полесье, о родной земле. Вот его признание: «Замысел полесских романов родился из памяти о пережитом. Картины родных мест раньше меня волновали меньше, с годами — старею, что ли? — все это стало приобретать какую-то особенную красоту и значение. Картины, образы пережитого жили во мне, волновали, беспокоили, звали писать, говорить. Я чувствовал запахи родных лесов, болот, я будто снова ходил по незабываемым дорогам, я будто снова видел перед собой людей, которые рисовались мне, полные необычной привлекательности. Потом пришло желание написать книгу о жизни среди болот, книгу, героем которой был бы народ, люди, которых почему-то называют простыми. Книгу, в которой бы чудесное жило в обыкновенном, трагизм — в обыкновенном, большое — в обыкновенном».

Все, о чем писал Мележ в «Полесской хронике», было ему не только знакомо. Оно было близко и дорого. Он знал все в главном и в мелочах, во внешних проявлениях и в глубинных связях. «Я широко видел поле, по которому шел, чувствовал в нем себя и тружеником, и хозяином. Но, что особенно важно, поле это я не только знал, я любил его. Потому что поле, по которому я шел, — это было мое поле. Это была жизнь близких мне людей и моя жизнь».

Реальный материал долгие годы выплывался писателем. И пришло время, когда он почувствовал неодолимую потребность как бы наново пережить прошлое, исследовать, осмыслить важный период в жизни своего народа, родной земли, показать и воспеть ее людей, их глубокую внутреннюю красоту, их скромность, трудолюбие, честность. Это была потребность души, потребность совести художника, долг сына родной земли.

Обратим внимание на посвящение романа «Люди на болоте»: «Отцу, матери, отчей земле». Этими словами начинается рассказ о людях Полесья на переломном рубеже истории. Прочитав «Людей на болоте», затем «Дыхание грозы» и «Метели, декабрь», мы видим, убеждаемся, что писатель имел все основания сказать эти ответственные слова. Произведения в такой степени пронизаны любовью к родному для автора уголку Полесья, к его людям, что воспринимаются действительно как «заветная песня» (Я. Брыль). Она, песня эта, глубока и мелодична, широка и жизнеутверждающа, полна любви и светлой грусти, веры в красоту и высокий смысл человеческого бытия. Корни ее, истоки в глубинах народной жизни, рождена она неизменной любовью и большой заботой сына родной земли, призвана временем, исполнена искренне, с самой глубокой душевной отдачей, на самом высоком профессиональном уровне.

Полесье... Один из самых глухих уголков Белоруссии, весной и осенью по несколько месяцев отрезанный от большого мира. Жизнь идет здесь по испокон веку установленным, писанным и неписанным, законам. Люди живут, как жили их отцы, деды, прадеды и прапрадеды. Добывают нелегкий хлеб свой, растят детей, грустят и радуются, поют песни и плачут, рожают детей и хоронят умерших. Люди живут, ибо они

рождены жить, им надо жить. Это внутреннее, как бы биологическое и вместе с тем именно человеческое, творческое начало жизни, жизни самой по себе, жизни в себе, в этом объеме, в этом темпе, в этих измерениях, в этих красках, писатель передал с исключительной точностью. В произведении все просто, убедительно, ни в малейшей степени не чувствуется авторская заданность, искусственность. Жизнь в «Полесской хронике» воспроизведена как бы в форме самой жизни. Мастерство художественного синтеза позволило Мележу в едином естественном жизненном течении воссоздать быт, обычаи, нравы людей, их труд, занятия, создать чудесные картины полесской природы, органически сочетать основательное социальное исследование с глубоким психологическим анализом.

Романы «Хроники» представляют собою гармоническое слияние, художественное взаимопроникновение материала, реальных событий и фактов, жизненного опыта, духовного и душевного мира писателя и нравственного, общественного содержания времени.

И. П. Мележ начал писать первый роман в атмосфере общественного подъема, дальнейшей демократизации и гуманизации народной жизни. «Люди на болоте», — говорит писатель, — в таком виде, в каком они написаны, могли появиться только после тех перемен, которые произошли после XX съезда партии».

Романы посвящены коренным преобразованиям в послереволюционной деревне, прежде всего коллективизации. Мележ в те годы писал: «О коллективизации написано много. Но сказано о ней далеко не все. Хочется глубже и без подсахаривания показать этот важный процесс. В трудные тридцатые годы брало начало не только хорошее, но и плохое. В том, что происходило, было немало такого, что вызывало ненужные обострения, рождало несправедливость, обиды, приводило к неоправданным жертвам». Это было время, насыщенное исключительной социальной и духовной общественной напряженностью и активностью. Определить социальную и нравственную сущность, раскрыть социальное и нравственное содержание времени писателю было нелегко. Нужны были испытанные литературной практикой, выверенные временем критерии, которые позволили бы придать богатому жизненному материалу закономерность, художественную целенаправленность и современное звучание. Такими критериями для Мележа стали правда и человечность — как нечто единое, неделимое, взаимообусловленное. Утверждение человека, гуманного отношения к нему через глубоко аналитическое, всестороннее, правдивое изображение и осмысление действительности — в этом идейная основа, идейная сущность произведений писателя.

Таким образом, в «Полесской хронике» веление времени и индивидуальные внутренние потребности писателя слились, побудив И. Мележа обратиться именно к этому жизненному материалу, попробовать исследовать его, разобраться в нем, чтобы ответить на вопросы, особенно важные для современности, вопросы, которые всегда волновали, волнуют и будут волновать человека.

Эпически спокойно, широко и несколько замедленно начинается повествование о «людях на болоте». Широкое художественное течение жизни, пронизанное глубоким лиризмом, приобретает сильное драмати-

ческое звучание, не теряя своей полноты и жизненной непосредственности.

Сначала круг деятельности героев несколько ограничен: работа, любовь, семья. Но почти сразу же начинает чувствоваться и социальная атмосфера, дыхание событий большого общественного содержания. Они, эти события, в значительной степени влияют на личные взаимоотношения, на поведение героев романа в бытовой сфере. То, что происходит в полесской деревне Курени, вводится в орбиту событий республики, всей страны.

Мележ изображает человека во всей его реальной конкретности. Мир Мележа — это богатый реальный мир простых людей в их единстве с природой, единстве, очень искреннем и душевном, с землей, в противоречивом, сложном социальном и бытовом переплетении. Жизнь в «Полесской хронике» воспринимается как бы ровной, тождественной самой себе, т. е. жизни реальной.

Писатель на жизнь, на историю часто смотрит глазами своих героев — Апейки, Василя, Ганьы, Миканора, Башлыкова, Хадоськи, Евхима и Халимона Глушаков... В этом смысле он будто предоставляет каждому одинаковые возможности утвердить свою личную правду, добывая из столкновения, сопоставления правд личных правду истории, правду жизни. Сам писатель ее всегда имеет в виду, всегда учитывает, проверяя ее отдельные частные, так сказать, человеческие правды. Такой подход к художественному постижению действительности придал романам объективность, жизненную объемность, эмоциональную насыщенность и полифоничность звучания. Для Мележа самым главным и самым сложным было воспроизведение и утверждение правды жизни. Правды во всей ее угловатости, резкой и иногда весьма болезненной противоречивости.

«Я убежден: правда была, есть и будет главным законом вчерашней, сегодняшней и завтрашней литературы. Она — основа жизни литературы, — серьезная, глубокая, мужественная правда, правда, которая учит людей правильно понимать жизнь, которая горячо воюет за доброе, которая страстно ненавидит все отвратительное, грязное и в полный голос предупреждает об опасности», — говорил Иван Навлович Мележ на V съезде белорусских писателей, страстно утверждая партийность самого содержания, самой сущности правды и в жизни, и в искусстве. «Только там, где полная правда, я уверен, есть подлинная партийность. Нет и не может быть партийности там, где правда подменяется неправдой, в каком бы виде она ни подавалась и чем бы она ни объяснялась».

Самую глубокую правду жизни и истории несут в себе образы простого крестьянина Василя и руководителя-коммуниста Апейки. В системе образов, в определении идейного содержания романа они занимают особое место.

С большой силой поэтического мастерства, психологической и социальной глубиной, жизненным полнокровием и индивидуальной неповторимостью написан образ Василя.

Василь впервые начинает косить, впервые чувствует настоящую трудовую усталость, упорно, настойчиво добывается лучшей земли, любит Ганьку, несмело, но глубоко, искренне и мучительно, все более и более открыто и непримиримо сталкивается с деревенскими кулаками Глуша-



ками, становится самостоятельным хозяином, женится, снова начинает встречаться с Ганной, за землю уже борется с деревенским активистом Миканором. Он живет на страницах «Хроники». Живет, как и все односельчане, и вместе с тем по-своему, непохоже ни на кого, так, как только он один может жить. Живет собственной, свойственной только ему одному жизнью.

Судьба Василя Дятла, противоречивая, исключительно драматичная и в своих общественных проявлениях, и в чисто личном содержании, — в чем-то самом главном — судьба крестьянства (во всяком случае его наиболее значительной части) на переломном рубеже его движения вперед, к новой жизни. Того крестьянства, которое не представляло себе не только этой новой жизни, но даже просто личного существования вне земли и без земли. Именно Василь воплощает реальное, существенное, устойчивое в сельской действительности.

Земля — цель, к которой стремится, которой живет Василь. Земля — основа его бытия, его жизнь, радость и горе, светлые мечты и горькие разочарования. Земля — это с молоком матери, это извечное стремление крестьянина. Веками, из поколения в поколение мечта о земле, жажда ее накапливались в сердце, в уме землероба. И не удивляешься, просто как-то не замечаешь, что Василь даже о любимой Ганне никогда не думал так высоко, поэтично, как о земле. Его внутренние монологи о земле звучат глубоко, возвышенно («Отдай свое поле, где каждый стебелек согрел бы, кажется, сам! Ходил бы от одного к другому да дышал бы, чтоб не замерз! Отдай чужому, которому на него наплевать! И сам работай неизвестно на кого и неизвестно за что...»; «Отдай поле, обобществи! Отдай поле — это все равно что отдай душу! Попробуй оторви душу! — как бы говорил он Миканору. Потом перестал говорить ему, обжевав взглядом полосу, подумал уже про себя: — Вся сила человека — в земле. И сила вся, и радости! Нет земли — нет, считай, и человека»).

По своему психологическому складу, своей нравственной сущности, изначальному жизненному содержанию Апейка в основном такой же, как и Василь. В произведении они оба как-то очень непосредственно «привязаны» к одной и той же мысли — мысли о ленинском отношении к человеку. Апейка — это как бы Василь другого уровня, Василь, осознающий свое реальное положение в жизни, свою цель, видящий жизненную перспективу и чувствующий глубокую ответственность за судьбы других. Василь и Апейка представляют различные уровни — реальный и духовный — воплощенной в произведении идеи. Если Василь идет как бы непосредственно от земли, то Апейка — от Василя, его жизни. Хотя это несколько не говорит о том, будто бы Апейка далек от действительности. Его духовная сила, развитое чувство справедливости имеют глубокие корни в народной почве. Он будто вырастает из мощных народно-крестьянских пластов духовной истории.

В «Полесской хронике» очень естественно, органично сочетаются глубокая народность и глубокий историзм. Прошлое Мележ увидел не только в его сегодняшней перспективе, но и как этап в жизни народа, имеющий широкое общее значение, — утверждение коммунистических форм жизни и взаимоотношений людей. За такие формы общественных взаимоотношений бескомпромиссно, настойчиво борется Апейка. Их

страстно утверждает писатель. И мы весьма ясно видим (и это чрезвычайно характерно), что в «Хронике» «мысль народная» является «мыслью коммунистической». Такое слияние их — несомненное достижение современности, современного развития общества и человека, новый, высший уровень взаимодействия в нашей литературе народности и партийности.

Слияние «коммунистического» и «народного» в наивысшей степени чувствуется в образе Апейки. «В его образе, — отмечает И. П. Мележ, — я стремился раскрыть мысли и чувства передового представителя народных масс». Для писателя Апейка — руководитель ленинской школы, своей жизнью, деятельностью неразрывно связанный с народом, чувствующий перед ним высокую ответственность. В нем, как в коммунисте, партийность является глубоко осознанным проявлением народности, имея своим источником народность. Его принципы — это высшая степень в развитии, воплощении народных нравственных принципов. Устойчивость его взглядов, убеждений, его позиции — в единстве с народом, с родной землей. «Человек внешне негромкого вида и типа, зато наделенный чудесным даром слушать, понимать в добрую сторону людей, Апейка — из тех настоящих коммунистов, которые через всю жизнь пронесли глубокую партийную убежденность и честность. Именно убежденность, преданность ленинскому делу дают ему внутреннее право на ту самостоятельность мысли, которую он проявляет не только в споре с Башлыковым, но и в оценке некоторых руководящих выступлений на сессии ЦИК республики», — писал известный критик Л. Новиченко.

Вообще же во всей многонациональной советской прозе, имеющей богатые традиции в создании образа коммуниста, руководителя масс, Апейка занимает особое место. Немного найдется таких образов, где бы так органически были соединены партийность и народность, преданность интересам партии и глубокая народная мудрость, верность великому делу построения нового общества, неугасимая вера в неминуемое осуществление этого дела и внимание к человеку, вера в его здоровый практический разум, внутреннее стремление всегда любое дело соотносить с жизнью, мыслями, стремлениями, желаниями того, для кого и ради кого все это делается. Взятое у народа Апейка стремился отдавать и отдавал народу.

Романы Ивана Павловича Мележа — не только или даже не столько прошлое, как современность, внимательный взгляд в будущее. Ибо кардинальные вопросы, касающиеся места человека в мире, его взаимоотношений с обществом в периоды великих исторических переломов, вопросы утверждения непреходящей ценности человеческой личности в самых значительных общественных преобразованиях, сегодня важны не менее, чем вчера, а завтра будут требовать несколько не меньшего внимания, чем сегодня. Произведения эти созвучны современному миропониманию, соответствуют сегодняшнему уровню художественного мышления. Они стали гордостью национальной литературы, определяют ее высокий художественный уровень, утверждают наиболее жизненно важные и перспективные пути ее дальнейшего развития.

СЕРАФИМ АНДРЕЮК

**И. МЕЛЕЖ**

---

**ЛЮДИ  
НА БОЛОТЕ**

*Отцу,  
матери,  
отчей земле*



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

Хаты стояли на острове. Остров этот, правда, не всякий признал бы островом — о берега его не плескались ни морские, ни даже озерные волны. Кругом только гнила кочковатая тряси́на да мокли понурые леса.

Деревня ютилась на берегу острова — плетни огородов кое-где забегали на кочки приболотицы. С другой стороны, на север, болота чуть отступали, даря людям песчаное поле, по краю которого под низкорослым ельничком тихо белели кладбищенские кресты. Отступали болота и на западной стороне, где то зеленели, то желтели до самой лесной опушки поля, тоже скупые, неблагодарные, хотя в их почве и было меньше песка. С юга болота снова подбирались к соломенным обомшелым крышам, но отсюда преимущественно поддерживалась связь с внешним миром, и тут по тряси́не была намощена дорожка. Что это за дорожка, можно судить хотя бы по тому, что ездили по ней смело только в морозы, когда и непролазная топь делалась твердой, как ток, или в летнее время, когда дорожка высыхала.

Большую часть года остров был как бы обособлен от других деревень и местечек. Даже и в погожие дни редкие газеты и письма от сыновей и братьев добирались сюда в полешуцкой торбе с трудом — кому была охота лазить по грязи без достаточно важной причины, — но и эта непрочная связь с миром при каждом затяжном дожде легко рвалась. Осенью или весной она прерывалась на целые месяцы: тряси́на, страшно разбухавшая от мокреди и половодья, напрочь отрезала остров от мира. Долгие дни люди жили как на плоту, оторванном ненастьем от берега и унесенном в открытое море, — только и оставалось ждать, когда попутный ветер или судьба вновь подгонят его к земле.

Но такое положение тут никого не тревожило, людям на острове оно казалось обычным. Со всех сторон, близко и далеко, знали они, — такие же самые острова среди бес-

конечных забунов, диких зарослей, что раскинулись на сотни верст с севера на юг и с запада на восток. Людям тут нужно было жить, и они жили. Однообразные нудные дожди, месяцами поливающие мокрые стрехи, студеные ветры, люто бьющие в замерзшие подслепые оконца вьюгами, теплое солнце, встающее в погожие дни над купами олешиника, — все видело этот остров хлопотливым, в переутомленной ежедневной деловитости. Люди всегда чем-нибудь были заняты утром и вечером, летом и зимой, в хате, на дворе, в поле, на болоте, в лесу...

Жили уже Курени и в эту июльскую рань. Когда солнце выбрызнуло первые лучи между вершинами теремосского леса, из труб на куреневских крышах вились тихие утренние дымочки, в раскрытых хлевах тут и там слышалось дзиньканье молока о подойники, незлобивые и строгие покрики женщин. В нескольких дворах звуки эти перебивал частый, усердный клекот железа о железо — косцы ладили, отбивали молотками косы, готовились идти на болото. На пустынной улице, с торбой через плечо, нанизывая босыми ногами темный след на подбеленной росой траве, шел, размахивая длинным веревочным кнутом, еще сонный хлопец-пастух. Он время от времени звонко хлестал кнутом и однообразно, хрипловато выкрикивал:

— Ко-ро-вы!.. Ко-ро-вы!.. Ко-ро-вы!..

Голос его после сна был неокрепший, надрываться ему не хотелось, и он как бы помогал себе ленивым, но звонким хлопаяньем кнута. Ворота на улицу быстро раскрывались, коровы неспешно, с благородной степенностью сходились в стадо, которое богатело рыком, пестрело, ширилось на всю улицу. Когда оно дошло до конца села, из последнего двора выступила рыжая с белой пролысинкой корова, которую подгоняла хворостиной чернявая девушка. Загнав корову в стадо, девушка бегом вернулась в хату. Но не успело еще стадо выползти из улицы, как она уже с деревянным ведром в руке снова появилась во дворе. Она подошла к колодезному срубам, что одной стороной выходил на соседний двор, брякнула, нацепила дужку ведра на крюк очепы. Журавель шевельнулся, быстро подался вниз к воде, удовлетворенно, радостно заскрипел.

Зачерпнув воды, девушка уже привычно намеревалась потянуть очеп, но вдруг раздумала, ослабила руки. Наклонившись над колодцем, поддерживая очеп рукой, чтобы не качался, стала смотреть вниз, ждать, когда успокоится

вода. Она хотела, верно, посмотреться в воду, но из хаты вдруг послышался недовольный крик:

— Ганно-о! Где ты, нечистая сила?!

— Я — зараз!.. Несу уже!..

Девушка заторопилась, быстро сняла ведро с крюка и, расплескивая воду на песок, подалась к хате...

На соседнем дворе, возле хлева, возился у телеги бородатый, в холщовой длинной рубахе мужик — маслено поблескивающим на солнце дегтярным квачом мазал оси. Неподалеку от него, привязанная к изгороди, стояла неуклюжая головастая лошадь, лениво что-то искала в траве... Во дворе, что был за этим, женщина несла корм свинье и подвинку — они хрюкали и визжали так жадно и нетерпеливо, что их визг на минуту заглушил все другие звуки куреневского утра.

— Тихо! Нема на вас угомону! — прикрикнула на них женщина, суя поживу, на которую свиньи набросились, давясь, отталкивая друг друга и кусаясь. Особенно лютовала худая свинья, и женщина искала глазами какого-либо дрючка, чтобы успокоить ее, отогнать от подвинки. Но дрючка не нашлось, и она, зло пнув свинью босой ногой, в трещинах и ссадинах, пригрозила:

— Вот я зараз тебе!..

С каждой минутой Курени все больше наполнились людскими голосами, движением — на одном дворе мать звала сына, на другом плакал, заливаясь слезами, не вовремя разбуженный ребенок. Во двор возле липы мужчина вводил коня, со двора напротив выгоняли поросят, и шло за ними покорное замурзанное дитя, по-стариковски ссутулив спину...

Из хаты, неподалеку от той, где дивчина брала воду, вышел на крыльцо, потягиваясь, хлопец с угрюмыми заспанными глазами, с лохматой, не то русоватой, не то темной чуприной, с упрямыми губами.

Мать пожалела будить его раньше. Но и теперь просыпаться ему было нелегко — когда его будили, в голове какое-то время мешались и картины прерванных странных видений, и слова матери, и назойливый клекот аиста... Жмурясь от солнца, Василь на крыльце вспомнил про этот клекот, прислушался — кто-то поблизости отбивал косу — клё, клё, клё. В голове шевельнулась безразличная мысль, что это и был тот клекот, который в дремоте показался аистинным.

Вслед за тем на память пришли слова, какими его будила мать: «Встань, сынок... Встань, уже все встали... Поздно будет...» Он глянул на солнце — где оно, низко или высоко — и на миг ослеп от его блеска. Он, было хорошо заметно, сразу словно ожил, забеспокоился — солнце сияло, ему показалось, высоко.

«Не разбудила по-людски! Когда все вставали! — подумал недовольно и тут же озабоченно подался с крыльца. — Коня надо скорей привести!.. А то выберешься поздней всех из-за матери этой! Сором будет!..»

Он рысцой поснешил к болотистому лужку, где паслась у ольшаника спутанная лошадь. Когда въехал во двор, увидел сутуловатого, с желтой лысиной деда Дениса, который хлопотал около телеги. Дед несколько дней назад ловил рыбу, вымок и простудился — вчера пластом лежал на печи, а сегодня, на тебе, тоже поднялся.

— Поправились уже? — бросил Василь, соскочив с коня.

— Эге, поправился! — понуро помотал головой дед. — Тем часом, как дитя, что первый раз встало...

— Дак легли б пошли.

— Улежишь тут! В этакый день! — Дед провел худой ладонью по животу лошади. — Наелся непогано!

— Наелся.

Василь привязал лошадь к подмазанной еще с вечера телеге и вошел в хату; мать стояла у печи, шевелила в ней кочергою. Услышав сына, не оглядываясь, заторопилась, и Василию от этого молчаливого знака материнского внимания и уважения к нему стало веселей. Он, однако, не показал, что заметил это, — чему тут удивляться, если он уже не мальчонок какой, а хозяин, — бросил ей деловито:

— Собирайся... Чернушки уже едут...

Он зашел в клетушку, снял отбитую дедом косу, попробовал, как учил Чернушка, ногтем острить — хоть это он уже делал вчера несколько раз, — вытащил из-под полатей лапти и стал обуваться. Володька, меньшей белявый братик, спавший на полатах, продрал глаза, глянул на Василя и мигом вскочил.

— Вась, а Вась — и я?!

— Лежи ты, нуда! Чего всперся ни свет ни заря!

— Вась, возьми меня... с собою!

— Нужен ты мне!

— Ну, возьми-и!



Напрасно Володька ждал ответа, глядя на брата глазами, которые просили и молили, не желая верить в братову черствость. Василь молчал. Он был непреклонен. Обувшись, Василь озабоченно пошаркал в хату, по-прежнему словно не замечая брата, который, как привязанный, топал вслед.

Когда мать подала на стол оладьи и даже — чудо! — сковородку с салом, Володька почти не удостоил всего этого вниманием, по-прежнему ждал.

— Ну, Вась?

— Дай ты, тем часом, поесть человеку, — сказал дед, что уже горбатился за столом, но ничего не брал в рот. — И сам ешь.

— Гляди вот, — ласково приступилась мать.

Она умышленно положила перед Володькой оладьи и кусочек рудого сала, глянув на которое, Володька не выдержал и на время отстал от брата. Мать подала ему еще кусочек, добавила еще несколько ласковых слов, и сердце хлопчика смягчилось. Но вскоре ему пришлось убедиться, что эта материнская доброта была всего-навсего хитростью, потому что, едва Володька поел, мать мягко, ласково сказала:

— Ты, сыночек, будешь с дедом, хату постережешь. Да гляди хорошенько — все добро тут на ваших руках!.. Не дай бог что случится — сголеем совсем!

— Я на болото хочу! — упрямо заявил малец.

Поднищая оладьей сковороду, Василь твердо бросил:

— Мало чего ты хочешь!

С какой завистью и тревогой наблюдали Володькины глаза, как у хлева запрягал старший брат муругого Гуза, угрожающе покрикивая, как дед укладывал косу, как мать привязывала торбу с харчами и оборачивала вкинутой в воз травую дубовую баклажку с водой. Следил хлопчик то за матерью и дедом, то за братом, нахмутив шелковистые, выцветшие на солнце бровки, никак не мог поверить в человеческую бессердечность, ждал с тайной надеждой желанной перемены.

Василь дернул веревочные вожжи, и подвода медленно покатилась по двору на улицу. Тут Василь огляделся — по всей деревне, почти у каждой хаты, стояли телеги, косцы, женщины и дети. На всей улице было на редкостьлюдно, вся она жила доброй человеческой озабоченностью.

Мать почему-то еще раз забежала в хату, потом сказала деду, чтобы не надрывался, пошел лег, стала наказывать

Володьке, что ему нужно и чего нельзя делать: чтоб был при хате, чтоб слушался деда, чтоб не баловался с огнем, — и Володька почувствовал, что последние его надежды улечучиваются.

— Не хочу! — ответил одним словом Володька.

— А этого во — хочешь? — погрозил ему кнутом брат.

Володька только еще больше насупил брови. Мать же все не теряла надежды договориться по-хорошему:

— Я тебе кулеш в чугушке в печи поставила. Смачный, с молоком... А в подирищечке яичко возьми!.. Можешь взять!

— Езжайте уж! — сказал дед. — Уговаривают, ей-богу, как писаря волостного!..

Мать подобрала домотканую свою юбку и привычно уселась на телеге, спустив босые потрескавшиеся ноги.

— Дак гляди ж, чтоб стерег хорошо! А то вечером приеду!..

Володька, кажется, ничего не хотел слушать: ни материнных добрых слов, ни дедовой строгости, ни братней угрозы кнутом.

Едва телега тронулась по улице, он, сбывчившись, подерживая рукой спадающие штанишки, молчаливо двинулся вслед.

— Вернись, неслух! — услышал он приказ деда, но и не подумал остановиться.

Володька знал, что дед не любил непослушания и что мать тоже не дай бог ввести в гнев, но ему так хотелось ехать на болото, что и страх не удерживал, — Володька для безопасности лишь держался подальше от воза. Когда телега остановилась и брат показал, что собирается соскочить, мальчуган сразу тоже остановился, готовый на все. Василь пригрозил ему:

— Только пойдй следом!

Телега останавливалась еще раза три, и каждый раз то мать, то брат велели возвращаться, не на шутку обещали поколотить, и, может, Володька одолел бы свое большое желание, если бы не увидел, что на другом возу, выехавшем вслед из села, сидит рядом со своим отцом его ближайший приятель, товарищ по совместным шкодам, Хведька. Это прибавило Володьке прыти, и он еще смелей бросился за телегой.

— А-а, — закричал он, давясь слезами, — возьмите! Мать слезла с телеги.

— Вернись! Иди домой, чуешь!

— Не пойду!

— Не пойдешь?

Спустя какое-то мгновение он лежал на мягкой вспаханной земле между картофельных кустиков, и рассерженная мать сильно и звучно шлепала его по голым порозовевшим половинкам.

— Вернешься?.. Вернешься?.. Вернешься?..

Володька, роя лбом пушистую землю, выли и ревел от боли, от обиды, от злости, но не говорил ничего.

Мать отошла от него, так и не дождавшись ни слова.

Сидя на картофельном поле, он сквозь пелену слез зверовато посматривал, как она шла к возу, как села и поехала, грозно глянув на него. «Чтоб ты... чтоб тебе... немочь!» — кипела в нем неутолимая злость.

Мимо мальчика по дороге ехали и шли мужики, и чуть не каждый подсмеивался над его бедой: «Что, всыпали?» Это разжигало его обиду. Невеселый, одинокий и, как мало кто на свете, несчастный, потащился он домой, потащился через поле, через огороды, только бы никого не встречать, никого не видеть!..

Телега, на которой сидели Василь с матерью, уже въезжала в лес. После открытого поля тут было от густоты молчаливых, словно притаившихся, хмурых елок темно-вато и сыро, хоть лесок и рос на песчаной почве. Утреннее солнце розоватило ельник поверху, еще не могло пробиться книзу, до земли, и на редкой траве мутно держалась роса, а на песке обозначались влажные темноватые пятна. Несмотря на росу и сырость, чувствовалось уже приближение дневной духоты.

— Душно будет, — сказала мать.

Вскоре они нагнали Чернушек. Можно было бы ехать за ними, отдавая дань уважения дядьке Тимоху, как старшему, и, может, при иных обстоятельствах Василь так и сделал бы, но рядом с дядькой сидела задира Гануля, его дочка, Василева ровесница. Эта задира последнее время Василию просто житья не давала, при каждой встрече, когда бы ни попался ей, — смеялась или даже издевалась над ним. Ведь вот только позавчера при всех осмеяла. «Василь, а что это у тебя глаза неординакие — один как вода светлый, а другой — как желудь! И волосы вон — сзади чуть не черные, а спереду — рыженькие! Как у теляти рябого». Стояла и смеялась при всех! Кабы не правду сказала, еще б ничего, а то ж ведь правда все — разные

глаза, как на грех, и волосы от солнца спереди порыжели! Все нелюдское какое-то!..

Мог ли после всего этого Василь послушно тащиться за Чернушками? Едва мать управилась сказать дядьке Тимоху, что, видать, будет духота, как Василь, хлестнув Гуза вожжами, цепляясь колесами за низкие ветки подлеска, резво объехал Чернушек, оставил их сзади. Он умышленно не посмотрел на Ганну, но и не глядя на нее, Василь чувствовал себя в полной мере счастливым. Вот как он «обставил» ее, задиру.

Кто она такая, эта задавака, чтоб так с ним обходиться, словно бы не только неровня ему, а бог знает что? Была бы она и правда какая особенная, тогда и терпеть можно было б, а то ж кто — всего-навсего отцова дочка. И так обходиться с ним, с человеком самостоятельным, хозяином! Что ж, он показал ей!

Тут, когда Василь был весь переполнен сладостью расплаты, старый, очень потертый хомут вдруг разошелся, и оглобля зашаркала по рыжим Гузовым ногам. Василь соскочил встревоженный. Ничего страшного не было: просто порвалась супонь.

Василь торопливо связал порванные концы, но когда попробовал, потянув изо всех сил, крепко ли завязан узелок, тот опять разошелся. Пришлось снова связывать. Когда, порозовев от натуги, стягивал супонь на хомуте, рядом заскрипела телега дядьки Тимоха.

— Что такое?

— Супонь... з-зараза...

Гануля весело взглянула.

— Он... супонь дома забыл!

Василь от такого поношения аж перестал стягивать хомут. Тимохова телега, а на ней дядька, Хведька и довольная Гануля проехали мимо Василя и стали понемногу отдаляться.

— Ну, ты знаешь!..

Василь не нашелся, что сказать.

— В чужое просо не суй носа!..

Он произнес эти слова тихо, больше для матери да для себя, чтобы успокоиться. И вообще, ладно ли было ему, пусть себе и молодому человеку, но все ж мужчине, старшему в семье, связываться с какой-то девчушкой? Однако ни слова, ни мысли эти не возвратили ему покоя и равновесия.

Василь ехал теперь понурый, углубленный в себя. Он вообще был склонен к раздумьям, не любил открывать свою душу, особенно если в ней шевелились думки не веселые и недобрые. Покачиваясь, слегка горбясь, хмурия еще детский лоб, он невольно припоминал, где и когда она говорила что-нибудь обидное, думал, как бы отблагодарить ее. В мысли эти скоро вплелись иные — сперва про старую истлевшую супонь, старый хомут, потом про бедолагу Гуза, которого когда-то бросили балаховцы, не имея, видно, на него никакой надежды. И правда ж, коняга тогда додыхал, и не было веры, что он еще встанет на ноги. Сколько с ним поваждались! Он встал, но как неверно ходят по земле его ноги. А что толку в коне, в котором нету силы!

Был бы у Василя хоть такой конек, как у Чернушки. Тоже не бог весть что, неровня тому, которого привел старый Корч с мозырской ярмарки, а все-таки конь как конь. Основа.

Дорога начала снижаться, сыпучий песок ее сменился мягким, податливым заболоченным грунтом, на котором прорезывались две черные влажные колеи. В колеях то и дело попадались вылущенные жилы корневищ, было много ям, и телегу все время подбрасывало, сильно шатало с боку на бок. Комли деревьев по временам придвигались к самой грядке, и мать предусмотрительно спрятала ноги в воз. Василь же сидел по-прежнему и, словно забавляясь, время от времени перекидывал ноги через грядку телеги.

Хлопот было не только ногам, но и рукам: кругом тучами звенели, одолевали осатанелые комары, приходилось беспрерывно отмахиваться, отбиваться. Мать прикрыла платком чуть не все лицо, поджала ноги, но спасенья все равно не было. Комарье проникало сквозь одежду, залазило в рукава, за ворот.

Гуз отбивался, отбивался хвостом, головой, не выдержал, потрусил рысцей. Но это не помогло, и он вновь пошел шагом, крутил хвостом, мотал гривой, стриг ушами...

Лес тут был совсем иной, чем на песках. Рослые, с черными, словно опаленными комлями, с причудливо источенной корой, старые ольхи тонули снизу в густом болотном разнотравье, в молодой поросли ольшаника, в гнилом ослизлом валежнике. Ольшаник часто смешивался с лозняком, что рос крепкими дружными купами, вздымая в лесные сумерки сизые кучерявины переплетенных ветвей.



В лесу буйно разрослось множество злой, жгучей лесной крапивы, порой вымахавшей дружными отрядами в человеческий рост. «Гляди ты, сколько выперло ее, этой поскуди! — невольно проплыло в голове Василия. — И какая — что твоя конопля!»

Из-за поворота он снова увидел впереди Чернушкову телегу, белую Ганнину косынку, и мысли его опять вернулись к девушке. «Я этого тебе не забуду! Увидишь!»

## 2

Когда Василь подъехал к покосу, Чернушка уже выводил из оглобель распряженную лошадь. Хведька, присев на корточки, что-то заинтересованно рассматривал в траве, а Ганна перекладывала под телегу баклажку. Василь отвернулся, чтоб не смотреть в ее сторону, но от него все же не ускользнуло ни то, что она делала, ни то, как она глянула на него. Глянула с усмешечкой, и Василю показалось, что с ее язычка опять сорвется что-то насмешливое, обидное.

Она промолчала.

— Василь, а мо тут станем? — промолвила мать. — Вместе с ними? Местинка, гляди, какая...

Наделы Чернушек и Василевой матери были рядом. Василь в иное время и сделал бы, как сказала мать, — это было удобно и выгодно: спокойней было и за лошадей, и за телеги, за которыми присматривали бы и Чернушки. Но сегодня сын угрюмо заупряился:

— Местинка как местинка...

Он придержал коня дальше, шагах в тридцати, у куста молодого орешника. Осмотрелся, окинул взглядом довольно большое, окруженное со всех сторон лесом болото. На болоте тут и там курчавились кусты лозы, кое-где сраставшиеся в целые островки. Но Василь не удостоил вниманием эти островки, его больше заинтересовало, что на болоте было еще много воды, местами целые разводья. Вода была и на его наделе. «Черт бы ее побрал!» — подумал Василь.

Вдоль всей лесной опушки стояли возы, суетились люди. Немало народу было и на болоте — уже кое-где косили.

Стреножив Гуза, Василь пустил его пастись, вернулся к телеге и вытащил косу. Он развязал тряпицу, обернутую вокруг ножа косы, и, вскинув косу на плечо, исполненный гордости, сдержанно, степенно подался к покосу.

Мать, молчаливая и послушная, пошла вслед за ним.  
— Тут. Наше — отсюда и вон дотуда, где колок, — сказала она.

Она могла бы и не говорить этого, потому что Василь и сам знал свой надел, — видно, ей просто было неловко стоять молча рядом с сыном.

Василь заметил на ее лице, в складках родных губ выражение какого-то сострадания и виноватости и строго промолвил:

— Знаю.

Воткнув конец косовья в мягкую землю, крепко держа тупой край, Василь принялся направлять косу. Отмахиваясь от комаров, искоса глянув на Чернушек, увидел, что Тимох еще копошится около воза, и удовлетворенно подумал, что начинает раньше.

Расставив по-мужски ноги, сильно упираясь в землю, он размашисто провел косой, и трава жвыкнула, послушно легла слева аккуратной кучкой. Он провел другой раз, третий, трава слева стала вытягиваться во влажный зеленый ряд. Скоро ноги его ступили на выкошенное место, перед ним была уже латка, расчищенная его косой. Кто это сказал, что он зелен косить? Что ему будто бы каши еще много надо съесть. Каши, может, кому и надо, да только — кому иному! Но не ему, не Василию. Правду говорят, что косить — дело не абы-какое, мужское дело, тут нужна и сила, и сноровка, уметь нужно. Но у Василия все это есть. Смотрите, как ладно шаркает его коса, как кладется, длиннеет ряд!

«Ш-шарк, ш-шарк», — согласно приговаривала в лад Василевым мыслям коса.

Он чувствовал, что сзади стоит мать, смотрит вслед, ласковая и гордая, и от этого в руках и ногах силы будто прибавлялось. Но он чувствовал за своей спиной и еще одно существо, совсем иное, чем мать, насмешливое и недоброе, которое, может быть, тоже следит за ним своим подстерегающим взглядом. Что ж, пусть следит, его, Василия, от этого не убедит!

Василь заметил, что дядька Тимох тоже начал неспешно, мерно махать косой. Он идет помаленьку, слегка горбясь. Василь тоже чуть пригорбился — так ходят все взрослые люди. Увидев, как идет дядька, вспомнил, что главное при косьбе — не торопиться, не надсаживаться, чтобы не умяться до времени.

Задумался, не остерегся, и коса неожиданно со всего размаха врезалась во что-то твердое. Кочка, чтоб она провалилась! Василь поспешно вытащил косу и сбоку глянул на Чернушек — заметили или нет?

— Что там, Вась? — встрепенулась мать.

— Ничего.

Он ответил резко, недовольно, сорвал на ней досаду. Пусть не обижается, нечего стоять да смотреть, когда человек занят!

Мать словно догадалась о его мыслях.

— Я пойду к коню... Помогай тебе бог!

Она перекрестила его, благословила и, вздохнув, пошла к возу. Василь, не нагибаясь, чтобы не показать, будто что-то случилось, осмотрел косу и успокоился. Коса была цела. Он опять провел по траве, коса шла хорошо, как и прежде. Косил он теперь осторожней, следил за кочками, попадавшими все чаще и чаще.

Трава была тут небогатая, все больше — осока. «Эх, удружили деляночку, растуды их...» — подумал он и вспомнил, как обижалась мать, воротясь домой после передела. «Известно, одна, без человека. Нема кому оборонить... Ничего, это остатний раз. Теперь я возьмусь, нехай попробуют учинить так еще раз!.. Правда, у Чернушки тоже надел не лучше. Что ж, он сам виноватый! Тихий залишне. Ему хоть палец в рот поклади!.. Нехай терпит, коли такой уродился!..» А Василь не позволит, чтоб ему клали палец в рот! Не даст себя в обиду!

Ногам стало мокро. Сперва вода только ощущалась там, где лапти приминали покос, потом стала хлюпать между кочками. Скоро Василь уже вошел в воду, которая охватила, словно наново обернула, ноги. Онучи сразу намокли, штанины снизу тоже стали мокрые, и ноги отяжелели, словно набрякли водою. От промокшей ткани ноги поначалу, пока не привык малость, неприятно щекотало. Но Василь почти не обратил на это внимания — ходить по болоту доводилось уже немало, и в лаптях и без лаптей, и все эти мелкие неприятности казались обычными. Хуже было то, что скошенный ряд теперь ложился в воду. Нужно будет сгребать в воде, нести на сухое и раскидывать там, чтоб просохло. Столько лишней возни.

Хорошо еще — вода теплая. Не студит ног, не гонит дрожь по телу, как в иные дни, осенью или зимой, когда от холодных мокрых онуч аж дух занимает. Теплая вода, и — слава богу. Иди, хлюпай лаптями, веди косой мерно, ров-

но, справа — налево, справа — налево. Правда, малость тяжелей стало идти — косу надо держать на весу, много воды. Косить тут не то, что на сухом месте. Спроси любого куруневца, и он тебе скажет, что Мокуть — чертово место, гиблое для косца.

«А чего его, этот покос, так зовут? Мокуть... — подумалось Василию. — Разве ж только потому, что недалеко село, которое называется Мокуть? Верно, кабы сухо тут было, то на село не поглядели б, дали б лугу прозвание не такое. А так вот — «мокуть» и «мокуть», мокрое, гиблое место...» По временам коса задевала воду, вздымала, раскидывала брызги — они разлетались, весело поблескивая на солнце. В воде коса шаркала иначе, гуще, весомей, протяжней.

Все сильнее угревало. Пот мочил жесткие, двух цветов волосы, полз на лоб, обожженный солнцем, застилал глаза, тек на слабую, еще почти ребячью грудь, приклеивал к спине до нитки промокшую рубаху.

Коса становилась все тяжелей. Руки наливались истомой, болели в локтях и плечах, слабели, ноги начинали млеть. Изнеможение расплывалось по всему телу. Хотелось присесть. Постепенно желание это все крепло. Сесть хоть на кочку, хоть в воду. Посидеть немного, отдышаться, а там можно снова встать, снова идти.

Но Василь не сел. Он держался. Это было уже не в повинку — терпеть, одолевать усталость, отгонять заманчивое искушение побездельничать. Зеленый этот парень уже с малых лет почувствовал, что жизнь — не веселый, беззаботный праздник, а прежде всего долгие и заботные будни, что надо терпеть. Из всех мудростей жизни он, одну из первейших, познал — держись, терпи! Всем трудно бывает, все терпят, терпи и ты!

Этому его учила мать, учил не богатый, но и не малый, горький опыт. И он терпел. Облизывал соленые от пота губы, вытирал волосы, вытягивал рубаху из штанов, чтоб ветерок мог добраться до тела, остудить. И все же какая тяжелая была теперь коса, как трудно было прогнать оцепенелость и слабость в руках и ногах! И как хотелось сесть! Чудно даже!

Уже ни о чем не думалось: ни о том, где теперь дядька Тимох, перегнал или нет, ни даже о том, что вот он, Василь, не зеленый, а зрелый человек, хозяин...

Только когда изнемог совсем, когда дрожащие бесильные руки опустили страшно тяжелую косу и не могли

уже сдвинуть ее, воткнул косовище в кочку, подался к возу. Шел тяжело, медленно, волоча ноги, хлюпая по теплой воде. С виду это был подросток, худой, длиннорукий, с тонкой шеей, а по походке, по сутулой спине — мужчина.

Василь шел будто бы напиться. Мать, завязав платок по-девичьи, как косынку, — комары уже не донимали, жарко, — сгребала траву, охалками на граблях сносила на сухое. На сухом выкошенном месте было уже немного разостланной травы.

Оставив траву, она взглянула на него, и Василь заметил, как на лице ее появилось выражение жалости. Хмурая, отряхнула мокрую юбку.

— Передохни!.. Полежи вон там, в теньке... Управимся, никуда не денется... трава эта.

Когда он повалился в траву около воза, наклонилась, ласково погладила его по голове.

### 3

Под вечер старый Чернушка и мать Василя собрались в село. Матери надо было ехать, чтобы покормить Володьку, подоить корову, присмотреть за хозяйством. У Чернушки же дома была больная жена.

Хведька и Ганна оставались почевать на лугу. Оставались тут и баклажка, и коса, и латаная свитка — чего их возить туда-сюда без нужды!

— Держись около Василя, — наказал Чернушка дочке, усевшись на телегу. — И ты, Василь, гляди за ними. Девка, она — девка. И малый...

Мать, довольная тем, что Чернушка взялся подвезти, охотно поддержала:

— Живите друженько!

Василь промолчал. Но когда телега скрылась в лесу, он почувствовал, что ничего худшего, как остаться здесь одному с Ганной, нельзя было и придумать. Лучше бы и он поехал домой, чем валандаться тут с нею!

Василь нарочно показывал, что быть с ней — ему как наказание. Ганна скромно молчала, но ему виделось, что она тоже не рада такому обществу. Стоять, молчать с нею было, как ни с кем, неловко. Василь не выдержал: показывая, что у него забот по горло, вдруг ринулся к Гузу стоявшему возле орешника.



Хлопец сводил коня к озерцу, почти сплошь заросшему осокою, напоил. До озерца было с версту, и пока вернулся, болото окутали сумерки. Повеяло сыростью; стало прохладно. Неподдалеку в лозняке начал собираться туман.

«Живите дружененько!» — вспомнил Василь материны слова, увидев Ганну, что-то говорившую брату. «Дружененько — и скажет же, ей-богу!..» Он подумал, что будет держаться своего воза и туда, к Чернушкам, больше не пойдет.

Но прибежал Хведька.

— Дяденька, идем к нам!

— Чего это? — Василь неприязненно отвернулся.

— Костерок разложим!

Василь сделал вид, что занят, развязал торбочку, стал рыться в ней, словно чего-то искал. Думал, что малец не станет ждать, но тот не отходил, следил за каждым его движением.

Что с ним поделаешь! Василь сердито пожевал корку, завязал торбочку. Набросил на плечи свитку.

— У нас есть спичка, — радостно сообщил Хведька, забегая впереди Василя.

Ганна уже раскладывала костер сама. Слабый огонек, перед которым она стояла на коленках, еле-еле теплился. Он был такой немощный, что не мог поджечь даже клочок сухого сена, который держала над ним девушка. Почти припав лицом к огоньку, словно в поклоне, старалась вернуть Ганна ему жизнь, дула, поддерживала, а он тлел все слабее. Дивчина была в отчаянии.

— Дай я!

Василь опустился рядом. Она только чуть отодвинулась. Так они несколько минут и лежали, плечо к плечу, силясь оживить умирающий огонек. Щеку Василя щеко-тала прядь ее волос, необычно близкая, но он не отстранялся. У него была одна забота, одно беспокойство.

Огонек погас. Ганна встала, вздохнула. Стало слышно, как гудят комары.

— Ничего. Я пойду раздобуду уголька... — промолвил утешающе Василь.

Кругом в разных местах светилось во тьме несколько костров. Он выбрал самый близкий и быстро зашагал на веселый этот блеск. У огня вокруг сидели старый Халимон Глушак, прозванный по-уличному Корчом, — сухонький, небритый, — форсистый Корчов сын Евхим и их батрак, молодой рябоватый хлопец из-за Припяти.

Ужинали.

Василь поздоровался.

— Что скажешь, человеке? — добродушно, сипло сказал старик.

— Уголька займите...

Евхим встал, плюнул на ладони, пригладил чуб. Форсун, он и тут был в городском пиджаке, в сапогах.

— Свой надо иметь!

— А вам жалко?

— Жалко не жалко, а надо иметь! Теперь же власть все для таких старается!

— Евхим! — отозвался строго, даже грозно, отец, поперхнувшись кулешом. Старый Глушак ласково взглянул на Василя. — Бери, человеке!.. Он смеется...

— Нет, я — сурьезно. Об этом вон написано в «Бедноте».

— Евхим! — повысил голос старый Корч. После паузы он спросил строго:

— Ты куда?

— К Авдоле-солдатке. Или как там... красноармейке?

Батрак засмеялся.

— Как ты отвечаешь батьке! — побагровел Глушак.

— Ну, куда? — Евхим повел плечами. — Ну, пойду, поищу компании повеселей!

— Гляди, недалеко. Чтoб на бандитов не нарваться! Слышал я, в Мокути вчера были...

— Не нарвусь!

Нес уголек Василь голыми руками — перекидывал с ладони на ладонь, словно играл. Красный глазок весело бегал в темноте.

Иногда хлопец останавливался, дул на огонек, чтоб не гас. Когда прибежал к Чернушкам, там сразу стало хлопотно. Ганна торопливо подала клочок сухого сена, склонилась вместе с Василем. И снова ее прядь щекотала ему лицо, но теперь это не только не досаждало, а было даже как-то странно приятно ему. Они вместе дули на уголь, на сено, и это тоже было приятно.

Еще лучше стало, когда уголек поджег сено и вскинулся живой огонек. Хведька, бегавший около них, сразу попробовал сунуть ветку.

— Куда ты такую! Ну и дурной же ты! — Ганна оттолкнула ветку и чему-то засмеялась.

Ничего особенного не случилось в этот вечер, но память о нем грела и тревожила их потом многие годы.

Ганна вымыла в ближней ямке картошку, насыпала в котелок и хотела поставить его на огонь, но Василь остановил:

— Дай-ка я рогатинки сделаю!

Он, стараясь не терять степенности, по-мужски основательно поконался в валежнике, лежавшем у костра, выбрал две дубовые рассохи, вырезал рогатины и воткнул в землю. Сделав перекладинку, попробовал ее прочность в руках, взял у Ганны котелок и подвесил над огнем.

— Так лучше, — сказал Василь под конец.

Ганна промолчала, но в ее молчании он услышал согласие. Для Василя это было утехой. Они сидели друг против друга, смотрели на воду, что уже пошла кругами в котелке, начала затягиваться белой молочной пленкой, и, хотя не говорили ни слова, странно понимали, слышали друг друга. Меж ними жило необычное согласие и дружеское. Не сговариваясь, взял на себя каждый из них обязанность и выполнял ее: Ганна снимала накипь с воды, следила за котелком, Василь подкладывал хворост, чтобы не спадал огонь. Пока варилась картошка, он с Хведькой несколько раз сходил в лес за валежником, и только тогда, когда запас был сделан основательный, снова присел к огню.

Когда Ганна, сливая воду, позвала его ужинать, Василь по обычаю, которого держались почти все в Куренях, по прирожденной склонности к одиночеству хотел было отказать.

— Я поел уже.

— Когда ты там ел! — как хозяйка, возразила она. — Садись. Неладно без горячего.

Василь послушался, но без охоты. Он принес со своего воза полкаравая хлеба, брусок сала и пучок зеленого лука, положил на разостланный Ганной платок.

Ужинали молчаливые, настороженные, непривычные к такой, словно бы семейной, близости. Обдирая липкую шкурку с картофеля, Василь хмурил лоб и всем своим видом показывал, что он совсем не смущается, что ему известно, как надлежит при подобных обстоятельствах держаться мужчине, но глаз на Ганну не подымал и мысленно злился на свои особенно непослушные пальцы.

Один только Хведька, видно, не обращал внимания ни на что; давясь горячей картошкой, заедая салом да луком, вылавливал из котелка картофелину за картофелиной. Он же первый и отвалился от котелка.

Вслед за ним вытер руки о штаны и Василь.

— Еще ешь, — сказала Ганна. — Ты ж не наелся.

— Не, будет...

— Несмачная, може, картопля?..

— Картопля как картопля...

Он и впрямь не заметил, вкусна или невкусна картошка. Не до того было. Он даже был рад, что этот странный, тягостный ужин кончился. Подумал, что ответил, должно быть, нехорошо, что следовало бы похвалить картошку. Но хвалить картошку — это значило хвалить и Ганну, а он никогда в жизни никого не хвалил, тем более девчат. Этого никто из мужчин не делал.

Сколько мог сдержанно, с достоинством, как и надлежит мужчине, Василь поблагодарил.

— Нё за что, — ответила Ганна.

Василь встал, посмотрел на синеватое, глубокое, звездами вышитое небо:

— Распогодится, должно быть!..

Он хотел уже идти к своему возу, но Хведька попросил:

— Дяденька, вы с нами оставайтесь!

Василь в нерешительности остановился. Ганна терла платок, молчала. Василь бросил на нее настороженный взгляд.

— За Гузом смотреть надо...

Ганна отозвалась:

— Его и отсюда видно...

— Отсюда не так.

Он намеревался идти, но Ганна, поняв это, вскинула на него глаза, тихо, испуганно призналась:

— Мне страшно...

— Чего это?..

— Бандиты вдруг объявятся...

Ее искренние слова, просьба поразили его, сразу смягчили гонористое мужское сердце. Такой просьбе он не мог отказать. Сказал, что останется. Прошел только к лошади, посмотрел, как держатся путы, взял с воза свитку и снова вернулся к костру.

— Василь, — сказала вдруг Ганна, необычно, несмело и виновато. — Ты, верно, сердишься... что я посмеялась... Про глаза и про волосы — разные...

Василь нахмурился, промолчал.

— Ты не сердись. — Она посожалела. — Ровню бы кто за язык меня тянет — чтоб тебя зацепить! Да ты не сердись! Я — не со зла на тебя...

Как-то не хотелось верить тому, что слышал. Все ждал, что выкинет что-нибудь опять. Но нет, не засмеялась. Под конец так просто смутила Василя, даже в краску вогнала.

— А что глаза такие у тебя — дак мне это, правду сказать, по душе! Таких ни у кого больше нет! И сам ты — хороший, только что молчаливый, хмурый. Все одно как гребуешь девками или боишься!

— Есть чего гребовать и бояться.

— Ну, а так кажется!..

Помолчали. Ганна принялась устраивать Хведьке и себе постель. Скоро она, обняв одной рукой брата, другой отбиваясь от комарья, лежала у костра, а Василь еще сидел, слишком уж внимательно глядя в огонь. Было очень радостно от того, что она сказала про свои пасмешки и про его глаза. И уже как и не было злости на нее. Были только радость и тревога, которая смешивалась с этой радостью и из-за которой было неясно, что делать. Все-таки укладываться тут, возле Ганны, хоть она и просила, было не просто, неловко.

— Дяденька, а вы чего сидите? — не удержался, наконец, Хведька.

— Не хочется что-то спать...

— А ты ляг, попробуй... Заснешь может... — посоветовала Ганна.

Василь расстелил было свитку по другую сторону костра, но Хведька — вот же зараза! — попросил:

— Сюда идите, ближе!

Василь, чтоб не подумал чего лишнего — что боится Ганны, например, — перенес свиту поближе.

Долго не спалось Василию в эту ночь, такую обычную и необыкновенную. Укрывшись с головой от комаров, он только прикидывался, что спит, но сон не шел к нему. Раскрыв глаза, видел Василь из-под свиты, как опадал, гас огонь, как седили угольки, видел в поредевшей темноте воз и коня неподалеку, время от времени пофыркивающего, видел, как все еще разливается белым озером туман. И все, что он видел, было непостижимо согрето Ганниной близостью, ее утомленным дыханием, которое он слушал, чем-то теплым, несказанным, непонятым, что родилось в этот

вечер, что смущало его и от чего аж млела переполненная радостным ожиданием грудь.

Однако усталость в конце концов взяла свое.

Пробудившись утром от толчка, Василь увидел над собой Евхима Корча, который, должно быть, возвращался с ночной утехы.

— А хитро прилачился, Дятлик! — подмигнул Евхим. — Поглядеть — вроде ворона, а как до девки — не промах.

Василь предостерегающе оглянулся на Ганну — она уже не спала, все слышала, — и губы его задрожали от гнева.

— Отойди ты!..

Евхим добродушно усмехнулся.

— Не бойсь, не отобью. Такого цвету — по всему свету!

Ганна язвительно откликнулась:

— Чего не еси, того в рот не носи! Счастье какое! Нужен ты мне, что собаке хата!

— Нужен не нужен, а, видать, не отказала бы!

— Мал жук, да велик звук!

Она сказала это с такой оскорбительной насмешкой, что Евхим сразу не нашелся, что и ответить. Не обращая на него внимания, Ганна попросила Василя ласково:

— Я зараз поспедать чего соберу. Приходи. Ладно?

— Ладно...

— Ну, язык бог дал!

Евхим плюнул, повел плечом и лениво побрел к своему табору.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Все лето перед хатой Чернушек грелась на солнце молоденькая, с тонким, как хворостинка, стволом рябина. Никто в Куренях, пожалуй, и не заметил, когда и кто ее посадил, не разглядели как следует ее и тогда, когда она апрельским утром оделась в легкое прозрачно-зеленое платье из нежных резных листочков. День за днем любопытно, но несмело смотрела она на улицу, на всех проходивших мимо — скромная, неприметная за неуклюжим забором, близ больших деревьев. Никто не обращал на нее

никакого внимания, мыли ее, пестовали только теплые дожди да любили шуметь молодой листвою ветры. Люди же ее словно бы не видели, сперва потому, что просто не примечали, а после, что незаметно привыкли.

И неожиданно произошло чудо: тихая, неприметная, в августовском расцвете рябина зарозовела, засверкала яркой, броской красотой, горячим полымем огненных гроздей. И не одни глаза, не равнодушные, не очерстневшие в житейских испытаниях, смотрели удивленно, зачарованно: «Гляди ты!..»

Как та рябина, цвела в это лето Ганна. Еще, кажется, вчера была егоза, подросток, а вот уже, смотрите, — в самой доброй поре дивчина, в самой красе своей! И когда только выросла!

Смотрели на Ганну, судили и — за исключением только самых придиричивых кумушек — соглашались: созрела, невеста, ничего не скажешь! Порою при этом — особенно женщины — вспоминали Ганнину мать-покойницу, говорили, что дочка всем пошла в нее. И обличем — так что вылитая: и невелика ростом, и не гладкая — худая, можно сказать, и плечи, как у матери, узкие, и руки тонкие. И косы черные, густые, аж блестят, будто смоченные, и лицом такая же смуглявая, и скулы так же выдаются.

Иной раз языки женщин — придир и завистниц — твердили, что грудь у Ганны маловата, с кулачок: чем только дитя кормить будет, коли доведется? Но при всем том — даже придиры и завистницы не перечили — Ганну никак нельзя было посчитать за квелую: со стороны, с одного взгляда видать было — ядреная у Тимоха дивчина, крепкая, силою вся налилась. Вон какая упругость в походке, какая ловкость в движениях, так и видно — молодость, сила в каждой жилочке!

Тот, у кого было время и охота присмотреться, кто лучше знал Ганну, замечал, что изменилась она не только внешне. Много нового было и в том, как ходила она меж людей, — сдержанно и неторопливо, как держалась она с хлопцами, — строго и с какой-то насмешливостью. Даже смеялась она теперь иначе — смех был уже не беззаботный, не пустой по-детски, в нем тоже обычно слышалась насмешка; и что-то словно таилось в этом смехе. И смотрела она не как прежде диковато-любопытными глазами. Как и раньше, не было, казалось, такой минуты, чтобы глаза ее, влажно-темные, похожие на спелые вишни, были безразличными, скучными, всегда блестело, сияло в них



неуемное волнение. Но следили они теперь из-под шелковисто-черных смелых бровей с подстерегающей, сосредоточенной внимательностью и, казалось, только и ждали случая зло посмеяться. Иной раз могли они, как и раньше, сверкнуть весельем, но часто, слишком часто горели в них недоверие и пасмешка. В них тоже что-то таилось, в чудесных вишнево-черных глазах.

Почти все куреневские бабы и мужики утверждали, что, обретя степенность, Ганна вместе с тем стала и более беспокойной и — даже излишне задиристой. Многим в Куренях не по душе была и ее самоуверенность: чуть ли не каждым поступком своим Ганна, казалось, подчеркивала, что у нее на все свои зрелые суждения, свой твердый взгляд...

Хлопцы и льнули к ней и словно бы побаивались. Помимо того, что сдерживала Ганнина задиристость и гордость, им помнилось, что не лишне остерегаться и ее язычка. Знали они и то, что Ганну не дай бог ввести в гнев: тогда она сразу теряет ровность свою, забывает обо всем, загорается одним. Горячая, несдержанная, опасная она, гордячка Ганна!..

Василь не очень присматривался, не выгадывал, не рассуждал. Он был для этого слишком уже потрясен и зачарован. Жили рядом, бегали с другими на выгон, пасли скот, сколько лет видел меж других и не знал, не догадывался, кто такая Ганна. И неожиданно, после вечера на лугу, открылось все, и, увидев, почувствовав такое, смущенный, потрясенный, стал сам не свой. Мир словно переиначился сразу.

Он был теперь полон чудес и радости, необычный мир — и все чудеса и радость в нем творила Ганна. Одни ее пальцы, переплетаясь с пальцами Василя, делали его счастливым многие ночи. Когда она послушно прижималась к нему, грудь его наполнило странное, непонятное и несказанно хорошее томление. Туман таинственный над болотом, тихий шепот груш — даже они изменились, стали иными, чудесными, благодаря ей. Когда она была рядом, радость, широкая, безмерная, жила в нем, во всем, что окружало их. В этой радости ночи не плыли, а летели, и рассветные зори приходили всегда слишком рано. Целыми днями, что бы ни делал, Василь, как заколдованный, вспоминал Ганну, думал о Ганне, искал глазами Ганну, ожидал ночи свидания с Ганной.

Время было не для любви — горячее августовское время. Люди вставали до солнца, возвращались в село в потемках. Поужинав, курунцевцы сразу валились спать. Куротки еще в августе ночи, вечер чуть не встречается с рассветом, и надо дать утихнуть усталости в руках, ногах, зачугуневшей спине, остыть телу от едкого пота. Василь же, едва только начнут густеть сумерки, видел лишь жердяную изгородь Чернушкового огорода, где стояли первый раз, когда он еще не осмеливался прикоснуться к Ганне, и где с того вечера простаивали все ночи.

Как всегда, спешил и в этот вечер. Хлебнул несколько ложек огуречного рассола, схватил огурец, чтобы доесть дорогой, вскочил из-за стола. Мать, почти невидимая в душном сумраке хаты, сказала:

— Возьми еще. Или вот... редьки кусани...

— Паелся уже...

Василь шевельнулся, словно отгоняя усталость, почувствовал, как ноет натруженная за день спина, подгибаются ноги.

— Не бавься слишком... — не удержалась, попросила вслед мать.

Закрывая двери, слышал, как вздохнула. Сперва, когда все только начиналось и не знала еще, что с сыном, спрашивала, куда идет, советовала лучше дома остаться, отдохнуть, потом по счастливому Василеву лицу, по разговорам соседок поняла все...

Василь соскочил с крыльца и на мгновение стал, раздумывая, идти улицей или загуменьем. В иные дни ходил задами, чтоб никого не встречать, не задерживаться зря, сегодня запоздал — водил коня на приболотицу — можно идти и улицей. И на улице теперь никого.

Все же подался на загуменье, привычной стезей. Миновав черное гуменцо, пахнущее застарелой гнилью и сухим свежим житом, по загуменной дороге уже не шел, а бежал, веселый и нетерпеливый, к знакомым, таким милым теперь грушам на краю села.

Еще издали увидел, что Ганна уже ждет. Приникла к столбу, тихо стоит у забора. Во тьме силуэт ее едва обозначается, а лица и вовсе не видать, но Василь знает: это она. Кто же еще мог быть тут, на их заветном месте?

Она откачнулась от забора, промолвила:

— Ну и спешил же ты!

— Спешил, — не сразу понял он.

— Оно и видно — петухи скоро запойот.

— Гуза на дуг водил...

Василь понимает, что это никак не оправдывает его, видит, что виноват.

— Другой раз нехай Прося горбатая тебя дожидается. А я не буду...

Василь и не оправдывается, и не просит, чтоб не сердилась. Он не умеет просить. Так они и стоят, близкие и далекие, стоят и молчат, один виноватый, а другая — обиженная. Василь смущенно ковыряет пальцем жердочку, отдирает кору, Ганна — хоть бы шевельнулась.

Где-то на другом конце села завели песню, должно быть собрался кружок молодежи. Песня скоро смолкла, внезапно взвизгнула дивчина, которую ущипнул или пощекотал озорник-парень.

— Алена Зайчикова, должно, — первой гонит тягостное молчание Ганна.

— Должно, Алена...

— Вот любит визжать... Щекотки страх как боится!.. — Она вдруг упрекает: — А вы уж и рады!

— Я что?.. Нужна мне она, как летошний снег!..

— Видать, нужна.

— Да я с ней никогда и близко не сидел!

— Не врешь?

— От еще!.. Перекреститься, что ли?

Василь чувствует, что Ганна от этих его слов смягчается. Он, правда еще с опаской, берет в свою ее теплую руку — Ганна не сопротивляется. И Василию делается радостно, к нему снова возвращается счастье — большое, неохватное, — кажется, счастьем этим наполнена не только его грудь, а вся ночь, вся темная, духмяная тишина, что дремлет над Куренями.

Все кажется добрым, радостным, — даже старые, потрескавшиеся, кое-где облезлые, без коры жердины, за изгородью — тыквенник, упрямый хвост которого влез поблизости на кол. Дальше на огороде — среди тыквы, грядок с огурцами, пахучим укропом и кукурузой — неверные в сумраке очертания груш, как часовые в балахонах. Груши то молчат, то шелестят, шепчутся меж собой, как доверчивые подружки, шепчутся, конечно, о счастье согласия, о теплоте рук девичьих, о горячих юношеских пожатиях.

— Руки какие у тебя... — удивляется Василь.

— Какие?

— Малые. А сильные...

- Шершавые,— тихо говорит Ганна.— Как грабли...
- Не...
- Неделикатные...
- Деликатные ж — у детей...
- У городских девок, говорят, мягкие, гладенькие.

Как подушечки.

- Известно, чистая работа... Не с вилами.

Они снова молчат, но молчание это доброе, чистое, от него радость в груди ширится. Сжимая Ганнины руки, Василь, наконец, говорит:

- Ты, видать, дерешься больно...

— Боишься? — ласково улыбается Ганна и добавляет: — Я злая, если что не по мне! Хведька страсть как боится!

- А я дак — не боюсь...

- Ишь, какой смелый стал! Герой!

- И тебя, и языка твоего... все одно...

- Ого, смелый!

За шуткой своей Василь прячет странное желание, давно не дающее покоя: почему-то очень хочется поцеловать ее. И, рассудить, вроде ничего особенного, не велик страх, а не может Василь осмелиться. Не было еще такого, мать и то, сколько помнит, не целовал. Как подумает, что сейчас поцелует Ганну, не по себе делается, стыдно и тревожно, но неотвязное искушение, чтоб его лихо, не оставляет, даже еще сильнее становится. У других хлопцев это очень просто. Хоня — сорванец — тот и на танцах, при людях, бывает, поцелует, и ему хоть бы что! А Василию трудно. У него все выходит не просто.

- Ой, не жми так пальцы! — просит Ганна.

- Я ж не очень...

- Не очень! Аж терпенья нет!..

Василь отпускает ее руки. Долго после этого стоит он молча, тая обиду. Подумаешь, какая нежная, немного от души пальцы пожал, а она уже терпеть не может! Не хочет, и не надо! Он может и вовсе за руки не брать! И не возьмет.

И без того не в меру для себя наговорившись перед тем, замкнутый в своих мыслях, он молчит долго. Но молчание это уже не смущает. Василь его словно и не замечает. Он и то на удивленье какой разговорчивый с Ганной сделался, другие, бывает, слова из него не вытянут. Василь не охоч до пустых разговоров.

Шумят, шепчутся груши. Где-то зашлась лаем собака, ей подтянула другая. Собаки скоро утихают, и снова только груши шумят...

Василь молчит, несмотря на то, что Ганна начинает беспокойно шевелиться, поглядывает на него с нетерпением.

— Гляжу я на тебя и думаю... — говорит Ганна и нарочито замолкает.

— Что?

— Кавалер из тебя веселый!.. Все одно как вода во рту!

Василь уже готов был опять обидеться, но Ганна по добром, искренне просит:

— Скажи что-нибудь!..

И у Василя от этой хорошей искренности готовая под няться обида враз опадает. Он, повеселевший, думает ищет, что ей сказать.

— У Корча вороной жеребец ногой на гвоздь напорол ся... Корч ездил в местечко за дохтуром...

— Ага, я его видела. Он вез его уже под вечер...

— Под вечер...

— Ну, так — видела. Старик сам, что грач, сидел с кнутом... И что — будет он бегать, жеребец тот?

— Говорят, будет. Да, видно, рвал на себе волосы стар ый Корч... пока успокоили, — со злой радостью добавил Василь.

Ганна неожиданно произнесла:

— Или — завидуешь?

— Я? Не... — осекся Василь. — Есть кому!

Он снова смолк, и, может, — надолго бы, да вдруг вспомнил важную новость, услышанную днем в поле.

— Говорят, землю заново перемерять будут!

— Ага ж, и я слышала. Бабы на выгоне говорили...

— Хорошо бы. А то некоторые — расселились, как паны. Все лучшее похватали!..

— Должно, правду говорят. Порядки теперь такие, что могут переделить по справедливости.

— Корч какой кусок отхватил! Возле цагельни<sup>1</sup>! А другим — дак песок или болото!

— Земли мало, душатся люди...

Василь думал встревоженно, недоверчиво.

— Не дадут они перемерять! Гады такие!

---

<sup>1</sup> Ц а г е л ь н я — здесь — карьер с навесом, где добывают глину для сырцового кирпича (бел.)

— Кто?

— Богатеи! — и не выдержал, высказал горячо, как мечту: — Кабы мне — в том уголке, что за глинищем! Я показал бы!

— Охотников много на это...

— Эге, ухватишь за ними...

Неожиданно вблизи пронзительно кукарекает петух, и Ганна оглядывается, замечает, что небо над приболотицей уже сильно посветлело, даже чуть взялось красным.

— Развидняет уже. Идти надо.

— Еще немного...

— Не. Мачеха скоро встанет...

Обнимая ее на прощанье, Василь с решимостью, близкой к отчаянию, думает: или сейчас, или никогда! Он зажмуривает глаза и прикладывает губы к Ганнинному лицу, поцелуй попадает в висок. Учинив это злодеяние, он опускает голову и ждет приговора. Ганна тоже стоит, опустив голову.

— Василь, — тихо говорит она, словно бы пересиливая себя. — Ты меня любишь?

— А как же...

— И я...

Она опускает голову еще ниже, потом внезапно вскидывает ее, и Василь видит, что Ганнины глаза, темные, глубоченные в блеклом утреннем свете, радостно блестят. Она вдруг обвила Василя крепкими руками, прижалась вся и с какой-то торжественностью, серьезностью, с выражением человека, знающего всю глубину бездны, в которую он кидается, припала к его губам своими.

## 2

Словно сквозь туман, доходило до Василя, чем и как жили все это время Курени.

Было, в основном, все обычное. Как и прошлый год, и позанпрошлый, и все годы, какие помнились Василю, зарастала ряской теплая, с душным болотным смрадом неподвижная вода в лужах, в прудах, в затоках. Повсюду было бесчисленно лягушек — когда доводилось идти вдоль болота или сажалки, они разлетались по мокрой траве, плюхались в воду почти непрерывно. Квakanье их наполнило разморенные дни, вечером и ночью драли они глотки, как осатанелые, на все лады.

Не было отбоя от комаров. Под вечер куреневская улица, дворы, сады, огороды аж гудели от комарья, кишевшего тучами, безжалостно набрасывавшегося на все живое. Посидеть, потолковать на улице куреневцам можно было, только разложив дымный, из мокрой лозы или олешника, костер. В такое время Курени выглядели, словно какой-то дикий табор, как бы возвращались на тысячи лет назад — тут и там чадили костры, и люди жались к ним, кашляли, шевелились, отмахивались — в сумрачном, невеселом свете они очень напоминали дикарей.

Огни понемногу гасли. Намахавшись на докучливое комарье, наглотавшись до одури дыма, люди не выдерживали, прятались по хатам. Только Василь и Ганна не убежали, жались друг к другу у плетня, будто и не замечали напасти...

И луг и болото — не какие-нибудь дальние, а заросли олешника и лозы, может, в ста шагах от Ганниного огорода — кишели гадами. Детвора, словно бы кто ее тянул, как на забаву, стараясь не показать друг другу, что сердце трепещет от страха, лазала в заросли, высматривала, как шевелятся в гуще кустов слизкие клубки. Забава не всегда кончалась одним высматриванием: куда больше было радости, похваляясь отвагой, прижать гадюку дрючком, защемить ее, грозно шипящую, в распорке и вынести на выгон. На выгоне толпою учиняли расправу. Тут было завершение зрелища: смотрели, как долго извивается без головы гадючий хвост...

Однажды мать прослышала, что Володька тоже ходит в гадюшник, — весь вечер ужасалась, пугала мальчика, рассказывая разные страхи про гадюк. Василь, собираясь на свидание, помог ей, погрозился — если сморкач хоть раз сунется туда еще — побить нещадно!..

Гадюки были не только в зарослях. Они заползали в огороды, нередко полеживали на выгретой солнцем, перемешанной с теплым песочком кострице завалинок. Шутник Зайчик сказал, что скоро нельзя будет сесть на призбу из-за этой погани...

Ужи ютились чуть не в каждом дворе — под полами, в хлебах, в погребах. Лесник Митя, лодырь и озорник, которому от безделья лезла в голову всякая дурь, так тот даже выносил их на улицу позабавляться. Забавой было и хлопцам взять ужа на вечерние посиделки, подпустить в девичий кружок, немедленно учинявший визг и вопли.



Визгу было на все село, но больше для виду, лишь бы покричать, — ужей в Куренях не боялись.

Мать сказала Василию, что у соседа Дометика уж, прижившийся в хлеву, сосет корову, но Дометиковы не гонят его. Василь этому не удивлялся: как и все в Куренях, считал он ужа добрым существом, обижать которое — грех...

В этом году изрядно беды было от волков. Летней порой осторожные, можно сказать, благоразумные в иные годы, клыкастые хищники в это лето, казалось, глаз не сводили с села, с выгонов, не только ночью, но и среди дня вылетали из зарослей. Особенно сильно волчье племя теребило овечьи стада: в Куренях, должно быть, не было такого двора, где бы не проклинали хищников. Пастухи скота в лес не гоняли, редко пасли и возле леса, большей частью держались выгона, поближе к хатам, к людям. Несколько дней Курени волновались, пересказывая друг другу на все лады, как наглец-волк напал на Прокопову лошадь. Судили, возмущались, сочувствовали: спутанной лошади пришлось-таки поржать да покрутиться, отбиваясь от зверя. Не раз катился волк от конских копыт, но все же вырвал клоч мяса со спины, и неведомо, чем кончилось бы, если б не прибежали люди...

Но надо всем были другие заботы. Поспевали ягоды. За земляничкой — черника, от которой черным-черно было меж рослого папоротника. Недолго было ждать и малины, густо зреющей в гадючих зарослях. Мелюзга и старики, кого не брали на сенокос или в поле, изо дня в день сновали по лесу с лозовыми коробами и корзинками. Каждый удобный момент торопились с луга, с поля в лес и женщины и мужчины — работники, — в лесу теперь была важная работа. Ягоды были не каким-то там лакомством, как у других, — в Куренях ягодами кормились, ягоды собирали, сушили на продажу, на черный зимний или весенний день. Лес был помощником полю, скупой, ненадежной земле.

Помогали полю болото, теплые, заросшие осокою затоки, затянутые тиной канавы с ослизлым валежником, гнилые лужи, покрытые ряской. В Куренях, верно, не было такой хаты, где б не имелось рыболовной снасти. Снасть эта была особая: во всем селе ни у кого никогда не водилось сети. Василь только слышал, что на Припяти ловят рыбу какими-то железными крючками. В Куренях реки, простора и глубины водной не было, и снасть тут держали

свою, болотную: лозовые болтухи, лозовые вентера, сплетенные из пеньковых ниток кломли. С кломлей надо было ходить вдвоем-втроем, а с топтухой и одному управиться нетрудно. Вскинул на плечо легкую, почти невесомую, из белых высохших прутьев, потом — суй в воду и топочи, гони в нее рыбу...

У Василя была и топтуха, и кломля — все дедовой выделки — снасть чужим глазам просто-таки на зависть. За лето Дятлы, может быть, раз двадцать выправлялись из дому со всем этим снаряжением. Шли в полном составе — не только мать, Василь и дед Денис, но и Володька. Помощник из мальчика такой, что сиди он дома — лучше было бы, да попробуй удержать в хате этого назолу. Тащишь его по трясине, через черные броды, через канавы.

Дед в черно-рыжих штанах, каким было, может, с полсотни лет, сам выбирал Василю с матерью рыбное местечко, но затем сразу же обособливался. Держа Володьку за руку, исчезал он с топтухой в зарослях и возвращался только тогда, когда пора было идти домой. Всяко и ему ловилось, и все же не раз было так, что со своей топтухой он приносил торбу и полней, и тяжелее, чем та, что висела у Василя за спиной.

Володька, усталый, черный от тины, сиял счастьем.

Дед редко радовался удаче. Василь привык уже к дедову брюзжанью: разве это рыба, измельчала, перевелась настоящая рыба! По его словам выходило, что теперь ни зверя стоящего не осталось в лесу, ни рыбы в болоте.

Кто его знает, как там было прежде, а только нынче, и правда, в кломлю попадало больше зеленой мягкой тины, комьев ряски, черного хвороста, чем той рыбы. Серебристый, трепетный блеск рыбы тешил, как невесть что. Когда Василь выкапывал из тины и ряски рыбину с ладонь, сердце заходило от радости.

А все-таки и это было каким-то подспорьем. Если хо-рошенько походить с лета до осени по лесу, то все же что-то соберешь перебиться в постные дни. Ягоды, рыба да грибы — все одно к одному, все как-то поможет продержаться и с мелкой картошкой и со скудным хлебом. Ну, а к ним еще — мед, семь дедовых ульев, от которых, что ни говори, а все же в семью какая-то копейка...

Одним словом — стараться нужно. Лето год кормит: нельзя тратить времени попусту, моргать. Везде, где можно, надо брать, запасать на зиму, на год — в поле, в лесу, на болоте...

Что бы ни делал Василь, Ганна словно была рядом — думал о ней, искал ее глазами, ждал. И немного было за все лето таких дней, чтобы не только вечером, но и среди дневной суеты не повидались, не перекинулись хоть несколькими словами. Встречались порой случайно, но больше — так только делали вид для других: чтоб не наплели чего лишнего языкастые бабы. Отправлялись каждый будто обычной своей стежкой, словно и думать не думали о каком-то свидании-миловании: а сами еще с вечера знали, где и как повидаться. И встречались где только можно было — на загуменье, в поле, на болоте, под лесной сенью.

Для других лето было как лето, как во все прошлые годы. Для солища, для пеба оно было таким, как и тысячи, сотни тысяч лет, всю ту вечность времени, когда млела вокруг трясина да гнили мокрые леса. Для них ведь это было первое лето, лето-песня, лето-праздник.

С этого лета осталась у них на всю жизнь память о необъятной, безмерной, бесконечной радости. Счастье этого лета было самое большое счастье их жизни. Но, вспоминая эти солнечные дни, безграничность и ясность их радости, Ганна неизменно вспоминала об одном досадном, случайном происшествии. Вылезли из воды с клоньями, сидели у лозового куста — неблизко друг от друга, потому что неподалеку были родители. Разговаривали тем способом, когда все говорят одни влюбленные глаза. Счастье наполняло грудь, счастьем наполнились берег озерца, трава, осока, весь свет. И вдруг — Ганна с ужасом вскочила, вскрикнула: меж ними ползла гадюка... Пока Василь схватил, выломал дубец, гадюка скрылась...

О случае этом через несколько дней Ганна забыла, но после, когда миновал уже не один месяц, он снова всплыл в памяти. Всплыл, ожил, как бы вырос, полный зловещего смысла...

Но это было — после. Пока же цвело их лето... Лето-песня, лето-праздник... За летом — праздник-осень...

### 3

Кончив в потемках молотить, Василь повесил цеп на вереву и вышел из гумна. Не закрывая ворот, он несколько минут стоял неподвижно. Хлеб был ничтожный, молотить — одно мучение, и Василь был доволен тем, что отработал, что сегодня больше ничего делать не надо и мож-

но вот так тихо стоять, не сгибаться, не махать цепом, выпростать спину. Стоять и чувствовать на лице холодноватый к вечеру осенний ветер, от которого дрожь начинается под лопатками, слушать мирные звуки осеннего села. Цепы на гумнах уже не стучали, тарахтела где-то в поле телега, поблизости, верно на соседнем дворе, блеяли овцы.

Василь прислушался, что там делается на Чернушковом дворе, подождал, не услышит ли Ганниного голоса, но там было тихо. Показалось, будто мыкнула их корова, и Василь подумал, что Ганна, должно быть, доит. В груди у него, как всегда, когда он думал теперь о Ганне, потеплело, стало хорошо и вместе с тем взяло нетерпение: скорей бы опять свидеться!

Он запер гумно и уже собрался идти в хату, как его окликнули. Василь остановился: на пригуменье шел небольшой, хромой Ахрем Грибок.

— Жито молотил? — спросил он.

— Жито...

— Доброе? До коляд на хлеб да оладьи будет?

— Э-э... — поморщился Василь. — Нету ничего...

— Земля, туды ее мать! — выругался Грибок.

— Земля... Песок один...

— У Корча, братко, уродило...

— Возле глиница?

— Ага. Зерно, братко, что боб. Что сноп, то мех.

— Не диво...

Василь знал, что весь этот разговор и любопытство Грибка только так, для прилику, и ждал дальнейшего, гадал, что же привело к нему Ахрема. И не приятели — Грибок чуть не втрое старше, и не соседи — живет Грибок неблизко и не мог завернуть просто так. За каким-то делом пришел...

Грибок не торопился.

— Как дед, Денис как, здоров?

— Здоров...

— Взял что с ульев?

— Э-э, пустое...

— Не скажи, братко. Меду того возьмешь в рот ложку, а... чувствуешь!

— Толку с него — без хлеба...

— Мудрый старик, — заключил, с уважением покачав головой, Грибок. — Пчелу ту лучше, чем человека какого, разумеет! И рыбу!.. Мудрый!

«Меду, видать, хочет попросить! Чаю закрасить, скажет, или еще чего выдумает», — настороженно, недобро вслушивался Василь в слова Ахрема. Но тот свернул на другое, на главное, судя по тому, как серьезно он заговорил.

— Землю переделывать хотим... Может, слышал?

— Слышал...

— Чтоб по-людски было. А не так, как теперь.

— Давно б пора!

— А когда ж было собраться?.. Дак от на воскресенье надумали... Я дак думаю, что надо тебе прийти. Мать все ж, сказать, женщина. Или, может, Денис нехай придет?

— Я приду, — твердо сказал Василь.

— Ну, от и добро. — Грибок уже собрался идти, но остановился.

— Я... это... начал оповещать еще позавчера. А тебя дак не видел. Ты уж не обижайся, я... это... так, без хитрости... Дак, говоришь, нема меду?

— Нема... Дед недавно глядел.

— А мо трохи есть? Хвораєт малое у меня. Поласоваться бы ему. Може б, поправилось скорей...

— Нема...

— Ну, коли нема, то нема... — виновато промолвил Грибок и подался на дорогу за гумнами.

«Завидки на чужие пожитки! Меду захотел! — подумал неприязненно Василь. — Жди!.. Надаешься вам всем!» Василь тут же рассудил: может, немного и надо бы занести, ведь что как Грибок обидится за отказ и, чтоб на него немочь, обделит, нарезаая землю. Как-никак, а он в комитете этом...

— С кем ты разговаривал? — встретил дед Денис, когда Василь вошел во двор.

— Да Грибок.

— Чего он?

— Сходка, говорит, будет про землю... И меду просил. Для дитяти — мол, хворое.

— Хворое? То надо б дать ложку.

— Дать! Надаешься каждому! А что на ярмарку поведем, хлеба купить!

Дед не стал перечить: Василь в доме становился как бы старшим по чину, хозяином, забирал власть.

Когда Василь, поужинав, встал из-за стола, мать заботливо посоветовала:

— Свитку возьми. На дождь будто собирается.

— На холод берет, — отозвался Денис. — Дождю не должно... А свитку надень...

Василь накинул свитку и вышел из хаты. На улице было темно, пасмурно и холодно, от ближнего болота несло гнилой сыростью.

Ганна пришла на заветное их местечко возле изгороди в аккуратной, домашнего сукна жакетке. Василь уже не раз про себя отмечал, что она наряжается, идя на свидание, и это его полнило гордостью. Стараются, чтоб нравиться ему, стараются, как перед настоящим кавалером...

Василь хотел обнять ее за плечи, прикрыть свиткой, но она уперлась руками, оттолкнула его и долго стояла отстранясь. Влажный ветер с болота шевелил ее волосы, она время от времени их поправляла. Жакетка, верно, грела плохо. Ганна мерзла, но виду не показывала. Она сильно застыла, и когда Василь снова укрыл ее свиткой, не сразу перестала дрожать.

Вместе было тепло и хорошо. Василь слышал, как трещит, бьется у его руки Ганнино сердце...

Бережно привлекая ее к себе, Василь мечтал:

— Кабы с того куска, что за цагельней, досталось. Вот был бы надел! Меду продал бы, семян купил бы отборных... Увидели бы!

— Любишь ты хвастать!

— А чего ж! Может, не веришь?

— Да нет, может, и верю! Если не врешь, так, видно, и правда.

— Правда. — Он добавил неожиданно: — За мной не пропадешь!

— Ого! Ты ж еще не сказал, что хочешь взять меня!

— А чего говорить. И так ясно.

— А я думала, не на Просю ли горбатую променять собрался! Ни слова ж не говорит!

Василь озабоченно, по-хозяйски деловито признается, делится с Ганной:

— В хате — холодно, тесно. Стены прогнили насквозь... Не хата, а просто гроб...

— Что гроб, то гроб...

— Хочу зимой малость лесу купить. Думал, куплю больше, за мед, думал. А тут — жито пустое. Мед надо менять на хлеб... Ну, да в этот год — немного, немного — в другой...

Где-то тоскливо, протяжно, по-волчьи завывала собака. Ганна тревожно затаилась.

- Как скулит... Аж страшно. Будто на похоронах...  
— Скажешь.

Ганна долго не могла успокоиться. Василь прижимал ее к себе, неловко, тяжелой рукой гладил упругое плечо, спину. Внезапно слух его уловил неподалеку шорох шагов, и он, не отпуская Ганну, оглянулся. К ним от кладбища, вдоль изгороди, приближалась понурая в темноте фигура. За ней Василь разглядел еще две.

Они подошли и стали, присматриваясь.

— Ишь, прилипли! — недобро произнес первый.

Другой грубо, словно приказывая, бросил:

— Кто такой?

— А тебе что? — в тон ему, тоже грубо, ответил Василь.

— Поговори, балда! — в тоне его Василь уловил явную угрозу. — Как звать?

Ганна уже высвободилась из-под свитки и быстрым взглядом окидывала незнакомцев. Только тут Василь различил, что предмет у человека под мышкой, на который не обратил раньше внимания, — винтовочный обрез. Этот обрез угрожающе шевельнулся. Чувствуя, как сразу похолодело между лопаток, Василь перевел взгляд на двух других — они тоже были с обрезами. Дальше темнели еще две или три фигуры.

— Василем звать...

До его слуха странно дошло, как густо, тягуче шумят груши, он с тревогой глянул на Ганну. Она, казалось, спокойно ждала, что будет дальше. Незнакомец, видимо, заметил взгляд Василя.

— Твоя девка?

— Моя.

Другой вдруг обнял Ганну, прилип, мерзко, издевательски захихикал:

— Теплая, ядри ее!

Ганна гневно рванулась, изо всех сил кулаком ткнула его в грудь.

— Отойди, черт слюнявый!..

— Я? — Тот сделал шаг, злобно схватил Ганну за руку, крутанул. — Вот затащу за́раз в поле...

Но тут, не помня себя, как бесстрашный ястреб, грозно ринулся на него Василь.

— Не лезь!..

Он толкнул «черта», дернул за ворот. Тот сразу отпустил Ганну, стволом обреза пнул Василя в живот. Не-

известно, чем бы все это кончилось, если б один из их шайки не крикнул угрожающе:

— Оставь!

«Черт» объял, опустил обрез, неохотно отступился. Злобно, сквозь зубы процедил:

— Твое счастье! Помолись богу, овечка!..

Тот, который выручил Василя, хрипло спросил:

— Грибка Ахрема знаешь?

— Ну, знаю... — Василь горел пережитым пылом стычки, слова произносились с трудом.

— Идем, покажи!

У Ганны вырвалось тревожное, требовательное:

— Зачем?

— В гости... — Грозный незнакомец внезапно приказал: — Лезь до хаты. Да гляди, держи язык за губой. Твоя нора? — мотнул он головой в сторону Ганнинного дома.

— Моя.

— Дак от, сиди не дышь, коли хочешь быть целой, ясно? И коли ему добра хочешь!

Ганна ответила спокойно, дерзко:

— Чего уж, поняла.

— Ну, дак сматывайся.

— А с ним что? — не ушла, кивнула на Василя Ганна.

— Жив будет! Не съедим!.. Ну, давай отсюда! — уже злясь, приказал он Ганне.

Она пошла медленно, не торопясь, обычной своей степенной походкой. Когда звякнула щеколда за ней, хрипун скомандовал одному:

— Смотри во все стороны. Если что — стреляй. И с хаты глаз не спускай. Чтоб не выходил никто.

— Чисто будет.

Хрипун шевельнул обрезом.

— Давай. По загуменью.

Василь понял, что это приказ ему, и угрюмо зашаркал лаптями по стежке. Не оглядываясь, он слышал, как шайка потянулась вслед, слышал шум их шагов, сморкание, тяжелое дыхание хрипуна, который двигался сразу за ним.

Огородами выбрались на загуменную дорогу. Гумна стояли в темноте хмурые, неприветливые, низко надвинув тяжелые мокрые папахи стрех. В груди у Василя что-то тоскливо, горестно сжалось, ноги ослабли, и он невольно остановился.

— Ну, ты, шевелись! — поддал сзади стволом обреза хрипун.



Василь неохотно поплелся дальше. Ощущая холодок в затылке, он с невольной тревогой и вниманием ловил все, что было там, за его спиной, где шла шайка. Он уже не догадывался, а, можно сказать, знал, что шли сзади бандиты из отряда Маслака, слухи о которых уже не один месяц пугали людей по всей волости. Его полнило понимание большой, нечаянной беды. Недавняя смелость, с которой он защищал Ганну, уже выветрилась. В протрезвевшей его голове прошла ясная мысль, что не к добру эти их допытывания об Ахреме, что они за что-то посчитаться хотят. «Может, даже и убьют!..»

И вот ему, Василию, выпало несчастье вести с собою погибель. И он ведет. Потому — что же делать, неужто самому на погибель отдаться? Разве ж неправда, что своя рубашка ближе к телу? Разве ж Грибок, доведись ему, не сделал бы того же, что Василь, разве ж полез бы на рожон, на смерть... Но мысли эти не успокаивали, и больше всего потому, что тревожило Василя предстоящее. Как там ни есть, а завтра, когда приедет из волости милиция, Василь будет все же в ответе. Потянут на допрос, попробуй тогда оправдаться перед ними.

Опять тягуче, по-волчьи завывала собака. «Правду Ганна сказала. Будто на похоронах. Ровно чуяла...»

Хоть бы душа на пригуменьях. Хоть бы цеп где-нибудь отозвался. Все было бы не так одиноко, не так безнадежно. Стукнут бандюки, и не увидит ни одно людское око. Молчаливые, равнодушные, чернеют пустые гумна под хмурыми шапками стрех... А может, и лучше, что они пустые, не видят ничего — знать никто не будет про Василеву стечку...

Вдруг близко захлебнулась лаем чья-то собака, злая, неумная, выскользнула из-под ворот, черным комком кинулась под ноги. Хрипун невольно остановился, отмахиваясь обрезом. Василь отступил на шаг, настороженно оглянулся и в тот же момент почувствовал сильный удар по голове чем-то твердым.

— Улизнуть хочешь, сволочь!

Собака упрямо не отставала, заливалась брехом, разбудила других собак, те принялись помогать ей со всех дворов! Она, видно, не в меру осмелела, потому что вдруг екнула от удара и захлебнулась.

— Где? — нетерпеливо спросил хрипун. — Далеко?

— Сейчас...

Не доходя до Грибковой хаты, остановился:

— Там... Селитьба его...  
— Не брешешь? Смотри, если сбыхал!  
— Его... — Василь попросил: — А теперь — пустите!..  
— Управишься! — резко отозвался хрипун. — Подождут дома!..

Оставив одного из бандитов на посту и Василя с ним, клацнув затвором, он вместе с другими двинулся на Грибково пригуменье.

#### 4

Первой на стук в окно проснулась в Грибковой хате жена. Она минуту слушала, не понимала еще, что стучат к ним — слушала и спала.

— Ахрем, встань... — наконец потрясла она мужа за плечо.

Грибок, сопя, неохотно поднялся, со смаком, громко зевнул, почухался. В хате было душно и темно. Шаркая непослушными босыми ногами по холодноватому глиняному полу, он поплелся к низкому окошку. Спросонок ударился о притолоку, выругался. Прижавшись лицом к стеклу, внимательно всматривался в силуэт за окном, но очертания неясно расплывались в темноте.

— Кто там?

— Свой. Из волости.

— Кто такой?

— По земельному делу и ..

— По земельному... Мало вам дня!..

Грибок сопел, мысли шевелились лениво. А голос за окном объяснял:

— Беда приключилась. Запоздать довелось... Конь ногу вывихнул. За доктором ездили...

— Непокойно у нас.

— Дак я ж свой...

— Из волости?

— Из волости. Уполномоченный...

Жена неласково прикрикнула:

— Влез в эту беду... Ночью сна нет...

— Конь, говорят, ногу повредил...

Грибок в темноте нашарил кружку, зачерпнул воды. Что-то очень сушила жажда, он выпил сразу две кружки, в тишине хорошо было слышно, как клокотала в его горле вода: колть, колть. Кто-то из ребятишек спросонок часто

забормотал, Грибок послушал, ничего не разобрал и, звякнув щеколдой, вышел в сенцы.

Едва только он привычно отодвинув засов и серый, в одном исподнем, появился в раскрытых дверях, фигура, ждавшая на крыльце, рванула его за ворот.

— Пикни только, сволочь!

Он почувствовал, как в грудь уперлось что-то твердое, холодное. Ничего не соображая, ошеломленный, выжал из себя:

— Б-братко... ч-что ты?..

— Мы тебе не братья, юда!

Так же тихо, зловеще хрипун просипел:

— Пошли!

Грибок, окаменев от страха, покорно потащился к хлеву.

— Постой тут, постереги возле хаты... — дошли до него слова кого-то из бандитов.

«Маслаки!» — молнией вспыхнуло в тяжелой, словно бы налитой водою голове. Мысль эта отозвалась в сердце смертной тоской: «Конец!» Доведут до хлева, поставят и — конец. Как и не было его, Ахрема. Им загубить человеческую жизнь — что плюнуть. Не одного уже комитетчика уложили... Слыхал же Ахрем об этом, знал, что не доведет до добра комитет, а нет, не удержался. Черт его понес...

Да разве же он набивался! Выбрали — выбрали на его голову!..

— Стой! — приказал хрипун.

Он стал.

— Кайся!

Слова застряли в горле.

— Не хочешь?

— Б-братки, — выжал Грибок. — П-пожалейте!.. Н-не... не в-винный я... Я не с-сам в комитет, н-не охотою...

— Чего с ним возжаться?! — нетерпеливо воскликнул один, стоявший поодаль. — Развиднеет скоро... Кокнуть и — все!

— Не в-винный я... б-братки!..

Бандит поднял обрез, лязгнул затвором, пощупал пальцем, есть ли патрон.

— Деток, если не меня... пожалейте!

Бандиты были неумолимы.

— Самому нужно было жалеть!

— За что ж меня?.. Наговорили, видно... Не верьте...

— Не виноват, говоришь? А передел земли, кто надумал?

— Не я. Сход решил...

— Сход. Оправдываешься, сволочь?!

— Сход. Вобчество...

— Вот как дам по мозговне! Будет — вобчество! Слухай! Передел атаман Маслак отменяет!.. Запомни, если хочешь ребятишек видеть! Ясно?

— Ясно... Дак же ведь сход...

— Коли будет перемер, заказывай гроб! — повысил голос бандит. — Загодя ложись!

— Братки, дак разве ж я один...

— И другим передай! Нехай тоже, когда жить неохота, закажут! Передашь?

— Скажу...

— На этот раз — все. Иди!

Грибок несмело, еще будто не веря, что все это кончилось, бочком, озираясь на хрипуна, ступил несколько шагов. Сейчас крикнет, вернет обратно — ждал со страхом Ахрем. Но тот крикнул другое:

— До утра — чтоб не выпался!

Грибок, обрадованно кивнув, пошел быстрее. Он еще раз тревожно оглянулся, когда бандит свистнул, но свист этот был не Ахрему. Хриплый, верно, кликал другого, что стерег хату, — тот сразу двинулся на свист.

Грибок осторожно прижался к забору, уступил дорогу. Только спрятавшись за дверями в сенцах, шаркнув засовом, он почувствовал себя свободней. Но успокоения не было и тут.

Жена дремала, словно ничего и не случилось. Укладываясь рядом, еле сдерживая дрожь, он толкнул ее с упреком:

— Спишь!

— А? Что?.. Что тебе?..

Грибок, весь переполненный недавно пережитым, не ответил.

— Направил, что ли, куда их? — зевнула женщина.

— Направил! Тут чуть самого не направили!.. На тот свет!..

— Что ты плетешь!

— То, что слышишь!.. Пропади ты пропадом, такая ж-житуха!

— Чего ж он?.. Уполномоченный этот?

— Уполномоченный! Такие же они уполномоченные, как я... Чтоб их земля не носила!

— Кто ж то?

— Маслаки.

— А! — с ужасом вскрикнула женщина.

Закрыв двери, Ганна минуту постояла в сенцах, прислушиваясь к тому, что происходило между бандитами и Василем. Но слов их она не могла разобрать. Попробовала разглядеть в щелочку дверей — не было видно.

Она вбежала в хату, глянула в окно. В полумраке с трудом различила — Василя повели впереди, а сами хищными тенями угрюмо потащились вслед. Пошли не на улицу, а куда-то на пригуменья.

Боже мой, что они хотят с ним сделать. Тут же обожгла себя упреком: как она могла уступить, уйти, оставить его одного!

Ганна бросилась было к порогу, но остановилась. В теплой тишине слышалось ровное, легкое дыхание Хведьки и утомленное — отца. Ганна наклонилась над кроватью.

— Тато... Тато...

Мачеха недовольно повернулась.

— Чего тебе?

— Бандиты! Маслак!

Сон мгновенно отлетел от Чернушки.

— Василя на пригуменья повели!..

— А боже! — испуганно перекрестилась мачеха.

Ганна хотела сказать про дядьку Ахрема, но сдержалась: он был братом покойницы-матери, мачеха очень не любила его.

Когда отец стоял у окна, присматриваясь к темной фигуре, торчавшей совсем близко за изгородью, Ганна почти с отчаянием металась по хате, думала, чем помочь ему, любимому Васильку. Тревожась за Василя, она как-то совсем мало думала о дядьке.

— Их тут мало. Всего человек пять.

— С винтовками? — спросил отец.

— С обрезами... — Ганну томила его неторопливость, его медлительное молчаливое раздумье. — Людей надо оповестить! — нетерпеливо произнесла она.

Отец снова оглянулся на окно, за которым темнело поле.

— Как?

— Я сюда, этим окном — на огород... на улицу...

— Одурела!— ужаснулась мачеха.— Да он тебя из винтовки вмент!..

— Не заметит он.

— Погубить захотела всех! Если своей головы не жалко, подумала б хоть про отцову! Про Хведьку подумала б!

— А вы б про Василия подумали!— в голосе Ганны закипели слезы.

— Ничего с ним не случится, с Василем твоим!

Ганна сделала шаг от окна, но мачеха забежала вперед, расставила руки.

— Не пущу!.. Тимох!— крикнула она, зовя на подмогу отца.— Ты что же стоишь, как олух! Не видишь?!

— Не надо!— мягко сказал Ганне отец.— Не сделают ему ничего...

— Не сделают!..

Ганна, давясь слезами обиды и отчаяния, отошла от мачехи, опустилась на лавку. Тревога за Василия, за дядьку Ахрема скоро, однако, высушила ее слезы. Она остро вслушивалась в тишину села, слышала настойчивый собачий лай в стороне пригуменьев, с острым непокоем, со страхом ждала, что вот-вот грянет выстрел, но и на пригуменьях и в селе было тихо. Ни одного подозрительного звука не уловила Ганна.

— Спят, скажи ты, все как просо продавши...— удивился вслух отец.

— Кто спит, а кто сидит — не дышит,— откликнулась мачеха. Она с опаской подошла к окну, выходящему в поле.— Стоит, что твое пугало!..

Потом Ганна услышала неподалеку тихий свист. Она насторожилась и обрадовалась — тень-пугало, торчавшая за забором, потащилась от хаты.

— Ушел,— с облегчением отметил и отец.

Тень скоро исчезла во мраке поля. Ганна встала, молча подалась в сенцы.

— Ты куда?— услышала она за собою голос мачехи.

— Да туда ж!.. Погляжу пойду.

— Опять! Сама на рожон лезет!..

— Оставь ее!— вступился отец.

В сенцах Ганна осторожно открыла двери, выглянула. Кругом было тихо, но тишина эта не только не успокаивала, а даже настораживала. Сходя с крыльца, Ганна невольно вслушивалась, ожидая, боясь окрика. Прижимаясь к стене, быстро перебежала за угол хаты и только тут на

миг осмотрелась — не маячит ли где-нибудь проклятая тень. Было по-прежнему тихо, никто не стоял на дороге. И она, уже не оглядываясь, не слыша ничего, перелезая через изгороди, напрямик, мокрыми, по-осеннему голыми огородами полетела к Василевой селитьбе.

На его дворе, дойдя до навеса, страшно черневшего пустотой, она пошла медленней. В груди защемило от недоброго предчувствия: с Василием что-то случилось! Она боялась представить себе, что с ним, отгоняла досадные мысли, неленные, неопределенные — что-то недоброе, спорила сама с собой, успокаивала себя, но страх за Василия охватывал ее все сильнее. Снова и снова упрекала себя, что ушла, оставила его одного в такую минуту!..

Дробно, нетерпеливо зазвенело оконце под ее пальцами.

— Тетко Алена!

Ждать, казалось, пришлось целый век. Она прижалась лбом к холодному стеклу, стараясь рассмотреть, что там в хате. Было темно, не разобрать ничего. Наконец кто-то подошел к окну, послышался голос старого Дениса:

— Кто там ни свет ни заря?

— Это я. Ганна Тимохова.

Знала уже, что Василия дома нет, похолодела вся, но выжала из себя:

— Василия нету?

За стеклом мелькнуло встревоженное лицо его матери.

— Василия?!

Через мгновение открылись двери.

— Я ж думала!.. Он же к тебе...

— Мы стояли возле нашей хаты... Только вы не бойтесь. Еще не известно...

— Ой, что ты говоришь, Гануля!..

На крыльцо вышел старый Денис, закашлял.

— Мы стояли, как вдруг подошли двое. Маслаки, оказалось!..

— Бандиты?!

— Повели его с собою. Меня прогнали, а его повели...

— Божечко ты мой! — ужаснулась мать.

— Они что-то про дядьку Ахрема спрашивали... Дак Василия, видно, и погнали, чтоб показал...

— Ахрема, говоришь? — отозвался дед. — Зачем же им Ахрем понадобился?

— Не сказали.

— Не на доброе, известно...— раздумчиво промолвил дед.

— Божечко ж!— покачивала головой тетка Алена, и непонятно было, о ком теперь этот ее непокой: о сыне ли только или и об Ахреме.

Лишь тут вдруг осознала Ганна всю причину такой тревоги. Нет, не об одной жизни его она беспокоилась. Если он послушается их, покажет, его отпустят, должно быть. Но неужели он покажет, приведет беду к дядьке Ахрему?

Если он покажет, он станет как бы заодно с ними! Пособником их! Засудят ли его, не засудят — она об этом не думала, он пособит, может загубить человека! Преступником будет!

Нет-нет! Он не сделает этого! Не должен сделать! Не станет их пособником, пусть себе и поневоле! Он — смелый, вон как заступился за нее... Но ведь тогда они могут учинить над ним бог знает что! Не учинят!.. Скорей всего он убежит или обманет их... Покажет кого-нибудь другого...

Мать Василя забежала в хату, вернулась, завязывая платок. Ганна поняла, что она хочет делать, попросила:

— Вы не ходите!.. Я пойду поищу! Еще, чего доброго, они торчат где-нибудь, шайка эта!

— Не, я пойду! Не могу я!.. Боязно что-то за него...

Дед Денис потопал на улицу, а они подались к пригуменью. Едва только вышли за хлева, увидели тень, медленно двигавшуюся навстречу.

— Василь?!— обрадованно засуетилась мать.— Живой?

Он ответил не сразу, неохотно:

— Целый!..

Ганна по его настороженности, по голосу его догадалась, что было с ним. Но еще не хотелось ей верить, когда спросила:

— Что там... с Ахремом?

— Не был там... Живой, должно...

Теперь она уже не сомневалась. Привел. Показал. Помог им, бандитам. И Ганна почувствовала, как сострадание и нежность к Василю словно выветрились. Показалось вдруг, будто совсем не Василь, а кто-то другой, незнакомый, стоит рядом. С обидой, подавленная, не прощаясь, пошла огородами к себе.



Он неожиданно бросился за ней, нагнал, схватил за руку, хотел что-то сказать.

— Ганна!..

Она спокойно, но решительно отняла руку, произнесла неприязненно:

— Отойди!..

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Истина, что нет ничего тайного, что не стало бы явным, была известна куреневцам, вероятно, лучше любой другой. Еще напуганный Грибок никому, кроме собственной жены, и слова не сказал, молчали взволнованные каждый по-своему Ганна и Василь, а поголовка про ночное происшествие плыла по деревне от хаты к хате, от колодца к колодцу.

Слух этот, переходя от человека к человеку, обрстал богатой, преимущественно женской, курневской фантазией, и под вечер скромное происшествие разрослось до таких размеров, что сердца не только малых, но и взрослых томилась в тревоге. Говорили, что бандитов было не меньше сотни, а может, и больше, и что был сам Маслак, и что Маслак сказал: если они, курневцы, будут переделывать землю, — не жить им, несдобровать. За этим обычно следовали догадки о том, что могут сделать маслаки. Были, разумеется, среди курневцев и скептики, посмеивавшиеся над слухами, доказывавшие, что в них девяносто девять процентов выдумки, — скептиков в селе жило тоже немало.

Как бы там ни было, в Куренях царили беспокойство и настороженность...

Еще в тот же день, а может, на другой поутру, слух перебрался через вязкую дорогу к центру сельсовета, ибо на завтра в полдень в неказистой, длинной, как хлев, хате курневского грамотея Андрея Дятла, или, как его все звали на селе, — Рудого, сидел милиционер Шабета и выяснял все обстоятельства прихода бандитов.

Шабета был выдающийся, почти легендарный человек. Обыкновенный милиционер, он пользовался здесь таким авторитетом, какого, верно, не было ни у одного не только волостного, но и уездного руководителя. Он удивлял людей во многих деревнях редкой отвагой, преданностью делу. Не раз и не два угрожали ему бандиты, били из обрезов,

прострелили у локтя левую руку, а Шабета бесстрашно, неумоимо носился на терпеливом коньке из села в село, выяснял, успокаивал, наводил порядок...

Первым Шабета вызвал Грибка. Ахрем появился в хате не один, а под охраной своей необыкновенно решительной сегодня жены. Отправив во двор посыльного, плечистый, полнотелый, здоровый, как богатырь, Шабета, перед тем с самым озабоченным видом рассматривавший какую-то бумажку, холодными глазами взглянул на Грибкову Адарью и приказал:

— Гражданочка, прошу выйти...

— Почему это выйти?.. Или я чужая? — Грибчиха даже не пошевелинулась.

— Не положено. Тут сразу будет следствие.

— Ну и нехай!..

— Не положено, ясно?

— Или ты меня не знаешь! — Грибчиха готова была оскорбиться, но вдруг переменяла тон, видать, подумав, что так только разозлит его. — Знаешь ведь, Антон, а такое говоришь!..

Она сказала «знаешь» и мягко, и с нажимом, видно, напоминая о том, что несколько раз кормила его обедом и даже закрашенной самогонкой угощала, поклявшись, что на ярмарке купила.

— Не положено, ясно?

— Я ж хочу помочь тебе в следстве этом, — приступила с другой стороны Адарья.

— Сами разберемся.

— Не разберетесь. Потому — он без меня вам ничего не скажет! — уже упрямо, загорааясь, заявила Грибчиха. Она толкнула мужа. — Что ж ты молчишь, как язык прикусивши!

— Она правду говорит... — бросил молчаливый, понурившийся Грибок.

Шабета помолчал, словно показывал, что решение это не лишь бы какое, и позволил остаться. Черт с ней, с этой упрямой бабой, может, и стоящее что скажет.

И правда, Грибок, наверно, ничего бы не сказал. Он был так подавлен приходом бандитов и их угрозами, что сразу, как только Шабета начал допрос, попросил:

— Б-братко! Пусти меня... я ничего не знаю...

— Как не знаешь? Приходили они к тебе?

— Приходили...

— Сколько их?

— Трое было во дворе...— ответила за Грибка жена.  
— Были среди них знакомые?.. Опознали вы кого-нибудь?

— Не! — замотал головой Грибок.

— Не познал он, — подтвердила Адарья. — Бо тёмно. И два из тех бандитов стояли молчки... Только, думаю, без своих тут не обошлось. Я так думаю — откуль они уведали, что у нас делить землю хотят? Само оно разве дошло до того Маслака? Донес же кто-то. Пришел и сказал. И, гляди ты, недавно ж там был. Бо про дельбу и разговор начался — двух дён не прошло!..

— И, должно быть, кто-то из таких, которым не хочется землеустройства, — добавил Шабета.

— Ну, должно так!

— Кого вы подозреваете? — мягко, доверительно приступился Шабета.

Глаза Грибчихи потухли.

— Не буду бога гневить, не знаю. А коли не видела, то и сказать нема чего. Не пойман — не вор...

— Кто-то с ними связан, факт. А кто? — не отступался Шабета.

— Не буду казать, не словила никого... — Бросив опасливый взгляд на дверь, приблизив к Шабете лицо, тихо проговорила: — Про Дятлика Василя, который около того конца, говорят — будто он привел!.. Он в тот вечер сидел с Чернушковой Ганной!.. — Она сразу же отодвинулась и на всякий случай громко заявила: — Не видела ничего, не знаю!..

Показывая, что сказала все, она поднялась с услона, попросила:

— Только вы про тое, что я казала... никому!

— Добро... — пообещал Шабета.

Никогда, должно быть, не было у Ганны такого тяжелого, полного противоречивых чувств разговора, как в этот день с милиционером. Она не тревожилась о себе, совесть ее была чиста, она знала, что позвали ее сюда как свидетельницу. За Василя тревожилась Ганна. И хоть Шабета поначалу и словом не обмолвился про Василя, допытываясь, какие были бандиты, их приметы, голоса, повадки, она думала одно: сейчас будет решаться судьба Василя. Что она скажет милиционеру?

— Значится, в тот вечер вы сидели с Дятлом Василем... — выслушав ее, не спросил, а как бы повторил Ганнины слова Шабета.

Ганна кивнула.

— И ничего не ждали, ни про каких бандитов не думали?.. А они вдруг подошли и — прямо к вам? Так сразу и подошли? Как это они вас так сразу и нашли?

— Не знаю... Мы там уже много раз были...

— Допустим, что вас там видели не раз. Допустим, их направил кто-нибудь, кто хотел сам остаться в тени...

Ганна с облегчением откликнулась:

— Я и сама так думала. Кто-то показал!.. Чужими руками хотел жар загрести!..

— Кто это мог быть?

— Не знаю...

— Загадка... Туман... — задумчиво промолвил милиционер. Он пристально посмотрел на Ганну. — Есть одна догадка, и очень простая. Что Дятел Василь... сам... их ждал!

— Он? Это дак выдумали!..

— Он, может быть, сам назначил встречу им!

Ганна вскочила потрясенная, возмущенная.

— Он... Они его... еще бы немного — пристрелили бы! Еще бы немного, конец был бы ему!.. А вы говорите!..

— Но он же их повел?

— Я... не знаю, как и что там после было...

— Вы давно его знаете?

— Оладки из песка вместе лепили!.. Хаты ж — рукой подать!.. — Ганна горячо, порывисто прибавила: — Нема у него ничего с теми нелюдями! Я знаю! Поверьте!

Она с тревогой, с надеждой взглянула на Шабету, ждала его приговора, его слов. В сердце ее не гасла надежда — поверит ей, поверит Василию, видит же, что не обманывает она...

— Он не злой... Добрый он...

— Все добрые... — недоверчиво, неприязненно промолвил в ответ Шабета. — Из кого только бандиты выходят...

Он встал, согнутыми пальцами твердо постучал по столу, угрожающе закончил:

— Ничего, я докопаюсь! Выведу на чистую воду!

Выходя от Шабеты, полная великой тревоги за Василия, который вновь стал самым дорогим на свете, она вдруг на крыльце увидела его самого. Он сидел, невесело опустив голову, видимо, дожидаясь своей очереди к милиционеру. В порыве нежности, сострадания, мгновений заливших всю

ее, отдавшись этому чувству, не помня себя, ни о чем не думая, словно подхваченная волной, бросилась к Василию.

Она сразу же объяла, так неласково глянул на нее Василь. Настороженный, он поспешно отвернулся и, как человек, готовый на все, решительно пошел в сенцы.

— Со мной так же само, — промолвил посыльный, Андрей Рудый, кутивший у забора. — Шел, сидел, та-скасть, все молчком... Думает что-то...

— Переживает...

Ганна тихо сошла с крыльца, вышла на улицу.

Шабета встретил Василя, стоя за столом, оглядывая остро, внимательно. В тяжелом, неприступном Василевом взгляде исподлбья, в лохматых, непослушных клочьях жестких волос, во всей унылой фигуре в расхристанной посконной рубаше и посконных, в рыжих пятнах тины, штанах Шабета уловил что-то недоброе, звероватое.

— Оружие есть? — спросил Шабета таким тоном, который давал понять, что с ним шутки плохи.

— Чего?

— Не дошло! Оружие — обрез или паган — есть?

— Нема...

«Рожа какая, чисто бандитская... — невольно прошло в голове Шабеты. — Глаза — в таких ничего не увидишь! Как за тучей... И один не похож на другой. Совсем разные! Как ни у одного человека. Один будто малость стыдливый, а другой, карий, звероватый, что у волка». В нем упрямо росло недоверие к этому угрюмому куруневцу.

— А что в кармане?

— Оселок...

— Достань... Покажи... Стой там!

Шабета повидал всего за свою службу, поэтому стоял наготове. Это была уже привычка человека, который ездит сам и сам за все отвечает, за все свои поступки в очень неожиданных порой обстоятельствах. Осторожность тут никогда не помешает.

В руках у хлопца был действительно обыкновенный оселок. Шабета приказал подать оселок, положил его рядом с собой, сел.

— Зачем принес его?

— Нож вострил... забыл покласть...

Шабета врасплох ударил вопросом:

— Давно в лесу был?

— В каком лесу?

— Не придуривайся! В банде!

Такая внезапность, грубоватость была его обычным приемом, когда он допрашивал подозрительных. В такие минуты бдительным глазам его многое открывалось. Этот же куруневец и глазом не моргнул, только еще больше сбычился.

— Не был я.

— И не водил их по ночам?

Василь молчал.

— Чего не отвечаешь?

— Чего ж... Знаете уже...

— Знаем. Все знаем. И я советую не крутить напрасно.

Все равно ничего не будет... Давно с ними связан?

— С кем?

— Ну, не прикидывайся дурнем! С маслаковцами!

— Не знаю я их...

— Как же не знаешь, если водил?!

— Тебе б приставили обрез...

— Ну-ну, меня этим не возьмешь. Я тебе не приятель, не твоего десятка!.. Знаю я таких. Каждый, как только в капкан угодит, овечкой прикидывается... Ишь ты! — «наставили обрез».

Василь не возражал. Чего говорить попусту.

— Много было их?

— Пять, сдается...

— Сдается!.. Кто был, фамилии их!

— Не наши. Незнакомые...

— Скрыть хочешь? Думаешь на мякине провести! Кто?

— Не наши, кажу...

— Хуже только себе делаешь! Выкрутиться хочешь?

Василь не сказал ничего. Шабета недовольно побарабанил по столу.

— Что они говорили?

— Ничего.

— Приказали?.. Наставили обрез — и все?

Василь кивнул.

Шабета больше не спрашивал. Вынув карандаш из кармана гимнастерки, он пододвинул к себе клочок желтой оберточной бумаги и, показывая Василию, что, как и прежде, следит за ним, стал что-то писать. Грамотей он, видать, тоже был невеликий, потому что буквы рождались тяжело и кривые, неуклюжие.

— Вот, подпиши протокол! — пододвинул Шабета бумажку Василию.

Василь взял карандаш, поспешил его, наклонился.

— Тут, под низом?

— Чего ж берешься подписывать, не читавши? — строго взглянул на него Шабета.

— Все одно... Все одно не разберу...

— Неграмотный?

— Почти что...

— Как протокол подписывать, так неграмотный, а как бандитов вести — науки хватило... Протокол — это следствие, с изложением моих вопросов и твоих ответов. Ясно?

— Ясно...

— Тут все фактично. Без крутеньи... Почитать, может?

— Не надо.

— Порядок такой. Ну, ладно — подписывай!

Подписав, Василь с облегчением встал. Надоев ему этот разговор, да и спешил он закончить начатое дело, поэтому и доволен был, что, подписав, наконец отбыл все.

— Куда? — остановил его Шабета. Он тоже встал.

Василь не сразу понял значение вопроса Шабеты, ответил спокойно:

— Домой.

— Подожди.

Тон его удивил Василя, это был уже приказ. Шабета заступил ему дорогу, костяшками пальцев твердо постучал по оконной раме. На этот его стук со двора вскоре неспешно вошел Андрей Рудый.

— Давай зараз до него, — Шабета кивнул на Василя, — и скажи... кто там у него дома?

— Дед, та-скасть, Денис. Матка...

— Скажи матке его, чтоб принесла одеться... — Шабета глянул на босые, в пепельных пятнах подсохшей грязи ноги Василя. — Обувку какую-нибудь. И харчей торбу.

— Харчей? — отозвался Андрей Рудый и поджал губы: вон оно что! Он каким-то странным взглядом окинул Василя.

— Харчей. И чтоб скоро!

— Как умею... Эх, — Рудый невесело поскреб затылок.

Когда он вышел, Шабета, не отходя от дверей, приказал хлопцу сесть. Василь не послушался, исподлобья, поволчьи настороженно, глянул на Шабету. В глазах его еще было сомнение — а может, это всего только выдумка?

— Ну, чего уставился? — неласково промолвил Шабета. — Бежать, может, думаешь?!

— Не... — Василь вдруг испуганно, как-то по-детски спросил: — Куда это меня?

— В Юровичи пойдешь.

— В... тю... тюрьму?

— А куда ж.

— А... — Василь сразу потух, сел.

Шабета пристально взглянул на него, как бы изучая. Но из того, как вел теперь себя Василь, трудно было вывести что-либо определенное, такая скрытная была в эту минуту душа его. Ни боязни, ни сожаления, ни какой-нибудь надежды или просьбы о снисхождении — ничего не отражалось на его, казалось, безразличном, холодно застывшем лице.

«Как окаменел, — подумал Шабета. — Глазом не моргнет... Ну и тип, видно...»

— Утекать не пробуй, коли жить не наскучило, — на всякий случай пригрозил он. — От меня еще никто не улизнул. Не было таких случаев!..

Василь не ответил. С того мгновения, когда он узнал, что домой уже не вернется, когда развеялись последние надежды, что счастливо все кончится, в душе его, и впрямь, все окаменело. В этот тяжкий момент его жизни, когда ему надо бы, казалось, горевать о несчастье, о позоре, так безжалостно спутавших все его надежды, он, странно, ни о чем не думал, ничего не жалел, в онемевшей душе его была тяжелая и жестокая пустота.

Мир был для него теперь наполнен только чужими, равнодушными людьми, и он среди них одинокий, такой же равнодушный, как и они, и ему не жаль никого из них, и никто из них не волновал его. Даже то, что где-то дома мать, должно быть, в слезах, ничего для него не значило. Ничто не выводило Василя из этого жестокого безразличия.

Мать вбежала запыхавшаяся, испуганная. Василь узнал ее шаги еще когда она была в сенях, но не шевельнулся, угрюмо, уйдя в себя, сидел и тогда, когда мать, выронив из рук мешок и лапти, с жалобными причитаниями, с воплем кинулась к нему, горячо, тревожно обняла:

— Василечек, колосочек, сынку мой... Куда ж тебя, за какие грехи, детиночку мою...

Василь холодно, с прежним безучастным видом отстранил ее.



— За что его берем, тебе бы, мать, лучше знать, — твердо отозвался Шабета. Он деловито спросил:

— Все принесли?

— Все, что приказано, — ответил Рудый, грустно стоявший со свиткой на руке возле дверей.

— Все, — бросила и мать, сдерживая рыдания.

— Дайте ему.

Она подняла с пола лапти и мешок. Когда Василь стал накручивать порыжелые онучи, заматывать оборы, тихо наблюдала и только судорожно всхлипывала, вытирая глаза большими потрескавшимися пальцами. Когда он обулся, стала перечислять, что положила ему в торбу: каравай хлеба, огурцов, — но Василь, не дослушав, подошел к Андрею Рудому, взял свиту.

— Можно было б ту, в какой рóбил, — промолвил Василь, надевая свиту внакидку. — Не в сваты, чтоб в новой...

Это было все, что он сказал.

— Та ж — як сито, сыночек, вся в дырках...

Василь бросил взгляд на милиционера, ожидая команды. Когда Шабета, перекинув сумку через плечо, дал приказ выходить и Василь спокойно направился к двери, мать снова припала к сыну, в горе, в отчаянии запричитала:

— А мой же ты дубочек, месячик ты мой золотенький!.. А как же ты один!..

«Ну, от, невозможно ей без этого!» — недовольно нахмурился Василь. Мать заметила, как бы прочла его упрек и немного притихла.

— Раньше надо было плакать, — откликнулся Шабета уже во дворе. — Как растила. Учить надо было, чтоб жил честно...

Шабета, не сводя глаз с Василя, отвязал от плетня гнедого конька, до седла заляпанного грязью.

— Ну, давай, иди! — приказал он.

Василь на миг будто проснулся, глянул на мать нежно, с жалостью — как она тут со старым да с малым управляться будет! Чувствуя, как внутри что-то чутко, слабо дрогнуло, сказал ей:

— Мамо, останьтесь тут!

Она, глотая слезы, кивнула.

Идя улицей, Василь видел: люди стояли у ворот, прилипали к окнам. Шел он опять равнодушный ко всему, с неподвижным, застывшим лицом, словно никого не узнавая, ни на кого не обращая внимания. На улице было

грязно, ноги глубоко влезали в гущу. Надо было держаться ближе к изгородям, стежечке, но он не выбирал дороги, шагал напрямиком.

Проходя мимо своей хаты, заметил деда Дениса без свиты, без шапки, Володьку, глядевшего любопытно, весело даже, но не подал виду. Все было, как в тумане, как выдумка, в которую самому еще словно не верилось. Настоящим словно бы все было: и эта улица, и грязь, и он, арестант, и Шабета, который терпеливо тянется следом, ведя на поводу коня, и даже дед...

Только одно жило, волновало Василя — Ганна. Как ни был подавлен, безразличен, казалось, ко всему, еще издали увидел неспокойную ее фигуру. Держась за столбик открытой калитки, Ганна смотрела на Василя, нетерпеливо ожидая. И странное случилось с Василием — хоть и сам ждал ее, словно назло себе, жаждал последний раз, на прощанье, взглянуть, — почувствовал, как подступила к сердцу горечь, настороженная неприязнь. «Стоит, вышла поглазеть — нашла диво!.. Мало, что другие смотрят!» Вспомнилось ее неласковое: «Отойди!» — и брови сурово, самолюбиво сдвинулись, глаза оторвались от нее, вперились в холодную грязь, что ползла под ноги. Так и приближался, не взглянув больше на нее, полнясь упрямой мстительной враждебностью.

— Василь! — рванулась Ганна от калитки ему навстречу.

Он только на мгновение приостановился, взглянул на нее и сразу же, очнувшись, побрел дальше.

— Василь... не виновата я!..

Василь не оглянулся, не ответил, словно не слышал. Ганна сделала несколько шагов вслед, отстала. Молча, время от времени оскальзываясь, месил он грязь, тащился за село, где была гиблая дорога через болото, неизвестность.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Сразу после того как Василь прошел, Ганна подалась во двор. Ей, чужой дивчине, негоже было не только что идти за хлопцем, но и смотреть долго вслед ему, в Куренях почиталось это за великий грех для дивчины. Чуть не по-

ловина деревни была на улице, наблюдала за Василем и, значит, за Ганной, и Ганне нужно было особенно держаться неписаного, но непреложного закона.

Она уже и так нарушила этот закон, сама подойдя к Василию, нарушила на стольких людских глазах, теперь нужно было как бы повиниться перед всеми, показать, что она дорожит своей честью, уважает людей и людские обычаи. И она шла домой, с виду спокойная, степенная, шла так, как и надлежало ей идти. Ни разу не оглянувшись, даже не посмотрела, куда его повели. И надо сказать, Ганне теперь не хотелось уже ни идти за Василем, ни смотреть ему вслед. Он так обошелся с ней, так ответил на ее искренность — оскорбил на глазах всей деревни. Идя по двору, она несла в себе уже только обиду.

Мачеха была дома, замешивала поросят, и Ганна подумала: хорошо, что она хоть на улице не стояла, не видела. Мачеха сняла с покрасневших рук налипшие картофельные комья, выпрямилась, бросила Ганне, как приказ:

— Занеси вот...

Но когда Ганна взяла ушат, не удержалась, неожиданно выкрикнула:

— И не сором!.. Виснуть на хлопце, при людях!..

«Видела все-таки. В окно углядела... Чтоб она да пропустила!..»

— Кто — виснет? Скажете!..

— Видела!.. И он, он — хорош! Отвернулся, говорить не стал!.. Пан какой гонористый!..

Ганна поспешно прикрыла за собой двери — и без того тоска берет, хоть ты плачь.

Накормив поросят, остановилась в раздумье возле хлева, не зная куда идти. Возвращаться в хату не хотелось, знала, что там опять ждут ее мачехины попреки. Глянула в сторону гумна: отец или на гумне, или поблизости где-то — ворота были открыты.

Увидела отца на току — горбился, стоя на коленях, в пропотевшей посконной рубахе, с остюками в редковатых, прошитых нитками седины волосах, широко, мерно размахивая лопаткой, веял рожь. Мякина и пустой колос падали на землю почти у его колен, зерно же летело веселой, упругой золотистой струей и, шурша, сыпалось на продолговатую раскидистую горку. Отец был утомлен, взглянул на Ганну молча, безразлично, ни на минуту не

остановился — черпал и черпал лопаткой, мерно бросал ею на горку посреди тока.

Ни о чем не спрашивая, Ганна принялась помогать ему — отгребла в сторонку мякину, аккуратно прибрала околот, подмела, где можно было, ток. В заботе этой, в холодноватой тишине гумна, вверху которого чирикали только раз за разом воробьи, она на какое-то время забывала о своей обиде и горести. Отец, добрый, тихий отец, он тоже, кажется, успокаивал ее своим утомленным, словно неподвластным никакой печали, видом. В эти минуты успокоения Ганне подумалось, что и ее обида и даже Василева беда — не такие уж страшные, как ей показалось. Василя, понятно, не заберут. «Доведут до Олешников, так, абы пострашить, чтоб другим была наука, да и пустят... Ну, может, пригрозят, чтоб другой раз не водил, может, возьмут слово, что никогда с бандюками знаться не будет... Разберутся, что сам по себе он не виноват. Отпустят!» А тогда — пусть только вернется, она ему покажет! Ой, как покажет, как попомнит зло — уж придется ему походить за ней да помолить, чтоб забыла, простила обиду. Не простит она унижения так просто, век напоминать будет, аж закается он...

Неприметно в гумно вползли потемки, но отец не вставал с тока, хотел, видно, довеять все. Только чуток не довеял, темнота скоро сгустилась, и он послушал Ганну, отложил лопатку, неохотно поднялся.

— За малым не управился, лихо его... Жменька всего осталась... — произнес он с сожалением.

— Завтра кончите... не убежит оно... — успокоила Ганна.

— Не убежит. Да жалко оставлять, не кончивши...

Он открыл пошире ворота, чтоб на гумне посветлело, и достал мешок. В сумраке они ссыпали навеечное. Отец хотел еще наугад подмести ток, как прибежал Хведька и объявил:

— Надо идти скорей! Мамо кажет, картопля стынет!

— Зараз идем!

Отец стал молча собираться — взял из отгородки шапку, свиту, вышел на пригуменье, заскрипел воротами.

Ужиная, Ганна настороженно поглядывала на мачеху, ждала, что та вот-вот заведет разговор про Василя. И правда, мачеха недолго молчала — как бы между прочим сообщила:

— Василя Дятлика забрали...

Отец только искоса глянул на Ганну. И не сказал ничего.

— Шабета повел. В Олешники... — попыталась снова затеять разговор мачеха, но и на этот раз Чернушка промолчал, и она смолкла. Ганне на минуту стало легче.

Все же она не была уверена, что мачеха опять не вернется к печальному событию, — сидеть за столом Ганне было беспокойно. Наскоро поужинав, она торопливо перекрестилась на образа, встала, не переодеваясь, двинулась к дверям.

— Ты куда? — остановила ее мачеха.

— Никуда. На улицу погляжу...

— Не пришел он.

— А я — не к нему.

Брякнула щеколдой, выскочила во двор и, чуткая, настороженная, с таким ощущением, будто за ней следят, пошла на улицу. Нарочно старалась не смотреть в ту сторону, где их изгородь, где вчера стояли, гнала от себя неотступную мысль: а может, он там, может, пришел? В ней неведомо почему жила, не отступалась упрямая уверенность: он — там, он — пришел, стоит, высматривает. Она ждала его оклика и думала, готовила ему отплату за обидное унижение, пережитое ею на глазах людей.

Как ни заставляла себя не оглядываться на изгородь — не удержалась, глянула. Там никого не было!

Она, однако, прогнала тревогу: это еще ничего не значит. Василь мог просто не управиться прийти. Он и прежде, бывало, опаздывал, а тут же такое случилось — конь не кормлен, хозяйство не присмотрено. Выйдя на улицу, подумала: «К Хадоське пойду», — подумала, желая видеть не Хадоську, а Василев двор, Василеву хату, Василя. Ганне казалось, что повидать Василя ей хочется не потому, что печалится, тревожится о нем, а просто, чтобы убедиться: он дома.

На Василевой усадьбе было тихо, пусто, тоскливо. Тоскливо выглядела и хата, молчаливо черневшая в сумраке, — ни звука в ней, ни света в окнах. Хоть и не видела, что там в хате, она показалась нежилой, словно ни души в ней.

Ганна вспомнила Володьку: вот кто мог бы помочь. Увидеть бы сейчас его, узнать про Василя. Обычно, когда не надо, Володька много раз на дню попадался на глаза, целыми днями у них, Чернушек, в хате или на дворе с Хведькой играл. Теперь же — как назло — не видать, не

слыхать его. Может, разве, Хведьку пойти попросить, чтоб позвал? Она уже намеревалась вернуться домой, повидать Хведьку, но сразу же отказалась от этой затеи: опять придется встречаться с мачехой. Да к тому же мачеха навряд ли позволит Хведьке в такое время пойти куда-нибудь. А если и позволит, то, не иначе, будет допытываться, дознаваться от Хведьки, о чем Ганна просит. Этого Ганна боялась больше всего. Все, что было у Ганны с Василием — их ночные беседы у изгороди, думы-мечты и думы-тревоги, — все стыдливо, настороженно берегла она в себе, как дорогую чистую тайну. Этой тайны не должен был знать никто, тем более мачеха. То, что произошло днем, когда она внезапно высказала тайну всему селу, еще больше настораживало ее.

Воспоминание о последнем, злом Василевом взгляде снова загасило огонек в сердце, вернуло ей горечь непрощенной обиды. С обидой этой и с тяжкой, полной недоброго предчувствия тревогой пошла она к Хадоське.

В окне Хадоськиной хаты шевелились глянцевитые отсветы пылавшего в печи огня. Ганна приникла лицом к стеклу, стараясь разглядеть подругу, позвала:

— Хадоська!

На голос ее от печи придвинулась тень, послышался ответ матери:

— Нема ее... Кто это? Ганна?

— Ага, я... А где она?

— Кто ж там ее знает! Гулять куда-то подалась...

Идти искать Хадосю в веселых девичьих кружках, что тут и там гомонили, смеялись на завалинках, на колодах у плетней, Ганне не хотелось — в последние дни они с Василием редко бывали на сборищах девчат и хлопцев, и ее приходу, вероятно, очень удивятся. Начнут, должно быть, смеяться, шептаться меж собой, говорить про Василия. Если же он не вернется, злые языки безжалостно осудят: не успели хлопца вывести из села, как она уже в компанию явилась!

Э-э... пусть говорят, что хотят, человеку рот не завяжешь, если язык свербит. Только ж — разве ей обязательно слушать всех, мало что кому на ум взбредет! Неужто ей так и чахнуть одной, томиться неизвестностью, гадать по звездам, что там с Василием? Быть наедине с тревогой о нем и с обидой-позором, которой ни забыть, ни задушить? Что ж, если правду сказать, так идет она не к кому из хлопцев, которые ей теперь просто ненавистны,

а к подруге своей. Сразу, как найдет Хадоську, она позовет ее с собой, и обе уйдут из компании — тут можно будет и дознаться обо всем, что тревожит...

Хлопцы и девчата гомонили в темноте совсем недалеко, на бревнах, сложенных перед хатой Грибка. Ганна произнесла «добрый вечер» нарочито равнодушно и, как бы заранее предупреждая ненужные толки, с таким видом, словно пришла не так себе, словно торопится, озабоченно спросила:

— Хадоськи тут нету?

Среди куруневских девчат было несколько Хадось, но Хадоськой звали одну. Ее словно выделяли из всех этим добродушным, ласковым именем.

Хадоська вместо ответа радостно позвала:

— Ой, Гануля! Иди сюда!

— Иди ты! Что-то скажу тебе!

— Дак ты тут, тихо! Иди!

Кто-то из девчат крикнул доброжелательно:

— Посиди! Не гребуй компанией!..

— От сказала: разве я когда гребовала!..

— Ну дак посиди!

— Времени нет... — нетвердо произнесла Ганна. — Мать ждет...

Озорной голос парня откликнулся со смехом:

— Всех нас матери ждут!

Девушки засмеялись. Под этот добрый смех Ганна пошла к Хадоське, села рядом.

## 2

Девчата и хлопцы, минуту назад видевшие и слушавшие одну ее, теперь сразу как бы забыли о ней, заговорили каждый о своем. Ганна, чувствуя, что на нее уже не обращают внимания, хотела было притулиться к Хадоське, спросить о том, что тревожило, когда та, вдруг горячо обняв ее, голосом, полным безграничного сочувствия и жалости, обожгла:

— Бедная... Бедная ты моя, Ганулечка... несчастная...

«Значит, нету, не вернулся Засиль», — догадалась Ганна и вдруг опять вспомнила, как он шел по улице, не глядя ни на кого, диковатый, злобно меся грязь... Шабету вспомнила с конем на поводу, лица людей, все видевших — позор Василя и ее. Досада и жалость, стыд и боль

вновь ожили в ней, замутили свет... Почему все так сплелось?

— Забрали его? — как бы не веря, прошептала тихо.

— Повезли. В Юровичи, говорят...

Ганна ни о чем больше не спрашивала, ничего не говорила. Ей не хотелось и думать ни о чем — все было такое непонятное, запутанное. Долгое время она и не замечала ничего вокруг, не слышала. Смутно, как сквозь туман, дошли до ее угнетенного сознания первые слова, чем-то затронувшие, родившие в ней отклик.

— И теперь вся колочусь, как вспомню!.. — услышала Ганна. Она против воли невесело стала слушать. — Батька сам едет ни живой ни мертвый... Крестится... Губы стиснул, не шевельнет губами... чтоб тот, не дай бог, не узнал, что молитву батька творит... не разгневался...

— О чем это она? — не поняла Ганна.

— Ведьмака встретили, — тихо, с опаской прошептала Хадоська, беспокойно оглянувшись, словно боясь, что их слушают. Она перекрестилась. — Не дай бог, услышит!..

Ганна поняла ее страх, ибо знала, что ведьмаки не любят, когда их так называют, мстят за это. Ведьмаки хотят, чтоб их звали волшебниками.

— Волшебника?! — удивилась Ганна. — Какого? Что в Хвоенке?

— Ага...

— Всю дорогу тряслась, — рассказывала горбатая Прося. — Как, скажите, живыми из лесу выбрались!.. Лес тот — то был тихий, то сделался страшный — гудит, стонет, как на похоронах... А в том гуде — слышу — ровно косточками стучает мертвяк... Идет, идет за нами, близенько, рукой подать и — стучает... стук-стук... Стук-стук...

— Страхота какая! — ужаснулась одна из девочек.

— Может, слышал, что батька молится... Он и раньше, видно, слышал, потому и сердился, пужал, стучал косточками... А подойти боялся или молитва не давала...

— Есть такие молитвы, что как услышит он, так что лист задрожит, — сказал кто-то тоном знатока. — Только надо знать ту молитву... И говорить, не пужаться — хоть что! Бо он, хоть и пужае, а боится ее... Не любит — страх!..

— А конь — что? — перебили «знатока». — Идет себе?

— Ага, идет! — отозвалась Прося. — Идет!.. И он — сам не свой! Шатается, как пьяный, чуть не падает. Уши наставил, гриву натопырил, и очми — зирк, зирк. А очи —



круглые, перепуганные!.. Но, слава богу, хоть шатается, а идет да идет! Только он и спас!.. А то б там и — конец наш!

— Добро еще, что помороку на коня не нагнал, — снова заговорил «знаток». — А то, бывает, как нагонит волшебник помороку, то конь идет и идет, да только не туда, куда надо. А то и так бывает: кажется, идет, идет, а сам — на месте!..

— Слава богу, что услышал молитву! Услышал и заступился!.. — сказала Хадоська.

Чистый юношеский голос, в котором слышался затаенный смех, вдруг ворвался в тихую беседу удивительно звонко и весело:

— Бог? А знаете, где он теперь?

Ганна узнала: спрашивал Хоня, по-уличному — «Батька и matka». Хадоська доверчиво полюбопытствовала:

— Где?

— В Наровле, в волости! За секретаря!

— Чтoб тебе язык отсох! За такие твои слова...

— Правда — в Наровле! Видели его!.. Он, правда, не признается, боится, чтoб не прогнали с должности!.. Бо не пролетар сам!..

Хлопцу не дали договорить — верно, кто-то зажал ему рот. Девчата возмущенно загалдели, кляли богоотступников, от которых, говорили, все беды на селе. В этом гомоне и Прося, рассказывавшая о встрече с ведьмаком, не сразу вернула себе внимание.

— Приехали... легли спать... Батька все трясется, никак успокоиться не может. И я — как гляну в темень — все вижу его: глаза, что угли, зыркают! Огнем!.. Страх!

— Пришла б ко мне под поветь, я успокоил бы! — снова ворвался Хонин голос.

Хлопцы захохотали. Захохотали куда более дружно, чем тогда, когда их товарищ осмелился задеть бога. Девчата, бесконечно оскорбленные неделикатным советом их подружке, заступились за нее, началась веселая возня с притворными угрозами, с незлыми укорами, с мягкими хлопками девичьих рук по спинам парней.

— Добрый какой объявился! — сказала Прося.

Девчата поддержали Просю издевками над хлопцами и смехом. Но не улегся еще этот смех, как его прорвал такой пронзительный визг девушки, словно ей пустили за пазуху ужа.

— А-ай! Девоньки!— за этим последовало частое шлепанье рук по лицу.

— Ну, ну, кобылка! не брыкайся!

— Ай!.. Помогите!..— Алена Зайчикова аж захлебывалась от хохота.— Не щекоти... черт... поганый!.. Ой!.. Слышь? Не лезь!

— Петро! Где ты ей щекочешь, что она так смеется!..— полюбопытствовал один из ребят.

— В каком месте? А то мы не знаем!

— И нашел же такое!

Ганна слушала эти озорные шутки, сварки, но ни разу, ни одним словом не откликнулась на них. Она, обычно и сама охочая до споров, насмешек, задиристая, слушала сейчас, наблюдала за всем так, как наблюдают взрослые за детской игрой. Беззаботный веселый смех не доходил до нее, не трогал души.

Ганна была довольна, когда в минуту затишья, пришедшего на смену хохоту, Хадоська завела:

Шумяць вербы ў канцы грэблі,  
Што я насадзіла...

Голосок у нее был несмелый, слабый — казалось, он, кроткий, задумчиво-грустный, с неуместной жалобой-обидой, вот-вот потонет в новом взрыве смеха, но шли минуты, а он не тонул. Он, правда, и не крепчал, и некоторое время все молчали, как бы слушали — ждали, как бы не знали, где догадывались, о чем шумели-жаловались вербы. Внезапно жалоба, что на миг затихла, пропала в вечернем сумраке, зазвучала вновь, но уже сильнее, на многие голоса:

Няма таго міленькага,  
Што я налюбіла...

Ганна запела вместе со всеми, запела привычно, не думая слишком о словах песни, — давным-давно была знакома Ганне эта песня. Но не донела дивчина и первых слов, как ее внезапно потряс новый, неведомый дотоле смысл их, такой близкий, такой болючий:

Няма таго міленькага!

Разбуженная словами тоска, обида вновь ожили, горькой волной подступили к горлу...

Няма яго, дай не будзе,  
Паехаў ў Адэсу...

«Поехал... Повели в Юровичи...» Ганна, захлестнутая наплывом тоски, примолкла, сжала губы, слушала так,

словно бы это была и не песня вовсе, давняя, чужая, а ее скорбь, ее беда. Когда она печально присоединилась к остальным, показалось, что не поет она, как прежде, как все, а словно думает вслух, говорит сама с собою:

Плачце, вочы, плачце, кары,—  
Така ваша доля.  
Палюбіла казачэньку,  
Пры месяцы стоя...

В это время перед гурьбою девчат и хлопцев затемнело несколько фигур, и молодцеватый, не в меру радостный голос вклинился в песню, прервал ее.

— Кто тут кого полюбил?

«Корч приперся», — узнала Ганна и вдруг почувствовала, как взволнованно трепещет прижавшееся к ней Хадоськино плечо.

— Евхим! — счастливо прошептала Хадоська.

Второй из пришедших поздоровался деликатно, вежливо, и Ганна узнала Евхимова брата Степана, который учился в Юровичах в школе.

Степан скромно присел на бревно, а Евхим, наклонясь, вглядывался в лица девчат. Пощекотал одну, в шутку, звонко чмокнул, будто собирался поцеловать, другую, обошел, оглядел всех сидевших тут, остановился перед Хадоськой.

— А, Хадюля! Конопляночка! — промолвил весело, подсмеиваясь над веснушками, словно конопляное семя, усеявшими ее лицо.

— Какая есть! — нарочно неприступно ответила Хадоська, млея от ожидания.

Евхим спокойно, уверенно обнял ее за плечи и тут заметил рядом Ганну. Он выпустил Хадоську, произнес сдержанно:

— А, и Чернушка здесь! Пришла!

— Может, спроситься надо было?

— Спрашиваться нечего, места хватает! Не тесно!.. Только давно что-то не видать было!

— А тебе что, неймется?

— По правде сказать, не дюже. — Он захохотал.

Ганна, задетая этим недобрым, как ей показалось, смехом, почувствовала, что хлопцы и девчата умолкли и прислушиваются к ним. Евхим всюду вызывал к себе внимание: видный был парень, с норовом, уважали его и побаивались — немногие из девчат отваживались пере-

чить. Знали все, что и у Ганны — характер, не уступит. Молчали, ждали, что будет.

— А я тебя — дак с утра до вечера высматривала! — смиренно, с затаенным ехидством, сказала Ганна.

— Ну? Вот не знал! — в тон ей удивился Евхим.

— Жаль! Очень уж нужен был!..

— Неужто? Зачем?

— Воробьи навалились на жито, чтоб их немочь! Отпугивать было некому!

— А Дятлик — разве не мог? — поддел ее Евхим.

— Не боялись его! Чуб не тот!

Послышался придушенный смех кого-то из девчат. Угодила в точку Ганна! Лучше нельзя было угодить: Евхим своим чубом гордился, форсил, чуб был его священной мужской красой. И вот над этой красою — такое надругательство.

Евхим на миг словно онемел от этого оскорбления. Все ждали, что он взорвется злобной бранью, может быть, ударит Ганну, но он даже не шевельнулся.

— Времени, верно, у Дятлика не было, — сказал он, как мог, спокойно. — Он же все по ночам... То с девкой, то — еще с кем!..

Тут уж Ганна не сразу нашлась.

— Еще не известно, ты с кем... — услышали все как бы угроз.

— Я с такими, как он, не вожусь. Я — с людьми.

— Люди разные бывают!

— По загуменьям не хожу!

Евхим бросил последние слова так, что все поняли: ему наскучил этот нудный, ненужный разговор. Он опять весело обхватил руками Хадоську.

— Конопляночка! Мягкая ты, как булка Ёселева! — Евхим захохотал.

— Еще чего скажешь! — довольная, возразила Хадоська.

— Могу и еще сказать! Хочешь — скажу?

— Ну, что?

— Идем ко мне в амбар!

— Чего это? Сказал!

— Просо толочь!

Хлопцы засмеялись. Хадоська попыталась вырваться, но Евхим не отпустил, с добродушной укоризной сказал, что не надо же быть такой заносчивой. Уж и посмеяться нельзя — он ведь и не думал обижать ее, просто язык от

скуки почесать захотелось. Слушая его добрый, виноватый шепот, Хадоська перестала вырываться, смущенно опустила голову.

— Я страх как не люблю, когда вы... чешете языки... — тихо произнесла она. — Охота вам... паскудство всякое... говорить.

— Деликатная больно ты...

— Какая есть!..

Хадоська сняла его руку с плеч, но мягко, так, для прилику, потому что так надо было на людях, таков был обычай. Ганна чувствовала, что Хадоська опять успокоилась, опять сидит счастливая, с удивлением, с досадой думала: что она, добрая, ласковая «копопляночка», нашла в Корче этом — прямо млеет, когда он рядом! В нем же ничего привлекательного, богатство разве, отцом нажитое, сапоги хромовые со скрипом да зуб! В этот вечер, после стычки с Евхимом, Ганне даже его красота, уверенность, находчивость казались противными.

Посидев еще, сколько нужно было, чтобы злые языки не сказали, что она поддалась, убежала от Евхима, Ганна встала. Вспомнила, что говорила, когда пришла, спокойно обратилась к Хадоське:

— Видно, завтра уж поговорим. Я приду вечером...

— Ага. Приходи, Гапуля.

Ганна, хоть и не очень смотрела в ту сторону, где сидела подружка и противный Корч, заметила вдруг, как Евхим выпустил Хадоську, шевельнулся с каким-то намерением.

— Ты что ж одна?

— А мне и одной не плохо!

Она пошла нарочито не спеша, с достоинством. Уже отойдя, услышала, как он сказал вслед:

— Хлопцы, неужто никто не хочет проводить?..

Ей почудилась в словах его насмешка, хоть произнес он их удивленно и беспокойно. Потом Ганна услышала за собой поспешное хлюпанье сапог по грязи, — ее нагнали. Хотя она по-прежнему не смотрела на того, кто шел рядом, знала, чувствовала: это Евхим. Ганна насторожилась, приготовилась к отпору, к любой неожиданности, а он шел и шел, молчаливый, тихий, не добивался ничего, ничего не говорил. Ее, однако, это не успокаивало, она ждала, что он таит что-то непонятное, хитрое...

— Горячая ты, ей-богу! — вдруг произнес Евхим добродушно. — Норовистая! Слова тебе не скажи напротив!

Ганна не отвечала, шла строгая, неприступная, стараясь соблюсти достоинство, но сильнее заботы об этом было удивление: неужто Евхим так разговаривает с ней? Мягко, даже виновато?..

«Так он и с Хадоськой разговаривал! — напомнила она себе. — Говорит, прикидывается, а сам, может, смеется». Но напоминала она об этом напрасно, чувствовала, видела: Евхим не прикидывается.

— Нашла коса на камень! — усмехнулся он дружески. — Я и сам — как жеребец необъезженный! Мне — чтоб кто перечил? Да еще девка!.. Ну, и — окромя того: не могу ж я на людях показать, что я перед девкой... понимаешь? Ну, ниц, значит, перед девкой! Ничто, ноль! Уразумела?.. — Он искренне, от души засмеялся: — Смеяться надо мной будут все! Собаки по-за углами и те! Дошло?

Она поскользнулась и упала бы, вероятно, если б Евхим ловко не подхватил ее под локоть.

— Не падай! Грязь холодная! — пошутил он и послушно выпустил Ганнину руку.

Скоро пришлось идти друг за дружкой, вдоль самых заборов, ибо посредине улицы были глубокие, полные грязи ямы.

— Скорей бы замерзло, — промолвил Евхим, — хоть бы по улицам ходить можно было!.. — Он это сказал, чувствовала Ганна, только для того, чтобы завязать разговор, но она промолчала. Когда, наконец, можно стало идти рядом, Евхим нагнал ее. — Ну, не злись. Ей-богу, не злись!.. Ты ж сама вороньим пугалом меня выставила, а я, видишь, смеюсь!.. Ну, на мировую, а?

Евхим сам взял ее ладонь, пожал. Удивленная дружеским тоном его слов, неожиданной хорошей искренностью, она теперь не вырвала руки.

Когда дошли до Ганниных ворот, Евхим попросил ее постоять немного, но Ганна в ответ отступила на шаг, высвободила руку. Ее удивило, что и тут он не стал добиваться своего, пожелал спокойной ночи и, тихо посвистывая, пошел в темень грязной улицы.

Идя по двору, Ганна минуту думала о нем, думала удивленно, как о загадке. И в то время, когда в голове шевелились эти мысли, глаза ее выделили из темноты очертания изгороди, столбов. Там было пусто, тоскливо, как у свежей могилы. Грудь ее обожгло болью:

«Василь, Василь...»

Вечером, умывшись над ушатом, утираясь, отец сказал мачехе:

— Был Евхим Корчов... Молотить собираются... Сказал, чтоб просо отроби́ли...

— Уже ж отроби́ли... На косовицу, — отозвалась мачеха.

— Три дня отроби́ли. А два еще осталось...

Отец погладил потрескавшейся рукой редкие, от сиденья уже землистые волосы, утомленно сгорбившись, сел на лавку. Мачеха, вытаскивая из печи чугу́н, не удержалась:

— От Корч старый! Это ж пять дней за жменю!

— Жменя не жменя! — отец рассудительно отметил  
Не хотела, дак не брала б! Он не набивался!

— Не набивался! Кабы не надо было!..

— От то-то ж!

— Дак же сколько за жменю намаешься!

— Думаешь, другой дешевле дал бы! Эге, возьми!

Отец взял ломоть хлеба, стал нетерпеливо жевать: проголодался очень. Но мачехе уже не так легко было забыть про Корча. Думала она туго и была заядлая, упрямая, и уж если что втемяшится ей в голову, выйдет оттуда не скоро. Вот и теперь, наливая борщ из чугу́на в большую глиняную миску, она словно бы думала вслух о старом Глушаке:

— Не помолотил еще своего. Молотилку имеючи!..

— Свое никуда не денется. Заработать хотел. В Олешниках троим помолотил...

— Криворотому, говорят, день старался! — вспомнила Ганна, кладя на шесток наколотую лучину. Огонь, что едва освещал хату красным, мигающим светом, готов был вот-вот погаснуть, и она подложила в него смолистый сук.

— Какому Криворотому? — любопытствовал, словно не веря, отец.

— Тому, что в сельсовете за председателя...

— Ну, на этом не очень поживится!

— Не поживится? — ехидно отозвалась мачеха. — Эге, стал бы он задаром стараться!

— Почему ты думаешь, что задаром! Тебе кто сказал, что задаром? — Отец посмотрел на Ганну, будто ожидая, что она подтвердит его слова.

— А хоть бы никто и не сказал, что задаром, — упрямо глянула мачеха, — я все одно знаю, что не взял он грóшей,

Корч! Не взял, хай мне хоть руку отрубят!..— Она поставила на черный, без скатерти, выщербленный от старости стол миску, одну на всех, села рядом с отцом.

Отец взял щербатую деревянную ложку, такую же черную, как и стол, произнес примирительно:

— Не взял, не взял... Охота тебе трепаться, грэц его...

— Бо знаю, что не взял! От увидишь!.. Тут своя выгода! Начальство!.. Я — тебе, ты — мне... Я тебе помогу, а ты меня отдаришь по-своему. Подать там сбавишь или еще что...

— Я тебе, ты — мне! Теперь это не так просто, в сельсовете... не при царе...

— Если при царе оно было, то теперь и говорить нечего!

— Хитрый, хорь!— сказала Ганна, чувствуя, что мачеха, вероятно, не ошибается в своих догадках о старом Глушаке.

— Ага!— сразу откликнулась мачеха и, как обычно, не удержалась от того, чтобы одновременно не попрекнуть и мужа:

— Этот своего не упустит.

За тем, что она сказала, слышалось еще: «Не то, что ты».

Отец не ответил на этот явный выпад, и разговор оборвался. Теперь слышно было только дружное усердное прихлебывание, треск и шипение горящего сука, от которого хата наполнялась дымом и запахом смолы, смешивающимся с запахом грибного борща. Свет от камелька не мог тут никак совладать с красноватым сумраком, то чуть слабевшим, отступавшим, то вновь надвигавшимся так, что приходилось напрягать зрение, чтобы видеть, что зачерпываешь из миски, что в ложке несешь. Может, потому такими серьезными, озабоченными были лица у Чернушек, даже у Хведьки, который, сидя между отцом и Ганной, с трудом дотягивался ложкой до миски. Вместе с озабоченностью на лицах была видна усталость, какая-то покорность — словно бы ужин был не радостью, не вознаграждением, а тоже обязанностью, работой. Один только Хведька сидел беспокойно, ел торопясь, все вытягивал шею, старался увидеть, что там в миске, нельзя ли подцепить грибка,— но, наученный немалым опытом, тут же опасливо поглядывал на мать и под ее строгим взглядом притихал...



От смутного, тоскливого света все в хате казалось тоскливым, суровым, даже святые с образов в углу смотрели из-под рушников так, словно грозились страшным судом.

Вытащив из миски ложку, Хведька уже намеревался поднести ее ко рту, когда в глазах его мелькнуло любопытство. Он минуту разглядывал содержимое ложки, потом сказал удовлетворенно:

— Прусак!..

— Цыц ты за столом! — прикрикнула было Ганна, думая, что он шутит: Хведька уже не однажды потешался над ее брезгливостью.

Но сегодня он не смеялся: в ложке, и правда, был вареный прусак.

— Ввалился, — спокойно произнесла мачеха и приказала Хведьке: — Вынеси, вылей в ушат! — Когда Хведька вылез из-за стола, умышленно держа ложку с прусаком поближе к Ганне, мачеха сказала безнадежно: — Развелось погани этой! Надясь ночью встала, подпалила лучину, они по подприпеку — шась, что войско какое!..

— То-то я гляжу — борщ нынче вкусный, — попробовал отец перевести разговор на шутку. — Вроде бы с салом!

— Скажете, ей-богу! — попрекнула Ганна, вставая из-за стола. Она уже не могла есть. Отца это повеселило.

— Хранцузы — те жаб едят! Живых, не то что вареных!.. Едят да еще спасибо говорят! Им жаба — что утка!

— Жаб? Тыфу ты! — брезгливо скривилась мачеха. — Нехристи, верно?

— Нехристи...

Ганна уже надела жакетку, собралась идти, когда отец, скручивая сигарку, напомнил о начале разговора.

— Дак Корч просил, чтоб из женщин кто пришел. Или ты, старая, или, может, Ганна.

— Нехай Ганна... — мачеха собрала со стола, подалась в угол, где стояла посуда. Отец согласно кивнул, считая, что разговор кончен.

Но Ганна стояла у порога.

— А может, лучше мне тут, при хате остаться?

— Чего это?

— Так... Неладно мне к Корчам...

Она заметила, что отец ждет, чтобы она объяснила, почему ей неладно идти, и почувствовала — тяжело договаривать. Как тут расскажешь — при мачехе — про вчерашнее ухаживание Евхима, от которого осталось в душе

чувство какого-то опасения, да вина перед Василем. Она позволила ему, этому Корчу, идти рядом, позволила держать свою руку, словно обнадежила...

Мачеха возмущенно посмотрела на Ганну, потом на отца, ожидая поддержки.

— Вот ведь!.. Она не пойдет! — не выдержала старуха, не дождавшись Тимоховой поддержки. — Хай матка старая пойдет! Ей неладно, видите, не по нраву ей!

Чернушка поморщился от этих слов, добродушно, сочувственно сказал:

— Надо идти, Гануля... И так этот долг — что чирей...

— Разве ж она понимает!

Ганна знала, что противиться дальше не было смысла: мачеха все равно не отступится. Чтобы кончить разговор, произнесла, как могла, кротко:

— Ну, хай уже! Пойду, коли вам так страшно...

На дворе тихо сеялся невидимый дождик. Он шел с прошлой ночи почти непрерывно, то дробный, то спорый, и на улице еще днем было столько страшной, липкой грязи, что ни один куреневец не отваживался сюда сунуться. Люди ходили теперь только мокрыми огородами да по загуменью. Два ряда хат были оторваны друг от друга, да можно сказать, что обособлены были и многие хаты: кому охота лезть в такую мокредь без большой надобности?..

Сейчас, в темноте, было еще страшней. Вся деревня, старые и малые, женщины и мужчины теснились ближе к очагам, к дымным огням на припечках, хоронились, дремали в темных, душных своих норах. Молчали коровы, не блеяли нигде овцы, не перебрехивались собаки, хоть бы единый звук дошел от близкого леса, с болот — тишина, тягостная, черная, стыла в беззвучном сееве дождя над селом, над вспученной бесконечной трясиной, над всем светом...

«Ну и тьма! Хоть глаз коли! — подумала Ганна, поднимая воротничок жакетки. — Чисто — всемирный потоп!» Она осторожно, чтобы не поскользнуться, шагнула с крыльца в темноту.

Вскоре Ганна уже сидела возле Хадоськи при свете пылающей, чадающей лучины. «Конопляночка», склонив головку с золотистым пушком надо лбом и возле уха, по-

детски выпятив губы, старательно вязала рукавицу. Тут же у печурки, пододвинув к огню услон, на котором торчала прялка с бороною кудели, сидела и мать, тетка Авдотья. Мать пряла, отставив руку, тянула и тянула пальцами из «борода» на прялке кудель, ловко свивая ее в нитку. Нитка все удлинялась, бежала и бежала на веретено, крутившееся, прыгавшее в ее руках, словно выплывавшее чудесную польку.

Хадоськин отец Игнат, чернявый, седоватый, всклокоченный, горбился в стороне, время от времени покрикивая на жену, которая, меняя положение, заслоняла ему свет, — чтобы отодвинулась.

— Да тихо ты, старое веретено! — разозлился он.

Жена отодвинулась, примирительно сказала:

— Что ты все бурчишь, старый лапоть? Ровно, скажи ты, иголки собирает.

— Иголки не иголки, а и на лапоть вроде свету надобно...

Он возился с отшлифованным остроносым кочедыком и полосками лозового лыка — плел лапти.

Дети, две Хадоськины сестрички и брат, сидели на печи, галдели о чем-то, спорили, но как только в спор вмешивался снизу грозный голос отца, моментально утихали...

Можно сказать, одна Ганна здесь была без работы, и она жалела, что не взяла ниток: могла бы тоже не терять времени, повязать. Ганна и Хадоська разговаривали мало, новостей ни важных, ни мелких не было, говорить тут о сердечных делах, о Василе нельзя было, и они больше молчали. Ганна то наблюдала за тем, как Хадоська вяжет, как тетка Авдотья прядет, то пробовала пряжу, хвалила, то смотрела на них самих, сравнивала. Они были очень похожи, «конопляночка» и мать. Обе низкорослые, с короткими ловкими руками, гладкие, мягкие. «Как булки», — вспомнилось вдруг сказанное о Хадоське Евхимом. У обеих на лицах, тоже мягких, светлых, одинаково светила доброта, только у Хадоськи лицо было более ясным, открытым. И доверчивости было больше в ее глазах, и коса была гуще, чудесная, русая, с отблеском золота коса, лежавшая на плече... И какая-то радость, затаенная, большая, которую ей тяжело сдерживать. Что за радость?..

— Ой, Гануля, если б ты знала!.. — наклонясь вдруг к Ганнинному уху, прошептала Хадоська: — Я завтра иду к нему!.. Молотить!..

Ганна прижалась к подруге, но не обрадованная, а удивленная.

— Я ж — тоже!.. Отробить долг надо!

— Ну, и нам — долг. Да это все одно! Он хотел, чтоб пришла я! Так и сказал!..

— От и добро! Будем вдвоем! — спокойно ответила Ганна.

— Что это вы там шепчетесь? — незлобиво, добродушно попрекнула тетка Авдотья. — Ой, чую, про кавалеров: то-то вон моя такая веселая, глаза — что угольки...

— Скажете вы, мамо!

— А что ж, девка вроде бы в соку, — отозвался отец. — Только вот женихов что-то нема.

— Будут! Дай выровняться! Яблоко ж еще горькое, зеленое. Вырастет — отбою не будет, чую.

— Скажете! — Хадоська ласково потрепала мать по руке, приказывая молчать...

Возвращалась Ганна домой той же скользкой дорожкой через мокрые огороды, через городьбу, под тем же бесконечным дождем. В черноте ночи думала о Хадоськиной радости, об Евхимовом уходе за обеими. «Гляди ты, Корч, какой прыткий: сразу в двух метит!» — невольно подумалось ей, но мысль эту тут же сменило рассуждение: с чего это она взяла, что Корч метит и в нее? Поплелся один раз следом — не иначе, посмотреть хотел, какая она вблизи, та ли, за которую себя выдает. Подступиться попробовал, словно бы по-доброму, чтоб посмеяться после, а она, недотепа, поверила, что он по правде все говорит. Растерялась, как маленькая, руку вырвать из его руки забыла, язык прикусила! А он, может, вернулся да смеяться стал над ней, доверчивой дурехой. И завтра смеяться будет!..

И все же, несмотря на эти мысли, она относилась к работе своей у Корчей без особой тревоги. Что ей до того, что случилось в тот вечер, разве она не может держаться с Корчем так, будто никакого разговора у них и не было! Будто она его не знает и знать не хочет! А если нужно будет, если он осмеять захочет, разве она не найдет, что сказать! Не посмотрит на то, что Корчов сынок!

Да к тому ж она будет не одна, а с Хадоськой — это уже само по себе меняет многое. «Чудачка, как она радуется, что будет работать у своего Евхима, — словно бы не на работу, а на праздник собирается!» — подумала Ганна, перелезая через мокрый холодный плетень, за которым был уже родной двор.

Дома все давно спали, на ее приход никто не отозвался. Она ощупью, опасливо выставив вперед руки, дошла на цыпочках до своей кровати в углу у окна, где слышалось безмятежное дыхание Хведьки, торопливо скинула кофту, юбку и нырнула под одеяло...

На другой день Хадоська забежала к Ганне, когда было еще сумеречно.

Ганна, которая только вставала из-за стола, быстро надела старую домотканую поддевку, и через минуту они шли уже по двору. Было уже довольно светло, кругом в холодной серизне хорошо очерчивались деревья поодаль, хлевы, гумна. Дождя уже не было, только мутные капли на жердях, на скрученной листве напоминали о нем.

В колеях на загуменье, которым они шли, всюду холодно белела вода, тут и там разливались лужи. Вода в утренней серизне казалась густой и тяжелой, как олово.

Большое, только в прошлом году построенное гумно, ровная крыша которого еще нигде не зеленела мхом, а стены только начали чернеть, было открыто. Девчатам подумалось, что Корч, верно, давно их ждет, и они невольно заторопились. Когда подошли к гумну, оттуда как раз появился Халимон Глушак, маленький, сухонький, такой дробный в сравнении со своей, самой большой в Куренях постройкой.

Он бросил на девчат острый взгляд хорька, ответил на приветствие и мелкой, по-стариковски осторожной походкой, волоча ноги, подался к приводу. «Плетется, словно чуть живой, — подумала Ганна, глядя вслед ему. — Дунет ветер — и, кажется, полетит, будто песчинка, рассыплется, как гнилушка». Она смотрела, хоть не первый раз видела, дивилась: знала, что, верно, такого ветра и нет на свете, который мог бы не то чтобы с земли его сорвать, хоть бы с ног сбить!..

У Корча в руке была масленка. Он наклонился над приводом, там, где был кулачок возле приводной шестерни, ткнулся носом почти вплоты, осмотрел, подлил масла, согнулся над шестерней. Делал он все это не торопясь, степенно, даже торжественно, с каким-то набожным видом, с каким, верно, и в церкви на молитве не стоял.

Когда Халимон, стоя на коленках, сгорбившись, что-то рассматривал в шестерне, подошел его сын Степан, попросил:

— Тато, дайте я осматрю!..

Старик даже не шелохнулся, не сказал и слова. Такая привычка у него была: ничего важного никому не доверял, даже сыновьям, делал сам. А тут же было не что-нибудь; не мелочь, тут было его богатство, его гордость — конная молотилка. Халимон больше всего дорожил новым гумном и купленной в Мозыре молотилкой. Но гумно все-таки было гумном, и у других есть гумна, пусть и похуже, а молотилка — вещь, какая тут у него одного на всю округу. Ни у кого здесь, пройди села на десятки верст среди этих болот и кустарников, не найдется такого. Такое когда-то не у всякого помещика водилось, а вот — попало к нему в гумно...

Степан с минуту, для виду, постоял возле отца, посмотрел на его работу, подошел к девочкам.

— Все ему самому хочется... — сказал он вежливо, лишь бы не молчать. — Будто я хуже сделаю.

Степан выглядел бледным, болезненным. «С науки, верно», — подумала Ганна. Он, было видно, хотел держаться с ними как взрослый, кавалер. Не только Хадоське, но и Ганне это нравилось. «Не гребует, значит...» Как-никак, он был в селе самый ученый, можно сказать, городской человек.

— Надолго до нас? — спросила Ганна, отвечая вежливостью на вежливость.

— Да óт батько сказал — пока не управимся...

— Оно, конечно, не до ученья, коли дома неуправка...

— Конечно, — поддержала разговор и Хадоська, все время поглядывавшая то на ворота гумна, то на двор.

— Ты, говорили, у Еселя живешь, который булками торгуешь?

— У Еселя. С Ароном вдвоем. Там закуток есть такой, что как поставили койки, так и совсем не разминуться...

— А как он к тебе, Есель? Не обижает?

— Не-а. Батько ж платит за меня. Он, Есель, — засмеялся Степан, — добрый ко всем, кто дает заработать... Надьсы мех пшеницы завезли...

— А не нудно там, на чужбине? Одному без матери?

— Теперь не-а. А поначалу, как меньше был, и без привычки, томился. Просто субботы дожидаться не мог, чтоб домой бечь.

Ганна взглянула на его болезненно бледное лицо, произнесла сочувственно:

— Трудно, должно быть, учиться? Сухота одна.

— Не-а. Мне не трудно. Мне легко дается. Особенно — письмо. По письму я самый первый в классе... Только арихметика подводит.

— Какая карых... метика? — оторвала взгляд от двора Хадоська.

— Ну, задачи. Сложенье, деленье...

Мимо них назад в гумно прошаркал сапогами старик с масленкой, коротко, но остро, пронзительно глянул на сына, и все примолкли.

— Значит, жить там — непогано?

— Не-а. Можно жить. Одно только — косо смотрят некоторые...

— Почему?

— Из богатеев, мол. — Он покраснел, добавил жестко: — Кулацкий сынок!

Хадоська сочувственно вздохнула, но сказать ничего утешающего не успела, ибо увидела, что по дороге от хлебов появился Евхим, а за ним рябоватый хлопец Иван, батрачивший у Глушаков, — вели лошадей. Евхим шел первым, держа гладкого, огненной масти коня на коротком поводу, сам такой же гладкий, сильный, как конь...

— А что мне, нужно его, это богатство? — взволнованно, с неожиданной обидой промолвил Степан. — Что, я его наживал? Да по мне что оно есть, что его нема...

— Не скажи!..

Евхим был уже совсем близко. Ганна, и не глядя в его сторону, слышала, как он подходит, слышала его шаги, фыркание лошади и все больше настораживалась. Опять вспомнился тот вечер, его провожанье, но неловкости такой, как прежде, уже не было, сильнее всего была настроженность...

Евхим, поравнявшись с ними, сильной рукой придержал непослушную лошадь, весело поздоровался. Свободную руку протянул сперва Хадоське, которая при этом сразу покраснела, потом Ганне. Он и вида не подал, что между ним и Ганной что-то было.

Евхим остановился только на минуту, сразу же повел коня к приводу. Когда он запрягал гнедого, из ворот вышел старик, окинул глазками хмурое небо:

— Матка когда ж будет?

— Собиралась уже...

— Обедать пора будет, пока соберется!..

Халимон говорил тихо, ровно, но Ганна почувствовала, что он очень недоволен. Старый Глушак, в Куренях все

знали, любил порядок, дисциплину и умел сдерживаться. Никогда не повышал голос.

— Покличь! — тихо бросил старик Степану.

Но мать уже шла сама. Увидев старика, стоявшего и глядевшего на нее, догадалась, видно, что запоздала, сразу заторопилась, пустилась рысцей. Корч же как стоял, так и стоял, смотрел ей навстречу, ждал, до тех пор, пока она не подошла.

— Будешь со Степаном коней гонять, — сказал Халимон тоном приказа. Он мельком глянул на Степана и, не дожидаясь согласия сына и жены, обернулся к Хадоське и Ганне.

— А вы — к молотилке. В гумно.

Девчата послушно пошли за ним. Глушаково гумно показалось им не в меру светлым — и ток очень уж гладкий, чистенько подметенный, и смолистые новые плахи будто вымытые. Аккуратно обтесанные дубовые сохи аж поблескивали, а стреха снизу словно сияла: желтенький решетник, желтенькая солома. Половина гумна была просторная, пустая, в закутке у стены лежала только куча соломы — другую половину тесно, чуть не до самого конька кровли, наполняли ровные ряды снопов. Но самым важным, что особенно привлекало внимание, что, может быть, придавало гумну праздничность, — было маленькое ярко-красное чудо на току — молотилка...

«Красная, что чирей», — подумалось Ганне вдруг.

Старик взял в углу у ворот вилы, подал Хадоське, сказал, что она будет с Иваном отгребать солому, а Ганне кивнул головой наверх.

— Полезешь туда!.. Подавать снопы...

— Не боишься? — весело, сочувственно откликнулся Евхим.

— Чего?

— Высоко! Голова не закружилась бы!

Он захохотал и враз оборвал смех, перехватив строгий отцов взгляд.

— Не на посиделки званы... — промолвил Халимон.

Евхим покорно промолчал, показывая сыновнюю послушность.

— Лестницу принеси!

Евхим метнулся во двор. Приставляя лестницу к снопам, повел глазом на отца и, увидев, что тот отвернулся, по-приятельски подмигнул Ганне: не бойся, мол!..



— Подержи маленько, — попросила Ганна подружку. — Не убиться бы мне ненароком!

Лестничка едва доставала до верху и стояла круто. Казалось, вот-вот оторвется от снопов, станет на миг ровно и полетит назад, и Ганна полетит спиной на острую отгородку из плашек. Внутри у нее холодело, но надо было лезть и лезть, не медлить, ибо там, внизу, ждал старый Корч.

Едва она с облегчением стала на снопы возле сохи, рябоватый работник подал ей вилы, наклонив, взвалил на плечо лестницу, Глушак крикнул от привода начинать, и молотилка легко и звонко затарахтела. Ганна заспешила, подцепила за перевясло первый сноп, напрягая руки, подняла и опустила вниз к мостку, где стоял рядом с отцом Евхим. Вилы, однако, не доставали до мостка, и сноп пришлось скинуть Евхиму на руки.

Евхим, подхватив сноп, мигом развязал его, подвинул по мостку к отцу, тот взял его, привычно разровнял и пучком пустил под барабан. Ошалело вертевшийся барабан жадно ухватил жито, замолотил по нему, удовлетворенно надрываясь, засвистал, завыл.

С этого момента Глушаково гумно было полно гула, лязга, пыли, которая разлеталась к стенам, подымалась до Ганны, под щипец крыши, вырывалась куда-то в распахнутые ворота, в щели. Ганна сноп за снопом цепляла на вилы, взвешивала, бросала Евхиму, тот ловко подхватывал их и клал на мосток. Глаза их время от времени встречались, Евхим подстерегал ее взглядом, которого трудно, невозможно было избежать. Было в его глазах нечто такое, что напоминало о том вечере, от чего ей снова становилось не по себе, тревожно. Она старалась показать, что не замечает и не понимает этого взгляда, помнит теперь только об одном, кто она и для чего здесь — работница, батрачка.

Барабан, что выл и выл ошалело, ненасытно, словно бы напоминал Ганне о ее обязанности, не давал забыться. Не до посторонних мыслей было, не до рассуждений, надо было выбирать снопы, подцеплять так, чтоб не спадали с вил, расчетливо кидать вниз.

Вот один сноп, едва приподняла его на вилах, стал разлазиться, разъезжаться, верно, перевясло было непрочное или раскрутилось. Она поспешно опустила сноп, принялась связывать его. Глянув вниз, заметила, что старик уже ждет, нетерпеливо, недовольно...

Когда брала снопы близко, под руками, можно было и не торопиться особенно, передохнуть с минуту. Снопы же, однако, лежали не только поблизости. Были и дальше и, можно сказать, далеко, где-нибудь в дальнем углу, тут уж нельзя было не гнать, не торопиться. Пока донесешь, держа на вилах, стараясь не поскользнуться, не споткнуться, не вывихнуть ноги, — ходить по снопам — не то, что по земле — еле управисься ко времени. Походила, побегала так — дышать начала часто, запыхалась, руки, ноги, спина налились тяжестью...

Но она словно бы и не замечала усталости: не в новость это. Все заботы, все мысли были — не опаздывать, поспевать; ее взяли работать, а работать — это не забавляться, не радоваться. Работа — это: пот плывет на глаза, шею, спина чугунеет, руки ломит с натуги, а ты не смотри ни на что, подхватывай сноп под перевясло, бросай на мосток. Затем Корч и позвал, а Корч не любит, чтоб делали абы-как, лишь бы отбыть. Работать — это работать, мучиться. В этой муке живет одно лишь терпеливое, тупое, сладкое, как мечта, желание: когда-нибудь должно же это кончиться, этот лязг, гул, эта гонка, и можно будет разогнуться хорошенько и постоять, и отдаться радости покоя. Только когда то будет — неведомо, одно знает — не скоро, не скоро...

Гудит, гремит гумно, пыль кружится, встает до кровли.

Сноп, еще один... Еще один... Еще...

Когда старик махнул ей, что подавать уже не надо, она едва стояла. Ноги подгибались, руки изнеможенно дрожали, хотелось свалиться и ничего не видеть, не слышать. Как сквозь сон дошло до нее, что барабан гудит уже снова звонко, пусто — не молотит. Внезапно он и вовсе смолк, гумно словно омертвело, слышались только голоса за стеной...

— Покорми коней! — сказал старый Глушак своим ровным, сипловатым голоском Евхиму, потом поднял глаза на Ганну. — А ты — слазь да, пока чего, солому отгрести помоги...

На дворе было уже не так пасмурно, как утром, сквозь тучи готово было вот-вот прорваться солнце; после сумрака и пыли в гумне Ганна даже зажмурилась от яркого, казалось, света. Густой, но несильный ветер тронул вспотевшее лицо свежестью, прогнал по спине, по рукам бодрый холодок, и ей стало легче.

Почти сразу же вслед вышел и старый Глушак. Запыленный, с соломинкой в широкой, коротко подстриженной рыжей бороде, посмотрел на стог соломы, поморщился:

— Репа, расселась... Утоптать надо! — Он заметил, что Хадоська хотела что-то сказать, видимо, оправдаться, упрямил: — Пока Иван не вернется!..

Иван с Евхимом повели поить коней. Хадоська заторопилась, покорно успокаивая:

— Зараз, зараз, дядечка!..

Халимон не сказал больше ничего, тихой, мелкой походочкой подался к приводу, наклонился над приводным колесом, что-то стал рассматривать...

Утапывая с Хадоськой стог, Ганна видела, как вернулись из хаты старая Глушачиха, неся чугунок, прикрытый тряпицей, и Степан с лозовым коробом за плечами. У гумна лежало почерневшее бревно, старуха поставила возле чугунок, взяла у Степана короб, стала выкладывать на бревно хлеб, нож, ложки. Приготовив все это, глянула на мужа, возившегося около привода, но не позвала, села на бревно, стала ждать. Лишь когда Халимон подошел сам, взялась резать хлеб, засуетилась:

— Степанко!.. Где ты подевался?.. Обедать иди! Батько сидит, дожидается!.. Девки! И вы — слазьте уж!.. Посёрбуйте борщику!..

Когда все сошлись, расселись, где кому привелось, — не только Ганна и Хадоська, чужие, но и Степан, и старуха, с опаскою, чинно, — старый Глушак помедлил, как бы давая всем почувствовать значительность момента, перекрестился.

— Дай боже!

Он взял ложку, зачерпнул из чугуна, хориными глазами обвел всех сидящих. Все крестились, брались за ложки, так же сдержанно, степенно, как старый Глушак, словно старались походить на него. На Хадоськином лице Ганна увидела зачарованность и страх. «Все одно как не Корч старый, а царь перед ней!» — невольно улыбнулась Ганна, но улыбка сразу же погасла: старик так глянул, будто услышал ее. «Ровно, скажи ты, читает внутри!» — мелькнуло у нее в голове.

Обед оказался невкусным и долгим, и она обрадовалась, когда Глушак поднялся: слава богу, кончилось. Отойдя немного с Хадоськой, услышала, как Глушачиха, собирая ложки, пожаловалась старику:

— Намаялась я за конем!.. — В голосе ее послышалась робкая просьба: — Хай бы, може, кто молодеjšíй?..

— Возле молотилки расторопность нужна! — промолвил Халимон строго. Он помолчал. — Ну, нехай... Будешь солому откидать...

Глушак позвал Хадоську, приказал становиться к лошадям. Их как раз привели со двора, и старик сам пошел к ним. Ганна слышала, как он спрашивал, хорошо ли накормили, напоили, видела, как взял ногу у гнедого, пощупал под копытом. Затем он повел работника к бревну, подsunул ему чугун, дал хлеба и молча ждал, пока тот торопясь жевал и прихлебывал.

Ганна не стала ждать Глушаковой команды, пошла сама в гумно, хотела полежать на снопах в затишке. Но когда вошла, заметила, что кто-то шел следом. Это был Евхим.

— Утомилась?

— Может быть...

— Я сам запарился... Батька может запарить любого... — Евхим кивнул на снопы, из-за которых уже выглядывали верхние два ряда бревен: — Полезешь? Хочешь — пособию?

— Обойдусь!..

Она ждала, что он отойдет, но Евхим словно бы не понимал или нарочно хотел смутить, посмеяться. Ганна постояла и вдруг рассердилась: что ж, пусть стоит, пусть смотрит! Ухватила, просунув пальцы в щель, одной рукою за бревно, другой — за сноп, оперлась ногами о бревно и снопы, стараясь прижимать юбку, вскарабкалась наверх. Уже на снопах оглянулась, перехватила его горячий жадный взгляд.

Но сказать ничего не успела: в гумно входил старик...

## 5

До вечера смолотили все: что значит молотилка — столько ржи за один день умять! На второй день до самого вечера крутили веялку, ссыпали чистое зерно в мешки, отгребали мякину. Корч работал вместе со всеми, и сам минутки не постоял, и другим стоять не дал.

Евхим был тут же, возле веялки. Был он, казалось, таким же, как всегда, и работал, как все. Но если бы кто мог заглянуть ему в душу, то увидел бы, что не рожь, не веялка, иное совсем интересуется и тревожит его. Где бы он ни был, что бы ни делал, он чувствовал, видел одну Ганну.

Он хорошо знал, что не влюблен. Евхим даже с презрением думал о ней. «Было бы про что думать, по чем сохнуть! Девка была бы хоть какая особенная. А то ж груди как груди, ноги как ноги... Грудь — даже мелкие, как яблоки. И ноги тонковатые, квелые...» И досадно было думать, что из-за этих дурацких ног заснуть не мог полночи, видел все их, смуглую упругую лодыжку, голое колено. Лучше б не смотрел, когда она лезла на снопы.

«И так собою не очень видная — мелкота. Смотреть не на что. И лицо — худое, скулы торчат... Только и красы, что язык как бритва!..» Однако сколько ни осуждал ее сам с собой, сколько ни хаял, не помогало это — точно опоенный зельем, думал и думал о ней, следил за ней беспокойным взглядом.

«А чего — дело молодое!.. Наше дело — не рожать!» — засмеялся он, довольный таким простым, ясным объяснением. Евхим был груб по натуре, склонен к цинизму, который он считал обязательным проявлением настоящего мужского характера. При всем том вывод его был близок к правде: Евхим тогда и сам не верил в серьезность своей привязанности к Ганне...

Старый Глушак заметил его взгляды, осторожное, словно невзначай, ухаживание за Ганной, отвел Евхима за угол гумна и стукнул по голове лопаткой.

— За что?

— Чтоб не делал, чего не надо! Жеребец ты дурной!

— Уже и посмеяться с девками не можно!..

— Не для того званы! — отрезал батька и прибавил с упреком: — Нашел кого!

Глушак усладал сына с гумна, подальше от девчат, и Евхим тут весь день больше не показывался. Но вечером, когда старик повез в амбар последний мешок, когда на гуменишке остались только Хадоська и Ганна, которым Халимон велел подгрести, прибрать все, Евхим появился опять.

— Ой! — увидев его в полутьме, обрадовалась Хадоська.

Ганна встретила ядовитой усмешкой:

— Где это пропадал так долго?

— Работку дал старик, — ответил неопределенно Евхим. И чтобы изменить опасное направление разговора, неприятные расспросы, полюбопытствовал:

— Ну, а вы как тут?

— Слава богу, — ответила Ганна, — не скучали сами!

Хадоська тихо, с укоризной дернула ее за рукав. Евхим же, словно не расслышал, не понял насмешки, постоял, повел глазами по гуменнику, промолвил спокойно:

— Темно уже!.. Можно и кончать!.. — Он вдруг попросил: — Знаешь что, Хадоська, иди в амбар, может, там батьке что надо помочь. А ты, — кивнул Евхим Ганне, — догреби до стога, да и домой...

Но как только исчезла Хадоська, он подошел к Ганне, стал перед нею.

— Злая ж ты! — Евхим помолчал, ждал, что она скажет. Ганна не сказала ничего. — Ты — век такая?

Он говорил весело, хотел доброй беседы.

— А тебе не все одно? — Ганна шевельнула граблями, словно просила отойти, не мешать.

— Кабы все одно, то не спрашивал бы.

— Дак не скажу!

— Горячая ты, может быть? — Он взял Ганнину руку, как в тот вечер, но она спокойно, твердо отняла ее.

— Может быть... Да отошел бы ты, грести не даешь...

— Управишься!.. Горячая, значит!..

— Для кого как!

— Для кого — как печка, для кого — лед?

— Угадал! Догадливый!..

— А для меня — как?

— Для тебя? По правде, не думала никогда... Верно, для тебя — никак!

— Как это? Ни то ни се? Средне?

— А так. Ты для меня, что куколь в борозде. Что ты есть, что нет тебя — одно.

— Потому — не знаешь!.. Ты все про Дятлика своего думаешь. Тоже — кавалера нашла!

— Какой есть, был бы по душе.

— Попусту сохнешь! Теперь он не скоро выберется! За такие штучки мало не дают! Бандитизм! За это так упекут, что и света белого не взвидишь!.. Вот птица: такой с виду ручной, тише воды, ниже травы, а гляди — с бандюками снюхался!

Ганна оборвала — досадил все же ей:

— Не радуйся чужой беде!

Евхим сообразил, что перехватил, промахнулся, попытался поправиться:

— Я не радуюсь. Жалко просто тебя.

— А ты не жалеи. Не с чего!

— Я человек не злой. Сочувственный... Особливо к девкам!.. — Он старался, как мог, шуткой загладить ошибку, одолеть ее неприязненность, ставшую такой колючей. — Тут время такое. Покою матка не дает! Женись да женись!.. Вот я и приглядываюсь!

— Коли так, то не туда глядишь. Не высмотришь тут ничего... В другую сторону глядел бы. Хадоська вон ночей не спит!

— Хадоська...

— Любит, дуреха! За что только, не смекну?!

— Хадоська... Что — Хадоська? Вода — вкусу никакого!.. Вот ты, ты, по-моему, — со вкусом!

— Дак она ж в сто раз лучше тебя!

— Ты, по-моему, — не слушал ее Евхим, — как самогонка! Первач! — Евхим внезапно схватил ее за руку, Ганна попыталась вырваться. — Не вырывайся!.. У, а видно таки — горячая!

— Пусти!

Ганна резко крунула руку и вырвалась. Но в то же мгновение, оттолкнув грабли, которые она держала меж им и собой, Евхим обхватил ее обеими руками, стиснул так, что захолонуло дух. От волос ее пахло ветром, соломой, чем-то таким приманчивым, женским, что в голове его помутилось. Он чувствовал тугие груди ее, живот, твердые колени, все тело его наполнилось нетерпеливой горячей жаждой, пьянящей, жгучей, отуманивающей сознание.

— Пусти! Чуешь?! Ой, больно!.. Не тисни, ой!.. — рвалась она, непреклонная, гневная, все еще держа грабли.

Ее глаза были близко, были хорошо видны в потемках — непокорные, диковатые, как у птицы, что рвется из силка. И плечи, и руки, и ноги ее — вся она была налита сопротивлением, но он не обращал на это внимания.

— Пусти, слышишь?! Отойди!..

— От, нетерпеливая!.. — попробовал он пошутить. — Потерпи уж... маленько...

— Пусти! Закричу!.. Ей-богу, крикну!..

Он не ответил. Не мог говорить, ловил, ловил ее рот, а она не давалась, отворачивалась: перед ним был то висок, то растрепанная голова с платком, сдвинутым назад. Евхим, однако, не отступался, все сильнее сжимал девушку, и не было, казалось, такой силы, что разорвала бы это объятие.

И вдруг у Ганны вырвалось испуганное, как молния ударившее:

— Батько!!!

Евхим сразу выпустил ее, отскочил. Тревожно оглянулся: сперва на дорогу к амбару, туда, откуда отец мог появиться, но там не было никого, тогда он бросил взгляд в сторону, на соседское гумно, на загуменье. Не видать никого... Евхим невольно глянул на нее, как бы прося помочь, увидел — она уже стоит поодаль, поправляет волосы и платочек.

— Не ищи! Нема его!.. — насмешливо промолвила она.

Он с досады даже выругался:

— Т-ты, черт! — но тут же почувствовал, что обнаружить злость свою — значит, уронить совсем мужское достоинство, стать просто ничтожным. Попробовал засмеяться: — А я — поверил! Ловко ты... выдумываешь!..

«Так одурачила! Так в лужу плюхнула, подлая!.. Дурак!»

— Пугливый же ты, оказывается!

От этой издевки он готов был ринуться на нее, как разгневанный зверь, но она подняла грабли, угрожающе предупредила:

— Подойди только!

Евхим приостановился, словно раздумывая. А думать было трудно: сердце бешено колотилось, в виски била кровь, в голове стоял тяжелый туман. Она же, хитрая, не теряла времени даром, использовала заминку: заметила чью-то тень неподалеку, на загуменье, крикнула:

— Тетка Алена, это вы?

Тень остановилась, присматриваясь.

— Это я, Авдотья, — узнали оба голос вдовы Сороки. — А то ты, Ганна?

— Ага...

— Передать, может, чего Алене?

— Не-е. Сама уж скажу...

Евхим, слушая, кипел весь: и это было издевкой над ним. Нарочно остановила женщину, насмехается каждым словом. Погоди, пусть уйдет только.

И надо же, нарочно, чтобы слышала женщина, Ганна добродушно проговорила:

— Дак я уже сделала все... Пойду уже?

Он прошипел:

— Иди...

Евхим не смотрел ей вслед, но слышал ее шаги, слышал, кажется, смех, который она несла в себе. «И надо же дать так одурачить себя!» — никак не мог успокоиться он.



Ему было так досадно, что хотелось ругаться. Но он вместе с тем ощущал, что досада эта не только на то, что дал провести себя, но и от того, что она так противится ему, такая неприступная. «Как принцесса! Королева сермяжная! Голодранка!..»

Течение его мыслей о куреневской принцессе, однако, тут же прервалось, ибо на стезжке, шедшей от дома, кто-то появился. Он узнал Хадоську, подумал невольно: «А может, она тут, поблизости, была, не хотела подходить, когда я с Ганной... Видела, как Ганна отошла от меня... Ну и ладно, коли на то пошло, — плевать мне на все!..»

Хадоська, подойдя к Евхиму, осмотрелась:

— А где Ганна?

— Ушла уже...

«Не видела, стало быть. Еще б маленько, налетела б, но не видела...» Евхим и Хадоська какое-то время стояли молча, ему просто не хотелось говорить, в нем еще жила досада, а она будто ждала чего-то, что он должен был непременно сказать. Может, ей было тогда достаточно одного доброго: «Ну, и ты иди уже, конопляночка!» — и она пошла бы, затаив радостную надежду. Но он не говорил ничего, и она стояла, чувствуя, как тесно делается сердцу в груди, взволнованно вертя в пальцах уголок платочка.

Евхим заметил, как она вертит, мнет уголок, и словно проснулся. Окинул взглядом всю ее — Хадоська стояла, опустив голову, добрая, покорная, — и вдруг подумал: чего он морочит попусту голову себе, чего ищет, добивается? На что сдалась ему гонористая Чернушкова королева?

Евхим обнял Хадоську, почувствовал, как она радостно-преданно прижалась, затрепетала вся от счастья.

— Конопляночка...

Он поцеловал, и она не отвернулась, ответила долгим-долгим поцелуем, таким, что он едва не задохнулся.

— Притомился я... — сказал он, словно открылся другу в беде. — Посидим давай.

Нежно держа за талию, Евхим повел Хадоську к стогу. Она шла сперва легко, с той же доброй покорностью, но вдруг заупрячилась:

— Не надо! Я не хочу!..

— Ну, посидим трохи! Ноги болят... Посидим, и только!..

Он говорил тихо, ласково, словно просил пожалеть. Голос его убеждал: ничего бояться не нужно, ничего худого не будет.

— Гляди ж, чтоб... без глупостей!..

Хадоська послушалась, села рядом с ним. Он обнял ее, привлек, стал, задыхаясь, целовать, шептать что-то горячее, бессвязное, разорванное. Она сперва, хоть и сдержанно, отвечала на его поцелуи, потом стала тревожно метаться, стараясь вырваться из его объятий.

— Ой, не надо! Не хочу!

— Глупая!.. Ну, чего ты? Ну, чего?.. Нешто я так не нравлюсь тебе?.. Такой поганый?

— Не...

— Ну, дак чего ж ты?

— Боюсь я! Встанем лучше!..

— Не любишь, стало быть?

— Встанем, давай!..

— Не любишь?

— Люблю...

— А коли любишь... Глупая!.. Конопляночка!.. Конопляночка моя!..

Он не слышал своих слов, он чувствовал только ее, молодую, желанную, неподатливую. Кто б мог подумать, что и она, такая добрая, мягкая, казалось бы, влюбленная без памяти, будет так сопротивляться. Он злился из-за этого непослушания, из-за упорства ее, нетерпеливо горел.

— Евхимко, милый!.. Не надо!..

— Почему? От выдумала! Трусиха ты!

— Евхимко! Не женившись!.. Грех!..

— Греху нынче нету! Грех выдумали... Все грешат...

— Побойся бога, Евхимко!

— Бог не осудит.

— Татачко!.. Как дознаются все!..

— Никто не дознается!— Ему нестерпимо наскучили ее тревоги, наскучило уговаривать, и, чтоб покончить с этим, он сказал:— Женюсь ведь...

— Женишься?

— Женюсь, сказал!..

— Дак — погоди!.. После свадьбы!..

Евхим ошалел. Она это почувствовала и присмирела. Она еще с отчаяньем боролась и с Евхимом, и с собою, со своей любовью, боролась, чуя под собою страшную бездну, но бороться становилось все трудней. Она все слабела, она чувствовала, что не устоит...

— Евхимко... милый!.. После!.. Сразу...

— Ну, заныла! Коли ты сейчас...

— Божечко ж!..

Это был последний вопль, последняя надежда, мольба о пощаде...

Когда Евхим провожал ее по загуменью, исподлобья, воровато следя, не подсматривает ли кто за ними, Хадоська была уже тихая, ласковая, кроткая.

Простились возле ее гумна. Евхим, жалея, виновато обнял ее за плечи. Хадоська сама поднялась на цыпочки, дотянулась до его губ, поцеловала.

— Евхимко! Что ж, — голос ее, слабый, мучительный, задрожал. — Что ж мы... наделали!

— От, глупая! Да что ж такого?!

— Грех какой!

Он хотел сказать что-нибудь беззаботно-шутливое, но Хадоська внезапно припала к его груди, горько, с глухим, полным тревоги, отчаянья стоном зарыдала. Евхим осмотрелся: «От плакса! Как в гроб живая ложится!.. Еще услышит кто, приметит... Старикам наплетет... Будет разговору!..»

— Ну, тихо ты! — произнес он, как мог, доброжелательно и строго. — Люди ходят!

Она притихла, отстранилась, утерла слезы.

— Дак не... подманешь?.. Евхимко?..

— Не... Сказал...

— Не бросишь?..

— Вот же!.. Опять!..

Он уже почти озлобленно повернулся и пошел обратно. «Нужно было это самое, связался с дурой, — от души пожалел он теперь. — Мало было забот!» Но пройдя немного, успокоился, рассудительно подумал: «А коли на то пошло, чем я виноват! На то и ловец, чтоб рыба не дремала. Разве лучше было бы, кабы упустил такой кусочек!» Он с удивлением и вместе уже и с удовольствием вспомнил: «А держалась как! Кто б подумал!.. А все-таки не убереглась, добился!..»

Подымая на гуменнике брошенные грабли, он вспомнил другую, вспомнил, как неприязненно вырывалась, как посмеялась, и радость потухла. «От кого б обломать!.. Только — тяжеле будет!.. Ну, ничего, всему своя пора...»

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

В Олешниках Шабета взял повозку, и дальше, до Юрович, Василя везли. Лошадь была не из резвых, возчик не торопился, Шабета не подгонял тоже, и пока доплелись до местечка, на землю легли добротные вечерние сумерки. С горы спускались и ехали притихшими местечковыми улицами уже в темноте, которую кое-где прорезывал желтый свет из окон.

Всю эту дорогу Василь пребывал в затаенном молчании. Молча сошел он и в комнатенку в подвале дома, что с этого вечера должен был стать его немилым, вынужденным пристанищем. В комнатке было еще темней, чем на улице, только свет из открытых дверей на минуту раздвинул темень, и Василь увидел чьи-то ноги, обутые в лапти с присохшей грязью, увидел край свиты, примятую, раструшенную солому.

— Откуда сам? — спросил из темноты голос, когда двери закрылись.

— Из Куреней.

— А-а... А я из Слободы...

Хотя Василь своим молчанием ясно показал, что не хочет говорить, голос заинтересовался:

— За что?

Василь отмахнулся:

— А...

Незнакомец повозился, пошуршал соломой и больше уже не задавал вопросов.

Долгой и полной раздумий была эта ночь для Василя. А мысли все вертелись вокруг того, что случилось минувшей злосчастной ночью, напоминали, перебирали час за часом и ее, и следующий день, и видел вновь Василь перед собою то Ганну, то мать, то Шабету, и камень тяжкий ложился на сердце, обида и злоба охватывали его. Обида эта росла, ширилась и была уже не на одного Шабету, а на весь мир, в котором, как был теперь Василь убежден, нет никакой справедливости, не было никогда и не будет.

Справедливость! Где и когда была она для бедного человека! Где ее искать ему, одинокому, беззащитному, который, можно сказать, и света не видел дальше куреневских болот, который и в Олешниках несмело озирается.

Полный тяжких дум, он задремал только перед рассветом, но и теперь спал недолго, разбуженный шумом:

кто-то просился «до ветру». За окном начинало зеленеть небо, на его зелени уже ясно очерчивалось непривычное, жесткое перекрещение решеток, и их вид мгновенно отогнал дремотную успокоенность, возвратил к горькой действительности. Но Василию не хотелось ни видеть эту действительность, ни думать о ней. Подоткнув под бок свиту, укрывшись ею с головой, привалясь щекой к торбе с харчами, он вновь задремал.

Сквозь дрему чувствовал, что уже наступило утро, слышал, как кто-то из тех, кто был вчера здесь в потемках, сказал: «А любит, видно, это жеребя подрыхнуть!» — но не подымался. Встал только, когда начали будить: принесли завтрак. Теперь он угрюмым, заспанным взглядом диковато осмотрелся: их тут было с ним трое: один в запекшихся ранках и синяках, такой худой, что и непонятно, в чем только душа держится, а другой плечистый, здоровый, обросший густою бородой почти до глаз.

Заметив, как Василь оглядывает конуру, худой с синяками мелко хихикнул:

— Кубло — жить можно! Не гляди, что низенькое. Жить можно, хи-хи!..

Он подмигнул бородатому, проворно подвинулся к Василию:

— Ты, кажись, ядри его, пал нутром? Эге ж, пал, вижу! Я, ядри, сразу вижу, гляну — и все видно мне! Не топись раньше времени! И тут жить можно. Живем, слава богу!

— Жисть! — со злостью плюнул бородатый.

— А что ж! Не гневи бога, Митрыхван. Живем, хлеб жуем — кормят, поят и на работу не очень... Хи-хи, попански живем, ядри его. Как кто, а я дак радый, что угодил. Кабы не это, давно б землю парил. Как озверели люди, налетели, ровно с цепи сорвались, живого места не оставили...

— Будешь другой раз знать, как на чужое зариться!

— Согрешил. Каюсь, ядри его, Митрыхван, нечистый попутал. — Он пояснил Василию: — Коня, хлопче, я чужого взял, на ярмарку, думал, цыганам... Согрешил!

— Согрешил! Жеребятник поганый! Передушить вас, гадов, мало!

— Ты молчи! Душегуб нашелся! Зверь!.. От как упекуть на Соловки, будешь знать — «передушить»! Вьестся тебе в печенки милиционерик этот!

Митрохван побагровел, рывкнул:

— Молчи!

— Зверь ты!.. Просто зверь! — примиряюще, добродушно промолвил, уступая, конокрад.

— Меня таксамо — милиционер, Шабета, — вступил в разговор Василь, как бы показывая этим, что пристаёт к компании. — Прилип смолою — и все... Подпиши!.. И — в кутузку!

— У него, ядри, не то...

— Молчи! Не лезь!

— Сам расскажи!

Бородатый грузно завозился на соломе, сел.

— Ну, сцепился он со мною, милиционер этот, Радивон. Из наших сам, тульговицкий. Без штанов недавно по улицам сигал. А тут — власть, не затронь его. А сам за змеевик да — под ноги, топтать!

— Самогоночку гнал по осени! Накрыли!

— Молчи! Кабы змеевик был мой, то я, може б, и стерпел, а то ж Пилипчика. Кинь, кричу, Радивон, а он — хоть бы что! Ну, я и ошалел, за грудки его! А он — в крик: властей, кричит, не слушаешься, покажу!.. И показал, правда!..

Двери, к которым вели вверх ступеньки, открылись, и загорелый, обветренный парень в засаленной поддевке приказал обоим собираться.

— Куды? — не выдержал конокрад. — На лесопилку?

Парень строго отрезал:

— Узнаешь!

Василь догадался, что их поведут работать, и у него на минуту явилось искушение попроситься с ними и самому, но он промолчал. Почувствовал, что проситься напрасно: не то место, чтобы выбирать, что лучше, не воля.

Когда двери за ними закрылись, он завернулся в свиту и попытался снова заснуть, однако сон уже не шел. Томясь без дела, не зная, чем заполнить время, стал переобуваться: перетер заскорузлые онучи, перевязал порванные оборы на лаптях. Обувшись, подошел к окну, скользнул взглядом по осеннему оголевшему пожелклому огороду. Помрачнел, увидев за углом хлева поодаль синеватый ельничек, янтарную полоску песка, — угадал там невидимую отсюда красу Припяти.

Весь день то стоял у оконца, то слонялся из угла в угол. Не мог свыкнуться с мыслью, что теперь не тот, чем был всегда, — арестант, что недалеко теперь за этими стенами

и часовым Курени, своя хата, мать, Ганна, все то, чем жил до сих пор.

За оконцем рос кривой, почти донизу иссохший стебель подсолнуха. Сперва Василь его и не заметил, но со временем одинокий, заброшенный стебель этот вызывал уже неотступную тоску, словно живое существо. «Один, как я», — подумал внезапно Василь и ощутил, как саднит в горле.

## 2

Обвык, притерпелся бы Василь в тюрьме, если бы болел он только о том, что — арестант, стало бы привычным и то, что отныне он человек с пятном. Мысли о человеческой нечуткости и несправедливости были обычны для него с малых лет, из чужих слов и своего опыта, и хотя они на время стали острее, скоро приглушились и стерлись бы тоже.

Горше всего, самой великой мукой было тут просто сидение, сидение без привычных забот, без работы. И долгими днями и еще более долгими в горькой бессоннице ночами думал, болел душою о доме, о недомолоченном жите, о бедняге Гузе, который, может, стоит не ухоженный как след, о хате, для которой он не привез дров и которая, наверно, выстудилась. Наяву грезил гумном, цепом с отполированной ладонями рукояткой, видел пустой ток, вбирал ноздрями запах лежалой трухи из закутков, слышал, как шуршит сено в мягких морщинистых губах коня. Руки, душа его жаждали работы.

Но работы не давали. Хоть обычно не имел склонности просить о чем-нибудь, все же однажды не выдержал, заикнулся перед часовым, вызывавшим бородача и слободского конокрада, чтоб позволили и ему. Охранник, русоватый хлопец в длинной кавалерийской шинели, недавно демобилизованный, отрезал по-военному: не приказано. С того времени Василь уже не просился, послушно и безразлично тянул тюремную скуку на ссутулившейся спине.

Единственное, что обнадеживающе светило ему впереди, была мысль о встрече с матерью. Он ждал ее, как никогда до этого, изо дня в день, и особенно в воскресенье, когда местечковая улица, невидимая, но хорошо слышная отсюда, стала полниться оживленным ярмарочным гулом, тархтеньем колес по мостовой, гомоном.

Он не ошибся: мать пришла. Когда его ввели в комнату для свиданий, мать, робко сидевшая на краешке лавки, не сводя с него добрых глаз, засуетилась, поднялась, оставилась в замешательстве. Так и стояла, молчаливая, и только глаза, настороженные, чуткие, повлажневшие, полные великой жалости, говорили, что творится у нее на душе. В эту минуту Василь пожалел, что не побрился, что редкая, мягкая еще бородка, пробившаяся за эти дни, вероятно, делает его лицо постаревшим.

Он заметил, как у матери жалобно дернулись уголки губ, и подумал, что она вот-вот заплачет. Но она сдержалась, привычно провела кончиком ситцевого платочка по губам, глянула озабоченно. Протягивая торбу, заговорила:

— Я тут хлеба два каравая поклала. Вчера испекла... Медку дед расстарался. В кружке берестяной, чтоб не пролился, гляди... Вьюнков засушила с десяточек... Лучку, огурцов принесла...

— Мед надо бы на продажу, — строго заметил Василь.

— Яиц десяток продам... Соли надо и спичек...

Василь ничего на это не ответил. Поинтересовался:

— Как Гуз? Не хромает?

— Не-а. Поправляется.

— Жито — немолочное?

— Домолачиваем. Дед и я...

— Старик здоров, тянет, стало быть?..

— Здоров. Тянет.

За каждым вопросом и ответом следовала тягостная, полная материнской печали, тишина.

— Володька не дурит?

— Не-а. От надысь на болото ходил. Вьюнков принес. Говорит: Василию, братику...

— Гляди за ним, не баловай... А Гузу — запарку. Зима идет — в лес надо будет...

— Да уж буду делать...

Расспрашивал Василь, советовал, наказывал, а сам не раз, не два мыслями приближался к Ганне: как она, помнит ли о нем, не сердится ли за обиду? Все ждал, что мать заговорит об этом.

Мать словно прочла его мысли.

— Ганну Чернушкову видела сегодня...

— Здесь?

— Не-а. Дома, возле колодца. Кланяться тебе велела.

— А... — Василию стало легко, хорошо. — И ты ей передай, — что кланяюсь...



— Передам...

Он перехватил уклончивый материн взгляд и догадался, что она что-то таит, не отваживается открыть.

— Как она, веселая?

— Унылая... Ровно с обидой какой...

Василь отвел глаза, промолчал. Но таила она не это, большее. Подумав, призналась с беспокойством:

— Евхим Корчов, говорят, что-то около нее... крутится...

— Евхим?

— Разговор такой был... Только Ганна, говорят, не очень к нему клонится... — попробовала успокоить мать.

Она перевела разговор на другое, но весть, неожиданно дошедшая до Василя, уже не отступалась от него. Из всего услышанного Василем от матери она больше прочего волновала его, ныла в нем. Нельзя сказать, чтобы весть эта встревожила сразу — Василя был из тех, что поддаются настроению не тотчас же, новые и радость, и горесть овладевали им постепенно, все сильнее, глубже с течением времени. Все же недобрая новость о Ганне уже здесь, в разговоре с матерью, затуманила его.

— У Дометика корова отелилась... — говорила мать. — Телушка — такая хорошая...

— Растить для себя будет?

— Не-а. Абы, говорит, подросла, продам...

«Гроши нужны», — подумал Василя по привычке, равнодушно — мысли все возвращались к Ганне, к Евхиму. «Корч кривой, уже и тут воду мутит! Мало лесниковой дочки!..»

— Хвалился Дометик: сын его со службы прийти должен... Скоро...

— А... отпускают...

— Миканор. Верно ж помнишь?..

— А чего ж...

— Учиться хотели там оставить... А он сказал: до дому.

— В болото потянуло.

— Известно — дом родной!..

Мать поняла, что напрасно старается утешить, смолкла совсем, только не сводила с сына глаз, добрых и печальных. Молчал и Василя, так в молчании и кончилась их встреча. Только когда часовой поднялся, мать, вдруг очень заторопившаяся, не выдержала — высказала то, о чем думала все дни:

- Скоро ли хоть, сынок, выпустят?  
Василь отвел глаза.  
— Разве скажут...

3

На другой день Василя впервые вызвали на работу. Когда он, накинув на плечи свиту, вышел за бородатым и конокрадом на звонкий промерзший дворик, дыхание его зашлось от бодрой свежести радостного утреннего морозца. Холодный ветер ополоснул лицо, залез за ворот великоватой посконной рубахи, сразу погнал по спине мелкий приятный озноб. Василь повеселел, озорно повел плечами, словно старался согреться.

Он тут же поймал на себе строгий взгляд Митрохвана и спохватился, нагнал на себя выражение степенности. Их повели по улице, потом приказали свернуть в переулок, узкий, кривой, ведущий в сторону Припяти, и Василь, про себя гадавший, куда их ведут, подумал: верно, на реку, грузить баржу или пароход.

Но до Припяти их не довели. Скоро всех троих остановили у паровой мельницы, перед горой беспорядочно наваленных дров, занимавшей чуть не половину двора. На голос конвоира из темных дверей мельницы вышел обсыпанный мукой человек, принес пилу и топор.

— Вот, — сказал он и глянул на конвойного, словно спрашивая, кому отдать топор и пилу. Усы его, коротко подстриженные, были белыми от муки.

Конокрад, не спрашивая позволения, взял пилу и топор из его рук.

— Козлы вон под забором, — промолвил мельник и подался снова к дверям.

— Ну, за работу! — спокойно бросил конвойный, отходя в сторону, словно не хотел мешать. Тихий, курносый, в большом, не по своему мелкому росту, ватнике, прислонясь к столбу, он больше ничего не приказывал, ни во что не вмешивался, только молча наблюдал.

Бородатый Митрохван вытащил из-под забора старые козлы, взявшись за бревно, кликнул Василя.

— Не тебя! — рывкнул он на конокрада, тоже двинувшегося было к нему. — Толку с тебя! Лезет! — с презрением сплюнул сквозь зубы бородатый, взвалив с Василем бревно на козлы.

Потянув несколько раз пилу, Митрохван велел остановиться, вырвал у конокрада топор, принялся быстро, со злостью поправлять развод. Так же быстро, недовольно вернулся к козлам.

— Бери! — строго приказал Василию.

С этого времени час-другой говорила только пила. Мерно, ровно шаркала она, вгрызалась в упругую белизну крепкотелого дерева, сеяла на скользкую заиндеветшую траву чистые, как мука, опилки. Скоро Василь почувствовал, что делается жарко, скинул свиту, швырнул на дрова, потом расстегнул и рубаху. Забыв о положении своем, он пилил с тем рвением и охотой, с какими работает человек, взявшийся за желанное дело. В это время на него радостно было смотреть, он словно похорошел: оживился, порозовел, лицо его стало добрей.

Усталость все больше тяжелила руки, тело, но он не поддавался.

— Силен ты! — похвалил Митрохван, задерживая пилу, чтобы отдышаться. — Что клещ!

Он обернулся к конвоиру:

— Покурить надо!

— Курите!..

Митрохван сел на чурбак, устало расставил ноги, вытащил кисет. Взял двумя пальцами табак, протянул кисет Василию — подал не просто так, а как знак уважения. И Василь взял этот знак уважения степенно, с достоинством.

Курили не спеша, длинными затяжками, остывали на холоде. Конокрад подсел сбоку, утомленный, сгорбленный.

— Колодки, ядри их! Одни суки — никак не даются! Ты ее и так и сяк, а она хоть бы что!

Митрохван и Василь промолчали. Молча, одним только завистливым взглядом конокрад просил докурить, но Василь сделал вид, что не догадывается, дососал сигарку сам. Бросив окурок, Митрохван поднялся первым.

— Возьмемся.

Василь уже угрелся, когда кто-то по-приятельски хлопнул его по плечу. Василь удивленно обернулся: рядом стоял присыпанный мукой Костик Хвощ, которого когда-то дразнили «Костик-Хвощик». Наверно, целый год не виделись — Костик жил и работал в местечке — и вдруг такая встреча.

— А я смотрю — он или не он? — засмеялся Костик.

Василь тоже улыбнулся.

— Я...

— Как ты сюда попал?!

Василь не смутился, не показал обиды, насмешливо, по-молодецки тряхнул плечами.

— Как? Рыштант!

— За что?!

— Долгая история!..

Но Костик был не из тех, что в подобных обстоятельствах могут легко отступить. И не любопытство просто разбирало его: дело шло о приятеле, причем приятеле, как он считал, во всем более слабом. Костику не требовалось большой догадливости, чтоб понять, что приятель этот к тому ж чувствует себя не так весело, как пытается показать. И пришлось Василию хочешь не хочешь открыть запертое на крепкий замок недоверчивое сердце. Начал сперва так, лишь бы отделаться, сухо, неохотно, а потом неожиданно разгорячился, стал выкладывать все с обидой, со злостью.

— И ты повел их?

— А что мне было делать? Одному? Я хотел сперва — дак один наганом как треснет...

— Все одно... Людей как-нибудь позвал бы!..

— Позвал бы! Если спят все!..

— Эх, гады, не передушат их никак! — подсадовал Костик, и Василь почувствовал в его словах что-то вроде сочувствия к себе. Расчувствовавшийся Василь пожаловался:

— Тут меня самого в бандиты записали!..

— Ляпнул!.. Какой же ты бандит?

— Такой... Рыштантом от сделали!

Костик загорелся помочь.

— Я поговорю, чтоб проверили, как все было! И сам скажу, кто ты такой! Скажу, что никакой ты не бандит! Что ты такой, для каких революцию делали, вот что!.. Пускай за то, в чем виноват, нагреют, а за что не виноват — отпустят!

— Не поверят...

— Мне? Я — в комсомольцах, — важно произнес Костик. — Я с самим Апейкой знаком!

— Станет тебя Апейка слушать!

— Станет!

И чтобы окончательно убедить упрямого, недоверчивого приятеля, добавил:

— Знаешь, для чего это? — он обвел взглядом гору дров и чурбаков. — Для мельницы. А в мельнице муку мелем. Для кого? — Василь не знал, что ответить. — Для города! Для Мозыря! Нехватка детям, красноармейцам и другим. Меня прислали сюда, на мельницу! Как комсомольца, на выручку!

Глаза Костика спрашивали: «Ясно?» Василь молча кивнул головой.

Конвойный, который, видно, знал Костика, если позволил такую продолжительную беседу с арестованным, наконец все ж, не столько тоном приказа, сколько просьбы, сказал, чтобы кончали говорить.

Костик подал руку и походкой хозяина пошел на мельницу, а Василь взялся за пилу.

#### 4

Поздно вечером, возвращаясь домой, председатель волисполкома решил зайти к начальнику милиции. В комнате начальника было темно, светилося только окно в дежурке, и Апейка двинулся сразу на квартиру Харчева: начальник милиции жил тут же, со двора, в двух комнатах.

Харчев сидел возле лавки босой, в галифе с подтяжками и прожженной на локте рубаше. Мокрыми руками, облепленными серебристо поблескивающей в свете лампы чешуей, чистил рыбу.

— Как раз вовремя пришел, — ответил он весело на приветствие Апейки. — Как чуял...

— Где наловил? Или, может, подарили?

— Эге, подарили! Так я и возьму! Сплетни потом на целую волость!.. Нашел дурака!.. — Апейку его слова не удивили, он знал: Харчев в этом непреклонен, не возьмет «подарка».

Начальник милиции продолжал уже иначе, раздумчиво:

— В дареной оно, сказать, и вкуса никакого. Что лоза. Ешь, коли хочешь, а про смак забудь... Другое, если сам полазаешь, помокнешь, подрожишь на холоде, тогда рыба — о! Ешь ее, как прорва!.. В Ломачах был. Ночку недоспал — и вот видишь!

И это было похоже на Харчева: походить, полазить везде, все добыть самому. Харчев оставил недочищенного леща, кликнул жену.

— Погоди,— сказал ему Апейка.— Дело у меня. Оденься. Пойдем поговорим.

Харчев, по своей военных времен привычке, не спрашивая, о чем будет речь, вытер полотенцем руки, быстро натянул сапоги. Через минуту он вышел из соседней комнаты уже в гимнастерке, затянутой ремнем, всем видом своим показывая, что готов на любое дело.

Он был широк в плечах, широк лицом, обтянутым красной от загара дубленой кожей, приземист, похож на кряжистый, крепко вросший в землю полесский дуб. Боевой кавалерист, душа которого еще жила походами, атаками, грезил украинской степью, он, хоть и крепко затягивал подпругу, был уже не таким стройным, как полтора года назад, когда Апейка увидел его впервые.

«Пополнял и как-то подобрел лицом,— подумал Апейка, идя рядом с ним по двору.— И на тебя, брат, мирное житье печать кладет, кавалерист лихой!.. Гимнастерка маловата становится...» Он тут же возразил себе, что Харчев все же изменился мало, что пополнить и оттого словно бы подобреть лицом он мог бы и на фронте — стареет же, как-никак; да и какая ему мирная жизнь, если в лесу маслаковцы, если того и гляди пулю влепят где-нибудь на дороге.

Апейка с какой-то завистью подумал, что хоть он по должности и выше Харчева, тот привлекает к себе больше людского внимания и уважения: «Тихий я, неприметный, как был учителем, так и остался им. Харчев же — отвага, надежда, герой...»

— Есть жалоба,— сказал Апейка, когда начальник милиции зажег лампу.

Апейка нарочно помолчал. Он был почти того же роста, что и Харчев, и тоже в военной форме. Правда, не в гимнастерке, а во френче грубого сукна, с большими накладными карманами на груди и по бокам, со стоячим воротником, который подпирал и тер подбородок. Но и в своей форме он выглядел очень скромным, незначительным. Френч был ему явно великоват, от этого его дробная, сутулая фигура казалась еще мельче.

— Какая жалоба? — спросил Харчев.

— Держишь человека без достаточных оснований. Можно сказать, невинного.

— Кого это?

— Дятла Василя. Из Куреней...

На гимнастерке, обтянувшей широкую грудь, засверкал орден Красного Знамени, окруженный выгоревшей перкалевой сборкой.

— А-а... Все они невиновные,— произнес Харчев твердо и убежденно.

— Что значит — «все»?

— Все... Которые попадаютя!..

— Это — не доказательство,— тихо, мягко возразил Апейка тоном старшего, который обязан поправить, объяснить.— Нужно разбирать конкретно. Каждый случай...

— Разбирали.

— Есть факты? Конкретные?

— Есть.

— И он признает их?

— Нашел дурня! Признается он, жди!

— Должны быть конкретные факты,— тихо, но упрямо произнес Апейка.

Председатель волисполкома попросил протоколы допросов. Стоя у лампы, освещавшей бугристый, с залысинами, лоб, редкие витки темных волос, молча просмотрел несколько листов.

— Все?— поднял глаза на Харчева.

— Все.

— Больше ничего? Других фактов вины его нет?

— Других мы просто не знаем.

— Значит, и ссылаться на них не будем...

— Почему? А если я уверен! Если сердце мне подсказывает!

— Сердце, дружище, может порой и обмануть.

— И Шабета за то, что — птица подозрительная...

— Извини, но Шабета не дал ни одного доказательства, что Дятел бандит. Есть только факт, показывающий, что его заставили проводить.

— И одного этого факта, если на то пошло, достаточно.

— А я думаю — мало.— Апейка заметил, как Харчев резко, с упрямым выражением провел рукой вдоль ремня, одергивая гимнастерку. Начальник милиции был несогласен. Апейка мягким голосом постарался объяснить:— Мало — не потому, что факт один, а потому, что он... недостаточен для твоих выводов...

— Как это — недостаточен?!

— Он, повторяю, не свидетельствует, что Дятел — бандит. Или даже — их пособник...

— Да ведь пособничал же! Сам признался!

— Провел под обрезами! Один раз!

— Дознайся поди! — Харчев беспокойно заходил. — Один или не один раз. Под обрезами или не под обрезами. Все они, когда попадутся, под обрезами помогали! Все честные, ангелы! А маслаки орудуют! Кто только их кормит да наводит! — Он остановился перед Апейкой, — по-свойски, но твердо взял его за руку. — Я считаю — если хотим кончать Маслака, нечего миндальничать. Помог маслакам? Помог. Значит, тоже участник! Ну, и посиди, попарься! Одного посадишь — другой бояться будет!

— Бояться будут, — согласился Апейка.

Он, вблизи глядя в глаза Харчеву, вздохнул:

— Но что мы за такая советская власть, если нас свои бояться должны?

— Ничего, вреда большого не будет. Зато порядок будет, дисциплина!.. Знать каждый будет как следует, что спуску никому не дадим! Что ни сделал — по всей строгости! Как в революцию!.. А то ведь до чего дошло, — Харчев загорячился, — повсюду тишь, покой, и детей бандитами забыли пугать! А тут — в нашей волости, под боком у нас — лазят, обрезы наставляют, грозятся! А мы сидим, как телепни! Сделать ничего не можем. Миндальничаем!

— Миндальничать с поганью, конечно, нельзя!.. Но, Змитро, пойми, — не можем мы держать в тюрьме человека без достаточной вины!

— Без вины? Мы с тобой, как в сказке про белого бычка. Я одно говорю, а ты свое гнешь! — Харчев снова ринулся в контрнаступление: — Ты что, знаком с ним, что так в нем уверен? Ты вот упрекаешь меня, что фактов мало, а у тебя они есть?

Апейка ответил не сразу, словно давал Харчеву время успокоиться.

— Много не много, а есть. Есть поручительство человека, который его хорошо знает и которому я верю. — Он предупредил возражение начальника милиции. — Если хочешь, скажу, чтобы он завтра к тебе зашел. Поговори — наш человек, надежный... — Апейка неожиданно попросил: — Знаешь, а теперь прикажи, чтоб привели твоего преступника. Давай посмотрим, попытаемся вместе!

Харчев неохотно согласился, вышел в коридор, кликнул дежурного. Вернувшись, он сел за стол, деловито озачиненный, строгий, словно заранее готовый к разговору с арестованным. Сильные, красные, с набухшими венами



руки его, переплеля пальцы, тяжело легли на стол перед ним. Апейка, сидевший сбоку стола, пододвинул к себе газету, вынул карандаш, торчавший из кармана френча, принялся выводить завитушки подписей.

Войдя, Василь зажмурился от света, мельком, без какого-нибудь интереса скользнул взглядом по Апейке, исподлобья уставился на Харчева. У него было такое выражение лица, которое, казалось Апейке, говорило: «Знаю, зачем позвали, про что спрашивать будете, — добра не жду».

Харчев расцепил пальцы, шевельнулся.

— Ты что ж это, друг, не признаешься? — выразительно, отделяя каждое слово, произнес он. — Не признаешься, что помогал Маслаку?

Василь отвел взгляд, переступил с ноги на ногу.

— Не помогал я...

— Как же не помогал?

Василь промолчал. Апейка увидел на его лице, затаенном, настороженном: «Так я и знал, этого и ожидал...» Используя наступившую тишину, председатель волисполкома заговорил сам, спросил о том, что, казалось, не имело никакого отношения к делу:

— Какой надел у тебя?

Василь равнодушно ответил.

— Земля хорошая?

— Да какая там земля... У нас в Куренях земля...

— Есть и хорошая!

— Есть. Да не для нас...

— Для кого же? — задвигался Харчев.

Василь не ответил:

— Почему же ты против землеустройства?

— Я против? — явно не согласился Василь.

— А как же. Не ты ли навел маслаковцев, чтоб сорвали передел? — вмешался Харчев.

Василь не нашел, что сказать. Апейка заметил, что хлопец снова сжался безнадежно: что тут скажешь людям, которые знают одно: «водил, помогал», понимать ничего не хотят.

— Я знаю, ты — не бандит, — произнес внезапно Апейка.

Василь ожил, но тут же спохватился, сдержался, бросил настороженный взгляд.

— Ты — не бандит! — повторил Апейка еще тверже. — Ты просто — боязливый! Трус!

Апейка сказал это строго, с осуждением, но Василя ни слова его, ни тон, было видно, не обидели. Он смотрел уже на Апейку не только с настороженностью — с надеждой, правда, недоверчивой.

Апейка неожиданно разозлился.

— Черт вас побери! — Даже сердясь, он говорил ровно, тихо. — Для вас, для вашего счастья стараются, погибают люди. А вы, вы — за себя постоять не умеете!.. Ты — не бандит, ты — крот, что копается в своей норе. И только одну свою шкуру бережешь. А там — хоть трава не расти! Пусть другие принесут тебе счастье на тарелочке!.. Ты, конечно, земли хорошей взять не откажешься! — Василь при этих словах кивнул головой: кто от такого откажется? — Конечно, ты не против землеупорядочения! И сам же помог сорвать его!

Апейка заметил, что хлопец хотел что-то возразить ему, но сдержался, побоялся, видно, сердить. «Эх, разговорился, судья! — в раздумье осудил сам себя мысленно председатель. — А этот стоит — хоть бы что, в голове — одно: отпустит или нет?..»

— Я — все, я поговорил, — сказал он начальнику милиции.

Когда дежурный, вошедший на голос Харчева, показал хлопцу на выход, Василь неожиданно поклонился...

## 5

Апейка не ошибся. Василь, слушая его, и впрямь думал об одном: пустят или не пустят? В нем, как никогда за последние дни, заструилась, затрепетала надежда: «Может, пустят?» Всю ночь, слово за словом, мысль за мыслью, вспоминал, перебирал он разговор в кабинете Харчева, словно заново все переживая. Гадая о своей судьбе, он чувствовал, что держался не так, как следовало, молчал, не оправдывался, и теперь бранил себя за молчаливость: такой удобный момент упустил, недотепа! Одно только, что поклонился, хорошо: уважение, конечно, по душе начальству...

Справдил-таки Хвощик свое обещание, пошел к волостному начальнику. Стало быть, не брехал, что с самим Апейкой знаком — как свояк ровно. Гляди, как сиганул! И что в комсомольцы записался, тоже, видать, правда

чистая... Благодаря в мыслях товарища, невольно позавидовал: «Выскочил Хвощик, хитрый!.. Все Хвощи хитрые!» Позавидовал не со злостью, не с осуждением, а хорошо: хитрость — что твои деньги, как удача, счастье...

Как только подумал про Апейку, ожило снова, затревожило неотступное, желанное: «Может, пустят?..» Сказал же: «Ты — не бандит!.. Не бандит, знаю», — сказал... Он же не кто-нибудь, а начальник волости, власть, слова его что-нибудь да значат... Не бандит! А коли не бандит, так не должны держать. Нема такого закону...» Но думки эти, хорошие надежды тут же мешались с холодным, привычным сомнением: «Навряд... Так тебя и пустят, жди! Харчев молчал, не согласный, конечно... Да и этот же тоже — ругал, сердился...»

Василь вспомнил, как сердито, неприязненно бросил ему Апейка упрек: «Крот трусливый», — и на смену тревоге о том, отпустят или нет, пришла упрямая злость: «Наставили б тебе обрез в грудь, поглядел бы я, что бы ты запел! В местечке, в кабинетах, за спинами милиционеров, все вы смелые!»

Вон как оно все повернулось, как нарочно, — все против него. Даже передел земли и тот словно от него зависел, словно он не за передел, добра себе не желает! От счастья своего, от земли отказывается! И вот же попробуй докажи тут, что он не враг себе. Вцепились, знают одно, водил, помогал — и знать, похоже, другого не хотят...

«Маслаки проклятые, — приняла иное направление мысль Василя. — Надо же было набрести как раз на меня, ввести в такую беду!» Он думал о маслаковцах последние дни не впервые, думал с неприязнью, с тайной, неотступной надеждой отплаты, мести. Сегодня, однако, к его мыслям примешалась и другая: «А чего им передел этот не по праву? Чего они свой нос суют?»

«А может, они не сами?.. Может — попросили их?» — потрясло Василя открытие. И тут же пришла загадка, жившая потом в нем много дней: «А если попросили, то — кто?»

На это у него не было ответа. Он не знал, мог только делать догадки. Но догадки были для Василя ничто, он ценил только то, что знал, что видел...

Эти Василевы раздумья переплелись с горячими и тревожными воспоминаниями о Ганне — он будто вновь стоял у изгороди, слышал шум груш на Чернушковом

огороде, лай собак, видел туман над болотом. Когда, грезя наяву, брал ее руки в свои, привлекал к себе, вопрос, что так тревожил все время, обжигал уже нестерпимо.

«Пустьят или нет?»

Вопрос этот жил в нем и весь следующий день, когда он снова пилил дрова на мельнице. Шаркая пилой, с самого утра Василь был особенно молчалив, работал с какой-то редкой злостью, до изнеможения. Даже Митрохван не выдержал, под вечер пожаловался:

— Замучил ты меня, хлопец. Вдрызг...

День был неровный: то посветлеет, то опять надвинутся низкие кудельные тучи, обложат все небо так, что станет темно, как вечером. Один раз порывистый ветер, бешено завертясь, швырнул на двор тучу снежных высевок, осыпал траву, дрова,дохнул холодом. Таким же неровным, как этот день, было и настроение Василя, в котором сменялись светлые надежды и злые сомнения.

«Не пустьят»,— решил он, возвращаясь. С детства привычный к обиде, к злему, он нарочно готовил себя к худшему, таил в душе недоверие к тому, что может случиться желаемое. И когда после возвращения хлопец-часовой велел ему собираться, Василь заставил себя не поверить, что это и есть та желанная минута. Он спокойно надел свиту и, как обычно, угрюмо ссутулился, ожидая приказа. Только когда часовой сказал, чтобы взял и вещи, сердце Василя торопко, сладостно затрепетало.

— И торбу?— переспросил он, боясь, что ошибается.

— Все,— ответил часовой.

Василь, беря торбу, заметил, что руки дрожат.

— Ну, ядри его, бывай!— залопотал конокрад.— Отлежал! Отбыл, мозолей не наживши! Легко!.. Бывай, ядри его! Не поминай лихом!

Бородатый Митрохван проворчал только:

— На мороз берет!..

На крыльце Василь внезапно наткнулся не на кого иного — на самого Харчева. Грозный начальник милиции, не взирая на сильный, холодный ветер, стоял в гимнастерке, на которой, как всегда, был орден. Увидев начальника, Василь невольно насторожился.

— Ну? Домой?

— Да... не говорят куда...

— Домой. Отпускаем... Только смотри, другой раз будь

умней! Опять так сделаешь — не надейся на доброту! Так и знай!

— Знаю...

Харчев помолчал, отворачиваясь от сильного напора ветра.

— У вас там кто-то шахер-махер с Маслаком имеет, пособляет!

— Может, пособляет!

— Не может, а точно. Скажи там на селе, что Маслаку и всей его бражке скоро труба будет! Скажи, что я, Харчев, пообещал! Так и передай!

— Передам!

Харчев повернулся и, грузно, твердо ступая, двинулся в помещение.

Даже когда Василь один пошел по улице, главной местечковой улице, ему еще не верилось до конца, что вся эта нелепая, досадная история окончилась, что он уже не под присмотром охраны, не арестант, а вольный казак, который может идти туда, куда хочет, куда ведет сердце. Он и не заметил, как прошел улицу с рядами мелких лавчонок, с разнообразными вывесками и вывесочками, как повернул к горе и мимо двухэтажного дома «волости» начал быстро подыматься по красной, глинистой, изрытой колеями дороге. И гору, весь немалый, крутой подъем, одолел он враз, не останавливаясь, не передыхая, полный необычного ощущения нетерпеливой, крылатой легкости в себе.

Взлетев на гору, увидел перед собой знакомую дорогу с побуревшим курганом справа, с голыми дубками поодаль, в темноватой хмурой дали — низкую гладь полей, шедших до самых Глиниц, до кустарников и болот, за которыми скрывались родные, желанные Курени, — и стал словно бы больше верить в реальность того радостного, что произошло. Митрохван говорил правду: начало подмораживать. Днем это почти не ощущалось, а теперь, к вечеру, мороз приметно крепчал. По горе навстречу ему и немного наискось метался густой ветер, сек дробной снеговой крупкой, охватывал холодом, был такой пронизывающий и сильный, что посконные штаны Василя и даже рыжая свита, прилипавшая к ногам, почти не спасали. Но настроение у него от этого не падало. Василь словно и не замечал ничего, резво топал продранными лаптями по окаменевшей кочковатой наледи, которая била в подошвы, в пятки, грелся хорошими веселыми мыслями. Думал про

Костика, что так удачно случился ему и — кто бы сказал загодя? — так помог! Думал о матери: как она там одна, как встретит? Вспоминал Володьку: что делает, озорник? Очень хотелось скорей посмотреть Гуза — справный ли, хорошо ли ухожен был это время, без хозяина? Навезли ли с болота сена — надо завтра же проверить стога, может, не дай бог, растаскивают их воры... А надо всем этим — над беспокойным, бессвязным мельтешением мыслей была радость встречи с Ганной. Когда думал об этом, ноги сами собой поддавали ходу, брало сильное нетерпение: ах, скорей бы увидеть, встретиться, помириться! Он был так окрылен радостной переменой, что, вопреки своему обычаю, своей всегдашней настороженности, мог думать только о счастье. Тревога до него почти не доходила, о домогательствах Евхима думал спокойно, даже беззаботно. Что ему какой-то Евхим!

Пока подошел к Вадовичам, надвинулись потемки. Верно, если б не снег, кругом была бы густая чернота, но снег отгонял темень, светлил все. Он уже, как солью, полил ямки в наледи, колеи, канавки, и дорога выглядела словно по-праздничному побеленной. Маляр, что красил ее веселыми белилами, сделал еще не все, но и так, и в бело-темной росписи, радовала она глаз.

Речка за Вадовичами, разрезавшая болото и подкову гати, с берегов была уже забрана льдом, снег, что лежал на нем, белел ровно, чисто. Меж этой нетронутой бели вода посредине казалась густой и черной как деготь. Когда Василь посмотрел на нее, сделалось словно бы еще холодней.

Хотя и шел быстро, холод пронизывал все сильнее, все злей, особенно ноги в коленях. Хлопец остановился, потер колени ладонями, потом, чтобы согреться, побежал, позаячы вскидывая ноги и притопывая. Перешел на шаг только за болотом, пробежав с версту.

Вскоре, возле Глиниц, свернул с дороги, взял прямо на Курени. Хоть мог идти и селом, нарочно обошел его, чтобы не встречаться с людьми, подался полевой стежкой мимо погоста. Обошел подмерзшей приболотицей и Олешники, срезал добрый угол. Снег уже начисто выбелил стежку и дорогу, на которую выбрался за лугом, — кусты по сторонам темнели необыкновенно резко. Здесь ветра не было, стало теплей. Кругом царили тишина и чистота, краса первых зазимков, которые особенно волнуют и радуют, —

и Василь поддавался власти этой красы: недоверчивое, настороженное сердце все больше и больше наполнилось счастьем. Ганна, мать, Гуз, стога — все было в этом счастье.

Когда приблизился к Ганниной селитьбе, придержал разгон, пошел тише, гулко заколотилось сердце: вот изгородь та, те груши! В хате светились окна — там он увидел мачеху у печи и Хведьку, возившегося на услоне. Ганны не было.

«Верно, к девкам пошла...»

Оторвавшись от окна, подался в село. Еще почти везде светились желтые, копошливые огни — отсветы лучин. Среди них выделил он особенно близкий, родной, — огонек своей хаты. Горит лучина, значит, мать дома, не спит. Может, думает о нем, тоскует и не знает, что он у порога... Василь уже близко был от хаты, когда услышал впереди Ганнин голос, мягкий шорох шагов.

Он рванулся было к ней, но сразу же увидел: она не одна. Издали, сквозь темень, почувствовал, кто этот другой. Еще не думая ни о чем, поспешно отступил к осокору, росшему рядом, стал за ним, растерянно следя за тенями. Это была такая неожиданность для его недавней радостной беззаботности.

Они шли по другой стороне улицы. Шли отдельно, не очень близко друг к другу. Евхим не брал ее даже за руку, шли просто как знакомые. И все же это опалило Василя горячей ревностью, жгучей обидой: она идет с его соперником, его неприятелем, в такой день, когда он так рвался к ней. Она так встречает!

Евхим и Ганна приближались. Ганна шла, опустив голову, то ли прятала лицо от мороза, то ли рассматривала дорогу, снег. Евхим ступал вразвалку, сунув руки в карманы поддевки, сбивал время от времени носком сапога мерзлые комья. В потемках красным глазком светилась сигарка. Даже в том, как шла Ганна, равнодушная ко всему и, казалось, так же и к нему, к Василию, в том, что на его волнение она даже и бровью не повела, шла, словно ничего не было достойного ее внимания, виделась Василию большая обида. То же, как спокойно, привычно держался рядом с ней Евхим, его уверенная, развалистая походочка — словно все на земле принадлежит ему, — его кичливая сигарка, всколыхнуло в хлопце бурю ненависти.

«Корч... задавака... Думает, раз богатство у него, так и все...» Его ненависть была тем сильнее, что он считал, знал, что богатство — действительно все, что он — ничто перед Евхимом. Он чувствовал, что Евхиму, захоти он, — просто раз плюнуть отбить у него Ганну. «Все девки на богатство падкие...»

Когда проходили мимо осокоря, Евхим заметил Василия. Он вырвал руку из кармана и ухватился за сигарку, так удивился, узнав. Но это удивление было минутным, ловкий Корч тут же нарочно заслонил Василия, спрятал от Ганны. Отойдя на несколько шагов, наклонился к ней, сказал что-то.

— Иди!.. Не брешь! — услышал Василь ее ответ. Ганна вдруг засмеялась.

Смех этот пронзил сердце. Василь без надобности, растерянно поправил торбу и, не соображая больше ничего, не видя, как слепой, выступил из-за осокоря.



# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

Когда Василь проснулся, в хате еще все спали. Но как только он стал, сопя, натягивать одежду, мать подхвати-лась, начала суетиться у камелька. Лучинка от уголька, выкопанного в печи, разгоралась неохотно, и Василь от-правился во двор, не дождавшись, пока огонь осветит хату.

На крыльце он аж захлебнулся от холодного, какого-то просторного воздуха. Было не темно, не так, как прошлые ночи, а серовато, и в этой серизне бросалось в глаза, какое все кругом заснеженное, чистое, как бы прибранное к празднику. Эта чистота веселила, словно сама обещающая радость: Василь почувствовал прилив необычной, безза-ботной бодрости. Он готов был уже молодо, как выпущен-ный на волю жеребчик, соскочить с крыльца, когда где-то внутри заныла ожившая тревога, замутила чистоту, праз-дничность напоминанием: Ганна идет с Глушаковым Ев-химом... Евхим наклонился к ней, что-то сказал — засме-ялась... Он, Василь, за осокорем с торбой...

Василь тихо ступил на снег, медленно, тяжело потопал к хлеву. Гуз, слышав его шаги, с надеждой заржал, дох-нул в лицо теплом. Василь почесал ему за ухом, ощупью пробрался в закуток, принес охапку сена. Когда Гуз потя-нулся к сену, захрустел, Василь, смягчившийся, подо-бравший, постоял рядом, слушая милое хрупание, тешась родным запахом хлеба.

Эти дорогие приметы глушили тоску по Ганне, возвра-щали, хоть и не беззаботную уже, осторожную радость. Разве ж можно было не откликнуться на то, что сбылось-таки желаемое: вновь он тут, в родном тепле, своем хлеву, своем хозяйстве, на воле. Вчера, когда заходил сюда, все это казалось еще словно неправдашним, теперь же радость была яснее и как бы более прочной...

Под поветью снега почти не было, ветер дул с другой стороны, и земля тут темнела, как на болоте. Он перета-щил телегу к стенке и выдвинул из угла сани, вставил оглобли в завертки. Когда закручивал оглобли, завертки

так трещали, что казалось — вот-вот лопнут. «Совсем рассохлись за лето. Скрипят, все одно как не хотят служить...»

Он вспомнил вчерашнюю материну жалобу, что нечем топить печь, и глянул в угол, где складывали дрова: там, и правда, лежало только несколько веток да толстая, суковатая смоляная коряга, сощипанная с боков. На коряге было много знаков от топора — видно, мать или дед пробовали рубить, но не могли с нею совладать.

«Надо будет по дрова съездить», — шевельнулась заботная мысль.

Василь намеревался уже вернуться в хату, взять топор, как пришло, победило другое желание: посмотреть гумно. Отворил воротца, легко, нетерпеливо пошел белой стежкой к пригуменью. Когда увидел темные очертания гумен, что тянулись в предрассветной серости молчаливым, угрюмым рядом, вновь ожила встревоженность, страшная ночь словно опять приблизилась. На мгновение даже затаился: не слышать ли шагов сзади, прикосновения обреза. Все же холодноватый, какой-то особенный запах соломы из гумна, зычный скрип послушных гуменных ворот не прошли мимо внимания, встревоженная душа откликнулась на эти родные приметы тихой, затаенной радостью. Он не закрыл ворот, и иней снаружи обозначил подметенный ток с горкой мякины в уголке, кучку снопов в одной отгородке и солому в другой. Снопов немолоченных было уже меньше, чем тогда, когда он молотил последний раз. Он знал, что мать и дед Денис работали тут без него. Василь сбросил, разостлал несколько снопов, нащупал повешенный на сук сохи цеп, размахнулся, весело протянул билом по колосьям. Давно-давно не чувствовал он в руках, во всем теле такой радостной силы — конца, меры, казалось, не было ей, удивительно даже, сколько накопилось ее за время дурного безделья в юровичской милицейской боковушке. Как изголодавшийся за краюшку, ухватился за вытертое до блеска цеповище, дивясь легкости била, ударил еще раз, другой, стал махать, махать, бить и бить. Одно было неладно: темновато в гумне, бить приходилось наугад. Как ни жалко, а хочешь не хочешь, надо опять вешать цеп на соху. К тому же вспомнил, что под поветью — неразрубленная коряга: матери, верно, нечем затопить печь...

Под конец не удержался, помахал цепом, как пастух кнутом, просто так, для забавы. Снова вышел на белую стежку, ощущая силу в теле, повеселевший. Под навесом

люто накинудся на смоляную корягу, лупил по коряге и корягой по колоде так, что аж в жар бросало самого. Швырнул свиту на сани, в белой рубахе бил, разламывал корягу до тех пор, пока не остались от нее кривульки да щепки.

Вскоре он шел уже с деревянным ведром к колодцу, что стоял на меже его и дядьки Дометика дворов. Нужно было напоить коня. Ведро на крючок очепа Василь не повесил, а бросил, крючок не стал защелкивать — и так не сорвется, не утонет. Во всем, что бы ни делал теперь, он как бы похвалялся сноровкой своей, ловкостью.

Вытягивая очеп из колодца, откуда знакомо пахло мохом, старым мокрым деревом и водой, он услышал, что от соседнего двора кто-то подходит, и оглянулся. Это был не Дометик, шел плечистый, с рябоватым лицом молодой мужчина в военной форме и зимней шапке с острым верхом.

— А, арестант явился! — приветствовал его мужчина, как показалось Василю, с насмешечкой. Василь мельком приметил: у подошедшего от башмаков до самых колен были накручены черные онучи, и ноги в них были похожи на огромные грачиные.

«Обул башмаки — и форсит!» — с осуждением подумал Василь. Он не столько узнал, сколько догадался, что рябоватый армеец — Миканор, Дометиков сын, вернувшийся со службы. Мать вчера среди иных деревенских новостей помянула и эту.

«Арестант! Ну и арестант! А твое какое собачье дело!» — отозвался мысленно на приветствие соседа оскорбленный Василь. Миканор же, словно бы и не сказал ничего такого, удивился:

— Ты чего — волковатый такой?

— А того... Лучше быть волковатым, чем овечкой... Чтоб не кусало всякое...

Василь взялся за дужку ведра, не глядя, двинул очеп в сторону Миканора, собрался идти.

— Постой! — попытался задержать Василя Миканор. — Неладно так, не по-соседски. Еще и двумя словами не перекинулись, а уже грызться собрался...

— А я так до других, как они до меня...

И Василь, показывая, что говорить больше не хочет, подался с ведром к хлеву. «Не по-соседски, вишь! А ты со мной — по-соседски?.. Думает — как башмаки да шапку военную надел, дак и обзывать всякими словами вольно

ему!.. Думает — если человек из-под ареста пришел, то и плевать на него можно!..» Василь погрозился: «Скажи еще раз такое, плюнь! Увидишь!»

2

Так Василь и затаил бы злость на соседа, отрезал бы себя от него, если бы этой встречей нынешнее их знакомство и кончилось. Но под вечер, когда Василь притащился из лесу с возом дров, мать сказала ему, что приходил Миканор и просил зайти потолковать. Василь на это приглашение не ответил ничего, но по тому, как недовольно мотнул он головой, мать догадалась, что оно не по душе сыну.

Мать не стала допытываться, что же такое произошло между сыном и соседом, — знала, что Василь все равно не скажет, — но не удержалась, чтобы и раз, и другой не передать Миканорово приглашение, нарочно добавляя от себя разные выдумки, какие могли бы потешить сыновнее сердце. Сказала, что очень хвалил Василя за хозяйственность и просил, чтобы он за что-то не сердился... Дед Денис поддержал ее: не проведать соседа, не уважить, не почтить такую радость, как приход со службы, негоже...

Все же пошел Василь к Миканору неохотно: так, лишь бы не обидеть мать и не выказать неуважения к соседу. Решил — посидит трошки для прилику, поговорит про то-се, исполнит материн наказ и пойдет себе...

Василь встретил Миканора во дворе — тот нес из сеней лохань.

— Заходи. Сейчас приду... — сказал Миканор, не останавливаясь.

Он вернулся в хату, отряхивая красные, видно, только что вымытые руки.

— От, брат, за хозяйство берусь... — Миканор утер руки полотенцем, засмеялся: — Забыл все, что умел. Сначала учиться надо!

— Не скажи! — возразила Дометиха, возившаяся у печи. — Человек подумает, что и правда! Не слухай его, Василько, смеется он...

— Ага, смеюсь! Хорошие смешки! Запарку делать уже не знаю как!

— Не слухай его, Василько, умеет, все умеет...

Дометиха принялась собирать ужин. Перед тем как сесть за стол, Миканор пригласил и Василя, но тот отказался. Несколько минут потом уговаривала присоеди-

ниться ко всем и Дометиха, однако Василь и на этот раз твердо устоял, доказывая, что ужинал дома, наелся, даже чересчур. Дометиковы сели одни. Тогда наступила тишина: хозяйева ужинали, а Василь, с виду важный, степенный, стараясь держаться уверенно, слишком уж внимательно разглядывал карточки на стене.

Кроме той пожелтевшей от времени карточки, на которой Дометик, молодой и удалой, в страшной, лохматой, как стог, шапке тянулся рядом с каким-то незнакомым, — карточку эту, говорили, старый Дометик привез еще с японской войны, — было тут и несколько Миканоровых снимков. Из них Василь раньше видел только один — Миканор, стриженный, в гимнастерке, с широким, не по мерке, воротом, словно бы чем напуганный. Василь, когда увидел этот снимок впервые, даже удивился: что это могло так напугать хлопца? Теперь рядом с этим снимком было несколько новых — на каждом Миканор с неизвестными товарищами, все опоясанные ремнями, в блестящих сапогах, с шашками.

— Это мое отделение... — сказал Миканор, хлебая борщ.

Василь все же чувствовал себя чужим, и, рассматривая карточки, ждал только удобной минуты, когда можно будет, не нарушая приличия, вырваться на волю. Осмотрев карточки и раз, и другой, он уже намеревался сказать Дометиковым, что надо податься домой, сделать еще то-се, когда на дворе послышались голоса, шаги. Первым вошел, шумливо и весело, Хоня — «Батька и matka». Он был в драной свите и в драной шапке, но и в этом обычном своем наряде выглядел просто-таки франтом: так ловко висела внакидку свита, так смело сидела на макушке шапка.

— Вечер добрый в хату! Чтоб жилося и чтоб велось! — сказал он звонко и твердо. — И тебе, Василь, добрый вечер! — добавил он таким тоном, словно вчера только виделись.

За Хоней явились его приятели — черный, угрюмый, как и его отец, Петро Прокопов и куруневский гармонист Алеша Губатый. Петро только что-то буркнул себе под нос и стал у порога — широкой спиной почти заслонил Алешу.

— От — в самое время! Ровно, скажи ты, чуяли — на ужин, акkurat! — промолвил все с той же веселостью Хоня и, не ожидая приглашения, как дома, подался к лавке, сел широко, вольно.

Дометиха и Дометик, как требовал обычай, пригласили хлопцев к столу, но Хоня ответил громко за всех:

— Спасибо! Не надеялись, что так удачно прибудем, дак дома натоптались картопли!..

— Наелись! — подтвердил Алеша, примащиваясь возле Хони.

— Наелись, нет ли, а посидели бы вот вместе, попробовали б, что бог послал... — начала было Дометиха, но муж перебил ее раздумчиво:

— Было б что пробовать, дак, небось, уговорили б как-нибудь! А то вот рассол один да картопля! Чарка хоть бы где завалилась!

— Опоздали! — засмеялся Миканор. — Что было — выпили!..

— Богато там того и было! — сказала Дометиха. — Две склянки каких!..

— Да мы знаем, что охотники на горелку нашлись! Дак от этого мы не больно-то сразу и летели! — Хоня хитро глянул на Миканора, перевел разговор на другое: — Хотим вот Миканора с девками нашими познакомиться, бо он же, верно, забыл! Да и девки, сказать, просто проходу не дают: приведи да приведи!

— Ага, возьмите его, Харитонко! — ухватилась охотно Дометиха. — Нехай погуляет!

— Только боимся, что он, может, теперь до городских боле приученный! — сказал Алеша Губатый, одолевая робость, вероятно, стараясь угодить Хоне.

— Некогда привыкать там! — заявил Миканор.

— А все-таки, верно, завел какую-нибудь мармазелью? — приставал Хоня.

— Да не. Так, правда, гулял сколько разов по берегу или в парке. И то — с хлопцами, с Морозом, с Киселем...

— Ага, с Морозом! Говори! Так тебе и поверим!

— С Киселем, говорит, гулял!

— Поглядеть бы нам того Киселя!

Василь с этим гомоном и шутками стал чувствовать себя у Дометиков свободнее. Уже не слишком хотелось идти домой, можно было и тут посидеть, послушать; уже почти успокоился, готов был забыть все страхи, когда двери раскрылись и в проеме их — как злое напоминание, как угроза — появилась фигура Грибка. Василь от неожиданности даже похолодел: больше всего он не хотел, боялся встречи с Грибком, и на тебе — нос к носу!

Василь весь сжался, насторожился, ожидая самого скверного. На миг появилось подозрение — не нарочно ли, не для этой ли встречи зазвал Миканор? Неужто умышленно подстроил? Но посмотреть на Миканора, хоть бы глазами проверить подозрение, не мог: неотрывно следил за Грибком.

Ничего страшного словно бы и не было: Грибок только взглянул на Василя недобро и сел на другую лавку. Ни слова не сказал Василю, но в молчании его хлопцу еще больше слышалось неприязненности и укоризны. Теперь Василь был словно прикован к стене: если бы и попробовал, не смог бы, кажется, оторваться. Он молча упрекал себя: дал же зарок не ходить ни к кому, не видаться ни с кем, день целый перебыл без каких-нибудь неприятных встреч. И надо же было припереться сюда!

Он опять услышал шаги в сенцах, повел глазами к дверям: кого там еще несет?

Вошел Чернушка. Этого только и не хватало тут! Василь, казалось, влип глазами в карточку, но не видел ее, ждал только: что же дальше будет?

Василь заметил: поздоровавшись, Чернушка сразу приметил, выделил его из всех.

— И Василь тут! — промолвил он вроде бы с удовлетворением, но Василю от этого не сделалось легче. Дометиха откликнулась:

— Зашел по-соседски к товарищу, спасибо ему!

— Ты не вчера ли вечером прибыл? — не отступался от Василя Чернушка.

— Вчера...

— Вечером? Стемнело уже хорошо, как прибыл?

— Стемнело... Дак что?

— Да ничего. Видел я — кто-то вчера в потемках подходил к хате, — сказал Чернушка. — Как бы подобный на тебя, я около хлева аккуратно шел. А сегодня слышу: и правда, прибыл... Дак я и подумал, что ты...

Василь промолчал.

— Дак чего не зашел? Я... это... не сказал тогда ничего, бо не познал хорошенько. Не поверил, грэц его. А то ж таки, видимо, ты был!

Василь дернул плечом, словно хотел отцепиться.

— Не-а...

Разговор, к счастью, перешел на Миканора. Грибок сказал, что Миканор, не сглазить бы, очень справный

с виду — непогано, должно быть, на службе было. Миканор засмеялся:

— Да сказать, что погано, — грех...

— Откормился, что бугай. Выгулялся, — похвалил Миканора Хоня.

— Да чтобы гулял очень, не скажу. Было так, не секрет, что после похода иной раз и сам, и конь под тобою — как в мыле.

— Когда идешь, ноги одна за одну цепляются? — захохотал Хоня, за ним — Алеша и Петро.

— Еле дотянешься, бывало. Опять же — на посту стоя. В мороз, на ветру так окоченеешь — дак, кажись, душа заходится. Кожух такой до пят — тулуп — давали, как на ночь идти. Дак и тулуп этот не поможет — все одно холодина доберется!..

— Ого, до печенки доберется!

Старый Дометик начал было говорить: это что, вот в Маньчжурии мороз так мороз, на лету все живое губит, — как в хату ввалилось еще несколько мужчин. Среди них был и Андрей Рудый, аккуратно выбритый, с изящными тоненькими усиками — крылышками огненного цвета, в фасонистой городской шапке, — первый в Куренях политик и оратор.

Рудый подошел последним, поздоровался с Миканором не так, как все, неловко и смущенно, а, сняв щегольскую свою шапку, изысканно поклонился. Пожимая руку, поздравил:

— Со счастливым возвращением, Миканор Дементьевич!.. Рады все вас, та-скасть, видеть вновь на нашей куреневской почве...

Мужики не впервые подивились деликатности его обхождения, но никто не пытался делать, как он: не каждому уменье такое дано!

— Унтер у нас на батарее был, — вспомнил Грибок. — Ну и унтер: кулаки по пуду! Как даст кому — тот враз с копыт обземь!.. А теперь, правда, не бывает, чтоб кого били?

— Нехай бы ударил, хоть какой командир. Дак его так бы ударили, что навек закаялся б!

— А ежели, бывает, что который не слушается? — встрял Хоня. — Командир ему одно, приказывает ему что-нибудь сделать, а он — не буду и не буду! Не бывает разве таких?



— Бывает всякое. Только все одно не бьют никого. Другим берут методом. Объясняют все больше, что к чему. Что такое значит служба в Красной Армии, и кому мы служим...

— А коли он не слушается все одно? — не отступал Хоня. — Не судят?

— Судят. А только больше — на сознательность бьют.

— Слышал я, что аж под Минском на маневрах быть доводилось? — упредил какой-то новый вопрос докучливого Грибка Андрей Рудый.

— Был. На окружных учениях.

Андрей Рудый хотел порасспросить об этих учениях, но тут вмешался Чернушка, перепутал все:

— Как там земля, под Минском?

— Земля как земля, — попытался было вернуть Миканора к учениям Рудый, однако Миканор возразил:

— Да и не сказать, чтобы такая, как наша. Много суше... Болота дак редко, можно сказать, больше — поля, поля да лес. И лес, можно сказать, иной — без конца чистый сосняк... Много очень горок. Бывает так, что как глянешь с которой, дак только и видишь: горки и горки, с полем да лесом. Аж докуль видно...

Хоня спросил:

— Может, такие, как в Мозыре?

— Меньшие. Таких, как в Мозыре, нема! — Миканор произнес это как бы с гордостью: он служил в Мозыре.

Разговор теперь уже заинтересовал Василя. Никогда за всю жизнь не был он дальше Хвойного, только раз попал в Мозырь, показавшийся ему такой далью, словно там сразу рядом край света. А людей вон и дальше заносит, и диво, — и там земля, и там живут!..

— И как это: земля без болота! — будто не поверила Дометиха. — Как это оно может быть, чтоб без болота!

— От, баба! В Маньчжурии дак не то что болот, а и кусточка на сто верст не увидишь. Голо, как пол...

— У нас, в Михайловке, тоже земля була! Як масло, грэц его! Возьми да на хлеб мажь, — похвалился Чернушка полузабытой Черниговщиной.

— А тут куда ни кинь — дак болото да болото! — пожалел Алеша Губатый. — Кочки да лягва!

— Без лягушек, верно, скучно! — Хоня, а за ним Алеша и Петро засмеялись. — Без таких песен!

— Слышал я, — промолвил Миканор, — один ученый в Мозыре говорил, к нам приезжал с докладом: на болоте земля, говорит, — первый сорт. Без навозу родить может!..

— Только осуши — и сей, — поддержал Рудый. — Особливо любить эту землю овес, конопля, всяческая техническая культура.

— Осуши! Если этой топи конца краю нет.

— Генерал тут колись был — нибыто<sup>1</sup>, — припомнил Игнат, Хадоськин отец, которого за привычку к месту и не к месту вставлять «нибыто» прозвали — Нибыто-Игнат! Андрей Рудый подтвердил.

— Исторический хвакт. Инхвантерии генерал Жилинский. Личный друг царя...

— Друг он или не друг, не знаю. А только — нибыто — ученый дюже, инженер. Да и то сказать: хоть царя и скинули, и генералов вместе с им, а все ж таки генерал — не наш темный лапоть!.. Все науки превзошел!..

— Науки те его были не пролетарские! — возразил Рудый.

— Какие они там ни были, а все-таки науки, — сказал Нибыто-Игнат. — Дак ён — нибыто — двадцать лет бился с болотом, посивел, иссох как щепка, а чего добился? Копают, копают — не ён, конечно, а люди приведенные, — а оно, болото, покуль в одном месте выкопают, в другом уже ряской заросло.

— Это ж под Загальем покопали тогда, — промолвил Дометик. — Там, верно, и следа нема...

Дометиха поддержала:

— Что бог дал, то один бог и переменить может! А не человек, козявка.

— Это вы напрасно, Халимоновна. Передовые ученые еще при царском режиме, та-скасть, про человека другое учили. Не говоря про теперешнее, про большевиков, учили: человек — не козявка!

— Не знаю, чему там учили, а только козявка был, козявка и есть...

— Это смотря — какой человек! — возразил Хоня. — Один, бывает — козявка, а другой — герой!

— Человек — существо. Так сказать, он и кошка, и он — володарь, царь природы! Это еще учил поэт Некрасов, а также Толстой, Лев Николаевич!

---

<sup>1</sup> Нибыто — как будто, вроде (бел.).

— Человек — мошка и володарь, это правда, — подхватил Алеша.

Миканор сказал:

— Коли он один, как тот колосок, что забыли в поле, он, конечно, не секрет — все одно что мошка либо козявка. А когда этих мошек полк соберется или дивизия, то эта мошка или козявка свет перевернуть может...

— Дак то дивизия, а то — мужики, — подумал вслух Хоня.

— Нехай себе и мужики. Ежели организовать всем, дружно взяться, будет все одно что та дивизия. Что хочешь одолеем.

— Дружно взяться! Дак где ж это было, чтоб все село да дружно что-нибудь делало?

— Тут кто в лес, а кто по дрова! — как бы посожалел Хоня. Мужики согласно поддержали его, закивали головами.

Когда все замолкли, смоля всюю сигарки. Чернушка промолвил раздумчиво:

— Да и оно сказать, — тут и так, грэц его, сил нехватка. Хотя б с тем, что в хозяйстве, управиться.

— У других не меньше нашего забот, — словно бы и не споря, с уважением к старшим, сказал Миканор. — А вот же как-то делают и другое, себе на пользу!.. — Миканор достал из угла газету, развернул: — От пишут: болото осушили — луг сделали.

— Далёко это?

— Да не сказать, чтобы очень. Верст пятнадцать, может, за Наровлю. Там близко наши лагеря стояли, дак я, можно сказать, знаю тамошние места. Все такое, как и у нас. А разве б у нас плохой сенокос можно было б за Теремосским сделать?

— Можно б то можно, да от попробуй! — сказал Хоня.

— Все одно, ровно не знаешь наших! — поучающе промолвил Грибок.

— Миканорко, не говори чего не надо! — миролюбиво, но твердо сказала и мать. — Пустое все!

— Почему это пустое? — загорячился Миканор. — Другие ж делают, а мы что — хуже всех?

Неизвестно, как пошла бы беседа дальше, если бы Чернушка, страсть как не любивший споров, нарочно не пошутил:

— Женить тебя, Миканор, видно, грэц его, надо!.. Хоня весело подхватил:

— Уже и женить сразу! Дайте хоть, пока чего, на девок поглядеть, отгуляться!

— Охотку скинуть! — поддержал Алеша.

Хоня тут же, не теряя удобного момента, позвал Миканора на улицу — посмотреть, где что делается на вечерах. И, может быть, Миканор с охотой двинулся бы за ним, если бы Дометиха не запротестовала:

— Негоже это ему, Харитонко! Тут гости, а он — шасть из хаты, ровно они ему не по нраву. В другой раз уж пусть! — Она, словно ожидая одобрения, взглянула на сына.

Миканор по-приятельски кивнул хлопцам:

— Видно так, в другой раз поглядим.

— В другой так в другой! — Хоня встал, напялил на макушку шапку, подмигнул товарищам своим: — А мы — повалим! А то как бы девок наших не похватали которые!

— Да чтоб не посохли без нас с тоски! — сказал Алеша.

Когда все трое вышли, в хате замолчали, казалось, слушали оживленный говор сперва со двора, потом с улицы. Когда голоса отдалились, Дометиха громко вздохнула, заговорила с грустью, с умилением:

— От хлопец! — Хотя она и не произнесла Хониного имени, все поняли, кем она восторгается и о ком печалится. — Это ж надо — беда такая! Матка — что дерево срезанное, с кровати не встает, детей орава на его руках, накорми всех, присмотри!..

— И за батьку и за матку один — это правда, грэц его!

— А от — нибыто — и не бедует. Нибыто — и горя мало!

— Не показывает! В середине, следовательно, хоронит!

Опять помолчали, потом разговор перешел на то, что теперь особенно тревожило каждого, на маслаковцев.

— Откудова они, грэц его, прилезли! Это ж всюду, слышно, тихо стало, а тут — шипят и шипят...

— Болото, известно, — отозвался Дометик. — Гаду всякому в болоте — рай!

Может, и сами того не замечая, говорили теперь тише, словно опасаясь, чтобы не услышал тот, кому не следовало. Грибок слова не молвил, сидел беспокойно, невольно прислушиваясь к звукам на улице, на которой где-то дурачилась, галдела, смеялась молодежь.

Василь тоже молчал, все ждал, как только заговорили о Маслаке, что не обойдут, заденут и его. Приготовился к тому, чтобы обрезать как следует, если кто зацепит.

— Из-за границы перекидают, из Польши, — Рудый, как тайну, поведал доверительно: — Так сказать, агентура.

— Нибыто балаховщики всякие.

— Балаховщики, нет ли, а вот же, грэц его, через границу прошиваются. И мало того — еще и тут свору находят!

— И у нас же с кем-то знались...

— Знались...

Дымили цигарками, думали о чем-то своем, но разговора о Маслаке уже не вели: не в охоту разговор этот, рисковый, лучше язык за зубами попридержать. Ожили, загомонили наперебой, когда пошли воспоминания, суждения о войне, о военной службе...

Расходились поздним вечером. Тихий, мягкий снег щекотал лица, лепился на шапки, на кожанки и свиты, казалось, торопился выбелить все. Не только приболотица, огороды за хлевами были скрыты заметью.

— Нибыто уже и зима, — отметил Хадоськин отец.

— Зима! Только грязи лишней, грэц его, наделает!..

— По предсказанию — таять не должно... — дошло до Миканора и Василя уже с улицы.

Миканор стоял на крыльце в расхристанной гимнастерке. Подавая Василю руку, припомнил весело:

— Думал я про то, что ты сказал возле колодца. Лучше, мол, волком быть, чем овечкой. А по-моему — дак лучше человеком. Только, конечно, — Миканор засмеялся, — человеком с зубами!

Василь промолчал. Но лежа уже, вспомнил слова эти, подумал: «Человеком ли не человеком — все равно, а зубы, конечно, надо иметь! Без зубов не уцелеешь по нынешним временам. Съедят, и не оглянешься...» Он вспомнил разговор Миканора о болоте, подумал, как старший: чудак, — осушить, говорит, сенокос сделать! Такое и во сне в Куренях, кабы и захотел, не приснится! Мысли перебежали к разговорам о маслаковцах, и все в нем закипело: «Кабы знать, кто это их навел, задушил бы, гада!.. А дознаться можно. Курени — не город какой, одна улица, хата каждая, можно сказать, на виду. Только приглядишься, так заметишь что-нибудь, как бы тот ни крутил. А там, только не пожалей времени да не побойся, и до большего, до всего дойдешь! Не спрячется!.. Только б проследить хорошенько!..»

В синей снежной сутеми Грибок ходил от окна до окна по селу, велел идти в Игнатову хату на сход.

Собирались долго, недружно: то ввалится несколько человек почти сразу друг за другом, то целые полчаса хоть бы кто постучал сапогами в сенях, звякнул щеколдой. Правда, те, что были уже в хате, таким непорядком не только не возмущались, но словно бы и не считали его достойным внимания: сойдясь в кружки, мужчины и хлопцы смолили сигарки, беседовали. Беседа, да и движения были большей частью неспешные, мирные, и причиной тому была зима: когда ж и посидеть и потолковать вволю, как не зимой, да еще перед сходом.

Дым плыл вверх, тучкою вис около лампы, которая тихо шипела и мигала.

В каждой кружке был свой разговор. Иной раз он в этот вечер спадал до едва слышного шепота: пересказывали неопределенный слух о том, будто Маслакова свора наконец достукалась. Распотрошили в пух, кого убили, кого арестовали, один Маслак, кажется, и выкрутился. Другие говорили, что Маслака тоже то ли схватили, то ли застрелили, но больше верили тому, что гаду и на этот раз удалось ускользнуть. Разноречивость этих сообщений о судьбе Маслака как бы подчеркивала ненадежность самих слухов: где-где, а в Куренях знали цену слухам! Поэтому говорили о банде с недоверием, с опаской и, как водится, скоро замолкали или переходили на разные домашние новости и толки.

Бородатый Прокоп в своей кучке, где сидел и хозяин хаты, Хадоськин отец, и Глушак, весомо, басовито бухал о том, что кто-то ободрал стог сена на голинé.

— Больше чем полвоза натягал, урод!

Прокоп до разговоров охотник небольшой, говорит так, словно воз сена подымает. Тем, кому доводится слушать его, прямо хочется помочь человеку. Он и теперь бухнул несколько увесистых слов и смолк — только по тому, как угрюмо выглядывают глаза из-под сросшихся лохматых бровей, видно, что сердится очень.

— Судить таких надо бы, — заявил Игнат. — В Сибирь ссылать, чтоб охоту отбить на чужое.

— Строгости мало. Бога забыли. Разбаловались. Все от этого, — наставительно сказал старый Глушак.

В уголке под образами Андрей Рудый наседавал на лысого, тихого учителя из Олешников:

— А я слышал, что в Китае, — та-скасть, — революционеры берут верх и бьют генералов — аж пух летит.

— Может быть. Слухов всяческих... много... — Учитель озирается, как в западню.

Ему, видать, нелегко с куруевским политиком. Сам он, хоть его порою и величают по имени-отчеству, Степан Власович, почти ничем не отличается от остальных мужиков — ни хозяйством, ни одеждой. В Олешниках у него своя хата, корова, даже лошадь своя и плуг. Пашет и косит сам. Руки у него шершавые, черные, привычные копать в земле. Он тут свой среди своих, хотя это кое-кому и не по душе: разве ж это учитель? Вот в Березовке — пан, а не какой-то там дядька!..

— А есть, та-скасть, известия, — не отстают Рудый, — что гонять их, генералов этих, до моря и як догонять, следовательно — потопить всех до одного...

— Потопят... — Степан Власович расстегивает замызганный кожаный, из-под которого выглядывает посконная крашеная рубаха — в пот воцпал куруевский политик!

— И нехай топят! — весело врывается в беседу Миканор. — Тебе, нешто, жалко? — смеется он, желая, видно, помочь учителю. Но Андрей шутить не собирается, смотрит в ответ холодно: не лезь, куда не просят!

Но тут в разговор вступает Чернушка:

— Дай ты человеку передых! Пристал с этим твоим Китаем! Китай да Китай! Тут и со своим, не то что с Китаем, неведомо как разобраться. От, присоветуй, Степан, — головня яровое губит. Правда, что ежели б синим камнем протравить, дак можно б избавиться?

— Можно — синим камнем, — оживляется учитель, — а можно — формалином. Помогает хорошо...

В кружке женщин, что теснились у кровати, беседа шла такая тихая, что со стороны почти ничего не было слышно. Из этого неразборчивого гуда время от времени вырывался задиристый голосок говорливой вдовы Сороки, сильной, вертлявой женщины, которая, переговариваясь, бросала острые взгляды на мужские компании, на все, что делалось в хате. Глаза ее просто бегали, ловили, жаждали чего-нибудь интересного! Такое внимание к окружающему отнюдь не мешало вдове прислушиваться к перешептыванию женщин, одновременно участвовать в беседе. И надо

сказать, что участие это было не лишь бы какое, не формальное. Часто тетка Сорока забивала остальных четырех, немевших от потока остроумных прибауток и шуток. Прибаутки вязала она легко, ловко, неумоимо, откуда только и бралось!

Всякому, кто наблюдал бы за беседой женщин со стороны, могло показаться, что там готовили какой-то заговор или, по крайней мере, поверяли друг другу секреты необычайной важности. А секреты были такие, что у Грибка телку кто-то сглазил, и она ни еды, ни питья не принимает, что Миканор Дометик с почты принес газету, а в газете той прописано — через неделю будет опять война с поляками, что Ганка Чернушкова уже и смотреть на Дятликова Василя не хочет...

— Картоплю с огурцами уминает, а уже не хочет этого хлопца! Подавай короля с заморского корабля!

— Завидки на добро глушаковское взяли! Мачеха, видно, подговаривает!

— Не мачеха! Поссорились они, Василь и Ганна! — возразила Хадоськина мать.

— Ага, поссорились! А чего?

Тетушка Сорока только собралась высказать причину, как в женский кружок затесался разбитной Зайчик, завертелся, цепляясь к каждой, делая вид, что лезет целоваться.

— Девоньки мои, цветики! Занудились, верно, без кавалера!

— Эге ж! Нужен ты нам, старый пень, как вчерашний день!

— А что, не нужен, Сорока-белобока? А чего ж ты, как на людях, дак «старый пень», а как одни, дак и «цветик» и «ягодка»! — Зайчик перебил Сороку. — Еще и осенью ночевать зазывала!

Мужчины, хлопцы, все в хате смотрели теперь на Зайчика, смеялись, подначивали его и Сороку. Тетка укорила:

— Детей полон хором, а сам, что малый, — и не сором!

У Зайчика детей, и правда, полна хата, голые, голодные, и сам он лядащий, худой, аж щеки ввалились, кожух такой, что и латку положить некуда — дырка на дырке, на спине, на рукавах — всюду торчат клочья шерсти. Но ничто его словно бы и не тревожит — скинул с лысой головы шапку, лезет, добивается от Сороки: чего же приглашала осенью?



Подурачившись с Сорокой, встрял неожиданно в девичий кружок — одну обнял, другую чмокнул, кого-то ущипнул. Поднялся крик, по Зайчикову кожиху замолотили кулаки. Под крики эти выбрался он на волю, кривась, показывая, как больно: здорово же побили, пискухи!

Пристал к гурьбе парней:

— Какой это дурень станет брать себе этакую погибель в хату!

— А мы и не возьмем! Не будем жениться! — заявил весело Хоня.

— Не женитесь, хлопчики!

— Не будем! Твердое слово сказали!

— Батка и матка! Ты гляди, пойдет ли еще которая в твой кагал! За такой оравой присматривать!

— Сам присмотрю!

Василь сидел среди хлопцев у дверей, но почти не слушал ни того, о чем они говорили, ни того, о чем перешучивались теперь с Зайчиком. Даже дружный смех не выводил его из состояния настороженности, с каким он вошел сюда. Василь впервые после тюрьмы был на таком большом сборище, ловил на себе любопытные взгляды, видел, что женщины нехорошо перешептываются о нем. К тому же до него дошло, что нынче будет речь о переделе земли. Это должно было напомнить людям о его вине и, он боялся, — могло при переделе повредить ему. Этот непокой его смешивался с неотступным, напряженным ожиданием, что вот-вот может войти в хату Ганна. Он ждал ее, тревожился. Давно, чуть не сразу, как увидел, что Ганны нет, заметил, что нет не только ее, но и Евхима Корча! Можно ли было ему не думать, что они не вместе где-то!

Уже была почти полна хата, когда в кучку, стоявшую у дверей, протиснулся из сеней первый Евхимов приятель, здоровенный и дурковатый Ларивон, великий охотник выпить, а выпив, подраться. За Ларивоном Василь сразу же увидел Евхима. Едва только увидел — почувствовал, как вдруг стало жарко, стало нечем дышать, поскорей отвел глаза. Не мог видеть ненавистного лица.

Но и не глядя, знал, какой тот веселый, довольный, и от этого ныло в груди.

— Раздайся, мошкара! — приказывал Ларивон, расталкивая хлопцев. Плечистый, с красной шеей, по-бычьей наклоненной головой, он теперь очень оправдывал свое прозвище, которым его потихоньку окрестили: Бугай.

— Говорил я, без нас не начнут, — произнес весело Евхим. — Можно было бы еще посидеть!..

— Угу, только вас и дожидались! — закривлялся Зайчик. Он крикнул Грибку: — Уже можно начинать!

— И правда, — подхватила его слова Сорока, — неужто до петухов ждать будем, пока все притащатся?!

Как бы разбуженные криком Сороки, все задвигались, загалдели: время начинать! Грибок пошептался с криворотым — из-за красного рубца, разрезавшего щеку и подбородок, — председателем сельсовета Дубоделом, обратился ко всем с просьбой:

— Дак, може, давайте помолчим трохи? И послушаем, что скажет нам начальство из сельсовета?

— Можно и помолчать... Нехай говорит!.. Тихо вы!.. — раздались голоса. Гомон в хате стал спадать.

Начальство — молодое, с болезненно костлявым, бледным лицом, острыми плечами, с горячим отважным взглядом — встало, одернуло великоватую гимнастерку и начало с того, что, во-первых, от Олешницкого сельского Совета, Юровичской волости, передает привет всем трудящимся села Курени. Дубодел, переждав, пока утихнут шум и хлопки, начатые Андреем Рудым, объявил:

— Во-вторых, чтобы переговорить с вами о разных делах. Про школу нашу, — он кивнул на учителя, — про налог, конечно. А также — и про гать. Про гать тут должен был говорить из волости, но по той причине, что он не приехал, опять буду говорить я...

— Предлагаю сперва выслушать международное положение, — поднял руку Андрей Рудый.

Дубодел обвел людей глазами, непреклонно сказал:

— Международное положение я обрисую, когда буду говорить про налог и про гать! Ясно?

Рудый кивнул:

— Ясно.

Но тут роем накинулись, одолели Дубодела другие голоса, придирчивые, злые:

— А про землю, про деление — ничего? Делить — когда?

— Переделили уже!

— Говорили, дурачили!.. Обещанка — цацанка!..

— Дак какое ж теперь деление?! — крикнул Хоня. — По такому снегу?

— Дождались!

Напрасно перепуганный Грибок старался успокоить людей — гомон, крики, возмущение, злость, смех бурлили в хате. Стало тише на минуту только тогда, когда Дубодел твердым голосом заявил, что землеустройство будет проведено весной. Но не успел он сесть, как зашумели вновь.

Учителю Желудку пришлось начинать в этом гуле. Говорил он несмело, тихо, и поначалу даже вблизи мало что слышали из его слов. На тех, кто шумел, начали шикать.

— Тихо ж вы! Дайте сказать человеку! — бухнул, наконец, Прокоп.

— Уже месяц, как в школе идут занятия, — стало легче говорить учителю, — а ходят в школу из Куреней только двое — Дятел Соня и Глушак Степан.

— Хорошо ему ходить, отца такого имеючи, — перебил Хоня, и согласный гомон вновь заглушил учителя.

Василь очень мало интересовало, что говорил Желудок. куда с большим вниманием следил он за тем, кто появляется из сенец.

Ганны не было и не было. Внезапно взгляд его наткнулся на другую фигуру, которая сразу взволновала хлопца. Василь не поверил, присмотрелся: нет, ошибки тут не было, в дверях стоял ОН! Василь невольно насторожился: вот кто, оказывается, должен был прибыть из волости! Но что же он стоит за спинами, в тени, не идет за стол? Прерывать собрания не хочет или охота послушать отсюда, неприметно?

— Пусть Степан из богатой семьи, — возразил учитель. — Но в школу ходят и победнее. Ну, вот Дятел Соня, из ваших, — Желудок кивнул на Андрея Рудого, Сониного отца. — Много бедных детей ходит из Богуславца, из Глиниц. Я уже не говорю про Олешники. В Куренях больше всего таких, которые не ходят в школу...

— А из Мокути много ходит?

— Из Мокути тоже, — признался Желудок.

— А из Хвойного?

— И из Хвойного. Как им добираться?

— А нам как? Один черт, что из Куреней, что из Мокути!

— Как мокро, дак легче на тот свет, чем в Олешники ваши!

Людей снова будто прорвало. Желудку не давали слова сказать: говорили, кричали, не слушая никого и ничего.

— Хай бы сам учитель сюда ходил, коли нужно...

— А кто мне, за дитя мое, робить будет? Есель юровичский?

— Сказал: олешницкие ходят! Кабы у нас была школа!..

— А строить кто школу ту будет? Платить за нее?

— В чем же оно пойдет в мокредь да в холод — голым светячи!

— Добро ему говорить — на казенной получке!

— Мой дак меньших глядит всю зиму!..

Желудок слушал шум молча, терпеливо: спорь не спорь, все равно не одолеешь. У Дубодела было иное мнение — он вскочил, замахал руками:

— Граждане куруневцы!.. Прошу!.. Призываю всех!..

Но куруневцы не хотели слушать никаких просьб и призывов ни его, ни тем более Грибка, помогавшего ему вяло, только для виду:

— Дядьки, тетки!.. Ей-богу, что малые!..

Когда шум наконец спал, Желудок вынул из кармана сложенную бумажку.

— Я вот сейчас прочитаю список детей, которым нужно в школу ходить, а они не ходят. — По хате опять пошел гул, но уже не дружный, с перерывами. Учитель читал фамилию за фамилией, выбирая минуты тишины. Когда он кончил читать, Дубодел строго, тоном, таившим некую решительную угрозу, приказал:

— Дай мне списочек этот!

Он молча перечитал бумажку, свернул и с той же непонятной угрожающей затаенностью спрятал в карман гимнастерки. Этот загадочный маневр приковал к нему внимание, заставил всех смолкнуть.

Тут, попросив слова, чрезвычайно громко, пламенно заговорил Рудый:

— Куруневцы, все, что тут, та-скать, изложил наш учитель и интигент Степан Уласович, требо каждому запомнить и взять на заметку. Он попал в точку. Дядьки, а таксамо и женщины, матки, подумайте, что скажут нам наши дети, когда вырастут темными, так сказать, неуками. Не скажут они нам своего «спасиба». Бо, як писал великий русский поэт Миколай Алексеевич Некрасов, неукам у будущем жить буде богато тяжелей, чем усим нам, по-тому что, та-скать, наступить новая эпоха. И неученым не будет дороги ни туды, ни сюды!..

Куруневцы слушали его без интереса, кое-когда посмеиваясь: знали — Рудого хлебом не корми, а дай слово

сказать. В это время и пошла по мужикам да бабам новость про тихого гостя — все больше и больше их оглядывалось на сенцы, искало глазами чужую фигуру в сумраке у дверей. Перестали оглядываться, притихли, когда Рудый сел и отозвался сиплым, скрипучим голосом старый Глушак:

— Конешне, детей держать дома в теперешнее время — не большая надобность. Не так той пользы с них и помощи, как школы. А в школе — правду говорят тут — могли б набраться разума...

Глушак не то что на собраниях, а где-нибудь на заваulinke попусту говорить не любил; слова, как деньги, выпускал неохотно, и слушали его так внимательно, будто он выдавал эти считанные деньги. Василь, да, верно, и не один он, подумал — что бы это могло втянуть старика в этакий расход? «Хочет, верно, чтоб начальство услышало. Подладиться хочет...»

— Значит, так и постановили, — сказал Дубодел, — чтоб дети, которые тут вычитаны были, с завтрава пошли в школу. А которые родители не выправят детей, то нехай добра не ждут. И за это прошу всех поднять руки.

Он следил взглядом, не дававшим никакой надежды на снисхождение, — руки куреневцев поднимались нелегко, но все же поднялись. Только после этого голосования дошла до него весть, что Апейка в хате, и он пригласил гостя из Юрович к председательскому столу.

— А теперь, граждане деревни Курени, — невольно оглядываясь на председателя волостного исполкома, заметно мягче заговорил Дубодел, — перейдем ко второму вопросу — об том, какое у нас на сёнешний день международное положение, и — про налог... Положение наше на сёнешний день укрепляется. Рабочие, все городские люди на сёнешний день сильней укрепляют смычку с селом, а селяне по всей стране охотно исполняют налог и все наши обязательства. Опять же наши враги скрежещут зубами, но боятся сунуться к нам, бо помнят гражданскую войну. Только одно погано на сёнешний день, что наш народ — братья наши и сестры, которых отделили от нас границей паны, пропадают под гнетом и терпят от этих панов пятый год всяческие издевательства...

Василь приготовился было слушать разговор о самом важном, что из всех дел на собрании одно только и заботило, — о налоге, — когда вдруг не увидел, а почувствовал — вошла Ганна. Весь вечер, что бы ни видел, о чем бы

ни думал, ждал ее, поэтому заметил сразу, как только появилась она вслед за Хадоськой.

Что-то горячее, как кипяток, разлилось по телу Василя. С этого момента он почти ничего не слышал, почти никого, кроме нее, не видел. Ни Дубодела, ни Апейки, никого другого как бы и не было теперь в хате. Но если он, сам того не желая, вопреки всему, что говорил разум, как одержимый ловил каждое ее движение, она, хоть не могла не знать, что он здесь, даже глазом не повела. Так, не то чтобы без внимания, а без хотя бы какого обычного любопытства, гордая, неприступная, протискалась она меж людей мимо самого хлопца, добралась до кровати, села рядом с Хадоськой. Что-то сказала подруге, насмешливо улыбнулась, стала с тем же горделивым видом смотреть на Дубодела, слушать.

До Василя, как сквозь толщу воды, дошло имя матери, прочитанное Дубоделом, — семь рублей тридцать две копейки недоимки...

Дубодела непрестанно перебивали, переспрашивали, удивлялись, объясняли, а потом, когда он, наконец, докарабкался до точки, окружили, загалдели, перебивая друг друга. Теперь часто обращались и к Апейке, он слушал, смотрел квитки, спрашивал то у Грибка, то у Дубодела, что-то отвечал, записывал. К столу протискивались и женщины, не только такие, как вдова Сорока, хозяйки, а и те, мужья которых уже стояли около Апейки или Дубодела: теснились, словно ждали, что их позовут на подмогу. Хлопцы почти все стояли возле дверей или в сенцах, откуда порой слышался девичий писк и смех. Василь оставался там, где и прежде; попробовал подойти к столу, но пробиться нельзя было, и он вернулся на свое место. В другой раз он, может, не отступился бы так легко, хотя бы для того, чтобы не бросить тень на свою мужскую честь, но теперь не до каких-то забот о чести было ему. И не до недоимки.

С той же произвольной одержимостью, когда все тревоги и надежды были с Ганной, он стал раз за разом посматривать туда, где о чем-то говорила с Хадоськой эта гордячка. На какой-то миг их взгляды встретились, но она сразу же отвела глаза...

Дым от сигарок висел так густо, что лампа начала мигать, когда Грибок объявил, что от волости про гать скажет товарищ Апейка. Но тот не успел и рта раскрыть, как Хоня крикнул:

— Гать гатью, нехай бы кто сказал, что с Маслаком?  
— А то говорят, говорят, грэц его, а толком никто не ведае...

— А что говорят? — ухватился Апейка.

— Ну, нибыто его... потербили нибыто... — неуверенно ответил Игнат.

— Побили, — нарочито спокойно бросил Апейка. — Хорошенько побили. Трех уложили, а пятерых живьем взяли, арестовали... Я потому и опоздал сегодня — на допросе был...

Василь даже дышать перестал: вот так новость! Весть эту слышал он впервые, слухи как-то обошли его, и новость потрясла его необычайно. И как она могла не потрясти, если столько перетерпел из-за этой погани с обрезами, если они, можно сказать, свет ему заслонили! Допрыгались, значит, гады! Получили свое! Тут же вслед за радостью появилось озабоченное: а может, они и про Курени, про него что говорили?

— Мы, правда, настигли не всю свору. Нескольким повезло пока что — в другом месте были...

— А с Маслаком что? — вновь крикнул Хоня.

— Маслака убили, — ответил Апейка.

В хате сразу зашумели с облегчением. Хоня перекрыл гомон:

— А тех, что выкрутились, богато?

— Человек семь еще. Но и их очередь недалеко. И им недолго бегать на воле.

— Давно надо было! — громко укорил Хоня.

— Надо было. — Апейка помолчал минуту. — Со всеми скоро покончим. Нам надо жить. И думать про то, чтоб жить лучше. Как весна, или осень, или там мокрое лето — до ваших Куреней ни дойти, ни доехать. И из Куреней тоже — никуда. Свет кончается на болоте. Свету не видно. Правду я говорю?

— Истинную правду, так сказать! — подтвердил Андрей Рудый.

Большинство присутствующих молчало, ждало, что будет дальше. Апейка пошел в наступление:

— Правду. Сам не откуда-нибудь, а из такого же болота... Соли либо спичек надо — так лезь, гребь по топи, пока до кооперации догребешься!.. До лавки добраться — тоже гребись, коли не запасся зимой или летом... Или здесь вот про школу говорили. Конечно, какая ж тут школа детям, если целыми месяцами ни проехать, ни пройти!

Да и кто, жалеючи свое дитя, пустит его, может быть, на погибель... — Апейка услышал одобрительный гул: дошло слово до людей. Заговорил горячей: — Это не наша вина, а наша беда, что судьба занесла нас на болото. Что трясина оторвала нас от других сел, от городов, от мира. Мы живем, как звери. Но и звери ходят из леса в лес. А человек не зверь, человек не может жить без людей. Человеку нужен целый свет. И поэтому нам надо бороться с бедой нашею! Надо прорвать болотное окружение, связаться с другими селами! Надо, чтобы в любое время, днем и ночью, весной и осенью, можно было идти и ехать куда хочешь: в лавку, в школу, к своякам!.. Одним словом, надо, чтоб человек жил как человек, а не как зверь!.. Вот почему наша власть объявляет войну бездорожью и призывает, чтоб вы тоже в нее вступили. — Апейка окинул взглядом несколько лиц, как бы ожидая одобрения, ожидая добровольцев для этой войны, но куреневцы только отводили глаза. Хоть и знал, что это значило, заключил уверенно, с надеждой: — Я предлагаю между Куренями и Олешниками построить гать!

Как и предполагал, с минуту было тихо. Потом Сорока полюбопытствовала:

— А кто ее будет строить?

— Кто?! Сами!

— Эге! Легко сказать, да — далеко дыбать!

По хате прошел гомон:

— Тут и без того: куда ни кинь — клин!.. Этого еще только не хватало!..

— И без того, как вьюн, крутишься!

— Не мела, грэц его, баба хлопот!

— Столько сил положить! Надорваться! Коней замучить!

— Мороз сам сделает гать!

— Ровно ток замурует! Хоть молоти!

— Нехай тот робит, кому треба! Не мужицкое это дело!

— Власти надо, нехай строит!

— Жили, тем часом, и так! И ничего!

— Отцы и деды свековали! И мы — не горше!

— Не пропадем!

Недаром отложил Апейка все свои дела в исполкоме, добирался в эту глухомань: выросший среди таких же, как эти, людей, заранее предчувствовал, как они могут принять, казалось бы, такое хорошее и такое нужное им предложение.



Дубодел махал руками, утихомиривал:

— Граждане куреневцы!.. Граждане!.. Это ж не базар!.. Граждане, прошу!..

— Дядьки! И тетки! Ей-бо, перед чужим человеком!.. — помогал ему Грибок.

— Тихо! Дайте сказать! — вломился сильный Хонин голос.

— А чего тут молчать! Чего тут хорониться!

— Правду надо говорить!

— Не нужна она, эта гать! И все!

— Как пятое колесо!

— Обойдемся!

— Дайте сказать человеку!

Не впервые видел Апейка — на хорошее, полезное для себя дело люди не хотели давать согласия. Не хотели, он знал, отчасти потому, что это нарушало покой, привычный, надежный, влекло за собой лишние заботы и неизвестность. Но этому нежеланию была и иная причина: так уже велось — всякое новое дело вызывало тайное и явное недоверие. Словно заранее известно было, что кто-то на этом хорошем как-то выгадать думает, кто-то иной, а не они...

Апейка знал, откуда это недоверие, заскорузлое, ухватистое, как болотные корни. Он не тешил себя обманчивыми надеждами: не день, не год вращалась в людские души эта подозрительность — не в день, не в год искоренишь ее. Поэтому он тут, на собрании, не только не поддавался какому-либо разочарованию, но даже и не удивлялся. Не удивляло его и то, что им так жаль было затхлого покоя: тот, кто век живет на болоте, не мог не привыкнуть к ядовито-зеленой красе ряски...

Апейка стоял, молча слушал говор, ждал: пусть пошумят, отведут душу, остынут. Остынут — будут слушать рассудительней. К тому же Апейка слышал два-три голоса, одобрявшие мысль о постройке дороги через болото.

— Конечно, можно и так оставить, как было, — заговорил он, когда гомон поутих, — можно не делать гати. Можно обойтись, как тут кто-то сказал. Отцы и деды жили без нее, правда. Сидели в болоте, в трясине, не было спичек, керосина — обходились без них. Не было хлеба — обходились и без хлеба. Кору, желудей, слава богу, вдоволь. Беззаботно жили отцы и деды, как паны жили! Задыхались от дыма, пухли с голоду, помирали без помощи. Когда ж очень припекало, пробивались и через эту душе-

губку. Ломали телеги, коней топили, сами, видно, топились?!

— Бывало... Хоня Матруньчин... Перед колядами уже...

— Хоня! А Василь Кныш? С конем...

— Сахвела Петрикова?..

— Оно, правда, и по осени, и в лето, что арыштанты какие. Ни отсюль, ни сюды...

— До свата — нибыто — в гости и то не выберешься!

— Чтó до свата, до девки чужой — и то! — заржал Ларивон.

— Тебе девки только и на уме!

— Что кому! Кому — вдова, а кому — девки!

Апейка переждал и снова бросился в атаку:

— От я и кажу: надо, чтобы человек жил как человек, а не как зверь. Чтоб недох в дыму, не пух с голоду. Чтоб не прозябал век в темноте и не боялся никого и ничего. Вот вам тут спокойно не даваладохнуть бандитская шайка. Лазила тут, грозилась, грабила. Без тревоги ни в лес не пойдешь, ни дома не поспишь. Верно, не один ругал власть, что так долго с шайкой этой сладить не может! А как же справиться с ними, помочь вам, коли тут — доберись с милицией или с красноармейцами!.. Теперь вы вот нарекаете, что землеустройство до сих пор не проведено! Правильно нарекаете, но подумайте хорошо, почему так случилось?..

— Дак разве мы против? Мы ж только про то, что нам это не под силу!

— Надорвемся, а не сделаем! Коней замучим, и только!

— И сами замучимся!

— Да об себе — говорить нема чего! А без коня как после, по хозяйству?

— От кабы власть взялася!

Тут внезапно вскочил Миканор, до сих пор весь вечер не сказавший ни слова:

— От не люблю это наше плаканье! Ну, просто — слухать неохота! Еще за топор не взялись, а уже стонем — спина болит!

— А не болит?

— Тебе хорошо, выгулявшись.

— Выгулялся я или не выгулялся — не об том разговор. Как выгуливаются на службе, все мужчины знают. А кто с хлопцев или баб не знает, дак поспрошайте. Не об этом разговор. Плакаться и стонать, не тукнувши топором,

не поклавши ветку на гать, — от что погано! И пес его знает, докудова же мы будем сами от добра своего отворачиваться?!. Нас, ей-богу, что телят дурных тычут, чтоб к корове, а мы — ровно нас зарезать собираются. Ровно добра не хотим... От тут товарищ Апейка говорил про телеги, про землю, про бандитов. Правильно ж говорил, ей-бо! А от — как мучимся мы со своими жерновами! Бо ветряки ж в Олешниках, не доберешься. Аж жалко глядеть на бедных наших баб да на малых, как они мучаются! А то ж еще и старая matka — не секрет — часто, бывает, надрывается, чтоб смолоть чего-нибудь!

Один, другой из мужчин сильней задымили сигарками, женщины же завздыхали, загоревали: правду говорит, мұка без ветряков! А в Олешниках их аж два, и так скоро, хорошо мелют!

— Дак не об том байка. Гребля, конешне, непогано — кто ж против?

— А коли не против, дак не надо, ей-бо, плакать и стонать! И не надеяться на кого другого, а — браться за нее!

— Дак тебе ли, Миканорко, говорить, что весь год — как черт лысый крутишься! Ведь же дня свободного нема!..

— Можно найти! Коли захотеть.

— Зимой же не будешь. Снег...

— Зимой — не секрет — можно наготовить, свезти все. А летом, отсеявшись, можно урвать недельку!

— Урвешь ты. Один возьмется, а иные — сигарку в зубы да поплевывать!

— Один будет надрываться, другой по мураве кататься!

— Никто не будет кататься! Если постановим, чтоб селом всем, дак и приказ такой будет: всем идти!

— А коли кто, грэц его, не пойдет? Возьмет — да и не пойдет!

— Дак неуж мы не можем всем селом одного такого заставить, чтоб не сбивал строй!

— В сельсовет передайте, — заявил Дубодел. — Мы найдем, что с таким сделать!

— Столько страху, ей-бо, с этой греблей! Как, скажи ты, не гребля, а — пес его знает что! В других селах, не секрет, — вон уже давно за болота взялись, осушать начали. Не чешут потылицы, а роют канавы и делают луга.

И коноплю, и всякие другие культуры сеют! А у нас — ровно бы и нет болота? Ровно бы у нас лишне земли?

— Возьми ее, коли ты такой смелый!

— Мало гати, дак еще и болото!

— Дело излагае!

— Пустое!

Василь подумал: «От же влезла человеку в голову дурость, не дает покоя. Будто бы это так просто — пошел и осушил неведомо с чем и с кем, такую прорву бесконечную кругом! Да и на что осушил — чтоб на другой год все опять затянуло тиной да ряской! Уж, кажется, слышал ведь от мужиков ответ разумный, дак же нет, все одно лезет на рожон!.. В других селах, говорит... У других — всюду рай, сам хлеб сеется, сам мелется, сами булки в рот летят, а мы — без хлеба от зимы! Болтает, ровно бы делать нечего!» Василь более мирно думал о гати, но считал, как и многие другие, что это — дело «казенное». «Ежели б казна взялась да платила бы какую копейку, то можно было б и взяться в свободное время. Заработать можно б было что-нито...»

Миканор, зацепив в разговоре осушку болот, и сам сразу же почувствовал, что промахнулся, — все равно никто не поддержит, но, разгоряченный, остановиться уже не мог.

— Конечно, осушить болото — не то, что дорогу нагатить. С ним сразу не справишься. Не секрет — сила нужна большая. И времени много! Дак если б взять и организовать мелиоративное товарищество!..

— Сорганизовали уже одно!

— Потушили все пожары!

— Привезли пожарную!

Андрей Рудый крикнул Дубоделу, чтобы дали ему слово, сказать «ноту» на этот поклеп. Не ожидая согласия, с возмущением накинулся на насмешников: пожарную-то он обещал привезти, но денег собрали мало, хватило только купить два багра, топор, три ведра. Кто-то перебил его вопросом: куда это все исчезло, но Дубодел не дал Рудому оправдаться, заявив, что вопроса этого нет в порядке дня.

Рудый стал спорить с ним. Их слова тонули в шуме: говорили все, не обращая, казалось, никакого внимания ни на Миканора, который еще хотел продолжать речь, ни на президиум. Миканор постоял, подождал и, обиженный таким невниманием, сел.

Василь заметил, что Апейка, который вновь начал говорить, когда в хате немного утихли, ни слова не сказал о мелиоративном товариществе, а все о гати, только о гати. После него — кто бы ни отозвался, все говорили против предложения Миканора об осушке болота, о мелиоративном товариществе. Апейка слушал молча и, казалось, как будто поддерживал такие мысли.

Василя почти не удивляло, что большинство уже соглашалось с предложением Апейки — гать надо делать. «Напужались, что еще и за болото велят взяться. Все-таки с гатью — меньше хлопот...»

Он и сам, боясь, чтобы не начали уговаривать, если не сразу лезть в болото копать канавы, то вступить в товарищество, платить пай, с легкой душой проголосовал — гатить дорогу.

— Остается только выбрать старшего, — удовлетворенно промолвил Апейка, когда руки опустились. — Я думаю, что на эту должность не найти лучшего человека, чем Миканор!

У многих из присутствующих, видимо, было другое мнение: один Андрей Рудый сразу сказал, что согласен, даже захлопал в ладоши. Его поддержало только несколько человек. Остальные же совет Апейки приняли без радости, в хате наступила неловкая тишина.

— Не выбрать бы холеру — горячий не в меру! — крикнула Сорока.

Она, должно быть, сказала то, о чем думали многие. Но Апейка предупредил разговоры, которые могли бы помешать Миканору:

— Горячий — не беда! Не был бы холодный! Горячий — значит, добра людям желает, не безразличный! Значит, дело поведет хорошо.

Его послушались: Миканора так Миканора. Чувствовалось, что люди уже утомлены и собранием и поздним временем, и теперь, когда главную заботу — гатить дорогу — взяли на душу и ничего важного не будет больше, ждали только, чтоб поскорей разойтись. Выбрав Миканора, они и повалили шумливо из хаты. Один, верно, Василь пошел в гурьбе хлопцев во двор неохотно, словно покидал в хате надежду.

Он прошел немного по белой улице, отстал от хлопцев. Идти домой не хотелось. Словно был на привязи — тянуло обратно в Хадоськину хату, где еще была Ганна. Вот про-

шел мимо черный Прокоп, Сорока, обронившая слова, вероятно, о Миканоре:

— От службы дурь. Поживет — разума наживет!.. Наживет, быть не може, коли на что гожий!..

Тихо, задумчиво протащился мимо ее, Ганнин, отец, не заметил даже Василя. Зайчик подлетел, сунул бородку к Василеву лицу:

— А ты чего тут? Забыл, где твоя хата?

Хихикая, вприпрыжку побежал домой. Еще прошло несколько фигур, шумных, молчаливых. И вот остановилось, онемело сердце: Ганна идет. С каким-то страхом и боязливой надеждой, пересиливая неуверенность, шагнул навстречу:

— Добрый вечер!..

— Ночь уже, — неласково, колюче сказала она.

Пошли молча. Хотел говорить, заставлял себя говорить, чтобы не было жгучей молчаливости, и не мог разжать губ. А потом было поздно: услышал сзади шаги, оглянулся — догонял Евхим. Догнав, пошел с другой стороны. Засмеялся дружески:

— Досидела до конца! Терпеливая!..

Василь почувствовал себя лишним...

...Через несколько дней Василь ехал с возом хвороста по лесу: куреневцы возили хворост к гати, заготавливали. Выезжая с целика на дорогу, Василь неожиданно столкнулся с Чернушкой.

Чернушка отстал от своего воза, подождал Василя. Закурили. Пошли вместе.

— Ты чего это совсем показываться ко мне перестал? — спросил не без значения Чернушка. Василь отвернулся:

— А так...

Чернушка не отступался:

— Ты, может, про Ганну что, грэц его, думаешь? Дак не думай. Ждет она тебя.

— Да, — косо глянул Василь, — Евхим же, Корч... клинья подбивает...

— Липнет, грэц его! Да — это все пустое. Заходи, не думай ничего.

— Ну, может... Посмотрю. Приду.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Зима крепчала понемногу. То прижимали землю морозы и чистой белью — так, что слепило глаза — ширились поля, то мокла ростепель — снег темнел, и, нудный, беспросветный, моросил дождь. Только под самый Новый год морозы сковали землю как следует, и зима стала владychествовать одна: застилала просторы новыми и новыми выбеленными полотнами, обкладывала хаты и хлева сугробами, перегораживала улицы белыми горами...

Со дня на день Миканор все больше свикался заново с прежним своим обиталищем, с новыми заботами и обязанностями. Изю дня в день надо было помогать дома отцу и матери — напоить, накормить скотину, привезти сена, добыть, наготовить дров. А еще больше хлопот было вне дома, с гатью. По твердым санным дорогам возили к приболотице у цагельни жерди, ветки, бревна. Ежедневно, когда кто-либо ехал в лес с этой целью, Миканор выбирался вместе с ним или в лес, или к цагельне — встречать возчиков, помогал складывать привезенное, записывал в блокнот, кто что сделал. Чуть не каждый вечер ходил Миканор по куруневским хатам, договаривался о подводах «на греблю».

И для дома, и для гати делал Миканор все с охотой — особенно тогда, когда установились звонкие морозы, когда так весело сверкали под червонным солнцем поля, когда лес полнился такой тишью, что хотелось, как мальчугану, дурашливо повалиться в снег или закричать на весь свет! В такие дни за версту было слышно, как где-то падает, рассыпаясь на лету, белый комок с потревоженной ветки...

Шел ли по снежной целине, проваливаясь порой по поясу, утапывал ли снег вокруг деревца или помогал пилить и класть на воз — радостно было ощущать, как хорошо, молодод полнится тело горячей силой. Деревца, ветви тонули в снегу; когда обрубал сучья, тащил их — мокрые руки пекло, будто крапивой. Обтирал руки о полу свиты, хукал — грел — и снова с веселой охотой пилил, обрубал, волок к саням. А какое счастье было потом — ехать обратно, слышать, как тонко поют полозья на выскольженных, желтых колесах, как красиво, звонко скрипит под лаптями: рип-рип! А какое счастье было видеть, что растут и растут заснеженные кучи ветвей и бревен около цагель-

ни, ехать на легких санях домой с благодушными, дружески настроенными мужиками!..

Счастье было и колоть дрова дома — под поветью в одной гимнастерке с распахнутым воротом, внести по скрипучему крыльцу в хату, звонко сбросить в уголке, чувствовать, что мать смотрит с благодарностью и умилением...

Своя краса была и у луга. Замерзшее сено отрывалось от стожка, ложилось в сани с сухим, ломким шелестом, из нутра дышало теплом, густым, терпким настоем лежалой травы, казалось, было таким вкусным, что и сам готов съесть!.. После мороза, дневных дорог хорошо было ощущать домашнее тепло, проводить вечера на посиделках с девушками, в беседах с товарищами, с мужиками, что часто сходились в тесную и дымную от лучины отцовскую хату.

Вечерки почти всегда были веселыми, с беззаботным смехом, с грустными и озорными песнями, с шуточками и девичьим визгом. Вертелись, тарахтели колесами самопрялки — казалось, тоже то весело, то грустно, то задумчиво. Под напевы самопрялок, под шуточки и песни Миканор, что по примеру Хони носил шинель лихо, нараспашку, присматривался к подросшим куруневским девушкам — присматривался с интересом, с томительным предчувствием незнаемого счастья. Глаза его очень скоро выбрали из всех, кто старался у прялок, белявую «конопляночку» Хадоську и Чернушкову Ганну. Хоть одеты были не так, как мозырские, что гуляли по припятскому берегу, — в посконь да деревенские паневы были одеты, — даже и в этом платье с любой мозырянкой красую могли бы поспорить!

Особенно нравилась Миканору Хадоська. Но Миканор не полез со своими ухаживаниями сразу, только поглядывал да вздыхал в одиночестве. Даже в военной форме, выгодно выделявшей его среди хлопцев, помнил Миканор о своем рябоватом лице, белесых бровях и блеклых, словно выцветших, глазах, — но была здесь и другая причина: Хадоська нравилась Хоне. И хотя Хоня сам признался с каким-то веселым, лихим сожалением, что душа у Хадоськи не лежит к нему и «ничего людского» у них, видно, не выйдет, Миканор, вероятно, все же не стал бы поперек дороги товарищу.

Хоня быстрым и острым взглядом сам уловил, как смотрит Миканор на Хадоську, пригляделся, проверил,



и когда шли вдвоем с посиделок, беззаботно повел плечами, засмеялся, посоветовал:

— Иди, попытай счастья, авось к тебе добрее будет! Не пропадать же ей одной из-за меня!..

На другой вечер он сам вышел с вечерки вместе с Хадоськой и Миканором, нес самопрялку легко, молодецкато посвистывал, посмеивался; провел немного, вдруг сунул самопрялку Миканору, сказал, что нужно идти домой: набор домашний, должно быть, ждет! На прощанье ободряюще хлопнул Миканора по плечу: иди, брат, желаю успеха!

Но и с Миканором Конопляночка не повеселела: шла в коротеньком колушке с черным бараньим воротничком, в аккуратных лаптишках и белых онучках, почти до колен перетянутых оборами; будто бы и слушала Миканора, а сама — чувствовалось — была далека от разговора этого, безразлична была. Когда дошли до ее хаты, Миканор свободной рукой взял Хадоськину маленькую ручку, хотел задержать у ворот — такая добрая тишина лежала над селом, так мягко кружился снег, таял на лице, белил ее воротничок! — но Конопляночка отняла руку, помотала головой: нет, незачем стоять!

Ничего не изменилось и на следующий вечер: шла рядом, а как будто не видела и не слышала его, была где-то далеко, с кем-то другим. Еще не доходя до Хадоськиной хаты, Миканор перестал шутить, развлекать: чего говорить глухой! Ему стало скучно. В третий раз он сам не пошел с ней...

Интересней было идти с Чернушковой Ганной, которая хоть и подсмеивалась то над его армейской красотой, то над его ухаживаниями за Хадоськой, но зато слышала, видела его, была находчивой, веселой. Было бы с ней и вовсе хорошо, если бы по обе стороны от нее не шли угрюмый, настороженный сосед Василь, почти все время тяжело молчавший да подозрительно прислушивавшийся, и — разговорчивый, самоуверенный, нахальный Евхим Глушак. Они утапывали снег рядом, и Миканор чувствовал, все время чувствовал, что Ганну, хоть она и разговаривает больше с ним, волнует по правде только она. К Василию Ганна ласковее, не таит, даже вроде бы нарочно показывает, что клонится к нему, однако Глушака это нисколько не смущает, не сбивает с него то льстивой, то нахальной уверенности. Он словно твердо знает загодя, что, как бы там ни было, удача достанется ему...

«Ну и задавака, ну и нахал! — подивился, осерчал Миканор. — Держится, будто равного ему нет, богатея поганый!.. — Он погрозился мысленно: — Походи, походи еще — пригнем морду твою к земле, род весь ваш поганый к земле пригнем, корчевское семя!..»

Но — хочешь не хочешь — надо было признаться, что и тут, около Ганны, ходить ему нечего. Он тут уже не то что третий, а — четвертый лишний!

«Не везет мне — не секрет — по этой части! — сделал вывод, посмеиваясь над собой, Миканор. — По всему видеть, переменить цель надо!..» Однако, хотя и теперь ходил на посиделки, как и раньше, каждый свободный вечер, провожал уже кого доведется...

Иные вечера и свободные дни проводил с приятелями — чаще всего с Хоней и Алешей Губатым. Когда сходились в темной и такой низенькой, что верх Миканоровой буденовки задевал потолок, хате единственного кузнецкого гармониста, Алеша обычно вытаскивал из сундука бережно обернутую материным платком гармонику. Садился он всегда на один и тот же услончик, между столом и сундуком, всегда, начиная играть, прикладывал голову ухом к гармонике. Начинал Алеша чаще всего с песен, и песни любил все больше грустные, жалобные. Особенно искренне, печально играл Алеша песню про беднягу-солдата. Великой скорбью брали не слишком чуткое Миканорово сердце слова-жалобы:

Измученный, скалеченный  
Кровавой той войной,  
С одной ногой оторванной  
Гранатой проклятой...

К тихому хриповатому напеву присоединялся звонкий и чистый Хонин голосок, и жалоба-боль начинала как бы шириться, крепнуть, рваться из хаты, в белый свет:

Идет бедняк дай думает,  
Кружится в голове.  
Зачем, зачем я убит не был  
В кровавой той войне...  
Зачем прииду калекою  
В родительский свой дом,  
А там семья голодная,  
А я — лишен трудом...

Миканор видел, как — не в первый, должно быть, раз — у печи Алешина мать утирает слезы, как грустно жмется к подоконнику немолодая Алешина сестра, как дымит люлькой, свесив ноги с печи, его отец. Да и сам

Миканор бывал растревожен, сочувствовал бедолаге-солдату, каких столько перевидел и в Куренях, и в Мозыре...

— Давай чего повеселее! — не выдержал, крикнул Алеше Хоня.

Миканор и рта не успел открыть, чтобы поддержать товарища, как Алеша ловко пробежал пальцами по пуговицам ладов, рванул «барыню». Хоня того только и ждал — вскочил с услона, сдвинул шапку еще больше на затылок, притопнул лаптем, — эх, жаль, пол земляной, — вскрикнул лихо, призывно, и дробной чечеткой двинулся на середину хаты. Топал лаптями, бросался впрысядку, вскакивал, вертелся, подгонял Алешу:

— Давай, давай! Не жалея гармошку!

Он вернулся на лавку, к Миканору, умаявшись вконец, — сопел тяжко, вытирал шапкой взмокшее, раскрасневшееся, счастливое лицо. А Алешина мать от припечка и отец с печи хвалили его, он и сам знал, что хвалить есть за что, но сидел скромно. Скромно, посмеиваясь сам над собой, сказал:

— Была б на что хорошее такая охота!.. От кабы робил так!

— А и робить — не промах! — возразила Алешина сестра.

— Промач не промах, а погулять люблю. Больше чем надо!..

Вспоминая после, в одиночестве, песню о калеке-солдате, Миканор вдруг почувствовал, что она уже как бы ему и не нравится. Не так уж она и хороша: чересчур много в ней плачу, слез. «Все поет и поет, будто выклянчить корочку хлеба хочет. Не советская песня, песня царского режиму еще, видно. Не передовая песня, не секрет...» Услышав песню в следующий раз, Миканор, хоть и знал, что Алеша может обидеться, не смолчал, беспощадно резанул правду-матку. Алеша, как и ожидал Миканор, покраснел, обиделся, было видно, крепко; сразу же с видом человека, которого оскорбили, снял гармонику с плеча, стал заворачивать в платок.

Хоня первый ринулся спасти надломленную дружбу:

— Нехороша, ну пусть тебе — нехороша! А мне — дак нравится, за душу берет! Алеша еще так играет, так поет, — лучше, кажись, век не слыхал! — Хоня пошел в наступление на Миканора: — А может, у тебя лучшая есть? Давай свою лучшую, ежели не нравится эта! Поглядим!

— А могу и дать! — не уступал Миканор.

- Давай, давай! Поглядим!
- Дак знаешь ведь, если я запою...
- А мы все одно разберемся! Давай!

Миканор тем голосом, каким он пел с отделением или взводом, когда шел в строю по мозырским улицам, начал «Марш Буденного». Взял немного высокогато и чересчур звонко, сорвался и, защищая песню, сказал:

— Одному ее трудно! Оно больно хорошо выходит, когда строй поет!..

— И петь умеет! — Хоня сдержал улыбку. — А песня, дак и правда, ничего, а, Алеша? — Алеша промолчал. — Только, конечно, не тому певцу досталась! От кабы кто с человеческим голосом взялся за нее!

Хоня не сразу уговорил Алешу, но все же уговорил: не был бы он Хоней! Когда Алеша подобрал лады, когда заиграл как следует, когда втроем с Миканором стали подпевать, так Алеша и обижаться перестал: песня и впрямь была хороша. Вместе с Хоней и Миканором раз десять подряд охотно вели, повторяли:

С неба полуденного жара не подступи,  
Конница Буденного раскинулась в степи...

Словно и сами мчались на быстрых конях сквозь ветер неизвестных сказочных степей, дружно, нетерпеливо звали:

Карьером, карьером — давай, давай, давай!  
Рота пулеметная, в бою не отставай!

— Хорошая песня! — похвалил и Алешин отец, который сам «когда-то на войне состоял при конях».

Алешины родители были на все Курени бедняки из бедняков: Алеша, помогая им, охотно ходил с гармоникой на вечеринки: и в Олешники, и в Мокуть, и вместе с ним теперь ходил повсюду «Марш Буденного». Миканорова песня скоро разошлась по всей болотной округе...

Когда собирались у Миканора в хате мужики, беседы шли все больше рассудительные, серьезные: о важных происшествиях в домашнем бытѣ, о событиях в жизни соседей, о новостях — или слухах — целого куруневского масштаба. Мешаясь с воспоминаниями и разными поучительными историями, до которых пожилые курунецы были всегда охочи и которые убедительно свидетельствовали, что рассказывающему их довелось немало повидать и познать на веку, — слухи и новости смело переходили границы Куруневской республики, связывали мужиков

с Мокутью, с Олешниками, с волостной столицей. Разговоры, подобные тому, что корова ела что-то плохо и какая-то вялая, что Митя-лесник приволокся опять в дым пьяный, сменялись сообщением о том, какую новую бумагу из волости получил сельсоветский Дубодел, всесторонним, основательным обсуждением ее. Слухи о том, что дееется в сельсовете, неуклонно вели мужиков в волость, вводили в разговоры-предположения Юровичи, Апейку, Харчева.

Пусть и не так часто и не все, все больше Андрей Рудый и Миканоров отец, заглядывали рассудительные куреневские политики и в Минск, и в Москву, к самому Калинин, выбирались в широкий, беспокойный свет. Было это почти всегда, когда Миканор, подсев поближе к камельку, на котором трещала в огне лучина, медленно и трудно читал газету «Беларуская вёска»<sup>1</sup>, пришедшую из Минска.

Из всех новостей, вычитываемых Миканором, особенно волновало то, что делается за границей. Свое было хорошее, приятное — слушая его, тешились, от него становились спокойнее, — оттуда же, из-за рубежа, часто шло тревожное, грозное, страшное — война.

— Докуль же это оно, грэц его, будет! — не удержался, наслушавшись таких вестей, Чернушка. — Шипят все да шипят!

— Капитал, буржуазия! Без войны, следовательно, жить не може! — пояснил Рудый. — С войны, та-скать, сила вся у них, як у коня с овса!

— Сила-то сила, да один другого не очень едят! — опередил Миканора Хоня. Чернушка и еще несколько мужчин согласно закивали головами, поддержали Хоню гомоном.

— Гад, та-скать, гада не любит есть! — Рудый пустил из ноздри деликатную, тоненькую струйку дыма. — Классовая борьба, як учил Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

— Неуж, братки, так и будет весь век? Это ж и до войны недалеко! — не таил тревоги Грибок.

— Недалеко.

Тут уж вмешался Миканор: ясность полную в проблему войны и мира можно было внести, только напомнив о мощи советских военных и морских сил, которые он теперь словно бы представлял в Куренях.

---

<sup>1</sup> «Белорусская деревня».

Не единожды вступал или врывался Миканор в разговоры, которые все же чаще выясняли не мировые проблемы, а, если можно так сказать, проблемы Куреней. Проблемы эти волновали и казались несколько не менее важными, чем мировые, — они просто лезли в душу. Многое, многое в Куренях печалило и заботило Миканора, беспокоило, тревожило, возмущало. Многое, очень многое виделось не таким, как следовало, как должно быть.

Началось все еще тогда, когда с Грибком и его телегой, которых застал в Юровичах, возвращаясь со службы, пробивался домой. Когда лез, тонул в холодной трясине перед недалёкими уже Куренями, радость возвращения, близкой встречи с родным очагом перемешалась с подступившей неко времени тоской. Тоска эта стала угнетать, когда рассмотрел куцые, подслепые хатки, под черными соломенными и камышовыми крышами, когда снова влез в почти забытую грязь куреневской улицы. После мозырской мостовой, людности улиц, припятского веселого простора, словно сплюсненным, затопленным грязью, дремотным и до боли бедным, увиделось дорожное село. Тоска защемила еще сильнее, когда ступил на свое крыльцо, в сенцы — какая же она кривая и гнилая, отцовская хата! И тесная. И темная какая!..

Так было чуть ли не все время: почти всюду рядом с радостью шли печаль, забота, невзгода. Шли дома, шли в лесу, пробивались на вечерках, где тоже, как и во всех хатах, слепли при чадной лучине чуть ли не все наряженные в посконину. Особенно же неудовлетворенность и заботы бредили душу долгими ночами, когда ложился на полаты у разрисованного морозом, с побелевшими рамами окна, из которого лоб, шею, спину студило холодом.

Надо было что-то делать с хатой. Отец говорил, что хорошо бы подвести балки под пол, перебрать стены — заменить некоторые бревна здоровыми, — и живи еще хоть пятьдесят лет. Но менять балки, перебирать стены было делом таким непростым, что Миканору думалось: не лучше ли уж новую, поднатужась, построить. Да и, по правде сказать, больно уж не по душе черное и темное нынешнее их жилье, чтоб стараться, надрываться для него, чтоб еще век вековать в нем! Но ведь и с тем не считаться нельзя: как ты взбодришь новые хоромы с дощатым полом, с хорошей печью, хоть бы в одну комнату, коли достатка ни-

какого, лесу взять не на что, не за что класть сруб. Пусть — сруб и самому наловчиться сложить можно, и стропила прилепить, и покрыть камышом, — да ведь столяра — хочешь не хочешь — нанять надо! Двери да рамы — сам не слепишь! И без стекла не обойдешься! Окна как-никак надо сделать побольше!.. Много чего надо! И на все нужен достаток! А тут — и конь такой, что гадай, осилит ли привезти столько лесу. И коровы нет; без коровы, без молока — какое житье; прежде чем за хату братья, хоть бы телушкой какой разжиться! И зерна в сусеке — на дне: до конца зимы удастся ли перебиться! И картошки навряд ли хватит до новой! А надо ж будет еще взять из нее, чтоб посадить!..

И хлев — как только и стоит: стреха черная, обомшелая, вся в дырах, в латках из соломы, течет! И сруб в колодце — зеленый, гнилой, кое-где уже земля сыплется в воду! Все, все — куда, кажется, ни глянь, просит рук, забивает голову заботами.

Да разве это одно берedit душу? Переиначивать, менять много чего надо в заведенном испокон порядке — вот что особенно точило. Неладно думать плохо про родной угол, да ведь же в сенцы зайти противно, таким смрадом бьет там, где чавкают, визжат поросята. Будто нельзя держать поросят в закутке в хлеву! Гнилой, кислый какой-то дух не выходит из хаты: может, от тех же поросят, которых иной раз — вот же порядок! — кормили в хате! Пробовал — как некогда казарму — проветривать хату, но толку мало — дух не выходит. И неведомо, как выжить его! Да и как тут выживешь, коли батька и matka привыкли, будто не слышат. Заикнулся раз Миканор про этот запах, дак мать глянула так, словно он говорит невесть что.

— Это тебе, Миканорка, сдается, — сказала спокойно, уверенно. — Сдается, что нехорошо пахнет. Сколько помню, так пахло. И у других так же ж...

Вот ведь ответ — и у других так! А ежели у других неладно делают, дак и всем так надо? Это ж правда: недавно заходил к Зайчику — так поросята в хате, можно сказать, рядом с детьми. Дети лазают, играют около них, меж ними, в разлитой поросячей поливке, а Зайчикам — хоть бы что, ровно так и надо. Когда сказал им, так Зайчик пошутил, что неизвестно, мол, за кем лучший присмотр нужен! Детей, мол, вон сколько, а поросят двое! Зайчиха на него, Миканора, как на чудака, посматривала!

Просто беда — никакой санитарии! Это ж, если б в казарме в полку хоть бы одна десятая — сотая часть такого непорядка была бы, так командира полка метлой бы вымели из армии, судом судили бы, как преступника! А тут живут так — и ничего! Словно так и надо!

«Мало культуры! Можно сказать, что много у кого дак культуры совсем нема! А некоторых видов культуры — не секрет — не хватает всему селу...»

Привык в полку каждые десять дней со свертком белья, с полотенцем, с куском хорошего мыла шагать в мозырскую баню. Попариться, похлестать себя веником привык, а тут, лихо его ведает, как за всю зиму помыться! Летом — так любая сажалка, прудок каждый принять может, а зимой — как? Когда малый был — мать в корыто, в ушат сажала, а теперь — больно ты вымоешься в корыте! И сесть негде толком!..

«Баню, баню строить нужно! — не отступает, крепнет думка. — Не такую пусть, как в Мозыре, как в Юровичах; истопнюшку бы какую-нибудь сложить. А только, чтобы баня была как баня — с печкой, с полками, с паром! И чтоб все село пользовалось — и старые, и малые! Можно — как в Мозыре — один день для мужчин назначить, другой — для женщин. А можно и так: до обеда мужчины, после обеда — женщины. А только — чтоб была баня! На все село, на всех!..»

И бани нет, и школы нет. И читальни. И все нужно, а как сделать все, когда тут с гатью столько хлопот? Чем больше думаешь, тем больше видишь, что с остальным надо подождать: и с молочным товариществом и с мелиорацией. Всего не сделаешь сразу, с силою надо считаться людской — гати и одной пока достаточно. И на гать одну силы сколько надобно!

И виноватить людей слишком нельзя — бедность, нищета. И без того каждый часто ни дня, ни ночи не видит от забот: бьются что рыбы об лед, чтоб корку хлеба, рассол иметь, чтоб перебиться как-то от лета до лета...

Но и сидеть сложа руки да слушать жалобы, да горевать — тоже не метод. Шевелить надо сонное, гиблое это болото, самому шевелить: никто другой — не секрет — делать за тебя не будет. Комиссар полка Курбацкий что сказал, когда собрались в полковом клубе перед разездом по домам, когда каждому, как премию за службу и для руководства на будущее, дали подписку на «Беларускую вёску»? Вы прошли хорошую армейскую школу, сказал



комиссар, научились грамоте, политически выросли, набрались культуры; вы будете — самая культурная, передовая сила на селе. Несите же и туда все передовое, будьте и там бойцами, бойцами за новый строй, за новую жизнь, за коммуноу!..

Кому-кому, а ему, Миканору, так, если толком разобратся, вдвойне делать надо: не рядовой же красноармеец, и не только младший красный командир, а и комсомолец же, один на все Курени. Один; в том — не секрет — и беда, что один. Не больно развернешься один, без помощников, когда столько работы и так трудно уговаривать людей. Комсомольскую ячейку — не секрет — организовать надо бы. Есть из кого, тут и слепому видно, только бы подготовить, сознательными для комсомола сделать, чтоб знали, что такое коммуна, и на что она мужику, и что такое бог. И что такое всемирный Интернационал и гидраимпериализм. Хоня, можно загодя сказать, подходит. И Алеша, да и, если разъяснить все, верно, и — Хадоська. Есть из кого организовать, если просветить, почистить предварительно.

Вспомнился недавний спор с Хоней о гати. «Как ты — не знаю, а я, брат, так думаю — не больно богато толку от этой твоей гати будет». — «Почему это?» — «А потому, начальник, мало чего она переменит! Кому хорошо было и так, тому и после хорошо будет, а кто сидел без хлеба, так без хлеба и будет сидеть!» Миканор тогда спорил, доказывал пользу гати, но Хоня все гнул свое. Хуже было, что он, Миканор, и сам слышал в Хониных словах правду. «И все-таки — недаром, — думал Миканор в тишине ночи, под неутихающий гул завирухи в трубе. — Меньше дикости будет, света больше. И нехай люди учатся вместе работать. В коммуноу нехай готовятся... А что до богатеев, то — не секрет — и за них возьмемся! Дай только срок — подровняем!..»

### 3

Чем дольше жил в Куренях, тем больше чувствовал, что ждать тихо, терпеть — пусть себе и до поры — нельзя. Изю дня в день в нем все сильнее росло несогласие с темнотой, с неразумностью, с привычностью людской к дурным обычаям.

Обычай, давние, извечные, виделись Миканору вроде той горькой, ни на что хорошее не годной болотной расти-

тельности, что буйно зеленела летом повсюду: на кочковатых курулевских приболотицах и болотах. Как та непотребная зелень, что вцеплялась глубоко в торф, жили крепко в людях, пустив всюду свои невидимые корни, давние, скверные обычаи. Как и болотному сорняку, им никто и не дивился, словно нельзя было и вообразить, что могло расти на болоте том что-либо иное, полезное! Словно без обычаев тех, без суеверий и жить невозможно было бы!

Нужно было, чуял Миканор, рвать этот вредный сорняк, рвать не дожидаясь, не надеясь на гать: гать когда еще будет, — не сидеть же до той поры сложа руки! Да и сама по себе гать мало что тут переменит, и при гати работы рукам будет не на год — пока выполешь шкodu эту и посеешь культурные растения! Одним словом, сидеть нечего, надо браться за прополку сейчас же!

Но ведь же задача какая — полоть, переиначивать обычаи надо — не секрет — не только где-нибудь в других хатах, а и в своей. И даже если подумать толком, то — перво-наперво в своей хате, в своей семье, ибо каждый ведь, только заикнись со своей критикой, сразу же на твою хату и укажет: а какой у самого порядок?

Ясно и дитяти: коли хочешь хоть чего-нибудь добиться, надо показать прежде всего пример самому. А тут, как назло, в своей хате порядка такого, чтобы пример другим показывать, ни следа. И не потому, что не хотел, не пытался порядок этот установить. Пробовал, и даже не раз, но что же ты поделаешь, коли матка да, можно сказать, и батка и разуметь толком ничего не хотят. Матка, дак чуть возмись делать что не по заведенному, враз от страха белеет, крестится, бога поминает.

Чуть только взялся колоть дрова в воскресный день, так прибежала, слезно просить, молить начала, чтоб не гневил бога. Тогда он заявил ясно, что бога нет, да она слушать не стала, бросилась к нему, как к злодею какому или сумасшедшему:

— Миканорко! Ты сам не знаешь, что говоришь! Не знаешь!.. Божечко! Не думай ничего!..

— Не бойся, мамо! Не думает он ничего, бо — нема его, не секрет!

— Святый боже! Святый бессмертный!.. Не слухай его!..

— Не слушает он, мамо! Нема кому слушать! Выдумка все это!..

— Миканорко! Миканорко! Богом прошу!

Она прижималась к его груди, захлебывалась слезами, просто стонала от страха, и Миканор, как ни воинственно он был настроен, притих, пожалел старуху. Мать же, успокоившись немного, вытирая краешком платочка лицо, посмотрела на него внимательно, сначала беспокойно:

— Наговаривает это кто-то тебе на бога, антихристов какой-то голос!

— Никто не наговаривает, мамо! Сам знаю! От только на вас дивлюсь!..

— Наговаривает! Чую, Миканорко!.. — Она спросила с тревогой: — Уж не занедужил ли ты?

Здоров. В том и основа, что здоров и видит такое, чего другие — не секрет — не видят; и среди них родная мать, которую и жаль за ее страхи и за которую не то что стыдно, а больно. Ибо боится она всего, что против религии, из-за своей темноты, несознательности, — так что, если судить по всем правилам, сама по себе она не виновата и стыдиться за нее — ясно — нечего. Но, хотя и жаль ее и нелегко видеть, как она переживает, сидеть, как на привале, сложа руки тоже — не метод. Надо идти вперед и вперед, по ленинскому маршруту.

Конечно, тут нельзя не учитывать, что мать есть мать, не враг какой-нибудь, а свой человек, только что несознательный; надобно как-то считаться с ней, объяснять и объяснять, наступать разумно, можно сказать, с тактикой, с маневром, со всяким подступом, обходом и тому подобным. Но наступать, конечно, надо — потому — иначе никогда ничего не добьешься. Нехай привыкает и она, и батька тоже, что не такие твердые их старые порядки и что боги — не такие паны, про каких и подумать, не то что сказать, невозможно ничего неуважительного...

Боги и всяческие святые — вот с чем воевать надо. В каждой куруневской хате в углу, под рушниками — как прусаки в золоте! Всюду, куда ни глянь в хате, посконь, цвель, бедность, а тут — блеск, роскошь! Как в царских палатах, верно! Царя скинули, кости давно сгнили, а эти живут, людской темнотой пользуются! Живут, и хоть бы что!

С самого начала, как пришел со службы, невзлюбил Миканор эту ораву, что, словно какие часовые, строго стерегла человечью беду, — ни разу не поднялась рука, чтобы перекреститься на них. Со временем нелюбовь окрепла до того, что спокойно глянуть не мог на обман этот: так и хотелось сказать о них что-нибудь насмешливое, едкое.

Долго сдерживался, почитая мать, но надо же было наконец пойти вперед. Не век же терпеть, мириться с материнской темнотою.

Встал после обеда из-за стола, тогда, как надо было бы перекреститься, подступился ближе к образам, присмотрелся, спросил с самым серьезным видом:

— Кто это — верхний бог, — вроде на старого Глушака подобный?

Мать едва не уронила миску, которую взяла со стола.

— Миканорко! — Он заметил: в материных глазах были тревога, отчаяние. — На что тебе это? На что цеплять тебе его? Или он поганое тебе что сделал?

— Не, не сделал, бо и не мог сделать! Чего не было, того не было! Только ж — чистый Глушак! Ровно, скажи ты, с Корча малевали!

— Покарает он тебя за такие слова твои, Миканорко! Ой, не стерпит он, чует моя душа!

— Доска малеваная, мамо, все стерпит! Глушак, ну, правда ж, как есть Глушак!..

— Не трожь мать! — перекрестившись, зевнув сонливо, заступился за старуху отец. — Не нравится, дак не гляди, а не трожь! — Он еще раз зевнул, со смачным кряканьем поскреб спину, мирно обратился к жене: — И ты не трясись больно! Может, оно, как говорится, и правда... Не доказал никто, не видел своими глазами... Да можно думать и так и так...

— Как это — так и так? — растерялась мать. — Как это у тебя язык поворачивается! Нехай он — молодой, а ты жизнь уже прожил, повидал всего!..

Отец покряхтел, почухался.

— В том и соль, что повидал. По-разному — повидал — расписуют все — святых и бога... Как был в Маньчжурии, дак там — совсем иначий бог. Желтый, косоглазый, хитрый такой взглядом... Все одно, ровно их несколько, богов...

— Совсем одурел на старости! — с отчаянием воскликнула мать.

Отец снова почесался.

— И святые у всех разные... — Белый весь, в своих посконных подштанниках и длинной, чуть не до колен, рубахе, он подвинулся к полатам, сел на край, сказал Миканору: — И ты не больно — на образа! Не нами заведено...

— Да что, как не нами! Глаза заплющить?

— Не совсем заплющивать... — отец сладко зевнул.

— А что ж? Когда душа просто не переносит этой глупости?!

— Всякой глупости богато...

— Дак что ж, терпеть век?

— А что... — Следующее отцово слово разодрал зевок.

Отец как бы показывал, что разговор этот неинтересен ему, отвернулся, лег на тряпье, натянул на спину одеяло, почти сразу же захрапел. Миканор постоял минуту с досадой: словно ждал, что отец зашевелится, опять заговорит — нельзя же так нелепо прерывать спор! Но с кровати слышался только мирный, с тонким, словно паутинка, присвистом храп; тогда Миканор перевел взгляд на мать — та стояла перед образами с поникшей головой, печальная, строгая, тихо бормотала какую-то молитву...

Миканор сорвал с гвоздя буденовку, набросил на плечи шинель и скорым, порывистым шагом вышел на скрипучее крыльцо.

Вот где он — рубеж, в своей же хате. И кабы на этом рубеже был кто чужой, противник какой, то тут задача была бы простая, обучен — не секрет — тому, как брать такие рубежи, где противник сидит: дак же — свои люди там, своя мать, свой отец!

Оттого и тактика трудная. Самому горько от такой тактики, от материных страхов, от горячих ее слез. Но ничего — пусть попереживает, ничего не поделаешь иначе; когда-нибудь благодарить, может, будет, а не будет — не надо! Не за это, не за спасибо боремся!..

#### 4

За этим рубежом виделся Миканору другой, значительно больший, — можно сказать, целая линия.

Одна позиция этой линии прошла в стороне, в Мокути, откуда отца привезли таким пьяным, что довелось нести его в хату, как мешок. Мать, тоже опьяневшая, и Миканор сняли с него уже на полатах его холодную свитку, принялись тереть снегом побелевшие руки и ухо. Долго, долго пришлось тереть, пока старческие кривые пальцы порозовели, ожили. Он же то стонал, словно во сне, то скрипел зубами и что-то бормотал без склада и лада.

Больно и неприятно было видеть седую, к празднику подстриженную, его бороду с кусками какой-то еды, с подмерзшей слюной. Разув твердые его лапти, мать pokrыла его одеялом, потом свитой, съехала на пол и, при-

жав всклокоченную со сдвинувшимся платком голову к краю полатей, нехорошо, как-то не по-человечески завыла. И ее было жаль, и досадно было за нее — в искреннем, полном скорби плаче слышалась пьяная, противная отупелость...

На другой день отец встал поздно, позеленевший, постаревший, словно вымоченный, долго чухался на полатях, глядел исподлобья угрюмо, мучительно. Босой потащился к ведру у порога, долго пил ледяную воду, не мог напиться. Мать, стоявшая у печи, не утерпела, упрекнула:

— Хорош был, Дометик! Нализался так... Чуть довезла!.. Все с саней катился!

Отец промолчал на ее укор, глянул исподлобья на Миканора и скорей отвернулся. Все же не удержался, прохрипел старухе, не нашла бы, мол, чего опохмелиться.

Мать пожалела его — принесла из каморки корчажку самогонки. Ставя перед ним на стол, опять укорила:

— Кабы не Чернушка, не знаю, как и довезла бы! Скатится с саней и лежит, что полено!..

Выпив, отец повеселел. Сказал вдруг довольно, словно хвалясь:

— Погулял добре! Не пожалел зять горелки!..

— И вас не пожалел, видно! — откликнулся печально Миканор.

— Я — что? Чего меня жалеть?.. От что ты сестру не уважил, Вольга досадовала!.. И человек ее обиделся...

— Ничего, уважу! Не обязательно — на вашего пьяного Миколая! — сказал Миканор.

И вот опять пошло. Как некая религиозная эстафета: давно ли миновал тот святой Микола, а уже близко были коляды; с каждым днем приближались, все больше наполняя Курени своими хлопотами. Чем ближе подступали, тем больше охватывало Курени что-то вроде лихорадки. Как ни сердился Миканор, а видел — лихорадку эту не только не гнали, как хворь поганую, а просто-таки рады были ей; к дурной поповской выдумке — колядам — не шли себе тихо, из покорности попам, церкви, а — спешили, с охотой, с каким-то веселым нетерпением! словно бы там и правда — праздник настоящий был! Как наперегонки, торопились доделать все по хозяйству, — запасались на праздники: везли, складывали в хлева сено, кололи дрова. Запасались не на день, на два — на все святки, на две недели: в рождество, по поповскому закону, ничего делать нельзя, грех!..

Зима словно благопритствовала рождеству. Холода стояли ядренные, крепкие. Утра вставали розовые, с розовым снегом и розовым инеем, которого порядком пушилось на стенках, по подстрешьям, на ветках деревьев. Куреневские дворы, вся улица полнилась звоном: звонкими голосами, звонким ржаньем и рыком, звонким кряканьем ворот. Дымы над куреневскими хатами стояли в розовом небе, как лес.

Солнце почти не мешало холоду: лицо щипало, кололо тысячами маленьких игл. В поле аж дух захватывало от чистоты, от холода, не то что сквозь свиту, но и сквозь добрую чуйку мороз скоро сковывал тело. Только и спасения было, что соскользнуть с саней да потрусить вслед, притопывая, как в пляске. И в лесу, и у стогов работали, но пока возвращались, застывали так, что потом, как говорил Чернушка, студило и на горячей лежанке.

Ночи были светлые, такие тихие, что, когда Миканор приходил с посиделок, душу томило одиночество. Одиночество ощущалось сильнее, когда пробуждался среди ночи и — сперва в дремотной неотчетливости — слушал, как сквозь неясную, морозную роспись окна просачивается голодный вой волков, что кружили в холодном поле и в глухих зарослях вокруг Куреней. Непокойный сон не раз прерывали гулкие удары топора — мороз колот бревна...

Верно, не было в Куренях такой хаты, где бы не думали, не заботились о рождестве. Хочешь не хочешь, доводилось думать о нем и Миканору; но оно заботило его так, как, должно быть, никакого другого куреневца за все годы, сколько стоят тут эти старые хаты. Не было, верно, такой беседы, такой встречи, где бы при удобном случае, а то и без него — по-военному, без деликатничанья — не бил Миканор по колядам. Где только мог, учил людей, резал правду: коляды эти — суеверие от темноты, опиум поповский, религиозная выдумка.

Василь — сосед, с каким Миканор такой разговор начал было у колодца, только косо, исподлобья глянул да с ведром поспешно поскрипел лаптями к хлеву. Хоня же, когда врезал Миканор такое в Алешиной хате, не только не сбычился, но вроде даже обрадовался: известно — выдумка, глупость, выгодная попам. В хате, кроме них троих, не было никого, и вслед за Хоней легко согласился с Миканором и Алеша...

Другие хлопцы и мужчины кто спорил, кто, хоть и не очень уверенно, кивал головою, кто — таких было больше — помалкивал. Очень, очень часто Миканор в этих разговорах встречал безразличие: чего тут говорить, чего мудрить, словно слышал он! Потому разговоры эти слишком быстро гасли, тонули меж иных житейских суждений и размышлений. Горячее на слова о колядах откликались девчата и женщины, но те чуть не все люто набрасывались на Миканора, строго осуждали.

Думать не хотели, словно бы боялись, что думать — уже грех! Только Ганна Чернушкова — запомнилось Миканору — не поминала бога, не пугалась; не пугалась, слушала, но с каким недоверием, с усмешечкой какой!

Все ж и то хорошо, что слушала: послушала, может, когда и подумает! Беспокойное, разумное в глазах ее всегда видел, вот что тешило и радовало Миканора, особенно в эти дни, когда так разочаровала его Хадоська. Хадоська, о которой он недавно думал, что ей скоро и в комсомол дорогу можно будет дать, оказалась нисколько не лучше Василя Дятла. Говорить не дала не только про бога, а и про попов, про поповские хитрости. Ясно стало Миканору, что такому человеку не то что впереди, в первых рядах, а и в тылу неизвестно как плестись доведется!..

Нечасто выпадало Миканору столько разочарований, как в эти дни. Сколько ни старался, а предпраздничная веселая лихорадка в Куренях не только не спадала, а чувствовалось — все усиливалась. В эту лихорадку все чаще вплетали свои отчаянные, предсмертные голоса поросята, свиньи, овцы, которых кололи и резали кому можно было и кому нельзя. Не было такого дня, чтоб не доносилось то из одного, то из другого хлева испуганного блеяния или пронзительного визга, чтоб не краснел то на одном, то на другом огороде за хлевом веселый огонек, не плыл вверх дым. Целыми днями еще недавно морозно-чистый воздух полнился запахами дымного смрада, паленой щетины, поджаренной свиной кожи.

«Вот же дикость! — сердился Миканор. — Зубы завтра не один на полку положит, а — не думает, не бережется! Все под нож готов пустить ради дурацкого праздника!..»

Вчера укорял соседа Василя, свежавшего овцу, а сегодня, как ни старался уберечься, поветрие влезло в хату к самому. Вернувшись от Грибка, с которым хотел поговорить, чтобы подвезти еще веток для гати, увидел вдруг, что отец у припечка точит о кирпич шило. Даже если бы



и не видел, как нахмурился отец, как отвел взгляд, догадался бы сразу, зачем отец шило готовит. Но из этой отцовской угрюмости и смущения заключил Миканор еще и то, что без него у отца с матерью был недобрый разговор и что отец уступил...

— Все-таки решили поклониться богу? — не сдержался Миканор после нередкого уже в доме неловкого молчания.

— Не говори, Миканорко! — сразу отозвалась мать, словно только и ждала этого разговора. — Надо! Ты как хочешь думай, а коляды — это коляды! По-людску надо с ними!

— Дак что по-людску — свиней непременно резать?

— Надо, Миканорко! Добрые будут коляды, дак и урожай добрый будет, и худобе приплод добрый! Собрешь потом что-нибудь!

— Само расти все будет! Ждите только!..

Тут уже, вытирая подолом рубахи шило, словно оправдываясь, заговорил отец:

— Настя с Семеном и Вольга со своим быть должны! Угощать чем-то надо будет!..

— Да детей привезут сколько к деду и бабе! — подхватила мать. — У Вольги уж, чуй, пятое агукает!

— Дак непременно все это в святой день делать!

— А когда ж?

Миканор только рукой махнул: пустое занятие — споры эти вести! Мало толку в этих спорах! Подумал грустно — как все перепуталось, сплелось: тут кабы который и не хотел праздновать, так вроде уже обязан — гости же, дети, зятя, сваты приедут! Хитро опутала людей поповская свора!..

Дома не сиделось, и Миканор вышел на улицу, зашагал к Хоне: хотелось потолковать по душам с тем, кто тебя понимает, до кого дойдет твоя тревога-кручина. Отвести душу у хорошего товарища хотелось!

Задумчивый, углубленный в себя, не заметил, как вошел в Хонин двор, взялся за холодную щеколду сеней. Пришел в себя лишь тогда, когда, забыв нагнуть голову, ударился о притолоку. Держа в руках буденовку, ощупывая смущенно гулю, что враз начала саднить под волосами, осмотрелся в сумраке: в хате была только неподвижно глядевшая на него с полатей Хонина мать. Страшно худая, вся словно высохшая, в темноте хаты она показалась Миканору неживой. И хата — молчаливая, неудобная без

привычной ребячей возни и галдежа — была похожа на склеп...

Миканору неловко было ощущать на себе неподвижный, как будто мертвый взгляд, но он не обнаружил этого, спокойно поздоровался, спросил, где Хоня.

— На огороде Хоня, — не столько услышал, как догадался Миканор.

Только как вышел теперь во двор, заметил, что из-за хлева ползет вверх дымок, черный дымок от сгоревшей соломы. Сразу же за тем уловил из-за хлева веселые детские голоса: вот где все были сейчас! — невольно зашагал быстрее. Едва выбрался за огород, увидел гурьбу малышей, галдевших, толкавших друг друга, суетившихся, одетых в рванье, как нищие, но счастливых. В центре стоял на корточках такой же, как и все, веселый Хоня, пучком подожженной соломы водил по спине уже почти обсмаленного худого подсвинка...

Заметив Миканора, он бросил недогоревший пук соломы, выпрямился, покрасневшийся от огня, с пятном сажи на щеке, весело крикнул детворе, чтоб смолкли, дружески протянул руку:

— Все-таки поддался общему поветрию?

— Не поветрию, а — животу! — засмеялся Хоня. — Куда ни повернись, отовсюду так смачно пахнет, аж кишки стонут! Разве ж удержишься?

— Все-таки — не секрет — как бы богу кланяешься!

— Не богу, Миканор, а животу своему! Или, может, и живот — бог тоже?.. — он перестал смеяться. — Матка приуныла, просить стала, чтоб заколол на коляды... Да и детвора — видишь сам...

Постояли, покурили, поболтали лишь бы о чем — о зиме, что, наконец, взялась как следует, о девочках, что словно взбесились перед рождеством, прикинули, куда на вечерки податься. Неприметно снова вернулся искренний товарищеский тон, и Миканор, грустно посмеиваясь, рассказал про спор свой с родителями. Хоня словно того только и ждал; слишком уж весело вскинулся: вот видишь, Миканор; но не горюй, не легко и деревья гнутся! Не то что люди, да еще старые!..

После разговора с Хоней всегда веселей на душе делается. Но беззаботность эта была не долгой: идя от Хони, увидел около Алешиной хаты кучку девчат, очень уж ласково говоривших с гармонистом.

— Дак гляди ж, чтоб помнил уговор!— крикнула ему, уже немного отойдя с другими, Ганна Чернушкова.

Алеша с достоинством промолчал. Он собрался уже возвращаться в хату, но заметил Миканора и остановился.

— Поиграть, верно, просили?— подал руку Миканор.

— А то что ж?— Алеша шмыгнул красным носом, для верности провел под носом еще рукавом рубахи.

Нос у него, как помнил Миканор, в холод всегда был красный, даже синеватый, и всегда Алеша хлюпал им; но стоял сейчас, на таком морозе, хлопец в одной посконине.

— На коляды — не секрет — договаривались?

— Ага...— У Алеши еще слышалась гордость самим собой, единственным на все село гармонистом.

— Пойдешь, сказал?

— А чего ж.

— В поповский праздник?

— Дак же за плату.

— А как за плату — дак все можно?

Алеша снова шмыгнул-заверещал красным носом.

— Заработать надо.

Не глядя на него, Миканор расправил складки шинели под ремнем.

— Разный заработок бывает!

Как и в разговоре с Хоней, а еще чаще с родителями, хоть и показывая себя человеком непреклонным, вновь почувствовал Миканор с тоскою, что не может судить «по всему закону». Непрошенное, ненужное, просто-таки — вредное взяло сочувствие: правду Алеша говорит, заработать надо ему!..

От этой слабости, от того, что видел, — слабость, не секрет, была во вред делу — от того, что все кругом было такое запутанное, шло вопреки ему, Миканора вновь охватила грусть. Грустный, с какой-то тоскливой неуверенностью, твердым командирским шагом возвращался он веселой, морозной улицей домой.

## 5

Весь день перед «святым вечером» мать скребла ножом стол, лавки, мыла все. С утра чуть не до самого вечера не гас в печи огонь, варила, жарила, пекла. Ужин полагался постный, но нужно же было приготовить ни мало ни много: двенадцать кушаний!

Мать сама не ела весь день и другим не давала. Миканор отрезал ломоть хлеба, достал огурцов и тем заморил червячка. Она заметила это, но не сказала ничего, только перекрестилась на образа: и мать, и сын словно заранее видели бессмысленность споров и не очень старались их затевать.

Только когда в хате порядком стемнело, внесла решето с сеном, поставила в красный угол и наверх — горшочек с кутьей.

— Выперлась этот год через край! — сказала про кутью, распарившуюся в печи. — Хороший урожай хлебу должен быть!

— Дай бог! — сказал отец.

С уважением и с какой-то торжественностью наблюдал отец, как мать расстилала на вымытом столе сено, как покрывала его чистой скатертью, клала каравай хлеба, нож, ложки, ставила кружку с солью. Вымыв в уголке над ушатом руки, он, белый, в лаптях, в посконных штанах, в длинной до колен рубахе, перетянутой праздничным пояском, подождал, пока подойдет мать, и, не взглянув на Миканора, смущенно поначалу, стал громко молиться. Миканор слушал его молитву сперва, как всякую молитву, только еще больше пожалел тех, кто верит в чудо и силу молений, ибо темными людьми этими были его мать и отец; но когда отец вдруг со скорбью помянул деда Амеляна, когда голос его напрягся, задрожал, Миканор внезапно почувствовал, что и в нем затеплилась печаль. Дед Амелян, что помер перед самой Миканоровой службой, идучи с гумна! Дед, который знал столько сказок, с которым столько вечеров грелись, когда Миканор хлопчиком был, на лежанке. Дед, который сделал ему когда-то санки, про которого столько хорошего помнилось!.. А отец называл уже имена покойников — детей своих, Миканоровых братьев и сестер — поминал Ильюшу, Маню, Матруну, Петрика, Мотрика. Ильюшу и Маню Миканор не видел никогда, Матруна же и Петрик на глазах его задохнулись от горловой, чуть ли не в один день померли. Он помнит, Петрик задохнулся, когда Матрунку еще не свезли на кладбище, когда еще лежала в гробу. Их повезли вместе, положили в одну могилу... А Мотрик утонул, когда пас лошадь на приболотице. Хотел искупаться, да как нырнул в болотное озерцо, так там и остался. Вытащили из-под коряги только на второй день, все не могли найти. Синий был он, страшный. Бедная мать, как она билась,

причитала тогда над Мотриком, над неожиданной бедой, что взяла взрослого уже сына. И сколько же ей, если подумать, привелось пережить за всю жизнь, погоревать над дорогими могилами!..

В этот момент Миканор почувствовал себя словно виноватым перед нею, не осерчал на то, что воткнула в горшочек с кутьей, зажгла свечечку. Как было, если разобратся, сердчать на нее, темную, согнутую такими невзгодами, полную такой любви к тем, кого отняли у нее болезни и неожиданные беды!.. Но как же хитро приплелась к человеческому горю религия, и тут не преминула попользоваться!

За столом мать и отец сидели, ужинали как никогда молчаливо, словно чувствовали за собою тени тех, кто давно уже не просил еды. Оба, было видно, думали, вспоминали; отец, прежде чем брать какой-нибудь еды самому, отливал ложку ее в миску, поставленную на окне, дедам, покойникам. Мать сидела за столом, только переставляла миски, ничего не прибирала. Ужин показался Миканору очень долгим и скучным; он едва дождался, когда отец поставит, наконец, горшочек с кутьей на стол, нальет сладкой водицы-сыты из мака и меда, попробовав которых, можно, не обижая стариков, встать...

Когда одевался, чтобы походить по морозному вечернему двору, заметил: миски с едой так и остались после ужина на столе, — чтоб дедам было чего поесть!

Стоял на крыльце, думал вечную думку свою о темноте человеческой, о том, как, наверно, хорошо теперь на замерзшей Припяти — легко, весело бегут лыжи! Кто-то, не секрет, как и он, летит с горы, аж дух захолонуло! Припомнил веселого товарища своего Ивана Мороза, поехавшего на курсы в самый Минск, — вдруг защемило сердце: свидеться бы, подтрунить друг над другом, поговорить!.. Обещал письма присылать, да вот нету почему-то!..

Ровно бы и не слышал гармоники, смеха на улице, никуда в этот вечер не хотелось идти. Стоял, словно на невидимом посту. Прошло мимо несколько фигур, две-три веселые группки. Две фигуры, уже почти миновав его, вдруг остановились, присматриваясь:

— Это не Миканор ли? — сказала, затаив смех, одна. Миканор узнал Ганну Чернушкову и охотно подался к ней. С Ганной была Хадоська.

Он поздоровался.

— А я думала, не замерз ли часом! — насмешливо сказала Ганна. — Стоит, что столб при дороге!

— Замерз! Не вредно бы и погреть, если б было кому! — заметно повеселел Миканор.

— Дак же лежанка, верно, есть? Или занята отцом?

— Да нет. Но мне больше по душе — живая!

— Вот оно что! Дак искал бы! Может, и нашел бы, коли не очень переборчивый!

— Переборчивый! Одни мне не нравятся, другим я не по нраву. А третьи — дак занятые! Сразу по два кавалера, как стража по бокам! Не подступишься!

— От нашли про что говорить! — вмешалась Хадоська, притопывая аккуратными лаптишками. — Лучше скажи, что тебе суждено? Гадал же, верно?

— Не-а. Бо и так знаю: в холостяках ходить, покуль не надоест очень.

— И мне ничего хорошего не вышло! — сказала Ганна с притворным огорчением. — Гадали мы с Хадоськой, тянули соломины. Дак ей вытянулась длинная соломина и — с колесом! Скоро замуж пойдет и — за богатого хлопца!

— От скажешь! — засмеялась Хадоська.

— Может, выдумываю?

— Не выдумываешь, а... — Хадоська, слышно было, вся наполнилась радостью. — А — не надо говорить!..

— А мне, — посмеялась над своей неудачей Ганна, — ничего хорошего не вышло! Коротенечкая соломинка и пустая! И возьмут не скоро и — вдовец старый будет! Вот счастье какое!

— Вдовец! — вдруг засмеялся Миканор. — Дак это ж хорошо! Это ж ты, должно, вытянула меня! Я ж, можно сказать, вдовец. У меня ж была... женка!

— Была у нищего сума!

— Нет, правда, была! В Мозыре, на службе! Черненькая, стройненькая, красивая! Винтовочка трехлинейная!..

— Я ж и говорю: была торба!..

Хадоська, все время поглядывавшая на улицу, заметила неподалеку две тени, нетерпеливо потянула Ганну за рукав:

— Пойдем!

Ганна тоже заметила тех, чьи шаги скрипели по снегу, но сразу отвернулась, попросила Миканора:

— Проводи нас... Поворожим у Сороки...

Что-то было в ее голосе открытое, доверительное, что заставило Миканора на минуту заколебаться. Но Миканор выдержал характер.

— Вoroжите уж сами...

Она, видно было, обиделась немного, но не сказала ничего: подошли Евхим с Ларивоном. Евхим поздоровался, игрово полюбопытствовал:

— Дак об чем же тут секреты?

— Об том, — сказала, нарочито позевывая, Ганна. — Пора или не пора идти спать?.. Миканор говорит, что — пора...

— Дак нехай и идет...

— И меня что-то в дрему клонит....

— В такой вечер! — засмеялся, хотел перевести разговор на шутку Евхим. Но она шутить не захотела — неизвестно, чем и кончилось бы, если бы Хадоська не потянула Ганну за рукав:

— Что это ты выдумала! Идем!

Хадоська чуть не силком повела ее за собой. Миканор остался один. Уже на своем дворе услышал он издали хохот Евхима, подумал: а не больно она к тебе клонится, Глушачок! Не тебя, не секрет, повидать хотела бы; не тебя и — не меня, конечно. Только ж — ухватистый ты, все — думаешь — твоим быть должно!..

## 6

Деревню словно охватила дремота. Целыми днями теперь никто никуда не торопился, все ходили медлительные, степенные, беззаботные; кто помоложе — проводил время в разговорах, кто постарше — целыми днями грелись, спали на лежанках. Дремали в хлевах лошади, стояли, вмерзали в снег сани, даже ворота и журавли над колдцами скрипели как-то сонливо, нудно...

Никогда, должно быть, не ползли так медленно, неинтересно дни в жизни Миканора, как в эту колядную неделю. Мать кое-что делала по хозяйству, а отец целыми сутками посвистывал носом на печи. Слезет, кряхтя, чухаясь, пошаркает лаптями по полу, поест да опять на лежанку, и хоть бы что. Миканор же чем только не пытался заполнить нудную колядную пустоту — и по хозяйству делал все за себя и за отца, и газеты читал, перечитывал, аж темнело в глазах, и все чувствовал: скука, пустота не отступаются...

Мало тешили его и вечера, когда молодежь долго сновала по улице, улюлюкала, будила морозную тишину смехом. Мать советовала пойти, не томиться, Хоня и Алеша приходили несколько раз, звали — не согласился: не его это праздник, не ему радость!..

К концу недели Курени снова зашевелились. С самого утра перед «щедрым вечером» потянулись в небо дружные дымы, потянулись и не опадали уже весь день. Не утихал огонь в печи Миканоровой хаты: кипело варево в чугунах, теперь уже не постное! — верещали сало и колбасы на сковороде. Недаром мерз в кладовке разрезанный, разделанный, без поры загубленный кабанчик!

Не напрасно загублено было и жито на брагу: чуял Миканор, отец только и ждет, — ушел бы он куда-нибудь, — чтобы разлить горелку из барила, стоявшего в погребке, по баклажкам. Баклажки, вымытые матерью, стояли наготове под услоном.

Еще толком и не стемнело за окном, как неподалеку послышалась песня-колядка. Вскоре тонкие детские голоса пищали уже под окнами:

На нове лето  
Нехай родзіцца жыто!..  
Святы вечар!

Пожелав Миканорову отцу — хозяину, чтобы родило не только жито, но и пшеница, и «всякий злак», голоса под окнами, на минуту прервав песню, о чем-то заспорили и опять недружно запищали-пожелали:

Піво варыць,  
Міканора жаніць!..  
Святы вечар!

Отец на это пожелание охотно засмеялся, весело глянул на Миканора, мать, утешенная, притулилась лицом к незамерзшему уголку окна, всмотрелась:

— Зайчиковы! От молодцы! Как взрослые — разумные!

— Сам Зайчик, не секрет, научил уму-разуму, посылаючи!

— А хоть и Зайчик, дак что! Все одно — мододцы!

Дети за окном уже советовали Миканоровым — отцу или матери:

Залезь на баляску,  
Дастань каўбаску!  
Святы вечар!  
Стань на драбінку,



— Инструктаж получили — по всем правилам! — похвалил по-своему Миканор, но не засмеялся, знал: не от хорошей жизни выпер дотемна своих ребятишек Зайчик! Ровно милостыню просить прислал, колядками пользуясь!..

Растроганная мать, не одеваясь, вынесла ранним певцам добрый кусок колбасы и ломоть свежего хлеба. Но не управилась она вернуться, не успели Зайчиковы, должно быть, выйти на улицу, как под окном снова запищали: на этот раз уже соседский малец — Володька с Чернушковым Хведькой, — запищали нетвердо, боязливо, с неверной надеждой, видно, первый раз в жизни! Они скоро сбились, растерялись совсем и умолкли прежде времени. За ними, тоже почти без перерыва, словно только и ждали, когда эти кончат, объявилась под окном новая ватажка.

— Это ж — Хоневы! — сказала радостно мать, вернувшись со двора.

Песни под окнами теперь почти не смолкали, за детьми вскоре потянулись гурьба за гурьбою подростки, даже взрослые, эти уже часто не с пустыми руками, а со звездой, что багрово, копошливо отражалась на морозных узорах, выглядывала в чистый уголок стекла. Потом несколько хлопцев с гомоном ввалилось в хату вместе с клубами холодного пара и «козою». «Коза» — кто-то в вывернутом наружу кожухе — согнулась, завертелась, затопотела, так смешно взбрыкнула, так потешно мемекнула, тоненько, жалобно, что отец заерзал от удовольствия:

— Чисто — юровицкие козы! Что по горе лаят!..

С удовольствием смотрела и мать, только покачивала одобрительно головой — вот же мастак! Миканор, который тоже не мог не признать таланта «козы», подумал о родителях: влипли глазами, будто бы спектакль, кино привезли! Тут же сам с собою рассудил: а разве же не спектакль это для них, не кино, коли про то кино до его, Миканора, рассказов они и слышать не слышали ничего! И спектакли — вот они куруневские спектакли! Только ведь и тут — религия темнотою людской попользовалась!..

Какая ни удачная была «коза», но без одобрения слушал Миканор святую песню, которую запели над ней хлопцы. Не удержался, чтоб не пошутить сердито:

— Ничего ваш баран! Только чтоб на базар свести, дак подкормить надо было бы!..

— Миканорко! — прервала его мать.

Она больше чем других щедро оделила хлопцев, вкинула в торбу и большой кусок колбасы, и поджаренного мяса, и хлеба; как ни с кем была ласкова, как могла старалась, чтобы хлопцы, не дай бог, не унесли из хаты от Миканоровой насмешки какой-нибудь обиды...

На следующий день чуть не с самого утра хата наполнилась гостями. Первыми прибыли на санях Вольга со своим мужем, с целой кучей одетых в свитки, закутанных, перевязанных платками, замерзших диковатых детишек. Привезла и самого малого, положила на полати. Не умолкли еще аханье, радостные восклицания, упреки Миканору, что не приехал в Мокуть, как Вольга с мужем, с отцом и матерью стали снова собираться на улицу, ехать в Олешники к обедне. Вольга позвала даже Миканора, но отец сказал коротко, значительно:

— Не признает! Кансамалец!..

Мать кивнула дочери, вздохнула. Малые гости, без свит, без платков, одни — белесые, со вздернутыми носами, в мать, другие — с черной, непослушной щетиной, как дикие кабанята, обличем в отца, поначалу в чужой хате, перед чужим дядькой смущались, жались друг к другу да озирались. Словно в плену были. Миканор постыдил их за несмелость, сказал, что хлопцам это так особенно негоже, но от шуток его они все насупились еще больше. Заметив, что один из старших очень уж глядит на его буденовку, снял шапку с гвоздя, надел ему на голову, прибавил:

— Ты самый смелый!

Малец от удовольствия аж выкатил чернички-глазенки, так надулся. Не прошло и минуты, как надеть шапку захотелось другому хлопцу, а едва тот спрятал полголовы в буденовке, обе девчонки тоже загорелись — и нам дай, дяденька, и мы смелые! Первый же — норовистый «кабанчик» со щетинистой головой — мириться с этим не хотел, нетерпеливо дергал шапку к себе. Но белесая малышка еще сильнее вцепилась в нее, — быть бы бою, не вмешайся Миканор. Достал девочкам из чемодана книжку с картинками...

Скоро Вольгина ватага — особенно «кабанчики» — разошлась так, что кричали и на печи, и на полатах, и под полатами лазали. Миканору уже приходилось сдерживать их, отобрать шинель, которую они стали волочить по полу. Довелось, за старшую беляночку, на которую всех больше

надеялась Вольга, укачивать, поить молоком из бутылки ту, что была на полатах...

Веселые это были часы, полные гомона, хороших впечатлений, деятельности. И нашутился Миканор, и посмеялся, глядя на малышей, и натрудился, пока не вернулись из церкви Вольга с родителями и мужем.

Вскоре после того, как они вернулись, гостей в хате стало прибывать. Приехали из Олешников двое мужчин с молодницами, прибился какой-то материн свояк из Хвоенки — бородатый, шепелявый; наконец, притопал с другого конца Куреней хромой Семен с Настей, сестрой Миканора. Пока мужчины беседовали с Миканором, а женщины тараторили у припечка, мать с Вольгой и Настей, а потом и отец принялись хлопотать возле стола.

— Дак може уже сядем, — сказала ласково мать. — Отведаем, что бог послал... — Усадив женщин, мужчин, когда отец стал разливать водку, отозвала Миканора в дальний угол, обеспокоенно зашептала: — Помолчи уж про бога и про святых... Гостей не тревожь...

— Постараюсь, коли стерплю... — не то в шутку, не то совсем серьезно пообещал ей Миканор.

Он не тревожил ни гостей, ни мать: тут надо было считаться с законами гостеприимства, законами, которые он не имел никакого права не почитать; нельзя же наводить недобрую тень на родителей. Ел и пил, особенно поначалу, все же без охоты; чувствовал, что вроде делает уступку родителям в споре из-за кабанчика и браги; но чем больше пьянел под бдительным присмотром гостей, наседавших всякий раз, когда пытался поставить недопитый стакан, тем слабей упрекал себя. Потом и вовсе прошла неловкость: и пил, и шутил, и галдел, как все.

Опьяневший, не сразу встал и тогда, когда мать, внесшая из сеней холодец, сказала, что на улице какие-то крики. Только когда Настя и отец вышли на крыльцо, послушали и, возвратясь, сказали, что кричат не на шутку, дерутся, кажись, кольями, когда притихли все за столом, встал он, не одеваясь, потащился из хаты. Мать выбежала следом, вынесла шинель, хотела набросить на плечи, но он не взял. Надел только шапку. Немного постоял у ворот с гостями, послушал, медленно приходя в себя.

От середины села долетали злые возгласы, крики боли, матюки, по временам сливаясь в дикий, лютый рев...

— Поломают кому-то ребра!.. — сказал длинный олешниковец.

Хромой Настин Семен живо отозвался:

— Тут и на тот свет — недолго!

— От дурость,— Вольга, казалось, аж колотится от возмущения,— как выпьют трохи — дак кровь пущать один одному!..

Миканор только шевельнулся, словно стряхивая остатки пьяной одури, только сделал решительный шаг туда, откуда неслись голоса, как мать забежала вперед, вцепилась:

— Не иди! Миканорко, прошу!

Он взял ее за плечи, мягко, но твердо оторвал от себя:

— Мамо! Не мешайте! И не бойтесь... Биться не буду! Растащу только!.. Чуете, мамо?

— Отойди! Ничего ему не сделается! — помог Миканору отец. Удержал старуху.

Уже приближаясь к дерущимся, Миканор, словно оглядывая свое войско, увидел, что с ним идут длинный олешиниковец, Вольгин Петро и резво подпрыгивает со своим костылем Семен. За мужчинами, как верная подмога, смело движется Вольга и молодница олешиниковца... Голова у Миканора была теперь совсем ясная: мороз, сжимавший ребра под гимнастеркой, хорошо трезвил, прибавлял силы. Шел Миканор твердо и решительно.

Еще не доходя, услышали, что шум драки начал спадать; фигуры, только что бегавшие, вертевшиеся, кричавшие, почему-то странно притихли, стали расступаться. Все отходили к плетням, к хатам. Миканор, не понимая еще ничего, невольно насторожился.

Тогда холодную улицу с темными человеческими силуэтами и темными стрехами по сторонам пронзил страшный женский вопль:

— Забили!!!

Миканор разглядел — на сером от темени снегу, посреди улицы, чернеет неподвижное тело, бегом бросился к нему. Наклонился над человеком — бедняга был как неживой, глаза закрыты, губы сжаты, вытоптанный лаптями и сапогами снег чернел кровью. Где-то глубоко и далеко в голове мелькнула мысль: хлопец — не куруневский, незнакомый, — и в то же время, памятуя армейскую науку, ухватив парня за кисть руки, щупал пальцами, искал пульс — признак надежды, неугасшей жизни. Нашел не сразу: от волнения или с непривычки; даже жарко стало, пока услышал, что пульс бьется. Живой!

— Потри снегом лицо, шею! — приказал сестре, а сам стал ощупывать голову хлопца. Кто-то подошел — несколько человек, кто-то наклонился рядом с Вольгой над хлопцем. В первую минуту все молчали, не могли произнести ни слова.

Кругом все крепчал шум, теперь уже тревожный, шум, в котором часто можно было услышать страшное: «забили». Кто-то из женщин запричитал... Народу все прибавлялось.

— А может, не совсем его?... — услышал Миканор несмелый вопрос Хадоськи; это она, стало быть, была рядом с Вольгой.

— Голова, кажись, целая... — Толпа обступала их со всех сторон все тесней, все шумливей. Но и в этом шуме Миканор слышал хриплый стон — хлопец на снегу тяжело шевельнулся.

— Костичек! Слава богу!.. — вырвался у Хадоськи обрадованный шепот.

Вольга сказала, посоветовала Миканору:

— Надо в хату его...

— К нам его! У нас в гостях был! — попросила Хадоська и снова загоревала: — Божечко ж, боже! Это ж надо!..

Втроем — Миканор, Хоня и Нибыто-Игнат — взяли парня под мышки, за ноги, подняли. Когда несли, Хоня покрикивал на людей, чтобы расступились, люди пропускали их, но не отставали, говорливо тащились следом до самой Игнатовой хаты. В гомоне, слышал Миканор, одни винили Ларивона — он, говорили, начал все, другие обвиняли всех: все были хороши, третьи — кто-то из женщин — проклинали водку. Странно, в шуме этом раза два называли Ганнино имя...

Немало кто из толпы потянулся и в Игнатову хату. Народу набилось столько, что трудно было повернуться, смотрели, разговаривали, ждали. Игнатиha негромко, сдержанно голосила, Хадоська, доставая по приказу Миканора чистую тряпицу, все поминала бога.

Миканор осмотрел еще раз голову хлопца, попросил чистой водки — взялся промывать рану. Но только начал, как хлопец скривился от боли, раскрыл глаза. Минуту он смотрел, словно ничего не соображая, словно старался понять, скользнул взглядом по Миканору, по стоящим рядом. Игнатиha, Хадоська радостно загомонили, гул облегчения прошел и по всей хате...

Когда Миканор перевязал рану Хадоськиной тряпицей, Хоня посоветовал дать хлопцу водки. Он сам налил, подал Миканору; но едва только Миканор поднес стакан ко рту хлопца, тот крепко сжал губы. Миканор удивленно глянул ему в глаза и смутился — такая обида и такая ненависть были на лице у хлопца.

— С-сволочи!.. — услышали вдруг все, кто был близко. — Гады вы!..

Уже возвращаясь домой, Миканор узнал от Хони, что хлопец — из Глинищ, что ему очень приглянулась Ганна, из-за нее его, верно, и побили — Евхим тут постарался, не иначе.

— Их тут трое, из Глинищ. Дак дурень этот, Ларивон, один не полез, а подговорил еще на помочь. Ну, а — пьяные все, рады стараться! Попытать силу на чужом человеке!.. А как почали, дак ровно одурели — разъярились еще боле! Я хотел помочь против Ларивона, сунулся таксамо!.. Ну, дальше — больше!.. — Хоня сказал вдруг весело: — Все-таки переломил я дрючок на его голове! Щупает, мабыть, Бугай добрый гузак!..

Долго не спал Миканор в эту ночь. Вертелся, шуршал соломой, постланной на полу, рядом с Вольгиным мужем, с хвоенцем, с одним олешниковцем. Слышал, как Алеша с гармоникой прошел: оборвав полечку, рванул «Марш Буденного», несколько молодых голосов лихо подхватили:

Карьером, карьером — давай, давай, давай!

Рота пулеметная, в бою не отставай!..

Радость прошла по сердцу, когда услышал дорогой марш, — понравилась, полюбила Куреня песня! Но радость скоро ушла: думки одолевали заботные, беспокойные. Вновь и вновь вспоминалось, как хлопец в Игнатовой хате сказал: «Сволочи! Гады!..», не терпелось поговорить обо всем с Шабетой и Дубоделом — передать в суд, чтоб припаяли кой-кому! Чтобы другие кольями махать зареклись, чтоб кончить дикость эту — драки!

«От где оно, болото второе, еще, может, погорше того, — поплыло невеселое раздумье. — Тут милирацию свою делать, может, еще тяжеле!..» Под пьяное бормотанье и храп лежащих рядом мужиков — первый раз за эти дни — подумал — помечтал: «Науки, газет поболе бы! Кино б сюда!.. Иной бы звон был!..» Грызла мысль о своей вине: нет у него твердости, жалостливый уж очень — весь в матку! Но этим мыслям перечили другие: жалостливый не жалостливый, а и напролом лезть — не метод, если все

так перепуталось, сплелось,росло!.. Строгий судья внутри, никак не хотевший уснуть, не мог сдержаться, чтобы не укорить: сплелось-то сплелось, а характер все-таки — мягковатый! Не секрет, пить в религиозные праздники другой раз не надо!.. Увидел бы комиссар Курбацкий, как ты за столом сидел, каков был! Как ты надежду его на тебя оправдал!..

От этого, верно, больше всего и жгло чувство вины. Словно бы комиссар, хлопцы — Мороз, Кисель, все товарищи по службе — были рядом, слышали, — клялся: все-таки вы не думайте ничего скверного! Хоть и уступаю я кое-где — из-за тактики и по другим причинам — из жалости, не секрет — с'бому не сделаю вам! Не скривлю комсомольскую нашу линию, можете не сомневаться!..

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Смотрели, как оседает, чернеет, водянится снег, как журчат, переливаются солнечными зайчиками ручейки, как парит, сохнет пахучая апрельская земля. Ходили до изнеможения за плугом, ощущая ногами сыроватую мягкость растревоженной земли. Пахали, боронили, сеяли...

Как и все, с утра до вечера, был в поле Миканор. Пахал, сеял, как все, но мысль о гати не давала покоя ему даже и в эти дни. Ждал Миканор, когда наступит та минута, в какую можно будет оторвать куреневцев от поля, привести на гать, минутка затишья после того, как посеют, и до того, как начнется сенокос.

Ждал нетерпеливо. Не раз, не два ходил на приболотицу, от которой должна была начинаться гать, стоял, всматривался в холодное широкое разводье, из которого торчали только черные веники кустов, чахлах березок и олешинок. Вода, разлившаяся вплоть до самого острова, на котором виднелись из-за кустарника несколько крайних олешиницких хат, покрывала не только болото, но и почти всю дорогу вместе с мостком. В первые дни казалось, что вода не спадает совсем и, может быть, продержится не только весну, но, как бывало в иной год, и до середины лета. Много дней прошло, пока не увидел, как начали проступать на потеплевшей, полной солнца зеркальной

глади первые кочки, веселые, сочно-зеленые гривки травы на них.

День за днем на солнечной воде кочек появлялось все больше. То тут, то там выбирались греться на поверхность уже целые островки. И всюду: на каждой кочке, на каждом островке, просто на воде — зеленая радость. Зеленела осока, зеленела лоза, все гуще зеленели олешники.

Сходила вода и с дороги, но отступала неохотно — оставляла всюду рвы и ямы с лужами, черную липучую грязь, никак не хотевшую подсыхать. Нечего было и думать, чтобы переехать или даже перебраться пешком. С тоской и нетерпением посматривал Миканор на такой вроде бы недалекий остров, каким были Олешники. Уже третий месяц ни оттуда не приходил никто, ни туда никто не добирался. Третий месяц не слышно было ничего из сельсовета, волости, не было газет...

За полдень теплой майской порою Миканор намерился добраться до желанного острова. Выправляясь из хаты, взял давно уже не ношенные солдатские ботинки с обмотками: нехорошо же показываться в чужом селе, как дома, в лаптях. Ботинок, однако, не обул, — связав шнурки, перекинул через плечо, Курени по уже порядком подсохшей дороге прошел босиком.

Шел весело и легко, только перед болотом остановился, выбрал из кучи веток, сложенных зимой, добрый, крепкий дубец, обломал верх и сучья. Вдвоем с этим спутником, который должен был помогать, прощупывать глубину грязи и луж, а где надо и стать опорой, Миканор смело двинулся на болото.

Грязь там, где было неглубоко, уже угрелась, но, когда ноги въезжали по колени или глубже, щиколотки ныли от холода. Миканор словно бы и не замечал этого холода — душа была полна забот: дорога все время останавливала, обманывала. Что ни шаг, то загадка — следи, меряй, выбирай, не промахнись. В нескольких местах дорога была вровень с трясинной, тина и рыжая вода подступали так высоко под грудь, что внутри холодело.

Вымок и устал, пока добрался до мостка. Когда остановился на мостке отдышаться, удивленно осмотрелся — столько красок было в этом сверкающем дне: в блеске озерков на болоте, в зелени травы и осоки, в россыпи цветов. Сколько их, цветов, желтело повсюду, даже глаза слепило, как от солнца!



Бревна на мостке были теплые, грязь на них подсохла и земля ссыпалась в щели. Уже наполовину трухлявые, бревна лежали непрочно, разъезжались под ногами. Одно бревно было переломано, и край его висел над водой. Миканор видел: вода не журчала, стояла — течь было некуда. Половодье давно разлилось ровно...

Он осмотрел свою одежду: штаны и даже гимнастерка снизу были облеплены тиной. «Мыть нужно будет и сушиться», — озабоченно подумал он и снова полез в болото.

Перебравшись на другую сторону, Миканор обмылся в луже, выжал одежду, сел обсушиться. Сидел недолго, не терпелось скорей пойти в село. Не обсохнув как следует, стал обувать ботинки, накручивать обмотки. «Пока дойду, как раз обсохну!..»

## 2

Сперва зашел в хату, где жил Гайлис, секретарь ячейки. Не застал — во дворе грелась только подслеповатая старуха, сердито проворчавшая: «В поле». Миканор и без слов знал, чего она сердится: воскресенье, божий день, грех работать. Миканор пошел к сельсовету.

Сельсовет размещался в бывшем поповском доме, что стоял среди порядочного сада. Рядом с сельсоветом был магазин, а за садом, окруженная березками и кленами, — олешицкая церквушка. Дорога к ней, обсаженная деревьями, шла мимо самого нынешнего сельсоветского дома, стоявшего как бы на пути верующих, что густо текли в церковь праздничными днями.

По другую сторону улицы, тоже среди сада, стояло еще строение, крытое гонтом, с побеленными ставнями, — школа. Если добавить, что в сельсоветском доме кроме самого сельсовета, занимавшего две комнаты, ютилось в боковушке такое важное учреждение, как почта, то можно сказать, что тут был самый центр и села и всех сел, подчинявшихся сельсовету.

Дружный строй новых учреждений, собравшихся тут на небольшом пятачке, разумеется, портила старая церквушка, но с ее соседством приходилось мириться как с нежелательным, но неустранимым наследством...

По этому центру вскоре и шел Миканор. Магазин, на котором еще алел первомайский лозунг, был открыт. Возле, как обычно по воскресеньям, толпилось немало праздного народа.

Люди стояли, гомонили и около сельсовета. Узнав куреневца, остановили, стали расспрашивать, какая дорога на Курени, что у них слышно, как живут свояки, знакомые. В помещении секретарь сельсовета и старый почтарь играли в шашки. Оба так были увлечены, что, ответив на приветствие, даже и не взглянули на Миканора.

Только доиграв партию и посадив секретаря в «отхожее место», без меры счастливый, торжествующий старик достал Миканоровы газеты — целую кипу «Беларускай вёскі». Многие листы даже пожелтели от давности. Старик собрался было направиться к секретарю, который снова расставил шашки, но вспомнил, порывлся в столике, подал Миканору письмо.

— Два месяца с гаком ждало-с, — сказал он, с наслаждением усаживаясь за шашечную доску.

Миканор положил газеты на диван, развернул треугольник. «Письмо от бывшего твоего соседа по койке и отделенного, а теперь курсанта Ивана Мороза», — не прочитал, а услышал он, кажется, веселый голос своего товарища. И словно вновь вернулся в казарму, где рядом, голова к голове, спали на нарах их отделения, где столько раз вместе вскакивали, торопились на зов ночной «тревоги». Вновь будто ощутил веяние вольного ветра на мозырских кручах, скрип досок на мосту под нестройным шагом отделения, шорох песка, осыпавшегося в мелкие окопчики меж лозняков около Припяти...

«В первых строках моего письма, — говорил Иван, — спешу сообщить тебе, что я, не секрет, кончаю курсы и скоро поеду на новую свою работу, а куда — это уже секрет...» Миканор словно увидел озорную Иванову усмешечку — и тут, задира, не удержался, чтоб не подшутить над любимым словечком Миканора! И не забыл об этом словечке, помнит!

С радостью встречи с товарищем непрошенная заняла зависть: интересная работа будет у Ивана. Несколькоими строками ниже товарищ, как бы ненароком, намекнул, что будет служить на границе. И он, Миканор, мог бы быть с ним, и ему же говорили идти на те курсы. Да он не согласился: снился, звал родной дом...

Еще раз тоска и зависть шевельнулись, когда в конце коротенького письма прочитал: «Чуть не забыл! Привет тебе от Киселя! Недавно прислал восточку — тоже дома заворачивает. Коммуну организовал!.. Вот тебе и Кисель!»

«Коммуну... А тут — и с гатью никак не сладишь!» — уколола мысль.

Улица запестрела белыми, красными, голубыми кофтами и платками, свитками и рубашками парней. Люди все выходили и выходили из-за хаты. Слышался мирный говор стариков, веселый говорок молодежи. Во всем чувствовался покой праздничного дня и радость свободы: наверно, кончилась церковная служба.

Миканор вспомнил отцов наказ — посмотреть, не продают ли кос, — и уже намеревался податься в лавку, когда к дому тихо подкатила тачанка с Апейкой.

Апейка правил сам, отвечая людям, что здоровались с ним и кланялись. У забора, когда он стал привязывать лошадь, несколько человек окружили его, начали о чем-то советоваться, расспрашивать. Миканор постоял поблизости, но Апейке было не до него, и он сел на пороге, дожидаясь, когда председателя отпустят.

— А! Как раз кстати! — обрадовался Апейка, увидев Миканора. — Вспоминал уже, думал, как бы добратся! Только как доберешься? Аэропланом разве, так не дали! — Он заговорил озабоченно: — Больше половины волости отрезано. Руководи тут, изволь!.. Ну, что у вас? Сев кончили?

— Посеяли.

— Настроение как у людей? Слухов никаких не ходит, страшных? Про войну, про чертей болотных?

— Да нет, тихо. Иной раз разве что Маслака помянут, matka какая сына пострашит. А так — тихо.

— Спокойно. Это хорошо. Пора и вашим к покою привыкнуть. За гать когда возьмешься?

— Дак от думаю теперь.

— Самое время. Берись, не волынь попусту. Упустишь момент — не соберешь никого.

— Дак от, как бы Олешники не запоздали. Чтoб в один день. Сразу с обоих боков.

— Обещали, что не подведут. Ну, а коли такой непокой у тебя, сам прослежу, чтоб не опоздали... Заступы и топоры получил?

— Да где там! Первый раз слышу, что они есть. Никого еще не видел... — Было видно, что Миканора обрадовала эта новость.

— Рабочие из Речицы прислали... Нужна будет подмога какая от меня — приезжай в любое время! Чем могу — помогу!

— Разве когда попужать кого надо будет, налечь.

— А ты не силою, а сознательностью старайся брать. Активистов организуй, чтоб помогали. Подбери группу толковых, честных, поговори по душам. Подыми над болотной тиной, выведи из царства затхлости, покажи — что вокруг делается, что впереди будет! Ты ж видел много сам, знаешь немало! Заинтересуй других, зажги их.

— Пробовал.

— И что? Не поддаются? — Глаза Апейки кольнули.

— Туго. Нелюбопытный какой-то народ у нас. Темный, известно...

— Все темные, пока не станут светлыми. Работать нам надо с ними по-ленински — терпеливо, с верой в них, с любовью! С ленинской любовью! Не отчаиваться сразу, работы тут не на день, не на год!

Подбежал раскрасневшийся Дубодел. Апейка обратился к нему:

— Вот тут Миканор собирается братья за гать и беспокоится, чтоб не подвели Олешники.

— Выйдут все. Как один, — поклялся Дубодел, взглянув на Миканора так, словно тот оскорбил его.

Вскоре Апейка с Дубоделом направились в сельсовет, а Миканор, простившись с обоими, пошел в магазин. Еще перед лавкой его опять остановили, подступили с расспросами про дорогу, про куруевские новости. В лавку едва протискался. В духоте, перемешанной с запахами дегтя, керосина, пота, стоял праздничный говор, колыхался табачный дым. Пока пробирался к прилавку, Миканор взмок, хоть выкрути рубаху.

Кос не было. Мужики, подхватив вопрос Миканора, стали поносить кооперацию — что за лавка, коли в ней косы перед косовицей не достать, — удивляться Нохиму, у которого всегда все есть, нехай себе и дорожке, но зато без пая. Магази́нщик, дробный, кривой мужичонка, давно привычный к таким разговорам, только головой весело покачал: от охота чесать языки без толку...

Купив спичек, книжечку «Что надо сделать, чтобы хорошо росла рожь», Миканор снова выбрался на волю, на солнце. Опять направился к дому, где жил Гайлис: нельзя же было уйти из села, не повидавшись с ним. Если он и сейчас еще в поле, то придется порасспросить у старой злюки дорогу и податься туда...

Но Гайлис был уже дома, только что выпряг лошадь из телеги, на которой лежал плуг. Худощавый, длинный,

с сухим, угловатым лицом и хохолком желтых волос, он сразу пошел навстречу, слегка прихрамывая, но вместе с тем по-воински стройно. Синие глаза смотрели мягко и даже как будто стыдливо, а рукопожатие было сильным, решительным.

— Давно уже не был! — засмеялся он глазами.

Говорил Гайлис с акцентом. Слова, только что сказанные им, прозвучали у него так: «Тафно фже не былё». Куреневец знал, что есть немало таких, которые над этим выговором Гайлиса подсмеиваются, но Миканор словно и не заметил акцента, такое уважение вызывал в нем удивительный латыш, бравший мятежный Кронштадт и близко видевший Ленина...

— Садись, — пригласил Гайлис. Они сели на бревно у хлева. Гайлис снова ласково засмеялся: — Давно уже не былё! Три месяца?

— Три...

— Давно. Бирюк в лесу! А мы тут, брат, такие дела заворачиваем! Во-первых, в Олешниках и Глиницах — машинные товарищества. В Олешниках — еще и молочное! — Гайлис произнес по-детски: «молёчное». Детскою же радостью сияли и добрые глаза.

Миканора это тоже радовало. Но, как и тогда, когда читал в письме Мороза про Киселеву удачу, к радости примешивалась зависть, огорчение: опять услышал упрек себе.

— Клуб стал клубом. Каждый вечер открыт. Библиотека. Кружки: агрономический, антирелигиозный, драматический. Подготовили смешной спектакль. Называется «Примаки». Написал Янка Купала. Очень смешная штука — люди животы надорвали! Мы этот спектакль возили в Глинищи и Княжицу. Тоже — смеху было!

— К нам бы приехали!..

— Приехали бы. Так, дьявол его ведает, как добраться! Артисты могут поутопать! Вообще, брат, твои Курени мне — как зуб болит. Очень болит. Как чирей. В кооперацию половина не вступила!

Когда разговор пошел о гати, из хаты вышла дебелая добродушная молодлица с полными голыми руками, позвала обедать. Миканор, хотя и видел ее не впервые, чувствовал себя неловко: не знал хорошенько до сих пор, кем она Гайлису приходится, эта привлекательная вдовица-солдатка, что приютила бездомного, доброго латыша. Женка

не женка, все кругом говорили, что свадьбы не играли, а вот же — тяжелая, через месяц-другой родит...

Странная была у них жизнь, странное и знакомство. Только один вечер побыл у Любы-Харитонихи взводный Гайлис, когда гнали за Припять банду Балаховича, но и через год среди всех своих военных дорог не забыл стежки в ее хату. Вернулся, осел около вдовицы...

Хотя — куда же податься было ему, молодому, одинокому, когда родной дом остался где-то там, по другую сторону границы... Гайлис пригласил и Миканора пообедать. Но Миканор сказал, что некогда, — нужно добираться обратно, пока светло. Договорившись обо всем, что касалось начала работ на гати, он вскинул на плечи две тяжелые связки топоров и лопат, вынесенных Гайлисом из сенец.

— Это груз! Как поскользнешься в воду — сразу на дно! — засмеялся Миканор. Через минуту, сгорбленный, он шагнул уже к болоту.

### 3

Заходил во дворы, в хаты, в хлева, на пригуменья — где кого мог повидать, — велел завтра идти работать на гать. Рядом покорно тащился Грибок, то поддерживая несмелым «ага», то совсем молчал.

Пришлось вновь Миканору не одного уговаривать, не с одним даже ругаться. Словно бы и не было никакого собрания, никакого постановления — хоть ты все начинай сначала. Правда, Чернушка, первый, к кому Миканор с Грибком завернули, сам слова не сказал против, зато жена его так расходилась, кляня и болото, и гать, и сход дурацкий, что Миканор вышел из хаты, не дослушав всего.

Василь Дятел в ответ на Миканоров приказ недовольно засопел и отвел глаза:

— Тут со своим неуправка. И без того ужом вертишься.

— После — труднее будет оторваться от дел...

— Труднее-то труднее... Да и теперь...

Иван Зайчик встретил весело, охотно согласился прийти — если, конечно, Миканор с Грибком поднесут водки.

— Поставь, Миканор, бочку горелки, дак не то что я — все припустят наперегонки! Ей-богу, Миканорко, припрут, от увидишь! Только скажи — мигом прилетят!.. Можно, конечно, ту горелку и не везти, только посулить — будет,

мол! А потом, как соберутся, скажешь — нема!.. Вот смеху будет!

Ларивон, который должен был приехать с лошадей, отказался наотрез:

— Что я — горбатый? Другим — без коней, а мне дак коня губить!..

— Приходи без коня! — вскипел Миканор. — В болото полезешь, канаву копать!

Казалось, после всех этих споров, всех огорчений таким приятным должно было показаться ему вежливое обхождение Глушака, который не только сразу сказал, что обязательно пришлет Евхима с конем, но даже и похвалил, что доброе дело взялись делать. И хотя все так же вежливо, без лишнего слов, проводил их Глушак за ворота, у Миканора было такое чувство, будто он прикоснулся к чему-то скользкому, холодному.

Всю деревню обошел Миканор, ни одного двора не миновал. Возвращаясь домой уже в сумерках, устало, сокрушенно думал: опять столько довелось уговаривать, корить — будто эта гать не всем, а ему одному нужна.

«Вот же люди! Что бы ни сказал сделать — все напротив. Ровно беду какую им готовишь...»

Утром едва только в расхристанной посконной рубаше, босиком, вышел на крыльцо, — кинул взгляд вокруг, прислушался: собираются или не собираются. Увидел за изгородью Василя, поившего коня из желоба, по холодноватой, росной траве подошел к хлопцу, поздоровался.

— На греблю собираешься?

Василь отвел глаза, буркнул, как отмахнулся:

— Пойдет кто-нибудь...

— Чего это — кто-нибудь?

— Ну, може, дед пойдет.

— Почему — дед? А ты?

— А мне и тут работы — по горло.

— У всех дома работы богато. Не секрет. Дак коли каждый станет дедов да бабок посылать, а сам дома сидеть — много мы нагатим!

— А тут ты за меня робить будешь?

— И тут и там никто за тебя робить не будет! — Миканор заговорил грозно, повелительно: — Тут — как себе хочешь делай: хоть деду, хоть Володьке поручай, а на гати — чтоб сам был!

Миканор повернулся и сердито, твердо зашагал к дому. «От же — натура: так и глядит, чтоб в сторонке отсидеть-

ся! — чуть не ругался. — Аж дрожит, чтобы не переработать за другого. Молоко мамкино еще не обсохло на губах, а уже хитрее всех быть хочет! — Не в первый раз вспомнил военную службу: — Попался б ты мне там такой! Я б тебя — не секрет — вмент человеком сделал бы!»

Ничего, ничего, дайте срок — он, Миканор, и тут кой кого по-людски работать научит!

На гать выехал с отцом не очень рано, так, чтобы сразу вслед потянулись и другие. Но через те полсела, что ехали улицей, пришлось ехать одним: никто не присоединился ни на телеге, ни пешком. Так одни и выехали в поле. Но все ж не тревожился — видел, что люди собираются, раньше или позже подойдут. Душу полнила праздничная радость: вот он, тот долгожданный день!

А день выдался как по заказу. На приветливом бескрайнем просторе неба — ни одной тучки, только веселое, искристое солнце. Огороды, кочковатый выгон, на котором Чернушков Хведька стерег вислоухую свинью, тихие заросли за сажалкой, поле, выходившее из-за кустарников, — все радостно лучилось, словно тоже знало, какое сегодня утро.

Все-таки чем ближе подъезжал к гати, чем дольше, оглядываясь на хаты, не видел никого следом, тем больше омрачалось настроение. Когда же проехал глиница и остановил лошадь на приболотице, стало не по себе. Командир без войска!

Правда, и по ту сторону болота, где виднелись на острове олешицкие стрехи, тоже не было ни души. Даже Гайлис еще где-то собирался. Миканор заметил, что над топью, над ржавой болотной водицей, еще дымится пар. Попробовал успокоить себя: рано выбрался...

Чтобы не терять попусту времени, он послал отца возить песок, а сам стал размечать начало насыпи. Поставил несколько вешек, прокопал канавки, вспомнив, что такие канавки делал летошний год, когда показывал, как рыть окопы. Тем временем он приметил две фигуры, которые приближались к гати, о чем-то оживленно разговаривая. Издали узнал Сороку и Зайчика.

Подойдя к Миканору, Сорока словно пришла в себя, осмотрелась:

— Перла так, что аж капала юшка, а прибежала — одна моя юбка.

— Юбка — одна, а штанов трое! — попробовал подержать ее шутку Зайчик.



— И юбка одна, и штанов, считай, нет — проспали куреневцы свет!

Слушая ее веселую трескотню с присловьями, Миканор заметил: возле цагельни появилась телега. Уже когда она была недалеко и Миканору хорошо было видно, что едет Чернушка с дочкой, из-за навеса показалась одинокая фигура с заступом. Миканор еще издалека разглядел: Хоня идет.

— Пока порядок в таборе своем навел, — как всегда оживленно, бодро заговорил Хоня, — думал, опоздаю совсем. В глаза стыдно будет смотреть людям, ей-богу. А оно — хоть ты задаваться начинай — чуть не первый!

— Кабы так в армии, то командир бы взял на такой цугундер — не обрадовались бы! — сказал Миканор.

— А ты б и тут взял, а! — посоветовал Зайчик. — Дал бы одному штраф, другого — в кутузку! Забегали б, небось!

— Кто б забегал, а кого не очень-то и подогнал бы! — рассудительно заметил Хоня. — Ученые все! Понимают — воля!

— Дисциплины трохи — непогано бы, не секрет, — сказал Миканор.

Курили, толковали, то посматривали в сторону Глиниц, от которых ползли еще телеги да шли, переваливаясь с ноги на ногу, несколько человек, то оглядывались на тот берег, где сходились олешниковцы: там тоже народу было не густо.

— А солнице, гляди-ка, припекает! Высоко ж и взлезло!

— И кто меня всполошил зазря ни свет ни заря! — пожалела Сорока. — Еще б могла и свиньям сварить и еще кой-чего натворить.

— Всех дел не переделаете, тетка Авдотья!

— То-се еще б успела хватком, чем тут стоять торчком!

— А вы б подремали, как некоторые, — отозвалась со смехом Ганна, глянув на нескольких мужчин, что разлеглись на траве.

Хотя народу собралось пока немного, Миканор почувствовал: дальше мешкать нельзя. Кто пришел, с теми и начинать надо. Пусть привыкают к порядку: и те, кто уже здесь, и те, что придут. Будут знать, как запаздывать.

— Ну что ж, прохладиться некогда! — словно бы ожил Миканор. Нудное ожидание сразу кончилось. — Начнем! — Он глянул на Чернушку, на отца, который привез и ссыпал воз песку. — Вы, дядько, и вы, тато, будете

подвозить песок... Тетка Авдотья, вам — копать землю и накидать на подводы. — Миканор не дал ей и слова сказать, повернулся к Андрею Рудому: — Вы, дядько Андрей, — Миканор взглянул на бородатого Прокопа, — будете с дядькой Прокопом, дядькой Иваном и Василем мостить гать. — Миканор встретился глазами с Ганной, уловил насмешечку: ишь как раскомандовался! Виду не подал, что смутился малость, произнес твердо: — Ганна и Хадоська будут вам помогать!

Миканор заметил, что отец не едет, ревниво наблюдает за ним, словно боится, что он, Миканор, в чем-то может промахнуться, или не уверен, что ему будут подчиняться. И вместе с тем — со стороны видно — сияет от счастья: видеть сына во главе стольких людей — всех, считай, Куреней!

Миканор указал на две большие вехи, поставленные еще зимой, на рядки мелких вешек, воткнутых им только что.

— От так — в ширину. Тут — посередке — гать. Тут — по бокам — канавы, чтобы вода стекала... — Он взгляделся в противоположный берег. — Там вон, на том боку, видно вешки. Видно? Там — конец гати. Туда и надо вести. Ровно, как штык! Ясно?

Миканор и сам почувствовал, что на его долю выпала не лишь бы какая роль. Такое чувство испытывал он не впервые, было оно и на сходке, когда проголосовали за него, и потом, когда он думал про гать; но теперь дело, которое раньше жило только в воображении, становилось уже деянием не его одного, а многих людей, и важность этой роли как бы возрастала. Ни на кого иного, а на него, Миканора, смотрели люди, ждали приказа, куда идти, что делать; от него зависело распределить, расставить всех так, чтобы работа пошла хорошо, слаженно. И пусть тут народу собралось немного, но ведь не один здесь такой, что по летам в отцы ему годится, и командовать всеми, что ни говори, труднее, чем отделением, какое бы оно ни было...

За время армейской службы понял Миканор, что мир вокруг велик, но в этом мире не было для него ничего важнее этой горстки людей, этой гати, которую ему предстояло проложить через болото.

— Ну от, — сказал он строго, как бы дав понять, что приказы, только что им отданные, есть не что иное, как приказы. — Остальным — копать канавы!

Он отмерил каждому делянку, — без колебаний, не за-  
катывая штанин, словно бросаясь в атаку, ринулся в ры-  
жую с прозеленью топь — погрузился чуть не по грудь.  
Чувствуя, как мягко и тепло обволокла тело болотная гу-  
ща, Миканор почти без усилия всадил в трясину лопату,  
поднял на ней блестящий блин, с которого, весело журча,  
стекала вода, отбросил с размаху. В ямке, только что сде-  
ланной лопатой, было уже почти до краев воды. Миканор  
снова вонзил лопату рядом с первой ямкой, снова поднял  
блин жидкой грязи, кинул через плечо. Вскоре уже не од-  
на, а десятки лопат вскидывались, шлепали мокрым бо-  
лотным тестом. Миканор слышал этот плеск, ловил взгля-  
дом взмахи лопат, и ему делалось весело. Чувствовал себя  
как-то по-особенному сильным. Хотелось померяться си-  
лою, ловкостью с другими — пуститься наперегонки.  
Черпал и черпал болотное тесто, кидал и кидал с размаху.

Вспомнилось: вот так же рыл окопы, только что были  
они или в сухих сосняках надприпятской гряды, или  
в песках меж ракутника. Там, на гряде, ладная воинская  
лопатка часто скрежетала о камни. А тут — топкая мя-  
коть, и не слышно, как входит в нее железо. Жидкая грязь  
оплывает по краям. Песок тоже оползал...

Как ни яростно махал лопатой, на дорогу все же по-  
глядывал — тянулась еще кучка куреневцев. В ней Лари-  
вон и Евхим Глушак. Увидев их, почувствовал досаду: не  
добился суда над Ларивоном и Евхимом за рождествен-  
скую драку! Выкрутились как-то — Хадоська, говорили,  
помогла: кинулась выручать своего Евхимку, упростила  
глинищанского беднягу — тот сам стал за них стараться..  
Ну, ничего, теперь и без того подумают, прежде чем  
в драку лезть. А полезут — в другой раз не выкрутятся!..

— Поздновато, герои! — встретил их Хоня.

— Ничего, поспеем! — Ларивон легко повертел  
в сильной руке лопату. — Не очень-то поработал ты без  
нас, что так раззявился!

— Поработал трюхи!

Евхим бросил взгляд на Ганну, буркнул строго Ла-  
ривону:

— И ты — языком не шлепай! — Он спросил у Мика-  
нора вежливо, послушно: — Дак какой приказ будет?

Миканор воткнул в топь лопату, в мокрой, порыжевшей  
одежде вылез на дорогу, пошел отмерять делянку. Лари-  
вону страсть как не хотелось соваться в трясину: это было

хорошо заметно по его гладкому утрюмому лицу. Евхим же, увидев свою делянку, захохотал:

— Это работенка! И наклоняешься, и накупаешься!

С тем же веселым, бесшабашным хохотком он шагнул в топь, озорно позвал Ларивона:

— Лезь, не мпись! Каяться не будешь!.. Да лезь же ты скорей! А то гляди, сколько другие наворочали! Не утонишься!..

Над Ларивоном начали подтрунивать. Он злобно матюкнулся, наклонился засучивать штаны.

Мешкотно, недружно, кто сам собой, кто с лошадьёю и телегой, куреневцы все же сходились. Миканору не раз и не два доводилось выбираться из болота, от прорытой канавки, отмерять делянки, показывать, где и что делать.

— Э, начальник, отстаешь, — сказал ему Хоня, копавший рядом. Другие поддержали:

— Нема с кого пример брать!

— Нема!

— Это еще посмотрим! — задорно крикнул Миканор, берясь за лопату.

Но не успел прорыть и полутора метров, как снова пришлось вылазить: приплелись еще трое.

Тут как раз въехал на гать с возом песка Чернушка. Телега прыгала по бревнам и ветвям, трещавшим под колесами. Чернушка объехал несколько кучек песка, свежо желтевших на гати, остановил лошадь и вытянул доски из-за грядки телеги. Немного песка осыпалось. Он взял с воза лопату и стал сбрасывать остальное — начал расти еще один бугорок.

Миканор приставил вновь пришедших разбрасывать землю, ровнять, утаптывать насыпь. Он уже хотел было снова взяться за лопату, как Хоня, выкарабкавшись из канавы, остановил его:

— Постой! Знаешь, что я подумал? Ни к чему это, брат, что ты за железяку берешься. Тебе б все время людей видеть, знать, кто что делает. Чтобы каждый чувствовал, что он под руководством, под присмотром, значит. А не сам по себе, что твоя овца. А то ты роешься там, ровно крот, а — не в обиду будь сказано — того не видишь, как другие копают — глубоко да по линейке ли.

— Это — не секрет — я и сам думал, — признался Миканор. — Дак говорить будут: гуляю, мол.

— Нехай треплется, кому охота. А коли уж взялся ксмандовать, дак команду!

Еще раньше такой совет давал ему Рудый Андрей, но Миканор и слушать его не стал. Хотелось взяться за самое трудное, чтобы видели, как надо работать. Думал, что со всем управится. Теперь и слова не сказал против, видел — в этом есть резон: почти не следил за другими, не руководил.

— Докопай тут, дядько, — сказал леснику Мите, — а то я только то и делаю, что лезу в канаву да вылажу...

— А — сдался, — поддел дядька Игнат.

— Сдался...

И кто бы мог подумать: давно ли начали, а уже сколько делалось не так, как следовало. Один, оказалось, суживает канаву, другой — взял мелко, третий — берег повел неровно. Не очень-то приятно поправлять старших, но ничего не попишешь — надо: порядок должен быть. Мужики все же, видимо, признавали в нем начальника, почти не прекословили, послушно делали то, что он велел. Только иной раз оправдывались виновато, но подчинялись, исправляли.

— Мелко берешь! — сказал Миканор, подойдя к Ларивону.

Тот будто не видел, не слышал, лениво шмякнул под ноги Миканору грязью.

— Глубже! Не меньше как полтора аршина...

— И так сойдет!.. — Ларивон снова кинул лопату грязи.

— Полтора аршина, не меньше.

— Правильно! Копай, копай, Ларивон! Не ленись — загоготал Евхим.

— Хватит и этого!

— А я говорю — мелко! — не отступал Миканор. Ларивон воткнул лопату в грязь, неуклюже, решительно стал выбираться из канавы.

— Сам копай, коли мелко!

— Я за тебя копать не буду! А ты — пришел, дак робь! Как полагается!

— А не хочешь, дак катись отсюда! — поддержал Хоня. И весело поддел: — Да матку за себя пришли!

Миканор видел, как побагровел Ларивон: донекло все-таки! Только и нашелся Бугай, что матюкнуться, но Миканор уже кончил перепалку, шел дальше. Услышал уже вслед за собой веселый хохоток Евхима.

Приостановился среди тех, которые настилали гать. Их теперь было много больше, чем вначале. Миканор умыш-

ленно не назначал тут старшого, знал, что и без назначения руководить ухватится Андрей Рудый. И правда, еще из канавы разглядел Миканор, как Рудый усердствовал, бегал, распоряжался... Вот и теперь угрюмый Прокоп обрубал с олешинки ветки, а Рудый суетливо, горячо что-то ему доказывал. Но Прокоп, казалось, и слушать не хотел, отворачивался. Андрей забежал с другой стороны..

— Об чем спор?

— Да от, та-скать, ветки не все обсекает, бросился с надеждой к Миканору Рудый. — Те, которые торчат вниз или вверх — сечет. А яны, та-скать, мешают покласть дерево на грунт, торчат. Ён, следовательно, ссекает, и — правильно, что ссекает.

Прокоп уже распрямился, угрюмо сжимая волосатой рукой топор, молчал. Миканор перебил Рудого:

— Дак об чем же спор?

А об том, что счищает он ветки не сплошь. Те, которые сверху и снизу, — ссекеть, а те, которые по бокам, та-скать, — обсекать не хотит! Думает, следовательно, можно мостить на их другие дрюки и поплетины. Что, та-скать, совсем неправильно!

— Почему неправильно?

— Дак по им потом будешь ехать, как по спрунжинам! Подкидать будет!

Прокоп с презрением плюнул. Было видно: то, что утверждал Рудый, он считал такой глупостью, что и говорить не хотел. Миканор стоял между ними и чувствовал: оба ждут его слова, оба уверены в своей правоте. Ему никогда не приходилось гатить болото, но то, что говорил Рудый, казалось ему выдумкой. Почему нельзя оставлять ветвей, если ветвями деревья будут только лучше цепляться друг за друга? «Жить не может, чтоб не вымудрить чего-нибудь!» — подумал о Рудом.

— Я думаю, что вы, дядько Андрей, дарма боитесь! — твердо заявил Миканор.

Рудый взвился:

— Я — дарма? Вся новая наука, та-скать, этой точки придерживается! А то, что делает Прокоп, — это вредное заблужденье!

Миканор некоторое время работал с ними. То, что он был рядом, сдерживало обоих, но Миканор чувствовал, что стоит ему только отойти — споры и нелады начнутся снова. Надо как-то развести их, назначить кого-то здесь за старшого

К Андрею, как к человеку, у Миканора было больше доверия: работает по совести, от всей души; Прокоп же в глаза никогда прямо не глянет, таит что-то, кажется. И все же Миканор выбрал старшим Прокопа: этого будут слушаться! У этого пойдет на лад.

Еще раньше заметил Миканор, что земля с боков гати оползает в канаву, и подумал, что надо бы снести плетеньчик.

— Работа есть у меня для вас, дядька Андрей, — сказал Рудому. — Важнецкая, аккуратная!..

#### 4

Василь был среди тех, что мостили гать. Он держался Прокопа и, заметно, старался угодить ему. Любо было глядеть Миканору, как хлопец усердствовал. Будто и не он норовил отлынуть от работы, прислать деда вместо себя. Но вскоре Миканору бросилось в глаза, как Прокоп сердито глянул на своего помощника — Дятлик будто не видел того, что делал. Тут-то Миканор и понял — хоть Василь хлопотал возле старика вроде бы и со всем рвением, но не столько помогал ему, сколько мешал. Куда больше, чем за Прокопом, глаза Василя следили за Ганной Чернушковой. Иной раз, должно быть, одну ее и видели.

Хитрил, таился и тут: смотрел исподлбья, воровато, словно опасался, что кто-нибудь позарится, обкрадет его. Непросто было таить это: он весь так и горел то неудержимым любопытством, то нетерпеливым ожиданием. Ждал не напрасно: нередко она встречалась с ним глазами, веселыми, приветливыми — и Василь хорошо, радостно ясел. Только миг видно было это счастье, потому что голова его тотчас же снова опасливо склонялась...

Миканор видел, как насторожился, помрачнел Василь, когда к Ганне, форсисто поводя плечами, с цигаркой в зубах подошел Евхим Глушак, стал что-то, шутя, говорить, взялся помогать тащить ольху. Ганна хотела было отнять деревце, но он уцепился и не выпустил, с игривой улыбкой шел рядом, пока не донесли до Прокопа, до Василя, который даже и глаз не поднял. Посмеиваясь, пошел Евхим с Ганной назад, а Василь, растерянный, звероватый, стал помогать так невпопад, что Прокопа прорвало:

— Ослеп ты, что ли?

Василь ни слова не сказал в оправданье, не стал работать быстрее, только еще больше затаился. «Ревнив! Ну

ж и ревнив!» — подумал Миканор. Он пристально посмотрел на Ганну, словно ища отгадки, почему к ней так льнут: и Евхим цепляется, и Василь сохнет. Зайчик и тот мимо не пройдет, чтобы не подурачиться. Хадоська же чего-то надулась... Сколько беспокойства от этой Чернушки!

«Перевести надо куда-нибудь подальше. К Сороке, копать землю, что ли...» — подумал Миканор.

Он больше не морочил себе голову этим. Жил другим — великой, широкой утехой. Работа шла все ровнее и дружнее. Уже чуть не все Курени суетились, хлопотали на гати и около нее. Вскидывались и вскидывались лопаты. Чавкала и чавкала, падая, мокрая грязь; с шорохом, раскидывая торф, волочили за людьми деревья и хворост; поскрипывали телеги со свежим песком, отрадно желтели все новые холмики, тотчас же исчезающие, рассыпавшиеся по глади чистой полосы, что все удлинялась и удлинялась.

Тут под ногами была уже не податливая трясина, не клятая-переклятая черная грязь, а твердый, надежный грунт, под которым чувствовалась приятная крепость кряжей. Перемешанная с песком земля желтела поверху весело, празднично...

Молодые и пожилые, мужчины и женщины, белые и крашеные холщовые рубахи, кофты, ситцевые платки — когда было такое, чтобы столько людей в Куренях сошлось вместе, ради одной заботы, одного блага. Миканор видел — на той стороне такие же фигуры, такие же рубахи и платки.

Вот бы собрать всех так — и на болото. Да чтобы не только из Куреней и Олешников, чтобы еще из Глиниц, из Мокути, из Хвойного. Вот бы лугов понаделали, то-то бы земли прикроили — враз бы легче стало дышать! Только ведь темь-то какая: ты их, как говорится, лицом в молоко тычь, все равно не поверят. Ровно бы и не хотят видеть добра своего!..

Солнце угревало все сильнее, было душно, пáрило. Лица заплывали потом, рубахи не просыхали. Всех томила жажда — Миканору пришлось послать подводу подвезти бочку воды. Еще до того, как подвода вернулась, лесник Митя вылез из канавы и объявил — не просьбу — скорее требование:

— Надо передохнуть!



Несколько голосов дружно поддержали его. За Митей начали карабкаться из канав, обтирать тину с рук и другие, и Миканор дал команду сделать передышку.

Все сходились на насыпи: большинство — мокрые выше пояса, в заляпанных тиной рубашках, с лицами чумазыми, черно-бурыми, — кто стоял, курил, кто садился на мягкую, еще не разбросанную горку песка, кто распластывался просто на земле. Переговаривались, шутили. Зайчик, будто нечаянно притулившись к Ганне, вдруг ущипнул ее за бок. Девушка неласково толкнула Зайчика, но старого шутника это только развеселило.

— Вы б, дядько, эти штучки с какой ровесницей своей! С теткой Сорокой бы!

— Охота мне — с Сорокой! С этим старым помелом!

— Дак и вы же, кажись, не молодой кавалер!

— Молодой — не молодой, а на молодое тянет!

— Вас уже на печь тянуть должно бы!

— Тянет и на печь. И до девок! Страх! — Поощряемый общим вниманием и смешками, он снова вознамерился ущипнуть Ганну, но она пригрозила:

— Дядько! Толкану — дак и в болото полетите!

— Эге? — Зайчик ухмыльнулся, но все же отступил. — Злая ж, лихо на нее! Толкнет — и, правда, в болоте испуаешься!

Едва только он, кривляясь, отошел от Ганны, как к ней двинулись Евхим и Ларивон. Но тут уже, настороженный и строгий, подступил и Василь.

— От кумедия, — покачал головой Андрей Рудый. — Как коршуны, та-скать, — вдвоем возле одной!

— Кто — вдвоем? — не понял Миканор.

— Дятлик и Глушак этот! Вдвоем, как коршуны, следовательно. Возле одной!

— Дарма он крутится, Глушак... Не получится у него ничего!

— Это еще, та-скать, вилами по воде писано!..

Миканор только мельком взглянул на Василя и Ганну, ему не показалось это таким интересным, как Рудому. Все внимание Миканора было направлено на Прокопа, который, уткнув бороду в широкую расхристанную грудь, устало двигался вдоль канавы, хмуро оглядывал ее, что-то думал. Чудной, звероватый человек — всегда, кажется, таит что-то недоброе. А сам ведь вроде бы и не злой, и не вредный...

— Чего присматриваетесь? — не удержался Миканор.

Лесун спрятал взгляд под густой чернью бровей.

— Так... Ничего...

— Присматривается, не лучше ли на канаву перемахнуть! — съязвил Зайчик. — Работенка там — зависть берет!

— Не касаться бы до нее, до такой работы! — выругался Нибыто-Игнат, сидевший на куче гравия. — Роешься в грязи, как черт полосатый!

— Лето, та-скать, не зима. И в болоте, следовательно, не то, что зимой. Тепло, мягко, — хотел пошутить Рудый.

— А от поройся в этом мягком!

— А на кой ему? Ему и тут непогано.

— Я там роблю, куда, стало быть, приставлен! — не сдавался Андрей.

— Завтра и валяй! А я — нибыто, — на свое место!

— Правильно, по очереди!

— Но и вы не переработались! — загорелся Миканор. — Только, можно сказать, влезли в болото, намочили лапти...

— А ты и с мое там не побыл!..

— Чего он не остался там — и дураку понятно! — вступился за Миканора Хоня.

Хоне никто не возразил, и Миканор понял, что человек ляпнул обидное для него слово потому, что и самого его обидели. «Не надо было так напускаться, мягче надо было», — попрекнул сам себя Миканор. Он заговорил, как бы оправдываясь.

— Конечно — не секрет — в топи не сладко! Никто не скажет, что рай! Дак разве ж мы не изо дня в день в топи этой!

— То-то и оно! И без этого осточертело! — добавил Игнат. — Гать эта самая нам — будто бы белая булка, когда и черного хлеба никогда в глаза не видишь!

— Как кто, а я дак и от этой беды — от белой булки не отказался б, раз уж нет хлеба! — вставил весело Хоня. Его поддерживали дружным смехом. Когда смешки улеглись, он промолвил задумчиво, серьезно: — Колен не замочив, стало быть, ничего не добудешь. Ни булки, ни хлеба черного!

— Это правда! Никто в рот не положит, — поддержал Алеша Губатый.

— Все-таки, грэц его, кое-что наработали уже. — Чернушка всматривался в желтоватую полосу насыпи. — Не богато побыли, а уже, сказать, — видно трохи!

— Не очень — нибыто — и видно. Это — как жменька сена на большом лугу...

— Работы — не секрет — богато, — согласился Миканор. — А только ведь не попусту она, на пользу — и людям, и себе! Вот что, по-моему, главное...

— После, конечно, ничего не скажешь — забот не будем иметь. Абы вот одолеть все! — Алеша Губатый задымил цигаркой.

— В том-то и соль вся — чтоб одолеть. А потом — потом, конечно, имеючи свою гать, — все нипочем!..

— Осилим! — Хоня разлегся на холмике песка, сильно потянулся. Щурясь от солнца, сказал весело: — Это только начинать страшно! — На чумазом от тины лицо зубы блеснули бело, ярко.

— Все выполним, если людей организуем! Надо, Миканор Дементьевич, переписать всех, которые не явились, и, та-скать, привлечь в обязательном порядке!

— Это правильно! — пробубнил Прокоп Лесун. — Чтoб все робили!

Миканор пообещал, что сегодня же с Грибком, как с членом сельсовета, обойдет людей, которые не вышли на гать, и разузнает, почему кого не было, и если надо будет — передаст фамилии их в сельсовет.

— Как это в других селах в коммуны повступали! — подумал вслух Хоня, жмурясь на солнце. — И работают, и живут сообща, дружно, не едят друг дружку!

— Всяко, верно, и там, Харитонко, бывает, — сказал Зайчик. — Разве там не люди?

— Люди-то люди. Да чем-то, может, и не такие...

— Там, та-скать, как семья, которая дружно живет! — поспешил разъяснить Андрей Рудый. — Все, следовательно, как братья дружные!..

Миканор прервал его:

— Там главное — не секрет — честно трудятся и по совести живут друг с другом! На сознании все!

— Я ж и говорю — как дружная семья! — Андрей, который держал самокрутку деликатно, кончиками пальцев, фасонисто, тонкой струйкой выпустил дымок из ноздрей, заговорил философски, поучающе: — В б́лоте, среди леса прозябаем. Та-скать, как звери какие. Сг и дикость наша оттого, следовательно!..

— Это правда, грэц его, как волки какие. Только и разница, что у волка берлога...

— А у тебя дак дворец?

— Горе все людское, нехватка, — вздохнул Грибок. — Из-за беды люди косятся друг на друга, съесть друг дружку готовы...

— А по-моему — от тесноты все! — Чувствовалось, что Хоня убежден в этом до конца. — Куда ни кинься — лес, песок, болото. Развернуться,дохнуть нельзя!

— Жисть, растуды ее....

— Жисть-то жисть, да и сами виноваты!

Курили, молча думали каждый о своем, кое-кто из мужчин дремал. Зайчик первый нарушил раздумчивую молчанку.

— То ж, верно, еще никогда не бывало, чтоб столько народу сходилось на какую-нибудь работу сразу! Как в Юровичи на добрый базар, братцы!

— Правду говорили — голова этот Апейка! И олешницких — на подмогу!

— В этом, грэц его, вся штука, чтоб народ поднять. А как народ поднимется, все сдюжит!

— От же, кабы можно было то, о чем Миканор на сходке говорил, — с юношеской горячностью сказал Алеша. — Кабы осушить болото. Да жито, и овес, и все другое посеять!.. Это ж земли сколько было б!

— Сказал! Возьми ее!

За Алешу откликнулся Хоня:

— Берут же некоторые!

Люди не очень спорили — сказывались жара и усталость. Миканора и самого клонило в дрему, и он подумал, не к дождю ли эта сонливость; но небо пока было чистое, с редкими белыми облачками, которые, казалось, тоже дремали в недвижной горячей выси.

Не очень думалось в знойной дремотности, но и сквозь нее Миканор ощущал: настроение у людей изменилось, словно бы люди сами изменились. Снялись со стоянки, двинулись и вот — идут и идут; и хоть черны от грязи, хоть изнывают от жары, дорога уже не кажется такой постылой, не страшит уже. Интересная даже дорога — манит, бодрит, веселит людей, зовет заглянуть, что там дальше на ней...

«И наши куруневцы не хуже других, — медленно текли мысли Миканора. — И с нашими можно работать... Абы только поднять да повести... А там они пойдут... Люди как люди... Ничего, мы еще покажем с этими людьми!..»

Он весело стряхнул дремоту, поднялся первым:

— Дак, может, передохнули уже?

— Передохнули,— встал и Чернушка.— Можно ехать. За ними начали подниматься и остальные...

Почти две недели день за днем собирались курепевцы на гати, копали канавы, таскали хворост, возили, разбрасывали землю.

К концу второй недели насыпь измерялась уже не десятком-другим шагов: без малого на версту среди болотных ольшаников, берез, сизых зарослей лозняка прямоком шла желтоватая твердая полоса, по которой так легко, так радостно было и идти и ехать на подводе.

Дни эти были едва ли не самыми хлопотными и, вероятно, самыми счастливыми в жизни Миканора. Еще бы недельку-другую — и оба конца насыпи могли бы сомкнуться,— они были уже как две руки, что вот-вот должны соединиться. Но как раз в это время жизнь на гати стала быстро замирать. Что ни день людское рвение здесь спадало и спадало, все меньше народу выходило на гать. Люди жили другими заботами.

И как ни сокрушался Миканор, этого никак нельзя было изменить: наступал сенокос. А за сенокосом близилась и жатва: значит, обезлюживалась, замирала гать не на день, не на два — надолго.

Замирала, и ничего нельзя было поделывать,— надо было и самому идти косить. Косить и ждать, когда снова настанет время для гати, ждать долго и терпеливо. До поздней осени, до зимы.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Шел август. Дни плыли знойные, небо глубилось неизмеримо высокое, необъятное, солнце сверкало нестерпимым искристым кругом. Трава на сырых лесных опушках, кустарники на подсохших приболотицах, осины у чагелни буйно зеленели, были в самой поре расцвета.

Опушки, полянки полнил неумный деловитый гул и звон бесчисленных мелких насельников хорошо прогретой земли. Звон этот и многоголосое птичье пенье в щедрых, пронизанных солнцем чащах переплетенных ветвей и листья звучали тут чудесной песней августа.

Поле жило уже другим настроением, тихой, щемящей грустью. Грусть эта возникла не только оттого, что поле

оголялось, что в нем чувствовалось недоброе, мертвящее дыхание недалекой осени. Знаки увядания там и тут приметно пробивались уже в лесу. Чахлые, редкие бабки, недружно встававшие под заунывные, подобные тихому причитанию песни жней, были как страшные знаки бесплодности, несбыточности человеческих надежд. Сиротливые бабки эти видом своим как бы говорили: вот все, на большее не надейся, большего не будет, это все, чем могла отплатить за труд нещедрая на отдарки здешняя земля...

Цела, дожиная полосу, и Ганна, которой время от времени подтягивала, подголашивала мачеха.

— Да перестаньте вы! — не выдержал наконец Чернушка. — Ровно на кладбище собрались везти!..

— А не нравится, дак не слухал бы, — ответила мачеха, утирая пот с разгоряченного лица. — Грошей не просили ведь!..

— Грошей... Да кабы они были, дак не пожалел, уплатил бы, чтоб не гули, помолчали... И так нуда, а тут — как на похоронах!..

Видя, что мачеха не жнет, Ганна положила пучок беловатых чахлых стеблей на развернутое на жнивье перевясло и тоже разогнулась. Мгновенье стояла так, распрямленная, неподвижная, в выгоревшей посконине, с подоткнутым фартуком, в платочке, надвинутом козырьком на брови, — ждала, когда перестанет ныть, отойдет одеревенелая спина. Стояла, ничего не видела, ни о чем не думала, жила тихой радостью: можно немного передохнуть. Потом, когда села на сноп, почувствовала, как саднит у щиколотки уколота о стерню нога, выставила ее, смугло, до черноты загорелую, расписанную до колен беловатыми царапинами и засохшими пятнышками крови, посплюнула палец и приложила к уколотому месту. Взглянула на руки — они тоже были черные, с беловатыми царапинами и вспухшими бугорками от укусов слепней.

В голове еще стоял шорох житных стеблей, мерное жиканье серпа. Устало жмурясь от слепящего солнца, она перевела взгляд на поле: словно впервые заметила, как печально опустело все вокруг за последние дни. Торчат редкие бабки, кое-где виднеются возы. На одни из них накладывают снопы, другие, переваливаясь с боку на бок, как желтые жуки, тащатся к Куреням.

Немало полос уже сжато совсем, на других жито еще томится маленькими и большими куполами. На каждой полосе, где только стоят снопы или колышется жито, ко-

пошатся люди: хлопцы, бабы, девчата, мужчины, дети; сереют, белеют рубахи, платки — все Курени, похоже, перебрались в поле. У которых малые дети, те приехали с люльками. Вон Хадора подошла к колыбельке, что висит на составленных жердинках, взяла младенца, расстегнула кофту, не присаживаясь, дала ему грудь...

Корчи укладывают воз. Евхим прикрепляет веревкою гнет... Хадоська жнет втроем — с отцом и матерью. Скоро уже кончат — стараются, с самого утра идут не разгибаясь, прилежно. Им этот год повезло: жито у них не такое скудное, как у других, будет хоть что смолотить.

А у Дятликов, у Василя ее, жито никудышное, суслонов столько и такие, что и глядеть горько... Как и у них, у Чернушек.

Василь уже тоже близко к концу полосы. Жнут вдвоем — мать с сыном. Жнет и не оглянется, согнулся, устал, видит только ржаные стебли да перевясла, — хотя бы раз взглянул на нее, на Ганну. Так нет же...

Неужто так и не повернется в ее сторону, не глянет? — уже ревниво думает Ганна, не сердито, а скорее добродушно, с любопытством, и не отводит глаз от Василя. — Ну, если не оглянется, не ответит взглядом, пусть добра не ждет!.. Ганна думает, чем отплатить ему за такое невнимание, но в этот момент Василь, связавши сноп, как бы услышал ее мысли, угрозы — взглянул на нее.

Ага, испугался! Не хочет, значит, чтобы сердилась... Ганна следит с любопытством: Василь не только оглянулся, а стоит уже, о чем-то задумался, как на распутье. Положил серп, шаркая ногами по ржищу, с улыбкой и радостно и, как всегда перед ее отцом, виновато-стеснительно идет к ним. Мать Василя тоже перестала жать, смотрит вслед сыну...

Такой вроде бы и застенчивый, робкий, а сколько достоинства, строгости сколько в нем! Ганне вспомнилось, как хмуро глядел на нее Василь зимой, возвратясь из Юровичей, когда встретились первый раз одни. Как ревновал, чудак, к Корчу! И хоть бы слово сказал — стоял, потупив неприступно жесткие глаза, ковырял лаптем снег... Только губы от обиды кривятся, дрожат... О чем они тогда говорили?.. Помнится только, что сначала было неловко, будто грешна перед ним была, а потом ни с того ни с сего разобрал смех. Едва удержалась, чтоб не прыснуть: боялась, что разозлится, уйдет от нее!

Не зря хотелось смеяться: с того утра сколько вечеров, ночей были вместе, грелись в морозы, в метели, прислонясь к углу ее хаты. А весна — голодно было, кору в муку подмешивали. Другим свет не мил, казалось, — до любви ли тут, а ведь ни одного вечера, должно быть, не усидели врозь!..

Только Корч иногда прибьется, пристанет, нагонит угрюмость на Василя, но Ганна умеет уже разогнать эту угрюмость. Не уговорами, а смехом — насмешливая улыбка враз уничтожает Василеву подозрительность.

Вот и теперь Ганна поймала Евхимов взгляд — на минуту перестал увязывать воз, смотрит, как Василь подходит к ней, как встретятся. И до чего же упрямый этот Корч! Ровно прилип! Чем больше гонишь его, тем, кажется, сильнее липнет. Да еще и злится, — правда, не показывает, улыбочкой прикрывает злость. Но Ганна все чувствует: думал, каждая, абы только глянул, так и растает сразу, а тут вдруг — дуля. Ну, теперь уж, наверное, отцепится, попробовал, ожегся... Недаром же к дочке нового лесника заглядывать начал...

— Что это вы, дядько, расселись все? — сказал Василь, лишь бы что-нибудь сказать. — Самая пора робить, а вы — как в праздник.

— Дак и ты ж, сдается, не робишь?

— А я, глядя на вас!..

— И что ты, грёц его, нашел во мне, что все глядишь да глядишь, — словно бы пошутил отец, но прибавил серьезно: — Приглянулся я тебе, что ли?

— А то — нет, думаете? — Василь подмигнул Ганне и вместе с ней рассмеялся.

— Поженить бы их! — подошла Василева мать. — А то ж, сказать, не днюет, не ночует дома. Схудал — одни скулы торчат!..

— Мамо, что это вы нас все жените? Только подойдете — поженить да поженить?

— Поженить, можно и поженить, — сказал Чернушка. — Дак ты ж, мабуть, не отдашь Василя в примак? — Он взглянул на мать хитро, но все с той же угрюмостью.

— А зачем в примак? Разве у меня хата полна детей?

— Полна не полна, а и мне без Ганны не выходит. Без Ганны я — как без рук...

— Так разве ж далеко пойдет? — спорит не на шутку мать. — Как нужда будет, дак она ж тут как тут. Сделает вам все, что надо!..



— Это, как говорится, сперва: кось, кось, а там — в оглобли. — Чернушка не дал возразить Василевой матери, проговорил хмуро: — Есть-то что они будут? Чтó мы будем? Ей не то что замуж идти, а как бы с торбой — по хатам не пришлось!

— Что ты говоришь, соседко! Переживем как-нибудь. Перегорюем, быть не может. Привычные...

— Это такая привычка, что сдохнуть недолго... И когда оно все кончится! Все думаешь: вот-вот взобьешься на хлеб, жилы надрываешь, и — на тебе! — Чернушка плюнул.

— Кабы всем земли поровну, одинаковой, то могли б и перебиться. А то ж одному густо, а другому — пусто, — откликнулась мачеха. — Советская власть, называется...

— Землеустройство обещали, а что-то и носа не кажут.

— А кто тебе его будет делать? — отвечает Василию Чернушка. — Власть чтó? Она дает закон, а закон тот — что дышло... Закон тот люди примеряют. Ежели люди как люди, то и закон — законом. А если каждый будет молчать да сидеть склавши руки, дак и власть не поможет!

— Дак а чего ж кричать без толку?

— Почему ж без толку? Надо с толком!

— Дак где ж тот толк?

— Жаловаться надо в волость. У других или уже провели передел или проводят, а у нас — ни слуху ни духу! Жаловаться! Нехай приезжает! В том годе бандиты попужали, а теперь, слава богу, тихо!

— Говорят, в Мокути были опять.

— Говорят, говорят! Брехни всякой полно!.. — Чернушка вдруг сказал неприязненно: — И что за земля тут: то болото, грязюка такая, что конца-краю не видно, то такой песок, что у самого черта ничего не выросло бы. Проклятое какое-то место!

— Не нравится, дак ехал бы на Украину свою хваленую! — не утерпела, ревниво проговорила мачеха. — Не держит никто.

— Не держит... Кабы не держало!.. — Он сказал раздумчиво, загадкою: — Болото как схватит за ногу, засосет, затянет всего... Душу затянет...

— Кто ж тебя держит? Кто?

— Может — кто, а может и — что!.. Тут нутром разуметь надо, а не рассказывать... Не малая...

— Не малая, а не знаю. «Кабы не держало!» Ну, кто тебя держит?

— Ты! — выпалил Чернушка таким тоном, в котором почти не чувствовалось шутки. — Как же я с тобой выправлюсь в такую далекую дорогу? А оставить — смелости не хватает. Там же другой такой, мабуть, не найдешь!..

— Ну, дак и помалкивал бы, не вякал попусту, — как старшая, более разумная, сказала мачеха.

Василь, перехватив заговорщический Ганнин взгляд — вот видишь, какие у нас разговоры бывают, — попытался нарушить наступившее недоброе молчание:

— Всюду, говорят, хорошо, где нас нет!.. Ничего! Перебьемся покамест как-нибудь. А там — зимой — в лес, на заготовки. Глядишь — и заведется копейка. А как надо будет еще, то весной и на сплав можно!..

— Сплавщикам, говорят, платят хорошо...

— Говорят... — Добродушный Чернушка сегодня был явно не в духе, и, чтобы не ввязываться в ненужные споры, никто не стал ему перечить.

Помолчали немного для приличия и стали расходиться.

Только Чернушка сидел еще некоторое время понуясь, думал о чем-то своем — о хлебе, может, или о почти забытой Черниговщине, или о жене, которая не понимает, что его здесь держит? А может быть, о странной, обиженной богом земле этой, которая, выручив когда-то в голодный год, навсегда завладела душой его.

Земля, земля — бескрайние разливы гнилой топи в низинах, зыбучие песчаные волны на пригорках! Яркая, щедрая и золотая с виду, обманчивая, неласковая к детям своим красавица, — сколько августов таких видишь ты эти редкие, бедные бабки на своих полосках, выслушиваешь трудные думки курулевских жнецов и жней!

Сколько еще августов слушать будешь?..

## 2

Шагая рядом с возом, который грузно приминал старую пашню и жнивье, кряхтел, угрожающе покачивался, Евхим все время следил за ним: то поддерживал рукой, то подпирал плечом. Только выбравшись на дорогу, на изъезженные колеи, отступил от воза, пошел спокойнее, легче.

Когда воз приблизился к Чернушковой полосе, Евхим искоса глянул туда, где сидели кучкой, беседуя о чем-то, Чернушки и Дятлы, подумал: «Ишь слетаются!.. Ровно свояки!»

Телега жевала колесами песок и пыль проселка, шастала хорошо смазанной осью, лошадь скрипела гужами, а Евхим словно бы не видел ничего, не слышал, растревоженно думал — уже который раз — про свою досаду-хворость.

Кто бы мог подумать, что так завяжется. Считал сначала: глупость, пустяк, подурю с ней, сгоню охотку и брошу. И сперва будто и шло все так, как хотел: клониться вроде бы к нему стала. Когда Дятлик вернулся из тюрьмы, Евхим думал: пускай посмотрит, недотепа, позавидует ему, что отбил зазнобу. Евхим был уверен, что Ганна — не глупая ведь, видит же, кто он такой и кто Дятлик, — придулится к нему, Евхиму, самому видному, самому умному, первому на все Курени хлопцу. Он тогда порой даже думал с опаской: не прилипла бы слишком, не связала бы по рукам...

И вот же — на тебе. Евхим до сих пор не может спокойно вспомнить: как только увидела Дятлика — опять переметнулась к этому недотепе, к голяку этому! От него, от Евхима! Это показалось таким нелепым, глупым, что Евхим сперва просто не поверил, что оно — крепко, надолго: мало ли какая дурь может запасть вдруг в девичью голову, пройдет день-другой — одумается. Но Ганна не одумалась. Тогда Евхим не выдержал: явно поступаясь мужской гордостью, сам пошел к ней, попробовал перехватить снова, вернуть. И так подступался, и этак, чего только не наговорил, провожая домой, удерживая силком возле крыльца, — хоть бы чуточку изменилась. У крыльца — едва подойдешь — у нее только и заботы скорее нырнуть в сени, позевывает все, спать всегда торопится... Обнять за плечи даже не далась!..

Самое обидное — видит все, понимает, да еще и подсмеивается, играет с Евхимом, как кошка с мышью! Вроде бы и не гонит совсем, вроде и надежду оставляет: ходи, дурень Евхим, волочись за ней, завидуй, как она к Дятлику льнет.

Нет, Евхим не совсем потерял гордость — ходил, ходил за ней, злился да вдруг решил: все, конец этой глупости, этому издевательству, раз и навсегда. Как решил, так и сделал — выкинул из сердца, из памяти, словно и не знал никогда...

К счастью, появилась лесникова дочка. Веселая, говорливая, привлекательная дивчина как с неба свалилась вместе с отцом своим, вновь назначенным лесником.

Правда, свалилась малость далековато — верст пять с гаком в один конец, но что для Евхима эти пять верст! Была бы охота мерить их, а охота эта тогда переполняла его: как шальной летел лесом, болотной стежкой к Верочке.

Верочка была совсем иная. Правда, не бросалась радостно к Евхиму, старалась казаться даже равнодушной, но Евхим видел: рада ему, нравится ей. За лесниковой усадьбой так дышал смолью разомлевший бор; в бору, без отца и матери, что очень уж присматривались к Евхиму, Верочка как-то по-особенному розовела и почему-то вздыхала, вздыхала. Когда Евхим притулил ее к сосне и обнял, она не оттолкнула — синие глаза Верочки потемнели, как вода перед грозой, жадно раскрылись губы.

Казалось, все изменилось. Нет больше хвори этой — Ганны, есть только Верочка, одна — кроткая, ласковая, — всегда она рада ему. И вот же оказалось вдруг, что все это обман, — ничто, оказывается, не изменилось. Хворь как была, так и осталась. И все это открылось неожиданно, в какую-то одну минуту погожего ясного утра.

Сколько раз вспоминалось Евхиму это утро, эта встреча... Выпустив из-под сдвинутой набекрень шапки с блестящим козырьком ухарский чуб, шел Евхим по улице. Шел к Верочке. Не глядел ни на кого, руки держал в карманах синих фасонистых галифе, папироска в гонористо скривленных губах, нес на козырьке, на глянце щеголеватых — гармошкой — хромовых сапог, единственных в Куренях, слепящее сверкание солнца — будто сам сверкал. Шел — первый жених на все село. Сияла залитая праздничным солнцем улица, сияла душа, полная ощущения молодости, красоты своей, силы. Хорошо было знать, что близко встреча на крыльце лесниковой хаты, горячий бор, Верочка, которая розовеет и вздыхает...

И вдруг все исчезло. Вмиг. Как и не было. И беззаботно-сладкое предчувствие утех, и лесникова дочка, и горделивая сила. И было бы отчего: увидел — прямо на дороге стоит Ганна, тоже празднично-веселая, в праздничной ситцевой кофте в цветочки. Стоит, щуря глаза от солнца, лузгает семечки. Кого-то, видно, ждет.

— Добрый день! — поздоровалась с улыбочкой, игривой и лукавой, всегда удивительно задевавшей его.

Евхим, будто незнакомой, безразлично ответил, намереваясь идти дальше.

— Куда это такой... наваксенный?

Евхим хотел обрезать:

— Надо быть, не к тебе!

— Ого! Я так и думала! — она засмеялась задиристо. — Гляди ты, все одно как сговорились. И я ведь не тебя поджидаю!.. К лесниковне?.. — притворно-ласково поинтересовалась она.

— Может, и к ней. А тебе что? Завидки берут?

— Конечно!.. Такой кавалер... Только — глаза у нее, говорят, в разные стороны смотрят. Правда?

Евхим глянул на нее как мог презрительно и увидел — она удовлетворенно смеется: доняла, разозлила!

Не успел Евхим сказать что-нибудь такое, от чего бы она прикусила язык, закаялась навсегда подсмеиваться над ним, как Ганна, оглянувшись, весело ойкнула, ловко и легко убежала прочь. На улице появился Дятлик.

Евхим плюнул и, будто ничего не случилось, пошел своей дорогой. Шел, казалось, как и прежде, весело и беззаботно, все так же посасывал фабричную папироску, думал, что эта ее болтовня — пустое, и сама она ничто для него теперь. И все же, подходя к кладбищу, не выдержал, оглянулся: она стояла с Дятликом и чего-то смеялась. Чего, над кем?

Свернув за кладбище, за которым уже никому в селе его не было видно, Евхим остановился, сел на траву. Идти к лесниковой дочке вдруг расхотелось...

«Вертихвостка языкаястая!» — не впервые подумал теперь Евхим, ступая рядом с возом, который грузно колыхался и скрипел гужами. — Ходит в посконине драной, а держится — что паненка!»

Дальше мысли Евхима пошли в другом направлении. Думал — как это несуразно, бессмысленно бывает порою в жизни: один человек всей душой тебе благоволит, любить бы его да любить, и — не любишь; он, добродей, тянется к тебе, а ты обходишь, избегаешь его. А на другого и глядеть бы не надо, не то что вблизи него быть, а ты глядишь и сам льнешь душой к нему. И странно и досадно было вспомнить: когда Ганна была в поле, хоть и старался не глядеть в ту сторону, глаза как бы сами собой следили за ней. Видел, как жнет — быстро, ловко, — как, распрямившись, устало подняв руки, повязывает платок, как идет — не спеша, но горделиво — к баклаге, пьет. Не мог глядеть равнодушно — будто обнимал ее всю: ловкие голые руки, гибкий, осиный стан, все ее ладное, желанное тело. Хоть не близко была — чувствовал, как по-особенному, горячо начинает биться кровь, как пересыхает во рту.

Надо же было дойти до такого — из-за этой задиристой горячки вечерами не сидится в хате, ночами не спится. Выходишь вечером с одной мыслью — как что-то необыкновенное — увидеть, услышать ее, и сожалеешь, злишься, что она редко в гурьбе девчат и хлопцев появляется. Без нее словно и вечер не в вечер, и ночь не в ночь. Когда лежишь один в душной хате, сердце прямо горит, как подумаешь, что она в это время, может, где-нибудь с Дятликом греется...

И надо ж было, чтобы так все повернулось. Если и дальше так пойдет, то на Евхима, чего доброго, пальцами показывать станут, посмешищем сделают... И она, может, самая первая, вместе с этим недотепой Дятликом... Нет, пусть только попробует — она или кто другой — увидят!.. Он и так достаточно цацкался с ней, хватит деликатства — надо наконец взяться решительно, чтоб почувствовала, с кем шутит. Взяться так, чтобы дух у нее захватило. Крепко, как мужчину!

«Притихнет сразу. Помягчает... Быть не может, чтоб не помягчала...» — подумал Евхим, вдруг заметив, что подъехал уже к своему гумну.

Степан открыл ворота, и грузный воз начал осторожно протискиваться в пасть гумна. Евхим шел теперь впереди воза, сбочь лошади, посматривал, как протискивается воз, — и в какой-то миг на глаза его надвинулась темень: воз заслонил свет, бивший со двора. Когда воз остановился среди гумна, темень как бы опала — свет снова лился в ворота.

После горячего песка и дорожной пыли ногам приятно было ощущать гладкий и твердый, как лед, холодок тока, свежую, пропахшую землей и зерном прохладу гумна, что быстро сушила пот на теле и одежде.

Евхим отмотал веревки, что крепили гнет сзади, бросил их на ток, снял гнет и принялся подавать вилами снопы Степану, который стоял на краю скирды, круто поднимавшейся в отгородке. Снопы лежали ровными рядами уже до половины стрехи, а еще не все было свезено. Евхим с радостью подумал, что поле возле цагельни и этот год не подвело, уродило всем Куреням на зависть.

«Половину на продажу пустить можно... Этот год, верно, в цене будет жито — даже в Олешниках не очень уродило... Если ловко продать, то разжиться можно непогано! Коня купить в Юровичах можно, телку да еще и на лес отложить грошей... Ведь что ни говори, а строиться при-

дется... Коли жениться, то и строиться, не иначе... На свою волю, на свое хозяйство, что бы там ни было!..

А жениться — пора бы! Поволочился, погулял вдоволь — не до седых же волос жеребцом бегать... Может, тогда и зараза эта — Ганна — из головы выйдет... Выйдет, конечно, в пустом поле всякий чертополох растет!..»

Когда ехали со Степаном назад, под торопкий перестук колес Евхим представил, как он приедет с женой, молодой, богатой, которую он привезет откуда-то, — может, из самых Юровичей, потому что в Куренях в пару ему, известно, никого нет, — как поведет ее на свое крыльцо под завистливыми взглядами куреневских невест... «И чтоб она, конечно, была при этом, видела мою радость, мою победу!» — снова вспомнил Евхим Ганну.

Но радости он и тут не почувствовал, — что-то не было охоты вводить в дом эту неизвестную жену. Не радость, а грусть какая-то ложилась на душу, сожаление, — словно с этой свадьбой не приобретал, а терял... Как ни хотел, а не мог представить себе эту свою будущую жену, слышал, видел одну Ганну...

Течение мыслей сразу оборвалось, как только лошадь вынесла телегу к повороту дороги, за которым можно было увидеть Чернушкову полосу. Евхим с нетерпеливостью, с волнением глянул — как там Ганна, еще с Дятликом?

Дятлика уже не было на Чернушковой полосе, а Чернушки все жали. Евхим увидел Ганну, вязавшую сноп, и немного успокоился.

### 3

Укладывая снопы на воз, Евхим заметил, что Ганна отошла от своих и межой направилась к лесу.

«Одна! Куда это она? — вспыхнуло в нем любопытство. — По малину, что ли?..»

Евхим минуту следил за ней, словно бы ждал разгадки. Он начал волноваться.

— Ты что? Ослеп? Не видишь? — крикнул Евхиму старый Корч, держа на вилах сноп.

Евхим спохватился, но мысль о том, куда пошла Ганна, уже не оставляла его. Стараясь укладывать снопы вовремя и пользуясь минутами, когда старик отворачивался, чтобы взять сноп, Евхим подсмотрел, куда пошла Ганна, — думал, как бы скорее догрузить воз, как отвязаться от бабки, вырваться туда, вслед за нею.

— Ну, хватит! — наконец сказал Глушак-старший, и Евхим, зацепив гнет, который подал Степан, с радостью соскочил на жнивье, стал торопко уминать воз.

— Еще разок! Еще!.. Г-гах!.. — командовал Евхим Степану, натягивая веревку так, что горели руки. Дернув веревку напоследок, Евхим, чтоб не развязалась, несколько раз ловко захлестнул конец ее на вытертом до блеска гнете, хлопнул брата по плечу.

— До самого Мозыря можно везти!..

Он тут же напустил на себя покорный и послушный вид, настороженно взглянул на отца.

— Орешник тут высмотрел надысь... На обручи аккурат... — Евхим слышал, как мать утром просила старика набить новые обручи на бочку.

— Орешник! Нашел время... — неодобрительно проворчал старик.

— Время не время — да ненароком ссекут!.. Хорош больно!..

Старик промолчал, и Евхим понял: хитрость удалась! Можно пойти!

— Бери вожжи, — сказал он Степану все так же послушно, будто передавал приказ отца. — Не отвыкай от науки мужицкой! — на всякий случай напомнил он брату привычный отцов совет.

Старик не отзывался на эту уловку сына.

— Чтоб не шлялся там очень! Вернешься, осмотри тут все, — может, колоски где остались, подбери!

— Ладно...

Евхим выждал, пока отец велит ехать, — упершись сзади в снопы, помог лошади стронуться с места, а когда воз крикнул, покачнулся, двинулся, еще несколько шагов прошел вслед, помогая плечом.

Отстав от воза, Евхим бросил на отца вороватый взгляд и, еле сдерживая прилив нетерпения, быстро пошел к лесу. Шел он не прямо туда, где скрылась Ганна, а ближе к своей полосе, остерегаясь излишне любопытных людских глаз, думал подобраться к Ганне неприметно, лесом.

Чем ближе подходил к лесу, тем крепили в нем горячее волнение, беспокойство и нетерпеливость, подгонявшие его — быстрее, быстрее! У него едва хватило смекалки не побежать. Быстрее, пока не ушла далеко, не зашилась в заросли: зайдет, заберется в чащу — век не сыщешь!.. Едва достиг леса, порывисто нырнул в желанную сень: наконец-то можно побежать, не бояться посторонних глаз.



Хотел было сразу броситься в заросли и вдруг отшатнулся, будто налетел на дерево: навстречу — и надо же так не вовремя! — выскочила Хадоська.

— Евхимко! — бросилась Хадоська к нему.

Это было так неожиданно и некстати, что какой-то момент Евхим как бы ничего не соображал.

— А-а! Ты... чего тут?

— Так, зашла от! Захотелось от, сама не знаю почему! Я и зашла! Как сердце чуяло!.. — Она говорила радостно, но Евхиму слышалась в ее голосе какая-то затаенная печаль. И правда, последовала и жалоба: — Я уже так скучать начала!

Губы Хадоськи виновато скривились. С этой горькой, странно застывшей улыбкой она шагнула к Евхиму, хотела, видно, притулиться к нему, но Евхим отстранился, повел глазами в сторону.

— Т-ты чего? Людей не сóром?

— А что мне люди!.. — ответила она вдруг с отчаянием и какой-то решимостью, насторожившей его.

— Коли тебе все одно, то мне — не все одно!..

Евхим заметил, что лицо у нее блеклое, нездоровое, глаза запали, щеки обвисли — будто не дивчина, яблоко наливное, а чахлая падалица. И вся она — как он до сих пор не видел? — была какая-то сморщенная, словно безнадежно больная, бескровная — непривлекательная, неприятная. Даже противная.

Зачем он связался с нею, позволил ей ходить с ним, липнуть? Ну, что было тогда в соломе, то было, горевать нечего. Но зачем он потом вожжался с ней, платил за редкие утехы с нею таким большим терпением, выслушивал ее бесконечные страхи, упреки, напоминания, унимал ее слезы. Вместо того, чтобы сразу отрезать, отшить! Видел ведь, как липнет!.. Так нет же, весной надо было еще и в амбар ночью привести! Хорошо, что не подсмотрел никто!.. Дурень, дурень!..

— Не ходи за мной! — сказал Евхим строго. — Хватит!

— А разве ж я хожу?..

— И так бабы языки чешут!..

— И никто не чешет!.. Выдумываешь ты!.. Сдается тебе! Никто ничего не говорит!

— Не ходи!

Давно бы, кажется, пора понять, что не чета ему, что кончено все, так нет же — бегают, как собака. И глядит, как собака!

— Забудь!

Он хотел идти дальше. Но она схватила его за руку, испуганно крикнула:

— Евхимко-о!

— Отойди, сказал!

Евхим хотел отвести ее руку, она не выпускала. Уцепилась другой за пиджак.

— Евхимко! я... я... — Хадоська захлебывалась от слез.

— Пусти!

— Евхимко! Я... я — тяжелая.

Как ни решительно был настроен Евхим, он на мгновение обмяк.

— Что?

Евхим посмотрел на нее, понял: говорит правду. Глаза, покрасневшие от слез, перекошенный болью рот, мокрые, трясущиеся, как студень, щеки — на всем была печать большого горя. Она вся корчилась, дрожала от беды, от муки. Вот, значит, почему у нее такой болезненный вид!

Добегался, доигрался! Докрутился так, что дальше некуда! Как и выкрутиться — неизвестно! «Хорошо, что никто не видел, как в амбар ходили!» Увидят, все увидят. Не отделался вовремя, дурень!

Как же теперь быть? Что делать?

— Нагуляла, значит? Теперь ищешь, кто виноватый?

— Евхимко! — застонала Хадоська. — Побойся бога! Разве ж я еще с кем, окромя тебя?

— А кто знает! Только — от меня не могло!

— Евхимко!

Но Евхим не хотел слушать. Оставив ее сзади, он, однако, вскоре остановился, вернулся, — она лежала, уткнув голову в траву, захлебываясь от отчаяния, — проговорил мягче:

— Вот что! Возьмись за ум, коли не хочешь, чтоб люди смеялись! — Он подождал, пока Хадоська утихнет, но понял, что не дожидется, оглянулся, сказал нетерпеливо: — В Глинищах есть знахарка...

Хадоська, казалось, и слушать не хотела его доброго совета. Вот и желай ей добра, попробуй помочь этой плаксе! Все же со злостью сказал:

— Она это ментом!.. Выкинет!.. Слышишь?

Хадоська в ответ только простонала. Евхим постоял немного, потом, как бы увидев, что возиться с ней дальше бесполезно, пошел своей дорогой. «От черт, — думал он, продираясь сквозь чащу. — Надо ж, чтоб так случилось!»

Было бы что особенное, любовь там какая или что. Кабы хоть сох, как по этой, по Ганне! Дак нет же, баловство одно... А теперь от думай! Жди, чем кончится!..»

Настроение было теперь совсем не то, как до встречи с Хадоськой, испорчено было настроение. Из-за этого Евхим вдруг даже остановился в зарослях, задумался: идти или не идти теперь искать Ганну? Уже как и не было недавнего нетерпения и легкости, — ко всему еще привязалась беспокойная мысль: «Не распустила бы она нюни перед Ганной... Они ж как-никак подружки!..»

Но думал, тревожился Евхим недолго. Хадоська — это одно, а Ганна — совсем другое. Что ж ему теперь — и глядеть ни на кого нельзя? Монахом стать в молодые свои годы? Из-за того, что какая-то дуреха прилипла?

И вообще, разве это мужское дело — за девуку думать. Сама нажила, сама нехай и думает, как сбыть!..

Евхим полез дальше сквозь заросли — оглянулся, прислушался, где она, неотвязная Чернушка?

#### 4

Ганна, увидев Евхима, не удивилась, не проявила беспокойства — взглянула равнодушно и снова стала высматривать, собирать малину. Кусты были темные, густые — она разводила листву, доставала ягоду за ягодой, клала в горсть. Евхим постоял, чувствуя в себе неуместную робость, подошел к Ганне, сказал приветливо:

— Помочь, может?

— А мне и самой нетрудно! — ответила Ганна, понимая его нехитрый подступ. Она даже не глянула на него — по-прежнему высматривала, собирала малину.

Евхим рядом с ней тоже потянулся за ягодой, сорвал одну.

— Все-таки с помощником скорее.

— Смотря какой помощник.

— А разве — поганый? — попробовал он пошутить.

— Хороший, значит?.. Гречневая каша сама себя хвалит!

— А чего и не похвалить себя, коли другие не хвалят? Может, и есть за что?

— Ого! — только и произнесла она с насмешкой.

Евхиму бросилась в глаза видневшаяся сквозь прорванную ниже плеча холщовую кофту полоска смуглой кожи, и горло перехватила горячая ревность.

— Дятлик твой, может, лучше?

Ганна ответила спокойно:

— Как для кого...

На ее загоревшей дочерна шее, под прядями черных, с блеском, волос, повязанных ситцевым платочком, висел легкий, удивительно светлый пушок.

— Ни к чему все это! — проговорил он как мог весело, беззаботно.

— Что — ни к чему?

— Выдумываешь сама не знаешь что! Все равно не отвертишься!

— От тебя?

— От меня.

— Ого! Испугал! — Ганна засмеялась, и смех этот распалил в нем упрямство.

— А что такого особенного? Не девка разве?

— Девка-то девка. Да и куры, говорят, не все рябые. Не одинакие... Не одинакие, может, и девки?.. Не все же, верно, как... Хадоська?

Евхим от неожиданности онемел: «Знает. Знает уже? Почему она вспомнила? Высказала эта плакса?»

Надо было все же что-то делать, выбираться из ловушки. Может, она это просто так, ненароком сказала? Может, она и не ведает всего?

— Хадоська — что? — произнес он настороженно. — Хадоська, конечно... девка... непоганая... Непрочь... Только — не по душе...

— Уже не по душе?

— А когда она была по душе? Так только, что хилилась ко мне, а обижать жалко было... Не гнал... Нехай хилится, мне что!

Ганна взглянула на него, будто хотела увидеть — правду или неправду говорит, — но не промолвила ни слова, и Евхиму стало спокойней: не знает.

Некоторое время рвали малину молча. Как и Ганна, он набирал ягод полные пригоршни, ссыпал в крынку, стоявшую возле нее в траве. Она не поощряла его, не перечила, будто и не замечала. Иногда было так, что руки их встречались, и, хотя она тотчас же отнимала свою, словно прикоснувшись к чему-то неприятному, Евхим чувствовал, как в нем горячо, нетерпеливо дрожит все внутри, сохнет в горле. Она была так близко, такая приманчивая, такая желанная даже и в своей изодранной посконине.

Чем больше Евхим украдкой посматривал на нее, тем больше пересыхало в горле, труднее было снова завязать разговор.

— Ты от — не такая... Другая!.. — выдавил он, стараясь говорить полусушня. — И что в тебе такого, знать бы? Чем ты меня присушила?

— Видать, что высох! Одни скулы!

— А то нет?.. Ты, видно, у глинищанской знахарки зелья такого взяла!

— Плетешь неведомо что!

— Я плету? Сказала!..

Евхим вдруг обхватил ее одной рукой за плечи, другой — за шею, неожиданно горячо зашептал:

— Ганна!.. Гануля!..

Он хотел привлечь ее к себе, но Ганна уперлась ему локтем в грудь.

— Ты — чего это? Пстой!

— Нет, теперь уже не обдурить! — Он попробовал улыбнуться, но улыбка вышла невеселая, кривая.

— А зачем мне обдуривать? — Она поморщилась, как от боли. — Не тисни!.. Дохнуть не могу!.. Слышишь?!

— Все одно — не пущу...

— Дурной ты, гляжу я, — проговорила она, тяжело дыша. — Ей-богу!.. С виду — голова, не кочан... а разуму — что у дитяти...

— Занимать не стану... Хватит с меня...

Она сразу ухватила за его слова:

— Маловато... Не помешало б и признаться... Вырос до неба, а как до которой девки подойти — не знаешь... Думаешь, силой все можно...

— А чего ж — коли сила есть...

Евхим потянулся поцеловать ее, но она откинула голову — не достать.

— «Чего, чего!» — с насмешкой, как старшая, передразнила она. — То-то и видно, что разуму аж лишек...

Как ни трудно было думать Евхиму, он все же заметил, что говорит она не потому, что ей хочется говорить это, что за ее насмешливо-поучающими словами таится непонятная хитрость. С панталыку сбить хочет, или что?

— Ну, ну, хватит! Поздно учить!..

— А не мешало б! — вновь подхватила она. Уколола: — Другие ж, видно, не научили?.. Хочешь, научу?..

— Дарма стараешься! — сказал он тоном победителя, хорошо видящего уловки противника.

— Хочешь, я скажу, как... ко мне подступиться?..

— К тебе?

Хоть Евхим показалось, что и тут скрывается какой-то подвох, слова эти все же заинтересовали его.

— Сказать?— Ганна шевельнулась, попросила:— Ты пусти, а то так неудобно...

— И не думай!.. Ну, дак что надо, чтоб ты полюбила?

— Что? Скажу!..— Она твердо глянула ему в глаза.— Одно — доброта. По-доброму чтоб!

— А-а... А я думал, черт знает что!— засмеялся Евхим.

Он своей сильной ладонью прижал к себе ее голову, хотел поцеловать.

— Люди!..— ужаснулась она, словно бы кого заметив.

Но Евхим и не оглянулся:

— Ученый! Не проведешь!

Он силой поцеловал ее в щеку. В тот же момент Ганна так рванулась, что Евхим едва удержал ее — но все же удержал. Видя, как потемнело от натуги и злобы смуглое лицо ее, он с гордостью ухмыльнулся: что, попробовала потягаться со мной?

— Пусти!..— глянула она на Евхима горячими, пылавшими ненавистью глазами.

Когда он увидел этот ее взгляд, у него вдруг словно бы ослабли руки: может, и правда пустить? Может,— лучше по-хорошему с ней? Но кто это в Куренях из настоящих хлопцев уступал девчатам, делал так, как они хотят? Мужчина есть мужчина... Евхим видел, как бьется часто-часто жилка у нее на шее, чувствовал ее плечи, грудь, все ее упругое, сильное, желанное тело, что столько времени неодолимо тревожило, не давало ни днем ни ночью покоя. Он столько думал об этой минуте, и вот наконец Ганна — не во сне, а наяву — в его руках!..

Нет, будь что будет, он не отпустит ее! Пусть знает, что такое Евхим, его объятия, другой раз, может, помягче будет, уважать больше станет. Опьяненный ее близостью, Евхим жил теперь какой-то дикой одержимостью, дикой радостью от сознания своей силы, власти над добычей своей...

— Пусти!.. Плону!..

Что она могла еще сделать, чем защитить себя, бес- сильную перед ним? Видя, что он, как и раньше, не ослабляет рук, полная обиды, злости на свою беспомощ- ность, Ганна с отчаянием и ненавистью плюнула ему в лицо, прямо в хоринные глаза!

Евхим, будто его ударили, дернулся, гневно прохрипел:

— А, дак ты так!.. — Он изо всей силы с яростью согнул ее, бросил на траву. Они упали вместе — Ганна, горячо дыша, задыхаясь, пробовала высвободиться из его объятий, упиралась, как могла, в грудь ему, собирая все свои силы, пыталась оттолкнуть его. Кто бы мог подумать, что она такая сильная, эта гордая Чернушка, — распаленный злостью, ее горячей близостью, Евхим едва удерживал ее.

Он все больше шалел от ее близости, от борьбы с ней. Уже ни о чем не думал, в голове был какой-то горячий тяжелый туман. Было только одно тупое желание — не дать ей вырваться, не выпустить, осилить...

В горячке борьбы — сам не знал, как это случилось, — на миг отнял руку, чтобы утереть глаза; почему тогда захотелось сделать это, он и позднее понять не мог. Может, оттого, что глаза туманил пот. А может, даже прядь чуба упала на них, не мог припомнить. Все было как в бреду. Да и как тут вспомнить, когда в следующее мгновение произошло такое, что разом забылось все на свете.

Он успел еще заметить, как она ловко выдернула руку из-под него, но опередить ее не смог. Не успел сообразить ничего, как нос хрустнул. От боли аж захватило дух. Евхим невольно отшатнулся — боль слепила, ломило переносицу, лоб. Хватился руками, испуганно пощупал нос — думал, сломала. Нет, нос был цел, но ведь боль, откуда же шла боль?.. Тревожно ощупывая лицо, Евхим почувствовал над губами что-то липкое — текла кровь.

«Кабы трюхи повыше, лицо покалечила б, гадюка!» — подумал Евхим, бросая на Ганну ненавидящий взгляд. Она была уже поодаль, сидела на корточках, держала наготове сук. Смотрела настороженно, неприступно, готовая вскочить, отбиваться — готовая на все.

Кофта на ней от плеча до груди была разодрана, и она, перехватив Евхимов взгляд, приложила руку к смуглой оголенной полоске.

Едва только Евхим шевельнулся, Ганна приподнялась, вскинула сук.

— Подойди только!

Евхим равнодушно сел.

— Нужна ты мне!..

Он не врал: ему и впрямь не хотелось уже продолжать возню с ней. Вдруг пропал всякий интерес к Ганне.

— Как собаке пятая нога, так и ты мне нужна.

— Руки чуть не переломал, хряк поганый!.. Ослеп и лезет, жеребец дурной... Думает, все ему можно!.. Захотелось, дак ищи кобылу, а ко мне не лезь!.. — Евхим, и не глядя на нее, почувствовал на себе угрожающий взгляд. Промолчал. — Кохту порвал всю!.. В деревню хоть не показывайся.

— Кабы трохы еще, глаз могла б выбить!

— И могла б! Не лезь!..

«Чем она ударила? — мелькнуло в Евхимовой голове. — Сука у нее не было, сук она после взяла. Локтем, видно... Никогда не думал, что так можно двинуть локтем. Как шкворнем все одно!» Евхим встал, стал отряхивать землю, травинки со штанов, с рукавов. Ганна тоже стояла уже, как и раньше, поодаль, все с тем же суком.

— «Не лезь!» — презрительно скривился Евхим. — За версту не подходи!.. Подумаешь — королева!

— Королева не королева, а не лезь!

— Не таких видал...

— Дак и иди к этим, к лучшим! Чего ж лезешь?

— И пойду! По тебе, думаешь, сохнуть буду! Ага, жди! Дождешься, может, — на том свете!

— От и ладно. Хоть раз что-то разумное сказал!

Евхима, кажется, мало обрадовала эта похвала. Он перестал отряхиваться, вытер кровь под носом, сказал, злясь:

— Ну, что вы такое, Чернушки, что нос дерете? Ну, что вы перед нами? Ничто, ноль, можно сказать. Голота дырявая...

— От и иди к богатым! Может, и найдешь королеву!

— И найду! Дозволенья не спрошу! В Глинищи, в Юровичи пойду, куда захочу! Такого цвету по всему свету, и не такие еще, как ты! Любая на богатство — как муха на огонь! Иди, выбирай, была бы только охота!

Ганна не удержалась, съязвила:

— Охота ж, кажись, есть!

Евхим промолчал, как бы показывая, что на всякую глупость не хочет обращать внимания. И все же кончить разговор тем, что он только что сказал, ему показалось мало — пусть не посмеивается, не думает, что взяла верх, что он отступает совсем:

— Захочу — будешь моей! Все равно не выкрутишься!

— Ого! Испугалась! — засмеялась Ганна, но сразу же смолкла, заметив, как грозно глянул Евхим.

— Смотри! — предупредил он и пошел от нее, тяжело приминая траву.



Под вечер мачеха вбежала в гумно запыхавшаяся, взлохмаченная, еще в воротах возбужденно бросила:

— Слышал?

Чернушка, подметавший ток, обернулся, спокойно спросил:

— Что?

— Что? Спрашиваешь!.. Вся деревня гудит! Один ты не знаешь ничего! Сидишь тут, как слепая сова!..

— Да что такое? Скажи толком!

— Что? Тебе б самому знать надо! Мне, что ли, рассказывать — не моя дочка, твоя!.. Батька, называется!.. Глядел бы лучше, дак не спрашивал бы!

— Да можешь ты сказать по-людски?

— По-людски? Ой, боже ж! Язык просто не поворачивается! — мачеха чуть не запричитала: — Евхим Корчов — Ганну...

— Чего плетешь?

— Плетешь? Кинь метлу да выдь на улицу, послухай!.. Кто где стоит — возле плетня, возле колодца — у всех только и разговору!.. Один ты — что глухая тетеря!

Чернушка сразу помрачнел, сгорбился.

— Когда в лес по малину ходила... — пояснила мачеха. — Видал, какая пришла?.. Кофта какая была?..

Чернушка слушал, как немой. Как в тумане, припомнилось ему, какой странный вид был у Ганны, когда вернулась из лесу. Лицо возбужденное, глаза беспокойные, почему-то отводила их в сторону, старалась держаться особняком. Когда вязала сноп, руки будто не слушались, и связала плохо; он велел ей перевязать... И кофта, кофта была порвана, он сам видел. Правда, она сказала, что за сук нечаянно зацепилась, но — разве не могла соврать?..

— Горюшко ты, горе, — запричитала тихо, чтоб не слышали злые люди, Чернушиха. Она, однако, тут же перешла на иной, более решительный тон. — Но пусть он не радуется, Корч рыжий! Пусть не думает, что как он богатей, дак ему и все можно! Море ему по колено! Закается! Закается он — жить я не буду! В суд, в суд на него! В тюрьму его, хряка рыжего! В острог! В Сибири!

Тимох наконец будто очнулся, спросил:

— Где Ганна?

— Ганна?.. Пошла по картоплю... накопать...

Чернушка бросил в угол метлу, вышел из гумна; быстро, с несвойственной ему торопливостью направился на загуменье — так что мачеха едва поспевала за ним. Выйдя за гумно, за безлюдную загуменную дорогу, он на другой стороне огорода у самой жердяной изгороди в первых теплых сумерках различил две фигуры на картофельном поле.

Ганна была не одна, рядом стояла Хадоська, но Чернушка словно и не заметил ее. «Все одно, зачем скрывать, коли все Курени говорят...» Да если б и так было, что в селе никто не знал, Чернушка, очевидно, все равно не остановился бы из-за того, что рядом кто-то чужой, — он не мог ждать ни минуты.

— Правда это? — грозно стал он перед дочерью, удивленно державшей в руках куст с клубнями.

— Про что вы, тато?

— Про что? — Чернушка неожиданно обмяк, жалобно скривился. Губы его обиженно и беспомощно задрожали — про что? Хотел сказать и не мог, вместо слов послышалось только в горле мучительное бульканье.

На подмогу пришла мачеха.

— Все село звонит, что Евхим Корчов тебя... ссильничал.

Куст картофеля выпал из Ганниных рук. Она растерянно взглянула на Хадоську, которая вдруг побелела, как неживая. «Все знают! Все село звонит... — проплыло в голове Ганны... — Ссильничал!.. Но как она побледнела, Хадоська!.. Ссильничал, говорят...»

— Неправда. Сплетни все, — наконец тихо проговорила Ганна.

Отец будто не поверил.

— Сплетни, говоришь?

— Сплетни. Брешут.

Отцовы губы перестали дрожать, он стал спокойнее.

— Ну, коли так...

— А кохту, кто порвал? — не поверила мачеха.

— Кто бы ни порвал — только не было того. Брешут.

— Не было, значит?

— Брехня, говорю!

— А может, ты боишься? — не сдавалась, как бы пожалела, что все оказалось только сплетней, мачеха. — Может, он пострадал? То ты не бойся! Теперь не то, что когда-то, теперь — порушил девку, так женись, не откручи-

вайся! А не — дак передадим в суд! Так припаяют, что на том свете каяться будет!

— Не было, говорю!

— Не было?

— От же! Что ж мне, божиться, что ли, надо?

— Ну, коли не было, то не было! — сказал примирительно, с облегчением отец. Эти слова больше относились уже не к Ганне, а к мачехе: отец кончал неприятный разговор. — От тебе «все село звонит»! Мало что выдумают, когда язык свербит!.. Пошли!..

Он пошел по стежке к гумну уже тихо, спокойно. Мачеха же брела за ним неохотно, как бы не выяснив всего...

Когда они отошли, Ганна и Хадоська некоторое время стояли молча. Ганна вспоминала разговор с отцом, с мачехой, не могла успокоиться — надо же, чтоб наговорили на нее такое! «Сильничал!» — охота же людям языки чесать!.. Хотел, пробовал, да, видно, и теперь нос свой ощупывает... И все же хоть и не виновата была, думать, что идет, ползет по селу такая слава про нее, было обидно: будто грязью ни за что ни про что вымазали!

Она вдруг заметила, что лицо у Хадоськи очень расстроенное, несчастное, и ей стало жаль «конопляночку».

— Не было ничего. Правду сказала.

— А я думала, может... батьки боишься?.. — виновато произнесла Хадоська. Она выдавила: — А кто ж... кохту порвал?..

— Он — Корч этот...

— Дак все ж... цеплялся?

— Цеплялся. Только — не добился ничего.

— Цеплялся!

Хадоська внезапно отвернулась, закрыла лицо ладонями, затряслась.

— Ну, чего, чего ты? Не было ж ничего... Ей-богу, не было... Ревнуешь? От, чудачка!.. Не надо мне его! Подумаешь, добро какое!.. Бери его себе!..

Она уж и не знала, что сказать: Хадоська не слушала, заходила от плача. В слезах она и ушла от Ганны, не выбирая стежки, спотыкаясь, путаясь в картофельной ботве, перелезла через плетень и тенью побрела по полю. «И надо ж было мне вякнуть, что он цеплялся!» — пожалела Ганна, с тревогой следя за уходившей подругой.

Отряхивая землю, обирая картофелины с нитей-корней, она думала то о несуразной этой Хадоськиной любви, то — еще больше — о неприятной сплетне. Было или не было,

а грязь этой сплетни, чувствовала она, надолго прилипнет, не скоро и не все поверят, что ничего не было, что Евхим все-таки не добился своего. Попробуй докажи, что неправда, — будут гаденько посмеиваться, обзывать, будут смотреть, как на замаранную. Не сама замаралась, так другие замарали, а грязь все ж на тебе. И будешь с нею. И не смоешь. Кто поверит, тот поверит, а кто нет — тот нет!..

И пусть не верят, кто не хочет! Что она — помирать должна, если кто о ней будет думать плохо! Что ей уже и жизнь не в жизнь из-за глупой сплетни? Как люди к ней, так и она к ним! Хорошо — так хорошо, а нет — так нет! И у нее своя гордость есть!..

Ганна взяла лозовый короб, забросила за спину и твердо зашагала стежкой к загуменной дороге, к гумну, к хате. Да, бедовать попусту она не будет! Не будет горевать без вины, не глупая! А люди — как кто к ней, так и она к ним! Печалиться она не станет. Не из таких!

Все же, как она ни старалась, тревога не оставляла ее, вынуждала смотреть вперед с беспокойством и опасливой настороженностью. Уже не так просто, как до сих пор, не легко и не беззаботно думалось о том, что вот вдруг кто-то встретится, — как посмотрит на нее, как она — на него? Раньше об этом вообще не думала, а теперь, приближаясь к дороге за гумнами, даже замедлила шаг — услышала: кто-то едет верхом.

Издали узнала — надо ж так случиться — ехал на Гузе Василь. Волнуясь, вышла на дорогу, подождала, пока подъедет. Встречи с Василем и ждала и боялась: знала, как ревнует, особенно к Евхиму. И вот, свесив босые ноги, белея рубахой в сумерках, Василь как раз ехал.

Слышал он или не слышал? А если слышал — поверил ли? Неужто мог поверить?.. «Мог — ревнивый, недоверчивый!» — мелькнула тревожная мысль. Но другая сразу же возразила: «Нет, не мог, не должен он верить никому». Ей — одной — верить должен! Если не поверит, не успокоит ее он, кто же тогда?

Видела, что и он уже заметил ее, забеспокоился, в первый момент от неожиданности даже лошадь придержал. Потом строго толкнул Гуза в бок ногой, хмуро, не глядя на Ганну, стал приближаться. Ганна насторожилась.

Когда Василь подъехал, Ганна вдруг поняла, что он вовсе не собирается останавливаться — говорить даже не хочет! Она заступила дорогу лошади, остановила.

Василь, как и прежде, не глядел на нее. Молчал. Помолчала немного и она, обиженная, оскорбленная.

— Слышал? — спросила наконец с вызовом.

— Слышал...

— Знаешь все, значит?.. Поверил?

— Говорят — дак, стало быть, что-то есть... Дыма без огня не бывает...

— Ага, значит, было все?

— А разве нет! — он не спрашивал, он был уверен.

— Дак ты, значит, лучше знаешь!

— Лучше не лучше. Другие видели, сказали...

— Кто — другие? Кто — видел?!

— А не все одно? Кто видел, тот видел...

Ганна не нашлась, что и ответить. От обиды, от злости на него в груди жгло, мысли путались.

— Дак, может, уже и не придешь? — спросила как бы с насмешкой.

Он немного помолчал.

— А чего ходить?.. Нехай другие теперь ходят!.. — По лицу его прошла гримаса обиды и, заметила она, брезгливости. — Богатейка! Корчиха!..

— Дурень!!

— Конечно, дурак. Все бедные — дураки. Один Корч — умник!..

— Умнее тебя! В сто, в тысячу раз!

— То-то ты и вертелась около него! И довертелась!

Не твоя забота! Не твоя беда! А мне, может, — наплевать! Я, может, и рада?!

Она обрадовалась, когда увидела: все же доняла. Аж засопел тяжело от обиды. Так ему и надо!

— А то говорят, — промолвил он, как бы споря с кем-то, — «может, не по своей охоте? Может, он силой?..» — Василь хмыкнул. — Силой!

— По-доброму, по согласию все было! — подтвердила она. И вдруг не удержалась, сказала искренне, с болью, с угрозой: — Я этого тебе не забуду! Припомню когда-нибудь!

И сразу отвернувшись, пошла с дороги на гумнище.

Василь и не взглянул на нее, пнул босой ногой Гуза в бок, подумал со злостью: «Ишь, еще грозит: «Не забуду!» еще и обиделась!.. Сама такое натворила, а еще и обижается!..»

Он не заметил, как лошадь прошла загуменную дорогу, как свернула на приболотицу. Вспоминал слово за словом

весь их разговор и то, что говорил Иван Зайчик, заглянув к нему в гумно: «Не первый раз это! Давно уже снюхались, только что не видел никто... Еще как ты в Юровичах сидел, началось!..»

«От, хитрая! — вспоминались Зайчиковы рассуждения. — И с им крутилась, и тебе голову морочила. Думала, видно, если не тот, дак другой клюнет!..»

Когда вспоминал это, сердце жгло что-то обидное, мерзкое: а ведь он верил ей, верил всему, что говорила!

Говорила — поганый Корч, даже насмешечки строила, а сама тем часом метила на Корча, крутила с ним. Замуж, не иначе, собиралась...

«По-доброму, по согласию все было!» — вспомнились ему Ганнины слова, и он аж плюнул: с ним, с Василем, обнималась да целовалась, и с другим тоже — «по-доброму, по согласию!» И еще обижается! Еще грозитя!.. «Сучка, настоящая сучка — вот кто ты!..»

Стреножив Гуза на кочковатой приболотице, Василь махнул уздечкой на него, отогнал немного и уже привычным быстрым шагом направился в село, как вдруг досадная, трезвая мысль остановила его: спешить сегодня было некуда. Спешил прежде по вечерам к ней.

Он постоял, подумал, что лучше бы в Курени и совсем не идти. Остаться тут, на приболотице, накрыться свиткой и крепко уснуть, забыть обо всем на свете.

Он угрюмо повел глазами по знакомым темным стрехам, неожиданно задержал взгляд на острых очертаниях деревьев край села — то были Чернушковы груши — и уже не гнев, не злость, а сожаление, теплая боль легли невзначай на душу. Боль утраты. Она уже не его, она — чужая. Он потерял ее. Он один, совсем один.

«Ну и нехай! — как бы возразил он себе, своему сожалению. — Есть об чем горевать! Кто она мне такая? Погулял, постоял около плетня — и все. Мало ли с кем постоить можно — девок в селе вон сколько!»

«Все одно никакого толку не было бы с этого стояния... Не пара мне она, все одно. Только и добра, что собой хороша, — да разве с той красы жить будешь, побогатеешь?.. Есть об чем горевать — захочу, хоть завтра с Верой Прокоповой загуляю. Не ей, не Ганне, ровня: что-нибудь да принесет в хату. Надел у них около цагельни, может, перепадет трохи...»

Да, жалеть было не о чем, это Василь знал. И все же горечь утраты — как ни странно — не проходила. И хоть

девчат было много и даже лучших, чем Ганна, не проходило ощущение одиночества. И досадно было смотреть на темные знакомые стрехи, и не хотелось идти в село. И не пошел бы. Но помнил: там высматривает его, ждет мать, дед Денис прислушивается, не слышно ли его шагов. И Василь невесело побрел к селу.

Старый Глушак, сосредоточенный, надутый, пока ужинали, все время молчал; только закончив есть, помолвившись на образа, бросил на Евхима грозный взгляд:

— Долго еще будет это?

— Что?

— По девкам долго будешь шляться?

— Разве уж и подойти не можно?

— Подойти! Близко очень подходишь, жеребец гулящий!

Евхим смолчал, чтобы не гневить старика, который больше всего не терпел, когда ему перечили, но Глушака молчание сына рассердило, кажется, не меньше. Старик аж засипел от злости:

— Шляешься, пока не принесет в пеленках байстрюка! В утешенье отцу с матерью!

У Евхима внутри похолодело: «Дознался про Хадоську! Не иначе!.. Сказал кто-нибудь или, может, сама заплакалась!..»

Пряча настороженный взгляд, ожидая, что будет дальше, Евхим промолвил сдержанно:

— А вы не слушайте всего — мало ли кто чего наплетет...

— Правду говорят! — обрезал его старый Глушак. — Сам знаю!

Его грубый тон: «Как с батраком разговаривает», — взорвал Евхима.

— Так, может, вы больше меня самого знаете?

Глушак неестественно, судорожно глотнул, будто хотел и не мог проглотить что-то — аж морщинистый сухой кадык напрягся. Грозно крикнул:

— Женю!!

Евхим почувствовал, как в нем растет злое упрямство.

— Можете женить. Только не кричите, как на батрака.

— Зараз же!

— Можно и зараз. Мне все одно... Я и сам думал уже...

Мать, прибиравшая после ужина посуду и с тревогой следившая за их разговором, тут же обрадованно откликнулась:

— Пора! Слава богу, взялся за ум! — Было видно, что ей не терпится как можно скорее погасить перепалку, похвалив сына, она тут же заискивающе поддержала старика: — А то и правда, докуль слухать батьке разговоры эти, что Евхим то да Евхим это? Думать да переживать за тебя на старости!.. — Она тут же посоветовала: — Матруну Хвелькову из Олешников! Приданого — сундук полный! Корову дают! Хвельчиха сама говорила!..

— Постой! Раскудахталась! — остановил ее Глушак. Он уставился пронзительным хориным взглядом на Евхима: — Значит, надумал?

— Надумал...

Глушак был уже готов помириться с сыном, но Евхим, как бы стараясь избежать преждевременного примирения, предупредил:

— Женюсь. Только — одно...

— Что?

— Только — чтоб на той, на которой хочу!

Глушак насторожился:

— Так, может, и выбрал уже?

— Выбрал...

— Ага. — В хате наступила полная тишина. Глушачиха возле припечка, Степан за столом глядели то на одного, то на другого. — Теперь такие порядки, что слухать родителей не надо! Лишнее — слухать родителей!.. Кого выбрал?

Отцов взгляд ждал, требовал и вместе с тем заранее осуждал, и Евхим, хоть мысленно готов был к этому разговору, неожиданно почувствовал, что трусит. Он, однако, прогнал боязнь — как делал обычно: трудный узел разрубил сразу:

— Ганну!..

— Какую?

— Чернушкову...

Глушак не поверил:

— Чернушкову?

— Ее.

Глушак взглянул на сына, как на сумасшедшего. Непроизвольным движением руки перекрестился на образа.

— Эту?.. — Глушак двинул кадыком, хотел найти слово, чтобы назвать ее, как надобно, и не нашел — будто не было таких слов. — У тебя тут... все копылы? — ткнув пальцем в лоб, спросил он сына.

— Не растерял.



По тому, как ответил Евхим, видно было, что будет твердо держаться своего.

— Ты долго думал?

— Долго. Одну ее хочу.

— Одну ее! — Глушак вспыхнул, закипел: — Разорить захотел! Пустить по миру! С торбой!..

— Тато! — хотел унять его Евхим, но старого Глушака это только разозлило.

— По миру! С торбой рваной! «Подайте, люди!.. Милостыньку!» На старости!..

— Не говорите чего не надо!

— Молчи! Указчик нашелся! Рапо указывать стал! Щенок!.. — Глушак так глянул, что Евхим невольно промолчал. — Дожил! Вырастил! Растил! Ждал подмоги! И вырастил! Дождлся!

Злость его на Евхима сменилась удивлением и обидой:

— Окрутила! Взяла! Голодранка, а окрутила как!.. По рукам и ногам связала! Такого-то оболтуса!

— Я сам выбрал. Она еще и не знает.

— Не знает! Окрутила, запутала! Как бы не так — не знает!

— И не знает. Еще, может, и не пойдет.

— Не пойдет! Давно, поди, не спит, выгидает! Как бы до чужого добра дорваться!.. Только ж — не дождется!

— Отделите, если хотите... Но — одну ее.

— Эту вертихвостку!.. — снова прорвало Глушака. — Эту потаскуху? К себе в дом! На свое добро!.. Блудницу эту!

— Она — не блудница! — вступился за Ганну Евхим.

Степан сказал горячо, убежденно:

— Она — из бедных, это правда. Но лучше ее во всей деревне — нет!

— Нет! Молчи ты, сопляк! — взъелся Глушак уже на Степана. — Не суй носа в чужое просо!

— Потому — вы, тато, ни за что наговариваете.

— Ни за что? Я — ни за что? Слышали! — Глушак поправился, метнул взглядом на старуху: — Слыхала?!

— Тихо ты, Халимонка! — попробовала успокоить его жена. — Люди услышат...

— И нехай слухают! Нехай все знают, — какие дети у Глушака Халимона!.. Кого вырастил на своем хлебе! На радость себе!

Никто ничего не ответил. И оттого, что все уже смолкли и спорить было не с кем, старик тоже притих. Но спо-

койствие, с которым он произнес последние слова, еще сильнее обнаружило твердость его ответа Евхиму:

— Об этой чтоб и не думал! На эту дозволенсья моего, отцовского, не будет!

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Молчаливая война в Глушаковой хате, начавшаяся с того вечера, как Евхим объявил, что хочет жениться на Ганне, шла без перемирия несколько недель. Ни старый Глушак, ни Евхим не заводили больше споров, но молчание, постоянно царившее теперь в хате, недоброе молчание и упрямые твердые взгляды, которыми иногда обменивались отец и сыновья, лучше всего говорили о непримиримом раздоре в семье.

Война, которую вели Глушаки, была войной нервов, войной на выдержку. И надо сказать, что обе стороны — и Евхим, горячо поддерживаемый братом, и отец — вели ее со всем упорством, изо всех сил, веря, что другая сторона, наконец, одумается, сдастся. Это молчаливое упорство все же больше всего отражалось на матери, которая то принимала сторону мужа, то сторону детей, хотела и не могла примирить их и часто плакала украдкой.

Казалось, что мира в хате уже никогда не будет, но неожиданно упрямый старик не выдержал, покорился.

— Нехай будет по-твоему! — помолвившись, отойдя от икон, сказал он Евхиму. — Не мне, а тебе жить с ней!..

Жена, услышав это, с облегчением посмотрела на сына, как бы желая порадоваться вместе с ним. Но Евхим даже не шевельнулся — как стоял возле зеркала, причесывая чуб, так и остался стоять.

Мать перекрестилась на образа.

— Слава богу!..

Она не решилась сказать больше ни слова и даже пошла с посудой к печи несмело, осторожно, боялась лишним словом, неловким движением рассердить затаившегося старика.

— Чего молчишь? — бросил Глушак сыну.

— А чего говорить? Я ж сказал уже.

— Сказал! — Глушак не удержался, чтобы не попрекнуть: — Нету того, чтоб как у людей — в хату добро нести!.. Да — из хаты!

— Ничего из хаты не уйдет!

— Не уйдет! Пусти только одну голячку, дак сразу налетит целая стая! И не оглянешься, как распотрошат все! Распетрят вмент!

— Не распетрят!..

— Не мог взять, как люди, — никак не хотел успокоиться отец, — чтоб с добром какую!

Слушая отцовские жалобы и упреки, Евхим чувствовал, что отец уступил ему, сдался окончательно, что сила и право теперь на его, Евхимовой, стороне. Нарекания старика только обнаруживали его слабость. Понимая эту свою силу, Евхим тоном приказа прервал отца:

— Хватит уж! Лучше подумайте, кого за сватов взять!

— Ага, правда! — несмело, но охотно поддержала Евхима мать.

— Сватов — этого добра — найдется!..

— А все ж абы-кого брать — не к лицу!

— Возьмем не абы-кого!.. Сватами будут Прокоп и Авдотья, — сказал отец, как говорят о деле решенном, и Евхим отметил про себя: старик загодя обо всем подумал.

— А когда — в сваты? — спросил Евхим все тем же требовательным тоном.

— Не терпится больно? Перехватят, думаешь?

— Перехватить не перехватят. Откладывай — не расчет!

— А, все одно! По мне — хоть в эту субботу!

Старик надел шапку, сердито потоптался в углу, возле лавки, чего-то ища, — не нашел, подался к выходу. У самой двери задержался:

— Может, так и надо. Теперь все — не по-людски!..

Выходя, он громко хлопнул дверью.

## 2

Ганна увидела Глушаков с огорода, где она рвала свеклу, — как выпрямилась, держа бурак в руке, так и осталась стоять, не сводя удивленных глаз со двора. Хотя и не спрашивала, с первого взгляда догадалась, поняла, зачем пришли неожиданные гости. Да и как было не понять: Глушаки шли вдвоем, отец и сын, — Евхим красовался нарядной праздничной поддевкой, блестел прилизанным чубом, старик держался так важно, что издали было видно — человек идет не по пустячному какому делу. И

с ними — хмурый, бородатый молчун Прокоп и вертялая Сорока Авдотья — сваты, не иначе!

Ганна видела, как на крыльце Сорока что-то сказала старому Глушаку, но тот только кивнул, чтобы не задерживалась, заходила скорее, и она, напустив на себя вид человека бывалого и серьезного, — можете, мол, не сомневаться, дело свое знаю, — уверенно направилась в хату. За ней вошли и остальные.

Приходу Глушаков со сватами Ганна была настолько удивлена, что первое время как бы забыла обо всем, не было даже озабоченности или тревоги. Но скоро она заметила на улице нескольких молодых, что мигом слетелись к ее хате, поглядывали на окна, переговаривались удивленно, — увидела себя как бы со стороны, под чужими взглядами, и на душе у нее стало беспокойно. Приплеклись — что-то надо делать с этим, что-то сказать... Надо будет в хату идти, показываться, стоять перед ними... Перед сватами, перед старым Корчом, перед Евхимом!.. Стоять, ждать, что надумают отец, мачеха, какую долю назначат ей!..

Чем яснее доходил до Ганны смысл того, что свалилось на нее, тем тревожнее становилось у нее на душе, — напасть эта казалась все более тяжелой, все более грозной. Она не только не хотела этого неожиданного сватовства, ей было теперь страшно подумать о замужестве с Евхимом, которого она после случая в лесу — хоть ни за что не показала бы ему этого! — странно боялась. Ее особенно тревожило то, что Глушаки были сваты не абы-какие, их не так-то просто спровадить со двора — с Корчами в Куренях все считались, и отец и мачеха тоже...

Как же отвязаться от этих сватов, от беды этой — чтоб отец понял, одобрил, чтоб мачеха не осудила? Охваченная думками-тревогами, взволнованная неизвестностью, пришедшей к ней вместе с Корчами, Ганна все стояла на огороде, опустив руки с закатанными рукавами, не выпуская бурака.

Она увидела, что из хаты вышел, идет к ней отец, невольно глянула в ту сторону, где жил Василь. В тот миг, показалось, забыла обидный спор, готова была простить все — таким любимым увидела вдруг берег, от которого отрывало, уносила ее куда-то злое течение. Вечера с туманом на болоте, влажная изгородь, нетерпеливое тепло его объятий!..

На Василевом подворье никого не было.

Отец подошел тихий, растерянный, минуту молчал, не зная, с чего начать.

— Кинь бураки да приберись... Сваты там... — Он не сразу добавил: — Корч и его Евхим...

Ганна не ответила. Отец посмотрел на нее с любовью, с жалостью, вздохнул:

— Сидят за столом... Тебя ждут...

Он говорил так, что чувствовалось — жалеет ее и сочувствует, но не знает, что посоветовать, как помочь. Лихо ж его ведает, что принесет дочери это родство с богатеями, о которых и не думалось и не гадалось, — как оно там будет у них с корчовским хлопцем? На добро, на счастье, на беду ли?

— Не хочу я... — искренне сказала Ганна.

— Боишься?

— Не хочу... Не хочу идти...

— От привалило заботы!.. — словно бы самому себе, задумчиво промолвил отец. — И кабы кто другой, а то ж — Корчи!..

Ганна, которая всегда так чутко улавливала настроение отца, заметила: за раздумьем заботным о ней таилась в нем горделиво-удовлетворенная мысль — пожаловали, кланяются, просят богатеи! Есть, значит, и у него клад, не хуже Корчовых кубышек!

— Дак что ж делать? — будто попросил он совета. — Что сказать?

— То и скажите, что думаю.

— Не согласна, значит?

Но он даже не пошевелинулся идти передать ее слова сватам; трудное раздумье по-прежнему одолевало его.

— А может, оно... и ничего? А?.. Может, мы дарма это?.. Евхим хлопец такой... любая б за него...

Он не так советовал или высказывал свои мысли вслух, как спрашивал. Чернушка увидел — Ганна метнула на него неуступчивый, нетерпеливый взгляд, понял, что она и слушать ничего не желает, и вмиг оборвал рассуждения. Целовко, как бы оправдываясь, вздохнул:

— Эх, кабы знать, как оно после обернется!..

Ганна ничего не сказала, она заметила: из хаты выбежала мачеха, решительной рысцей потрусила к ним. Еще издали было видно: мачеха разгневана.

— Ты что ж это? Кинул гостей — и ни слуху ни духу! Звать пошел, называется! — Она перевела дыхание, напала

на Ганну:— И ты хороша! Таких сватов ждать заставляешь!

— Может, бежать надо было навстречу?

— Бежать не бежать, а и строить из себя нема чего!.. Радоваться бы надо! Такое счастье!

— Ого, счастье!

— Счастье! Первые хозяева на селе!.. Нехай теперь и пишут, что голодранцы — власть! Нехай пишут! А богатеи были и будут первые!

— А мне что с того? Первые или последние?.. Были б по душе...

— По душе! Душа-то есть, да нечего есть! Захотела!.. Да разве Евхим — не по душе? Да есть ли в Куренях хоть одна, чтоб не сохла по нем? Не хотела бы, чтоб к ней завернул?

— Видно-таки, есть.

— А если есть, то — глупая! Потому — никто другой не ровня ему! И в Олешниках нема такого! И в Глинищах! Нигде!.. Век проживешь, горя не узнаешь! В молоке да в масле купаться будешь!

Ганна чувствовала, как горячий шепот мачехи гонит прочь отцовы нерешительность, сомнения, — старуха хорошо знала, что надо делать теперь, знала даже, что и как будет завтра.

— Ты от не любишь, когда я про Дятлика говорю. Дак я и не буду! Только от скажу — коли на то пойдет, коли он и приведет сватов и ты пойдешь за него, все одно счастья тебе не видать! Не будет его.

— Будет или не будет, один бог знает!

— Не будет! От помянешь мое слово! И сама бы знать должна! — наступала мачеха, не переводя дыхания и не давая Ганне возразить. — Что ему, бедноте горькой, перво-наперво надо? Красота, может, твоя? Чтоб смотреть, как на икону, молиться, прости господи? Ага! Очень радый будешь красоте, как сголодаешься!.. Добрый сундук с приданым — вот и вся краса, какая нужна ему!

— И все вы знаете! — сказала Ганна презрительно, стараясь не поддаваться уговорам мачехи: знала, как много в ее словах правды.

— А то, може, не? — снова ринулась в наступление мачеха. — Може — не?!. Може, по красе твоей сохнет?.. Чего он тогда крутить начал? То от двора нашего не отходил, глаз не спускал, а то — и глядеть не глядит! За версту обегает!..

Мачеха заметила, как при этих словах недобро потемнело Ганнино лицо (дошло-таки, в самое сердце попала!), испуганно, боясь не в меру разозлить, переменяла разговор, проговорила успокоительно:

— Ну, хорошо, хорошо! Не буду, если не нравится!.. Про нас, про батьку подумала бы!.. Как ему доживать век впроголодь?.. Не молодой уже, не те годы, когда робить мог, ни дня ни ночи не знаячи. Покосит сено до полудня, дак спина — крюком, неделю после стонет. Сноп на вилы поднимет — руки, как ветки сухие, дрожат. Скоро уже и совсем на печь заляжет — кто ему корочку подаст, старому?..

Отец откликнулся с упрёком:

— Ну, от же завела!

— Завела! Правду говорю!.. И про братика, про Хведьку, не грех подумать! Все-таки не чужой тебе — батькова кровь, родная!.. Делить — если что случится, примак там или кто пристанет — нечего! Земельки — ладонька... Да и та... Не тебе... говорить...

Мачеха не кончила, губы ее горько скривились: ах, что говорить этой каменной девке, у которой ни сочувствия ни к кому, ни даже заботы о себе! Она отвернулась, закрыла глаза краем платка, худые плечи ее задрожали...

— Ну от, этого еще недоставало! — поморщился отец, который терпеть не мог слез. Он хмуро и нежно тронул Ганну за локоть: — Пойдем уж! Покажись!

Ганна бросила бурак, вытерла руки о подол.

### 3

Она потом много раз вспоминала эту минуту, вспоминала с болью и щемящим сожалением. Думала, болела душой: как много горя выпадает иногда человеку за один какой-то неверный шаг. И как человек делает этот шаг покорно, словно слепой, — не видя всего, что предстоит ему дальше. Ступает на кочку и не ждет, не гадает, что она не удержит, прорвется зыбун и поглотит человека трясины...

Твердость — разве у Ганны обычно не было ее? Но какая тут могла быть твердость, если не знаешь, зачем она? Твердость тогда говорит в человеке, когда он знает, что хоть и понуждает невзгода, есть что-то, чего не следует совершать. Тогда твердость крепчает, рвет пути невзгоды. А какая твердость могла быть, когда казалось, что хоть все

и неладно, но — лучше не будет — такое уж счастье выпало!

Разве ж не так было у нее, у Ганны, тогда? Разве была у нее ясная надежда — чаяние, за которую надо было держаться, к которой надо было стремиться наперекор всему? Василь... Так разве ж не казалось ей тогда, что с ним все — непрочни и ненадежно, не только потому, что отвернулся, а и потому, что — чувствовала, сердце само угадывало — не такую надо бы ему, как она, — с приданным, с добром хорошо бы ему! И сам он — разве ж не знала она лучше мачехи — другую хотел бы, не бесприданницу. Правду мачеха чуяла — в самое важное, самое больное метила!..

А разве все остальное не за то говорило, что так и надо, что судьбою, богом так, видно, назначено? И разве же — правда — не время было от отцовского хлеба отходить, разве же — правда — грех было об отце подумать? Может — правда — легче будет ему и Хведьке, если она к богатым перейдет?..

Не очень по душе ей Евхим, но разве — правда — не первый жених на деревне? Разве другая — правда — отказалась бы? Почему было не поверить извечной мудрости: стерпится — слюбится, мил будет? Все же — видела — не по любви в семье сходятся, любовь — то утеха не бедняцкая и не женская! Цветок девичий, пустой, — любовь! Не до цветочков тому, у кого в хлебе нужда...

Смелость, твердость — какие могут быть они у тебя, если все пути заказаны, если, хочешь не хочешь, должен идти, куда судьба ведет, если не знаешь, куда податься? Тогда смелости, твердости должно хватить, чтобы прервать пустое раздумье, сожаленье, — с достоинством, словно со своей горделивостью всегдашней, пойти навстречу неизбежному...

Может, обо всем этом ей потом так думалось для собственного утешения, для того, чтобы не так болела душа; но во всех этих мыслях было и немало правды.

Может, даже все оно было правдой, горькой, противоречивой...

Раздумий много было потом... А тогда, когда напустилась мачеха, когда отец втайне надеялся на ее удачу, Ганныны думы были тяжкими, смутными. Больше всего, острее и весомее, ощущалась неизбежность судьбы, неотвратимость того, что наступило. Всегда знала, что краса девичья — не брови, не глаза, а руки, сноровка в работе, что



не дивчина мужа себе выбирает, а что доля девичья — молчать, ждать, слушаться родителей. Как непреложный закон жизни, знала — испокон веку так заведено у людей: воля родителей для дочери — божья воля. Так было со всеми, так будет и с ней. И нечего противиться, надо слушаться их, родителей и бога...

И она слушалась. Не горевала, не перечила, шла рядом с ними покорно. Так было заведено, так желали все. Была забота о том, чтобы не оплошать в чем-нибудь на смотри-нах, все сделать так, как надо, не показать себя недотепой.

Подходя к крыльцу, Ганна заметила, как в окне сверкнули любопытные, острые глазки Сороки, и озабоченность ее усилилась. Упругой поступью взойшла на крыльцо, гордо неся голову, — так, как ходила всегда, когда знала, что за ней следят подстерегающие глаза.

В сенцах мачеха заикнулась, чтобы помыла руки, прибралась, но сразу же умолкла, встретив взгляд, словно говоривший: сама знаю, что надо.

— Принесите юбку, которая в клетку, кохту фабричную, черевички и фартук белый!

Ганна проговорила это так сдержанно и так строго, что мачеха почувствовала себя словно не мачехой, а младшей сестрою.

— Хорошо, хорошо. Зараз... А ты в чуланчик?

Ганна не сказала ничего — взяла кружку, плеснула на руки, и мачеха заспешила в хату.

Отец стоял все время молча, поглядывал на Ганну так, будто терял ее навсегда. Глядел и не мог наглядеться. Когда она, переодевшись в чуланчике, вышла в красной сатиновой кофте, что переливалась огнем на ее плечах, на груди, в белом фартуке, в высоко зашнурованных хромовых черевичках, в которых ходила покойница мать, — когда Чернушка увидел ее, нарядную, стройную, сильную, чернобровую красавицу, печальное лицо его невольно засветилось восхищением. Готовясь расстаться с ней, разлучаться, он словно впервые увидел Ганну во всей красе, и восхищение и гордость за нее на какой-то миг заполнили его душу, вытеснили все другие чувства.

«Как мак! Как маков цвет! Вылитая мать!» — подумал он радостно. Губы его вдруг дернулись от боли, глаза заморгали — он вспомнил покойницу, молодую их встречу, неизбежный до смертного часа вишенник.

Чернушка обнял дочь и, слабо всхлипнув, сказал:

— Дай тебе боже!..

Вслед за ним растроганно всхлипнула мачеха, шмыгнула носом.

— Иди, дожидаются!..

Едва они вошли в хату, Сорока вскочила, завертелась, застрекотала:

— А, пришла гусочка! Дождался гусачок молодой поры золотой! Крутил головкой, гусочку выглядал, тревожиться начал — нема и нема! А она от появилась — хата засветилась!

— Не ждали, — сказала мачеха, — Ганночка как раз за бураками ушла...

Сорока обошла, осмотрела, ощупала глазками Ганну со всех сторон, подалась к столу, за которым сидели Евхим, старый Глушак и черный, заросший, как леший, Прокоп.

— Не ждали, значит? Не знали, не гадали, с какой стороны гусачок придет за гуской — подружкой! С какого берега приплывет счастье — богатство! А оно вот — не из-за поля далекого, не из-за леса высокого, из своего села. Пришел молодец-удалец — добрый купец!..

Сорока сыпала словами, стреляла глазками то в одного, то в другого, а чаще всего в старого Глушак, как бы ожидая похвалы своему красноречию, своей ловкости. Но Глушак, казалось, не слышал и не видел ее — молчаливый, замкнутый старый Корч сквозь очки с веревочкой, нацепленной на ухо вместо дужки, тяжелым взглядом рассматривал Ганну.

Ганне от его пристального взгляда было неловко.

— Ваш товар, наш купец! — проворчал Прокоп, обводя мрачными глазами из-под черно нависших бровей пирог и бутылку, уже стоявшие на столе.

— Купец — всем купцам купец! Сам молодой, чуб золотой, добра полны клетки — лучший на свете!..

— Купца не хаем, — сказал отец. — Только — девка годами еще не вышла!.. Погулять бы еще надо!..

— Э, что с той гульбы!.. Гульба не в срок и коню не впрок, а тут — девка!..

— Семнадцать годков всего!..

— В самый час, самый лучший квас! А то — перестойт, закиснет, станет всем ненавистна. Станет, как та макуха — будет вековуха! Жалеть будет, отца с матерью честить, что не дали замуж выходить! Жених-то вон какой: что родом, что телом, что красой, что делом...

— Наша тоже — слава богу! — вступился за Ганну отец.

— И старательная, и умная, и послушная, — сразу поддержала его мачеха. — И лицом — другую такую поискать! Пусть хоть кто скажет: ничем не обделил бог!

— А Евхим — разве, сказать, не первый молодец на все Курени? И ко всему — достаток! Пойдет которая — не пожалуется на долю: и поест, и попьет вволю!

— Наша, конечно, не богатая... — отозвался было отец, но мачеха не дала ему договорить, бросилась сама в атаку:

— Не богатая, зато — с руками! Лишним ртом не будет! Как другая с полным сундуком! И наварит, и напечет, и рубаху мужу сошьет! И поросенка, и ребенка досмотрит! Визжать с голоду не будут!..

— Дай бог, а то у нашего купца — добра без конца! И свиньи, и поросята, и овечки, и ягнята, и гумно, и клеть — абы поспеть!

— Чего тут молот попусту! — вступил в разговор старый Глушак, нетерпеливо, скрипуче. — Знаем всё, и мы, и они, — не дальние... Одним словом — пирог принимаете?

Старик повел очками на мачеху, на отца, Ганну не спросил. Мачеха для виду немного помолчала, как бы размышляя.

— Так мы что ж?.. Мы не супротив, если оно уж на то пошло... Ганночка, поклонись сватам, возьми пирог...

#### 4

Назавтра, в воскресенье, был сговор. Глушаки, дядьки, тетки Глушаков пили в тесной Чернушковой хате самогон, ели исправно, нагоняя на мачеху страх, беспорядочно и громко гомонили. За окнами, вплющив носы в стекло, жались дети, толпились любопытные взрослые. Ганна время от времени оглядывалась на них. Ей была не в радость эта, казалось, слишком долгая гульба, она невольно ждала, когда все кончится, вся эта невеселая, тягучая суетня.

Когда в хате наконец стало тише и просторнее и остались только сваты и родители, начали договариваться, когда же сыграть свадьбу. Ганнин отец советовал не спешить, просил отложить недели на две-три, а Глушаковы сваты доказывали, что «отклад не идет в лад», добивались, чтобы справить свадьбу сразу, в следующее воскресенье. Старый Глушак при этом почти все время молчал — он тоже был за то, чтобы не спешить особенно, но ни в чем не

показывал Чернушкам свою волю: играть свадьбу, не откладывая, настаивал Евхим.

Слушая споры, наблюдая за всем со стороны, Ганна видела, что старый Глушак с тайным злорадством догадывается, почему ее отец просит отсрочки: хорошенько придется-таки бедняку поднатореть, чтобы насобирать, наготовить всего, что надо к свадьбе!..

Условились играть свадьбу через две недели. В тот момент, когда все согласно замолкли, мачеха дала знак Ганне, и та достала из сундука рушник, подала сватам, старому Глушаку и Евхиму.

Выпив на прощанье, сваты и Глушаки с громким го-моном стали выбираться из хаты. Раскрасневшаяся, с пьяной ухмылкой Сорока, которую водило из стороны в сторону, зацепилась в воротах плечом за столб, пронзительно заверещала:

Ой, п'яна я дай хілюся-а,  
Іду дадому дай баюся-а!..

Когда сваты вышли на улицу, а отец, шаркая, побрел в хату, мачеха сказала Ганне, стоявшей на крыльце:

— И тебе спать пора. Вставать скоро...

— Встану.

Почти сразу после того, как дверь за мачехой закрылась, свет в окошке погас. В хате стало совсем тихо. Тихо было бы и на улице, но в темноте вихлялся пьяный Сорокин голос:

Іду дадому дай баюся-а...  
Паганага мужа маю-у...  
Будзе біці... добра знаю...

Песня скоро стихла. Теперь стояла в Куренях большая, холодная тишина.

Все вокруг было знакомо и привычно: доверчиво шелестели груши, дремотно чернели на кладбище купы верб и акаций, серел еле видимый во тьме туман над болотом. От тумана, от болота повеяло зябкой торфянистой сыростью...

Но Ганне вдруг привиделось все это наново, таким дорогим, каким не виделось раньше никогда. Сердце ее наполнилось печалью, неожиданной и жгучей, — жаль было и груш, и сырого дуновения с болота — всего, чем жила всегда, как бы и не замечая этого!

«Василь... Василь...» — ворвалось, пронзило всю ее как-то особенно, до боли дорогое — в горле даже запершило от

обида. «Кончилось. Не суждено, значит... Прощай!..» Прощайте, шепотливые груши, тихие вербы, молодые, вольные вечера! Не прийти уж больше к вам, как бывало, не стоять до утра! Кончилась воля девичья — свиданья, милованья, прощанья! Ганна, растроганная наплывом сожаленья об утраченном, чуть не заплакала. С большим усилием сдержала себя, попробовала успокоить: «Зачем жалеть попусту!.. Что с воза упало, то пропало... У него теперь своя дорога, у меня — своя... У меня — Евхим...»

Еще две недели, а там она войдет в Евхимову хату. Любить его, слушаться, служить ему. Что ж, доля женская такая, — как у людей, так и у нее, — не вечно же гулять-разгуливаться! Одно страшит: как со стариком, со свекровью жить доведется — жалеть будут или век заедать? Если бы можно было знать загодя, чтобы не гадать, не тревожиться понапрасну!..

А Евхим — что ж? Не сама выбирала, ее выбрали!.. Да и сам он, видела ведь, не думал об этом. Искал какую-то другую, а его притянуло, прибило к ее хате... Что ж, может, судьбой это назначено, богом?.. И пускай не по душе он, видно, все же как-нибудь сживутся. Любит же он, что ни говори... И она — стерпится, слюбится!..

Ганна неожиданно вздрогнула: вдоль изгороди кто-то шел! Притаившись, сдерживая волнение, она подождала, последила: остановился там, где они когда-то стояли с Василем. Минуту чернел неподвижно. Ей показалось: смотрит в ее сторону, видит ее... Она слышала, как часто, бешено колотится сердце.

Василь!.. Что делать? Выйти, поговорить, помириться? Сказать, что прощает ему?.. Он сгоряча наговорил тогда. Сам жалеет... Выйти! В последний раз!.. Выйти?! Засватанной! Чужой, другому отданной!.. Нет, нет! Что с воза упало, то пропало! Не его теперь! Не вольная — чтоб встречаться! Грех!..

И что им с того примиренья? После сговора! И прощание — что им оно? Простились ведь уже, можно считать. Чужие!...

Он постоял молча — видно, все же не заметил. Как привидение, поплелся назад...

В тот вечер, когда у Чернушек шел сговор, в хате Дятлов было тихо и грустно, будто после похорон.

— Сынку, сыночек, как же теперь? — не выдержала, сказала мать с другого конца стола, за которым Василь ужинал.

— Как было, тем часом, так и будет, — рассудительно отозвался дед Денис.

В хате густел мрак. Деда, сидевшего на полатах, уже почти не было видно, лицо матери тоже чуть серело — Василь, если бы и хотел, не смог бы увидеть на нем ничего, — и все же по тому, как переговаривались они, как то и дело вздыхала мать, чувствовал, что и их гнетет его беда.

Но от их сочувствия не только не приходило облегчение, но еще больше жгла тоска. Хоть и наработался, проголодался, — не чувствовал ни усталости, ни вкуса в еде. Хотелось только поскорее отбыть обязанность и выйти...

— Богатей, тем часом, известно... — проговорил дед Денис в тишине.

— Наплели про нее, что добился Евхим своего!.. — как бы вслух подумала мать. — Говорила я: не такая она, чтоб допустить!.. Не было ничего! Кабы домогся, не стал бы кланяться, в сваты не пошел бы. К беднячке...

Василь старался не слушать: не хотел ничего знать о Ганне. Каждое слово о ней задевало, бредило что-то очень чуткое в нем, очень болезненное. Едва сдерживался: и охота же говорить про нее — если все это ни к чему! Не допустила, не домогся! Будто бы и сам он не знает!..

— Какая невестка была бы! — вздохнула мать. — Лучшей, кажется, целый свет обойди, не нашел бы!..

— Ну, хватит! Чего уж!.. — Василь бросил ложку, вскочил. — От же, не хватало еще!

— И правда, Алена! Хлопцу и так досада!..

Василь не дослушал дедовых слов, выбежал на крыльцо. Но стоять на крыльце, во дворе, где сама тишина вечера, сумерки напоминали Ганну, тепло их встреч, было еще тягостнее. Чтобы не тосковать, отогнать жгучую кручину, он стал топтаться по двору, выдумывать себе занятие. Зашел в хлев, в котором без лошади, что паслась на приболотице, было нудно и пусто, бросил в угол сена, прошел под поветь, перевесил с крючка на крючок дугу, стал возиться с телегой. Делал, однако, все, как во сне, все было постылым. В голову неотвязно лезли, жгли душу воспоминания, раздумья — все об одном, о Ганне, о сговоре.

«Богатый, известно!.. — вспомнились ему слова деда о Евхиме. И, мысленно соглашаясь, добавлял: — Девки все такие, каждая к богатству тянется. Думает, где богатство, там легко будет жить!.. Думает, коли Корч богатый, дак припеваючи жить будет. Ага! — спорил Василь в мыслях своих так, будто Ганна была рядом. — Надейся! Здорово ты

у Корчей разживешься!.. Поживешь с ними, увидишь, что за Корчи такие! Какое счастье себе выбрала! Смеяться весело умела, плакать научишься! Поплачешь горько, когда горя хлебнешь. А что хлебнешь, дак это загодя сказать можно! Добра не жди! Все Корчи такие!..»

Но как ни чернил Корчей, не впервой поднималась, горела в нем, переплетаясь со злостью, тяжкая зависть: всюду первые, всюду лучшее им!.. Богатен!..

«Ну и нехай с Корчом она!.. Нехай корчовская будет!.. — старался успокоить себя Василь. — Все одно она мне не пара!.. Только и добра того, что как притулишься, бывало, сердце сладко ноет и готов про все забыть!.. А разве ж, оставаясь сам с собой, трезвый, не думал я, что не пара она, что проку от нее мало? Разве ж не думал, что лучше бы с какой побогаче? Только сил, чтоб оторваться, не было. Так приворожила, ровно зельем каким опоила!.. А теперь от — само повернулось как надо. Ровно бог помочь захотел... Само сделалось, вышло как нужно, слава богу!»

Все, чем он жил в этот вечер, было полно противоречий. Мысли перебивали одна другую, спорили, желания тоже сменялись непоследовательно, противоречиво, поступки не хотели слушаться рассудка. В то самое время, когда он уже почти убедил себя, что жалеть о Ганне нечего, что надо только благодарить бога за то, что все так разумно вышло, Василь, сам не зная почему и как, забрел к Чернушковой усадьбе, к той изгороди, где столько вечеров и ночей стоял, миловался с Ганной. Как ни гнал — не уходила неодолимо влекущая надежда: а может, она там, поджидает?..

Но ее не было. Возле знакомого плетня, показалось, было так пусто и так печально, что обида и горе моментально затопили все рассуждения. Он даже растерялся от наплыва этих беспощадных, жгучих, бесконечных и безмерных обиды и горя.

Их он и унес с собой той стежкой, по которой столько раз носил радость. Никогда еще не чувствовал он себя таким несчастным — ни тогда, когда ревновал Ганну к Евхиму, ни тогда, когда поверил в сплетню о ней. Тогда он мог ненавидеть, презирать ее, теперь ему оставалось только сожалеть!

Теперь его мучила не сплетня. У него не было даже надежды, что все это неправда. Сговор был. Она — чужая. Все кончено!..

Когда волна горя схлынула, опала, он, как бы отыскивая просвет, стараясь стать на твердую почву, начал думать о дорогом, сокровенном. Нет, не все еще кончено! Все еще будет!.. Подождите, придет время — увидите, кто такой он, Дятел Василь! Увидите, все увидите! Будет это! Придет его пора!.. Он поднимется, увидите!.. Гумно снопами набьет! Коров заведет! Не одну — три, пять! Жеребца выездного заведет! Такого, что Корч аж позеленеет от зависти!.. Только бы передел провели. Только бы прирезали земли, которая около цагельни!.. Тогда — все увидят Василя! И она, Ганна, увидит!

Но добрый строй этих думок вновь и вновь рвался, ревнивая память колола, жгла: «Корчова невеста!.. Сговор отгуляли!.. Свадьба скоро!..»

Ходил ли, стоял ли возле крыльца или лежал в хате, злые мысли, несмотря ни на что, лезли в душу, точили: «Жена будет!.. Корчова жена!..»



# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

Когда позавтракали, мачеха против обыкновения не велела Ганне убирать со стола, не поспешила вскочить и сама. Сидела озабоченная, казалось, больше всегдашнего, важная, чего-то ждала. Но отец молчал, уставившись в стол, не видя ни стола, ни мачехи — никого. Отец сосредоточенно думал.

Озабоченность и какая-то особенная серьезность, важность была на лицах всех взрослых Чернушек. Она бросилась в глаза даже Хведьке, который вылез из-за стола на диво тихо, исчез из хаты так, что никто и не заметил.

— Вьюнов сушеных связок десять будет... — подумал наконец вслух Чернушка.

— Хунта три наберется ли?... — прикинула мачеха.

— Все-таки грóши... — Отец посожалел: — Грибы сушеные этот год, говорят, не в цене...

— Черники можно. Прося говорила, тот раз ее очень брали. Два каких-то купца из самого Мозыря приезжали.

— Картоплю на винокурне берут. Только, грэц его, дешево...

— Трясцу им! Лучше в Наровлю съезди!

— А в Наровле не то же — там, думаешь, рублей насыплют!..

— Насыпать не насыплют, а больше дадут.

— Ага! Дадут, надейся!.. — Отец посокрушался: — Кабанчик маловат еще. Месяца три еще б покормить... И телушка...

— И на день не хватит. Враз смеют все, как до стола дорвутся!.. — В голосе мачехи слышался страх.

— Корова хорошая была б...

По тому, как говорили они о кабанчике и телушке, Ганна догадалась, что резать их договорились уже раньше, может, вчерашней ночью, когда она была во дворе, теперь же батяка просто продолжал прежний разговор.

— Как в прорву, едят! — не могла удержаться мачеха. — Это ж на сговоре одном, а сколько дали расходу! Куда только, кажется, подевалось! Известно, чужое!..

— У всех завидки на чужие пожитки...

— Разорит нас эта свадьба! Да ведь без этого — перед людьми срамота! Зять-то какой!..

Отец не отозвался, думал о чем-то своем, затаенно, озабоченно. Уже собравшись выходить, сказал мачехе:

— Ты масла сбей к воскресенью, сколько можно. Может с него толк будет...

— Собью...

Разговор о том, как сколотить копейку, что надо сделать к свадьбе, снова начался, когда сошлись обедать. Теперь у Чернушек, казалось, все только и думали-рядили что о недалекой свадьбе, которая внесла в хату столько разных забот. Прибирая со стола, Ганна слышала, как мачеха горевала: столько всего нужно — жареного, печеного, мяса, сала, яичницы, коржей, коржиков, оладий.

— Чтoб нагнать горелки — завод целый надо!

— Горелка будет. Этого добра нагоню...

— Нагонишь! Гляди, чтoб милиционер не нагнал тебе! Как наскочит Шабета, будет тебе горелка!

— Не наскочит!..

— Не дурень он — будет теперь возле твоего овина отираться!

— Он не дурень, и я тоже. В такую чащобу аппарат запроторю, что сам Митя-лесник, грэц его, не отыщет.

Митя-лесник — горький куреневский пьяница — знал все потайные убежища самогонщиков: где бы кто ни гнал, Митя находил, заявлялся глотнуть первачка. «На сто верст чую, где самогонкой пахнет», — похвалялся лесник.

— Не говори гоп, пока не перескочишь! — сказала мачеха отцу. Потом посоветовала: — Надо бутылки две городской. Если кто чужой, случаем, приткнется.

— Выпьет и нашей! Теперь панов нема! А что самогонка — кто ее не гонит! — Отец не дал мачехе возразить. — Надо от подумать, как молодую нашу принарядить!

Он посмотрел на Ганну, которая при этих словах перестала вытирать стол.

— Чего тут думать? Оденем... Перед женихом сóромно не будет!

— Жених женихом, а чтоб и самим стыдно не было. И перед людьми... Чтоб и одета и обута была как следует. Что купить, пошить, надо подумать.

— Юбку новую справить надо, поддевку пошить... Поддевку можно из того, что я в летошний год наткала. Из своего можно... И на юбку есть что взять. Не покупаючи...

— Юбку нехай из своего, а на кохту купить надо! — горячо отозвалась Ганна.

— Есть же кохта — красная, одно загляденье!

— Так протерлась же на локте! Латаная! Сами ж знаете!

— Кохту надо новую. Магазинную.

— Ну, нехай! Надо дак надо! Я что, я — разве супротив? Разве я не хочу, как лучше! Она ж тоже, сказать, мое дитя. Я только — чтоб расходу меньше...

— Расход расходом, а кохту надо новую...

— Надо дак надо! Можно и черевички новые справить, и платок! Платок дак уж, конечно, купить надо! И не абы-какой, а кашемировый, с цветами!

— Платок надо. А черевички хороши и те, что от матки остались. Еще и детям будут, как народишь!

— Черевички хорошие, лучших и не надо, — Ганна бросила взгляд на отца. — У Нохима надысь ситец видела белый... Дешевый...

— Ну, так и купим его. И к Годле отнесем пошить!.. От только картопли б продать да на ярмарку съездить. Чтоб копейка была.

На этом спор о кофте и закончился.

## 2

Через день Чернушка отвез аж за Припять в Наровлю воз картошки, а в воскресенье стал выправляться уже в Юровичи, на ярмарку.

Он поднялся еще до рассвета, позднего в эту пору, запряг у повети лошадь, вынес одну за другой двух спутанных овец, привязал к задку телеги. Когда подъехал к хате, жена с Ганной начали сносить и укладывать на воз все приготовленное для ярмарки. Связки сушеных грибов, вяюны, густо нанизанные на прутья, небольшой лубяной короб сушеной черники, горшок масла — все укладывали в сено, заворачивали, готовили к дальней дороге.

Чернушка принес из погреба мех картошки, вскинул на телегу.

— Ну вот, можно и трогаться, — сказал отец и стал отвязывать вожжи.

Мачеха повернулась к Хведьке, угрюмо следившему с крыльца за приготовлениями в дорогу, — его не хотели брать, оставляли дома одного, за сторожа и хозяина:

— Так смотри ж, чтоб из дому никуда! И в хату никого чужого — запрись и не пускай! И — упаси бог с угольками баловаться!

— Не б-буду!.. — Хведька еле сдерживался, чтоб не заплакать.

— Дознаюсь, добра не жди! Шкуру спущу!.. — Мачеха распорядилась напоследок: — Иди в хату и запрись!

Хведька неохотно, разочарованно подался в сенцы...

Ехали втроем: сзади на постилке отец и мачеха, спереди, перекинув ноги через грядку телеги, Ганна. Лошадь через село бежала рысцой, поскрипывая гужами, колеса часто и четко тарахтели по мерзлой земле. На улице было темно, только кое-где тускло, зыбко блестели окна — отблески огня в печах. За селом обступил со всех сторон мрак; темная дорога, темное поле, черные полосы леса, вздымавшиеся торчком у болота, стиснули с двух сторон и не выпускали до самых Олешников.

Дождей еще не было, и подсохшей за лето дорогой за неоконченной гатью перебрались без особого труда. На олешницком поле мрак начал постепенно редеть, отступать, а когда выбрались на большак, покатали меж рядами оголенных рослых берез, неяркое и негорячее солнце забрезжило уже в дымном, как бы туманном небе.

— Базар, мабуть, будет непоганий... — заговорил отец, глядя, что подводы на Юровичи тянутся и впереди и сзади.

— Поганий или непоганий — будет видно, как поедем до дому, — осторожно заметила жена.

Вскоре углубились в лес, небольшой и голый, на диво прекрасный даже и в эту пору: будто споря друг с дружкой, возносили высоко в небо, мощно раскидывали в стороны кривые ветви богатыри-дубы и вязы.

— Вон там наше поле было. За Перевельскими кругами, — сказала мачеха. От леса начиналось уже глинищанское поле.

— Земля здесь, должно, не то, что у нас...

— Сравнил! Такой в Куренях и около цагельни нема!

Ганна замечала, что в лесу там и тут торчали широкие жилистые пни, круглые срезы которых были черные, серые, беловатые и совсем белесые, свежие, — и ей стало

жалко: столько здесь повырублено уже и дубов, и вязов. Лес был редкий — меж деревьями за недалекой опушкой просвечивало кочковатое болото.

За перелеском вновь тихо, задумчиво шумели бесконечные ряды берез, тоскливо, загадочно гудели провода. Они гудели все время — и когда вбок отходила дорога на Глинищи, и когда бежали, сменяя одна другую, узенькие, серые, кое-где просветленные зелеными полоски. Может быть, от этого загадочного и тоскливо-однообразного гула проводов Ганне становилось тоже тоскливо, словно жаль было чего-то очень хорошего, дорогого, что, казалось, навсегда уходило с этой дорогой.

Когда проехали небольшую побуревшую гать через неширокое Вадовичское болото, большак начал постепенно подниматься, и скоро вдалеке забелела и юровичская церквушка. Церквушка эта, как всегда, и теперь пробудила в Ганне нежное, трогательное воспоминание о беззаботном детстве. Давно-давно, крохотной девчушкой, увидала ее впервые — увидала словно что-то необыкновенное, непостижимое, чудесное. И с того дня, хоть уже выросла, повзрослела, всякий раз, как увидит вновь, странная чуткая память будто снова возвращает очарование детства. Тогда, в первый раз, тоже ехали на ярмарку. Какой чудесной показалась она ей, та ярмарка! Церквушка, спуск с юровичской горы, казавшейся такой высокой, что дух захватывало, радость, что, наконец, спустились, что конь не понес, многолюдный водоворот на площади, сладостный страх остаться одной без родителей, затеряться в толпе. А вокруг дива дивные: платки один другого краше, ленты, белые-пребелые булки, пряники, баранки. Одну баранку принес ей отец — она только немножко попробовала и спрятала за пазуху: жалко было сразу остаться без такого чуда!..

Церквушка приближалась. Вот подплыла уже горка-горбок, курган с бурой некошеной травой и молодыми дубками. Отец, проезжая мимо кургана, как и прежде всякий раз, сказал:

— Разбойник лежит... Богатырь. Первый на весь свет был, говорили... Людей загубил — миллион!..

Мачеха тревожно перекрестилась. В дороге, вдалеке от дома, она всегда заметно терялась, становилась мягче и тише, легко признавала отцову силу и власть.

За курганом, за полем, изрезанным кривыми морщинами яров, окаймленных там и тут кудряшками кустарников, купками деревьев, изволок, чувствовалось, перехо-

дил в неброскую широкую лощину. Синяя гряда с черной лентой леса вздымалась за лощиной в необозримой, при- туманенной дымкой дали. Ганна стала вглядываться в си- неватую дымку, высматривать желанную ясную полоску, которая иногда на какое-то мгновение нет-нет да и блеснет из-за возвышенности. Она увидела это чудо в тот далекий день, когда в первый раз ехала здесь. «Что это?» — удив- ленная, дернула она отца за рукав. Отец равнодушно повел взглядом: «А, речка... Припять...» Ганна даже вскочила: «Припять?» Припять — река-сказка, легенда! Она с того раза и осталась легендой, загадочная Припять, — блеснула на миг сверкающей полоской и исчезла, сколько ни всматривалась Ганна, не показывалась больше... Как и тогда, Ганне теперь захотелось снова увидеть знакомую веселую полоску, но реки не было видно: затуманенная даль скрывала ее.

Возле церкви отец остановил лошадь, и все слезли с воза. Начинался тот самый, некогда такой страшный, спуск с горы в местечко.

Как всегда, отец отцепил веревку от задка телеги, привязал одно колесо за спицу к втулке, чтобы оно не вертелось. Взяв лошадь под уздцы, приказал женщинам: — Придерживайте телегу!

Он пошел впереди, держа занузданного мерина за уз- дечку так, что тот как мог задирает голову, ощеривал жел- тые зубы и аж приседал на задние ноги, приостанавливая воз, наезжавший на него. Дорога была мерзлая — глина вперемешку с галькой, — и неподвижный железный обод колеса надрывно визжал. Он оставлял за собой на дороге ровную блестящую ленту с белыми метками на камешках.

— Чш! Тпру! Тпру-у... — сдерживал старик лошадь.

Что это была за дорога — необыкновенная, удивитель- ная, не похожая на все другие дороги в болотной стороне! Постепенно поворачивая, она шла все вниз и вниз, об- резанная с боков двумя глубокими канавками, по которым дождливыми днями ревели потоки воды. По мере того как дорога спадала все глубже и глубже, с обеих сторон ее все выше и выше поднимались горы с размытыми дождем подножиями, с обнаженными корнями висящих над об- рывом деревьев. Вздымаясь, горы все больше и больше заслоняли небо, казалось, подпирали его — и кусты, и де- ревя, что, раскинув кроны свои, как крылья, словно со- бираясь лететь, были уже, похоже, не на земле, а на небе.

На самой высокой отвесной горе торчал из песка большой облизанный камень, готовый в любой момент рухнуть вниз, и Ганне стало жутко: а что, если он вот сейчас...

Но камень и на этот раз не упал. Как только проехали под ним, выглянула в расселине гор неровная череда местечковых домов, сбегавших с пригорка и обступавших улицу. Выбравшись на более ровное место, неподалеку от деревянного дома в два этажа, в котором размещалась «волость», отец снова остановил лошадь, отвязал колесо, и дальше поехали уже на возу, с виду строгие, чинные, а в душе — несмелые, обеспокоенные: не свое село, город большой, чужбина. Как и полагается, отец подстегнул коня, погнал рысцей, — выехав на мостовую главной улицы, телега покатила со страшным громом и дроботом, пока не уперлась в вереницу возов, тянувшихся к рыночной площади.

На площади, окруженной деревянными и каменными строениями — лавчонками и лабазами юровичских торговцев и кооперации, было уже густо подвод и людей. Люди копошились, ходили, и возы в этом людском озере, казалось, тонули; только кое-где торчали задранные вверх оглобли да лошадиные головы. Чернушки въехали в эту сутолоку, как в спокойный, широкий разлив.

Справа, слева, впереди них были теперь люди, люди — молодые, пожилые, совсем старые, женщины и мужчины — со всех сторон окружали их свитки, кожухи, кафтаны, шапки, одолевал многоголосый гомон, бляение овец, поросячий визг. Чернушка, привстав на коленки, высмотрев свободное, подходящее место, покрикивая на тех, кто лез под коня, стал медленно протискиваться с Ганной, с мачехой, с овцами, со всем своим скарбом на возу к стоянке.

### 3

Когда воз остановился, мачеха сказала, что стоять тут нехорошо: не на виду, сюда мало кто и подойдет, но Чернушка возразил на это:

— Кому надо, тот и у черта за пазухой найдет, — и не раздумывая, принялся распрягать коня.

— От скажи ты, саранча-люди! — не стала спорить, мирно пожаловалась мачеха. — Везде захватят, где лучше! Никак за ними не поспеешь!

Она взглянула на овец — те тихо лежали в задке телеги, давно свыкшись со своими путами и потеряв всякую надежду вырваться на волю, только ушами вздрагивали при близких окриках.

— Открой все, что в сене, да разложи на постилке, — сказала мачеха Ганне, стряхивая с поневы травинки. — А я пойду, сколько что стоит, дознаюсь...

Пока Ганна устанавливала на рядне горшок с маслом, раскладывала связки грибов и сушеных व्यюнов, мачеха возвратилась разочарованная:

— Дешево все, дешево!.. Даром, можно сказать, хотя!..

Какое-то время все трое стояли молча, следили за теми, кто подходил близко, смотрел на их товар. Следили по-разному. Ганна — почти равнодушно, с затаенной грустью; отец — спокойно, время от времени поправляя сено, которое тянула мягкими губами лошадь; мачеха же просто ловила взгляды, нетерпеливо молила — вот этот, вот этот. Но, как назло, никто почти даже не спрашивал о цене — пробежит глазами по постилке и отойдет, словно богачей какой, словно ему ничего не надо. А если и спросит, то только так себе, для прилику, даже не приглядевшись толком, шарит уже взглядом дальше.

— От тебе и добрый базар! — не удержалась мачеха.

Она, чтобы не торчать на виду без дела, стала убирать возле овец.

— Это еще не базар! — убежденно молвил Чернушка. — Базар еще будет!.. Настоящие купцы еще дома чай пьют...

Народу, и правда, прибывало: площадь заполнялась возами, людьми все гуще и гуще, становилось все теснее, нарастал шум, гомон, крики. Совсем рядом, возле соседней подводы, стали торговать корову — женщина, повязанная посконным тряпьем вместо платка, и мужчина в заношенной, драной свитке, — должно быть, муж и жена. Несмело, как-то подозрительно осматривали, поглаживали, ощупывали рыжую буренку, недоверчиво слушали хозяев — мужчину и женщину, которые наперебой расхваливали свое сокровище. Похвалы эти, было видно, не только не успокаивали «купцов», но даже усиливали их недоверие — они слушали и присматривались к корове все с большей подозрительностью, а потом и вовсе отступили, стали пробираться меж людей, о чем-то перешептывались...



Вскоре они, с той же недоверчивостью, придирчивостью, разглядывали, щупали другую корову. «Купцов» сновало все больше и больше — искали, спрашивали, торговались, шли дальше — движения, гомону было хоть отбавляй, но торговля шла очень вяло, во всяком случае здесь, где стояли Чернушки со своим возом. Все приглядывались, спрашивали, и почти никто не покупал. Ни Ганну, ни отца такое положение нисколько не удивляло: сами они были такие же, как и люди, что сновали перед ними, — неторопливые, рассудительные полешуки, — каждый из них чуть не сто раз приценится, прежде чем купит. И чему тут было удивляться, если продавцов так много, а денег у «купцов» считанные гроши...

Не удивлялась и мачеха, только уж очень скучно было стоять ей да ждать понапрасну. И, томясь, мучаясь, сердясь, она словно бы и не видела уже, что ждет попусту, томится не одна она, что так же томятся почти все. Видела хорошо только воз, который будто нарочно торчал перед глазами и на котором приманчиво краснели глиняные горшки, макитры, миски, — ей так нужны были хороший горшок и хотя бы две миски! Нужны, а купить не купишь! Не берут ничего!

— Пока тут продашь что-нибудь, ни одного не останется.

Надо ж такое: там, как на беду, толпятся бабы, вертят перед ней недоступный багрец горшков — словно дразнят.

— Останутся! — равнодушно сказал Чернушка. — Не эти, дак другие!

Мачеха не могла удержаться:

— Шляются, шляются — раззявы! Только с панталыку сбивают других! Тут разве добаться из-за них «купцу»!..

— Доберется, если появится!..

— Доберется! Ага!

Мачеха не верила. Не верила она и тогда, когда «купец» этот наконец подошел, хоть чувствовала, что он не зевака, что спрашивает, почем въюны, не так себе, купить хочет. Она знала: въюнов поблизости не продают, заломила — полтинник за связку. «Купец» удивился:

— Полтинник?

— А что ж? Дорого, может! — Она промолвила это так, будто говорила: да повернется ли язык у кого-нибудь сказать такое, — а сама со страхом следила, не испугался ли, не собирается ли отступить. Стараясь не упустить, за-

спешила мягко и приветливо: — Вы ж поглядите, сколько их тут, в одной связке! Видите, сколько! Я и сосчитать не сосчитаю. Столько за целый день не наловишь! Они ж, как заберется который в ил, копай да копай, пока откопашешь!.. Тут же мяса того сколько — даром что сушеные! А мясо какое — это не какая-то там вонючая рыба! Вьюн!

— Вьюн-то вьюн... — «Купец» явно собирался уходить.

Мачеха видела это: надежда готова была вот-вот исчезнуть. Чернушиха с отчаянием подступила к «купцу»:

— Ну ладно! Дорого! А вы скажите свою цену!

— По девятнадцать...

— По девятнадцать?! Так это ж... Я ж вам и так, можно сказать, за ничто отдавала! — Мачехе снова попался на глаза воз с горшками: — Ну, нехай! Берите!.. Сколько штук?

Он брал все десять связок: хватит, видно, и на горшок, и на две миски! Должно хватить!

— Ешьте на здоровье!

Как только человек отошел, прикрывая связки рукавом пальто, мачеха, зажав деньги в кулаке, заспешила к подводу с горшками и мисками. Еще, кажется, не поздно, не все распроданы. Только скорей надо, уже совсем мало остается! А женщины идут и идут!..

Она вернулась успокоенная, счастливая.

— От, разжигась! — Мачеха постучала по горшку сухими костяшками пальцев, послушала: — Звенят, что колокола! Хороша посуда, что и говорить, только вот — дороговизна!..

Когда она, обернув миски и горшок сеном, укладывала их в телеги так, чтобы, избави бог, не разбились или чтоб не стащил какой бездельник-вор, которых тут околачивается тьма, и снова начала высматривать «купцов», в толпе неожиданно появился Евхим. Он шел с Ларивоном, неторопливо, толкаясь, с папироской на губе, поглядывал на всех с самодовольной и задиристой усмешечкой — эх вы, люди, мураши суетливые, мелюзга!

«Пьяный? Или так просто охмелел? Молодой, богатый... Удачливый. Все ему дается, только бы захотел... Зацепить, видно, хочется кого-нибудь, чтоб показать... какой он?» Мачеха замахала ему рукой.

— Евхимко-о!

Он, заметив Чернушек, направился к ним.

— Ну, как торг? — громко, развязно спросил Евхим, окидывая взглядом все, что лежало на возу. — Э, да вы тут

с овечками — не сглазить бы — боитесь разлучиться? — Он захохотал.

— Не берут овечек, грэц его, — спокойно сказал Чернушка.

— И не глядят, Евхимко!..

— А мы думали, что разлучиться боитесь! — поддержал Евхима Ларивон. Он словно ожидал, что и Ганна засмеется в ответ на эту шутку, но у той даже уголки губ не шевельнулись.

Евхим сдержал смешок, но все ж смотрел весело.

— Дак, говорите, овец продаете? А чего ж их не покупают? «Купцов» — вон сколько!

— Э-э! «Купцы» — сказал тоже!.. Раззеваки это, Евхимко, а не «купцы».

— Которые — раззеваки. А которые — и «купцы»! Надо только уметь найти их! Да подцепить на крючок!

— Подцепишь их!

Евхим вдруг сорвал с губы прилипшую сигарку, бросил под ноги, решительно сказал приятелю:

— Ларивон, нужно «купцов» найти на овечек!

— Ну, когда нужно, дак...

— Идем!

Взглянув на Ганну, Евхим ловко повернулся и врезался в толпу. Коршуным взглядом осмотрелся, поискал, — толкаясь, оттирая в сторону встречных, двинулся с преданно идущим вслед Ларивоном в сутолоку меж возов. На них оборачивались, ругали их, а они и не оглядывались — вот пристали к одной группке людей, послушали, к другой приблизились...

Вернулись с городским человеком и короткой поддевочке с заячьим воротником и в перчатках — сперва вдвоем: «купец» и Ларивон. Евхим подошел только после того, как человек посмотрел овец и стал прицениваться. Подошел, словно незнакомый, мигнув Чернушкам, чтобы молчали, серьезно, громко спросил:

— Чьи овечки?

Ларивон ответил:

— Да тут уже есть купец...

Евхим грубовато толкнул человека, будто бы оттирая его:

— Мало что есть! Мы поглядим еще, кто лучший купец!.. — Он глянул на старого Чернушку: — Ваши овечки?

— Мои.

— Не лезь! — притворно рассердился Ларивон. — Тут уже есть покупатель! Он первый пришел! Его очередь — первая! Не суйся, чуешь! Не засти!

— Первый, да худший! Он год торговаться будет! — Евхим, казалось, хотел во что бы то ни стало перехватить овец.

Он даже полез за пазуху, словно желая достать деньги. Но когда искоса глянул на «купца», увидел разочарованно — тот и не думал торопиться брать овец! Уступал свое право Евхиму не споря, даже охотно! «Не подцепили», — подумал Евхим.

Не удалась эта выдумка и с другим покупателем, которого привел Ларивон, и только третий — задорный курносый деревенский хлопец в распахнутой шинели, — когда Евхим нахально встрял в его разговор с Чернушкой, возмущенно загорелся:

— Овечек я приторговал!

— Мало что приторговал! Приторговать — не купить! — Евхим полез к Чернушке: — Почему продаете?

Хлопец рассерженно отрезал:

— Я беру овец!

Он ошалело выхватил из кармана гимнастерки кошелек, стал отсчитывать аккуратно сложенные рубли, тяжелые медяки. Руки его, с кривыми беспокойными пальцами, непослушно дрожали...

— Эх, дешево продали! — громко «пожалел» Евхим. — Я боле дал бы!

Он подмигнул Ганне, которая наблюдала за всем этим с какой-то непонятной грустью, и отошел, словно бы огорченный. Однако едва только хлопец в шинели, ведя уже своих овец, отошел от Чернушек, он вернулся к возу, громко захохотал.

— Все-таки один попался!

Мачеха, повеселевшая, почти счастливая, взглянула на него с восхищением: вот же молодчина, хват!

— От спасибо тебе, Евхимко! Выручил ты нас, спас просто! А то мы тут до вечера проторчали бы! И то — сбыли бы, нет ли — неизвестно.

— Смотреть никто не хотел! — согласно отозвался Ганнин отец.

Евхим ответил скромно:

— Э, чего тут благодарить! Как чужого все одно!.. Свои ж теперь, сказать, одна семья!..

— Свои. Правда, Евхимко!

Евхим влюбленными глазами смотрел на Ганну.

— Дак, может, пойдем, поглядим, где что деется?

— Ага! Идите, идите! — охотно поддержала его мачеха.

Ганна не возражала: не только потому, что негоже было перечить жениху, своему будущему хозяину, но и потому, что давно хотелось ей в людскую суету, которая, казалось, таит в себе столько любопытного. Стоя у воза, она видела так мало, да и стоять наскучило до тошноты!

— Гануля!.. — Отец отозвал ее в сторону, неприметно, как большой подарок, дал скомканный, потный рубль. — Может, захочешь купить чего-нибудь.

Ганна поблагодарила, завернула бумажку в носовой платок, под охраной двух здоровенных хлопцев двинулась к возам, в сумятицу и гомон людских толп.

#### 4

Первое время рядом с Евхимом чувствовала она себя неловко: как бы не девушка уже, не вольная, его жена. Но неловкость эта вскоре улеглась, отошла — ее захватило зрелище ярмарки. Вот дед стоит, опершись о воз, — видно, чужой, — стоит, словно дремлет. На плечах деда висит связка обыкновенных лозовых лаптей, — похоже, не продал ни одной пары, а сколько возился с ними, как, должно быть, натомил, волоча сюда, стариковские ноги. Женщина, тоже немолодая, болезненного вида, держит в руках поношенную, крашенную шелухой лука, холщовую рубаху, еще одна — за возом — со свертками полотна... Мальчуган, светловолосый, с настороженными диковатыми глазами, продает шапку-кубанку — кожаный верх ее вытерт добела...

— Украл? — подскочил вдруг к нему Евхим.

— Сам ты украл!

— А от зараз прове-рим! От зараз — в милицию!

— Зови! — хлопчик смотрит отважно, глазом не моргнет.

Потом — внезапно, они и шевельнуться не успели: мельк — и исчез среди возов и людей!

— От шпана! — покачал головою Евхим, одобрительно смеясь. — Что воробей!.. Из детдома, видно!

Евхим и сейчас шел, толкаясь, весело, задиристо покрикивая, чтобы расчистить дорогу, то и дело останавли-

вался около возов, возле торгующих, разглядывал скот и товар, будто приценивался.

— Тетка, почем шкилета этого продаешь? — спросил он, указывая на корову, что задумчиво жевала сено. Корова была как корова, не очень и худая, и тетка обиделась:

— Сам ты шкилет! Байстрюк солдатский!

— Я не байстрюк, тетка. У меня и тато и матко есть! От они знают!.. — Евхим кивнул на Ганну и Ларивона. Ларивон подтвердил:

— Есть.

— От, чуєте! А про шкилет — я так, смешком! А вы уже и ругаться! Разве ж я не вижу, что корова у вас — хоть на выставку! Молока, верно, дает — залиться!..

Женщина взглянула недоверчиво, промолчала. Но Евхим не отступался, совсем серьезно, деловито спросил:

— Дак почем же продаете?

Женщина заколебалась.

— Тридцать — как отдать!

— Дорого! — Евхим аж губы поджал: столько за-  
ломила!

— А ты — сколько бы дал?

— И бесплатно не взял бы! Такую сдохлятину!

Он расхохотался прямо в глаза очумевшей бабе и двинулся дальше. Ларивон подался следом, тоже давясь от смеха:

— От упек! От это упек дак упек!..

Только Ганна не смеялась — ей даже жаль было женщину.

— На что тебе это? — сказала она Евхиму с упреком.

— А чего ж не посмеяться? Где и посмеяться, как не тут!..

Дурачась, он тихо запел:

Мы на горе всем буржуям  
Мировой пожар раздуем!..  
Мировой пожар в крови...  
Господи, благослови!..

Ему, видимо, эта песенка показалась потешной, как и Ларивону, который гудел вслед за ним. Ганна словно и не слышала озорного пения, вся переполняясь ощущением огромного людского водоворота.

— Ушаты, ушаты кому?! Ушаты новые, осиновые, сосновые! Дежки, бочки! Деж-ки, деж-ки!..

— Обода, обода кому? На сто годов ездить! Детям и внукам хватит!

— Подсвинка продаю! Недорого! Подсвинка! Можно кормить, можно забить!..

— Рыба свежая! Сегодня из речки! Только что выловили!..

— Деготь! Деготь! Деготь!

— Рыба! Рыба! Рыба!

Все было удивительно перемешано: возы, возле которых дремали покорно и грустно лысухи и буренки, жались к возам, где белели ушаты, бочки; норовистые бараны и беспокойные свиньи копошились меж возов с лозовыми коробами, корзинами и лукошками, колесами, ободами. Мешались звуки — скопище разного скота влетало в людской гомон свой рев, ржание, блеяние, хрюканье, пронзительный визг.

— Козу! Козу продаю! Козу кому надо! — кричал кто-то.

— А девки нема? — загоготал Ларивон. — Мне б — девуку!

— Веники! Веники! Березовые веники! Хоть хату подмести, хоть помыться!..

Чего тут только нет — и грабли, и зубья к граблям, и даже лоза, связки лозового лыка на лапти! Все, что можно и нельзя, притащили сюда люди, чтобы продать, добыть копейку, променять на что-то. И сколько же их, этих людей, сколько забот, желаний, надежд ходит, гомонит, выкликает — и с этой стороны Припяти, и с другой, заречной! Тем, что за рекой, через большую воду перебраться пришлось, перед паромом выстаивать, лодки искать, а все же перебрались, сошлись с этим берегом, слились в одном шумном разливе на юровичской площади!..

— Сковородников, кочерег не надо? — таинственно спросил человек с осмаленными усами, видимо, кузнец.

— Не надо! Не женился еще! — отмахнулся Евхим.

За возом кузнеца теснились любопытные: мужик, окруженный кучкою цыган, держал резвого жеребчика. Цыгане наперебой осматривали и ощупывали коня, также, наперебой, поносили его, презрительно показывая на его коленки, тыкали пальцами в копыта. Они кричали так дружно, что трудно было разобрать слова. Хозяин, огромный, неуклюжий, слушал их молча, словно бы и не слышал, и цыган это злило, они заседали еще жарче. Мелкорослый, с кирпично-красным лицом, старший, видимо, среди них, и раз, и другой лихо протягивал руку, ждал,

что крестьянин ударит своей на согласие, но тот стоял, как глухой. Из толпы кругом сыпались задорные выкрики, слышался смех, цыгане же не обращали на это внимания, только старший оглянулся, ткнул презрительно пальцем в крестьянина, прося у людей поддержки себе, потом плюнул и двинулся прочь, уводя и всю свою братию...

— Возьми меня! — крикнул Ларивон, и цыгане, не понимая, остановились. — За жеребца возьми! До своей! До цыганки!..

Цыган что-то сказал по-своему и пошел дальше под крики, хохот толпы.

Пробившись сквозь толпу, подошли к возам, над одним из которых торчала фанерная вывеска — «Коммуна «Расцвет жизни». Хоть продавались тут картошка, капуста и яблоки, потолкались между возами, посмотрели все с особым интересом — о коммуне ходило столько разговоров!

— Капуста уродила! — сказала удивленно Ганна, любясь огромным лобастым кочаном.

— Земля у них — не наша! Панскую забрали! Что масло — земля!.. — объяснил Евхим.

Человек в ватнике, обветренный, с облупившимся носом, ухмыльнулся из-за воза:

— Земля панская, да капусты такой у пана — не было!

— Такой, может, и не было, — согласился, похоже, Евхим. — Дак была не такая, лучшая!

— Не было ни лучшей, ни такой! — опять ухмыльнулся человек в ватнике.

Евхима усмешка эта почему-то разозлила.

— Конечно! Не было! Пан ваш был дурной, как лапоть! А вы — разумные! И вам бог коммунарский помогал! Говорят, у коммуновцев тоже бог есть и они ему каждый день молятся!..

Ларивон захохотал. Ганна тоже засмеялась, невольно заглядываясь на капусту: ну и кочаны же!

— Есть, конечно, бог! А как же! Не без бога! Все, говорят, от бога!

— А! — обрадовался Ларивон. — А как его зовут, бога вашего? По-партийному! Карло Маркс?

— Наука его зовут. Агротехника.

— Ха-ха! Абротехника! Ровно бабу или как? — Ларивон хотел еще что-то сказать озорное, но, взглянув на Евхима, который и не думал смеяться, промолчал.



— Ерунда! Агротехника ваша эта! Земля — от что бог! Есть земля добрая, дак и все будет!..

— А кочаны эти выросли у нас, между прочим, и не на земле.— Человек ухмыльнулся еще хитрее.— На болоте!

Ганна не поверила:

— На каком болоте?

— На обыкновенном. На трясине, где кони тонули... Осушили — и от, пожалуйста, кочаны!..

Ганна посмотрела на человека — смеется, верно, байки рассказывает. Но тот не шутил, держался так, будто все правда. Как бы желая дознаться, правду или неправду сказал человек в ватнике, взяла кочан на руки, взвесила — ну и тяжелый же! — пощупала. Не кочан, а чудо! На болоте, подумать!

Евхим взял ее за локоть, позвал. Отходя, бросил человеку:

— Приезжайте к нам капусту сажать! У нас болото большое!

Ларивон засмеялся. За коммунаровскими возами наткнулись на будочку, сбитую из досок, над которой на красном полотнище были нарисованы две соединенные в пожатии руки и надпись: «Город и деревня — соединимся!» Ниже была прибита вывеска: «Совхоз «Шлях к коммунизму». В ларьке продавали мясо. Рубил и взвешивал мясо молодой худощавый хлопец в белом халате. Все трое, увидев этот халат, остановились.

— Как дохтур! — не удержался Ларивон. — Как все одно в больнице какой!

Евхим покосился на Ганну, процедил:

— К-культура!.. Шлях к коммунизму!..

Они были уже на краю площади, возле строений, где размещались лавки. Евхим вспомнил, что отец давал Ганне деньги, спросил:

— Тебе, кажись, купить чего-то надо?

— А, мелочь разную... Я после, с мачехой... — Ей не хотелось, чтобы Евхим стоял, видел, что она будет выбирать пуговицы, петельки, интимные девичьи мелочи.

— Ну, дак, может, сюда зайдем? — Евхим кивнул на дверь, по обе стороны которой на высоких и узких вывесках были наклеены миски, ложки, бутылки и чарки. Вывески были очень похожи на те, что висели на дверях и сапожников, и портных, только вместо сапог и шапок красовались тут миски и бутылки. Над облезло-синими

мисками клубились серые облака, чарки тоже были полны чем-то серым.

— А что нам там делать? — запротестовала Ганна.

— Ну, что!.. То, что и другим! — Евхим подмигнул Ларивону. — Ну, морсу выпьем!.. Сушит что-то в горле!..

Евхим почти насильно ввел Ганну в помещение, где за столиками сидело немало людей, которые пили, ели, гомонили. Евхим нашел у столика в углу две свободные замызганные табуретки, принес себе еще одну и пошел к буфету. Протолкавшись сквозь небольшую очередь, он поговорил о чем-то с толстым, бритым человечком, хозяином «столовки» Еселем, и вернулся к столу с тремя наполненными стаканами.

— Это нам, — поставил он стаканы с водкой себе и Ларивону, потом торжественно поднес стакан с вином Ганне. — А это — тебе!

Ганна сказала, что пить ей не хочется.

— Хочется не хочется, а надо выпить, когда угощают! От угощения отказываться не можно! — Он засмеялся: — Привыкай! Придется еще попить!

Парнишка, Еселев сын, принес хлеба, закуски: огурцов, котлеты с мятой картошкой. Сам Есель, подвижный, быстрый, с черными веселыми глазами, подлетел с тарелочкой, на которой лежал розовый брусочек какого-то печева, мигнул Евхиму, как знакомому.

— Будьте любезны! Для дамы!.. Вам, по заявке вашего кавалера! — Есель поставил тарелочку. — Евхим, может, еще чего надо?

Евхим по-приятельски хлопнул Еселя по плечу.

— Пока хватит этого! — Когда Есель отбежал к буфету, Евхим, довольный, что может удивить Ганну такой новинкой, промолвил: — Пирожное! Для деликатных женщин делается специально!

Ганна посмотрела на невиданный брусочек, заинтересованная: а каков он на вкус! Из чего сделан, почему только для женщин? Но не спросила, сдержалась: это ее могло бы унижить перед ним!..

Евхим поднял стакан, поднес к Ганнинному.

— Выпьем, чтоб все хорошо было!

Ганна пригубила: вино было приятное, сладкое, не то что курневская самогонка.

— Все до дна! — настоял Евхим, когда она намеревалась было поставить стакан. — Не оставлять зла!

Чтобы не спорить напрасно, не вызывать лишнего внимания к себе со стороны сидевших рядом, послушалась, выпила все.

— А теперь вот возьми каклету или огурец! — Евхим изображал из себя радушного, заботливого хозяина.

От вина скоро стало тепло и легко, грустные мысли исчезли: не было уже сожаления о дорогом, что теряла навсегда, ни тревоги о том, что будет дальше. Взяла пирожное, попробовала, — оказывается, сладкое, само словно тает во рту! Должно быть из белой моримонской муки, с яйцами и сахаром!

— Может, еще выпьем? — наклонился Евхим.

Она решительно покачала головой: нет, — заторопилась встать. Когда вышли вместе с вежливым Еселем, который, проводив на крыльцо, просил не забывать дороги к нему, ярмарка показалась веселым праздником, и все вокруг выглядело беззаботным, безоблачным, праздничным, и верилось: ей будет хорошо!

Опять потолкались немного в людской суматохе около возов, оглядывая добро, разложенное на сене, зашли в одну, другую лавку, где тоже теснилось порядком народу, больше всего, видать, зевак.

— Скажи, что тебе хочется купить — такое, чтоб давно хотелось! — сказал Евхим, окидывая взглядом полки, на которых было разложено и развешено множество всяких заманчивых вещей.

Известно, Евхим не был бы Евхимом, если бы в словах его не услышала она похвальбы — могу что хочешь купить, — но Ганна заметила теперь главным образом то, что он хочет сделать ей хороший подарок. Видела, что очень хочется ему услышать ее просьбу. На миг она заколебалась. И все же что-то удержало ее:

— Ничего.

Ганна сразу же собралась идти из лавки, но он не пустил.

— Постой! Нема чего выдумывать. Не чужие ведь!.. Ты не присмотрела, дак я присмотрел!.. — Евхим крикнул продавцу: — Подайте платок вон тот!

Он сам накинул ей полушалок на плечи, подвел к зеркалу, прибитому к стене. Какой ни казалась спокойной Ганна минуту назад, но когда глянула в зеркало, лицо ее, смугловатое, со слегка выдающимися скулами, засветилось зачарованно: ах, какой цветастый, какой огненно-яркий, век такого полушалка не носила.

— Аккурат к лицу! — обрadowанный, тоже зачарованный, воскликнул Евхим. И, довольный, направился к продавцу.

Женщины, стоявшие за ее спиной, смотрели с завистью, обсуждали, хвалили: хороший полушалок, к лицу, ничего не скажешь. Ганна же не в силах была своих вишен-глаз оторвать от зеркала, счастливая, умиленная: она ли это, такая незнакомая, такая пригожая, такая... Что-то вдруг встревожило, что-то словно прикоснулось к шее, странно холодное и горячее. Она, не понимая, безотчетно повела взглядом — и жаркая краска мгновенно залила ее лицо. Василь! Когда он вошел или, может, был уже меж людей, когда они с Евхимом явились, Ганна не знала и не думала об этом — всю ее наполнило нежданное видение — Василь! Они смотрели друг на друга, взгляды их в зеркале скрестились.

Только миг было это — Василь исчез из зеркала так же внезапно, как и появился. Но хотя его уже не было видно, она не могла пошевелиться. Он словно сковал ее. Даже не видя его, она ощущала диковатый, тяжелый и вместе растерянный взгляд исподлобья, обиду и отчаяние на его самолюбивых губах. Жар, краска стыда не сходили с ее лица. И каким нелепым было то, что сказал, вернувшись, Евхим:

— Ну, от и концы с концами! Видно, что невеста! — Ее оскорбил его смех: — Подарил, а все одно как себе! Не из хаты, а в хату!..

От этого смеха Ганне захотелось плакать. Выходя с Евхимом, она подумала про Василя — здесь он еще или ушел уже, но, полная непережитого волнения, оглянуться не посмела. Был Василь или не был в лавке, а ей казалось, что он возле ее, следит за ней.

На крыльце, стараясь не встречаться взглядом с Евхимом, она сказала, что надо возвращаться к своим, отец и мачеха, должно быть, заждались.

— Нехай привыкают! Не столько еще ждать придется!

Он заметил, что она помрачнела, непонятно переменилась, но расспрашивать не стал. У него было по-прежнему беззаботное настроение, недоступное подозрению или каким-нибудь неприятным мыслям...

— Я уж одна дойду, — сказала Ганна, когда он немного проводил ее.

Евхим не возразил, не удивился или сделал вид, что не удивляется, молча отошел. Она была рада, что он так легко отстал.

Все время, пока стояла с родителями около воза, не утихало в ней воспоминание о Василе, о его появлении, о его взгляде — надо же такому случиться! Думала, все с ним кончено, остается только забыть, и вот же — встреча эта! Как покраснела, не сгорела едва! Будто с краденым поймали!.. Оставшись одна, без Евхима и Василя, она старалась обдумать все, вернуть мыслям ясность: нет-нет, ей нечего стыдиться! Все, что было с Василем, кончено. Просто не привыкла еще. Но — привыкнет!

Из-за мыслей своих она почти не слышала ни завистливого мачехино ойка — ой, платок какой! — ни отцовского беспокойства о том, что люди уже разъезжаются, а мех картошки так и лежит.

Отец запряг коня, чтобы ехать домой, когда к ним подошла чернявенькая, тщедушная девушка в коротеньком городском пальто и шапочке, спросила, нет ли у них картошки. Отец так обрадовался этому, что не стал и торговаться.

— Уж и не думал, что «купец» найдется! Как бог послал, на счастье! Дак нехай и вам польза будет!..

«Богом посланный купец» попросил, чтобы картошку завезли на квартиру. По дороге мачеха с деревенской разговорчивостью сообщила:

— Гроби дуюе нужны. Дочку от замуж выдаем...

Белое, нездоровое личико обратилось к Ганне.

— Поздравляю!.. Хороший хлопец, должно быть?..

— Да как сказать. Не горбатый, не хромой. Не хуже других, похоже.

— Хороший. Красивый, богатый, — вмешалась мачеха. — Евхим Глушаков!

— А! — промолвила девушка вежливо. Глянула на Ганну внимательными, удивительно строгими глазами: — Вы любите его?

Ганна не сразу ответила, подумала: «Худенькая какая, хилая вроде. Ветер, кажется, поднимет и понесет, как пухинку... А глаза — такие строгие!.. Люблю или не люблю?!»

— Всем ли непременно по любви выходить? Кабы выходили только те, что любят, дак больше половины век в девках сидело б.

— И все-таки — как же без любви жить?

— А так и живут... Стерпится — слюбится, говорят...

Девушка произнесла, любуясь и странно сочувствуя:

— Вы такая красивая!

— За Евхимом проживет припеваючи! — опять вмешалась мачеха. — Само счастье, сказать, в руки ей пришло!..

Девушка ничего не ответила на это, спросила все с той же строгостью:

— Хорошее село у вас?

— Ничего. Грибов тьма. Малины, ягоды всякой. Конечно, не то, что Глиници, а все-таки — ничего... — Мачеха поинтересовалась: — А вы — кто сами будете? Что-то не видели мы вас никогда!..

— Я в Мозыре живу. Учусь. А тут у дядьки в гостях. — Строгие глаза посмотрели мягче. — Учительствовать к вам приеду. В том году кончаю. — У нее оказалась такая милая улыбка, нежная, с ямочками. И рот красивый, маленький, добрый.

— Приезжайте... Только — школы у нас нет.

— А-а... — пожалел добрый ротик.

Дивчина — мачеха дозналась уже, что ее зовут Шура, — привела воз к «волости», сказала, что она живет здесь, на первом этаже, со двора. Едва только въехали, на крыльцо вышел Апейка, и девушка радостно крикнула ему:

— Ну, от я купила! — Она задорно похвалилась: — И недорого!..

Пока Чернушка приматывал вожжи к грядке телеги, Апейка поставил мех и, присев, начал прилаживаться, чтобы удобней было вскинуть его на спину. Чернушка не ожидал такого: как-никак волостное начальство, пусть себе и из простых людей... Попытался было исправить положение:

— Дайте уж я! Чтоб не надорвались с непривычки.

— Не надорвусь! — ответил Апейка, с патугой подымая мех.

Чернушка помог ему, неловко потопал вслед, поддерживая мех сзади. Когда они вернулись на крыльцо, Апейка говорил:

— Дак вы из Куреней! То-то — лицо знакомое... Картопля хорошо уродила?

— Картопля — непогано. А жита, можно сказать, нема.

— С житом, с пшеницей плохо у нас во многих селах. Трудная зима будет. И весна... Ага, — вспомнил Апейка, —

тут у нас был под арестом из Куреней... Дрозд, кажись. Нет, Дятел его фамилия. — Ганна замерла, стала прислушиваться. — Как он живет?

— А что? Ничего. Живет себе...

— Хорошо, честно живет?

— Ничего. Мирно...

Ганна еще не уняла волнения, вызванного внезапным напоминанием о Василе, как из дома выбежала Шура, строго и серьезно подала что-то завернутое в газету:

— Это вам от меня. К свадьбе... Ничего другого нет. Студентка!.. Книжка хорошая!.. — Она спохватилась: — Читать вы умеете?

— Можно сказать — нет...

Шура задумалась: что ж делать? Помог Чернушка, сказал Ганне:

— Бери да благодари!

В обратный путь Ганна в руке везла книгу, а в памяти — строгий и сочувственный девичий взгляд. «Вы любите его? Как же можно жить не любя!» — «А так и живут! Многие живут!» — словно спорила она со строгой, наивной дивчиной. Она знала это, была убеждена, что так было и будет, но, когда вспоминала, как ходила с Евхимом, о появлении Василя, — на душу тяжко ложилась тревога...

## 5

Заботы, заботы. На следующее утро Чернушка опять выправился в дорогу — теперь уже покупать Ганне на кофту. Дорога была недалекая, хоть и доводилось еще ехать в объезд — напрямик пока что только ходили, — и часа через полтора Чернушкова телега выкатилась уже на глинищанскую улицу.

Дом Нохима стоял ближе к краю села, на самом людном месте, которое почему-то называлось «коворот» и в котором сходились конец улицы, дорога из Олешников и дорога на юровичский большак.

Лавка была уже в пристройке к большому каменному дому, и Чернушка, привязывая лошадь к штакетине, невольно отметил: «Перебрался уже... Богатеет Нохим!..» Когда не так давно Чернушка ехал в Юровичи, он видел, как клали сруб пристройки, а вот уже на тебе — лавка! Да и сам дом давно ли со времен польского нашествия стоял пустой, а сад за ним — неухоженный, обшарпанный — давно ли тулился. А вот — на тебе — куда ни глянь, везде

новина: то лавка в доме, то паровик, то пристройка... Яблони новые, молодые в саду...

«Богатеет, хитрая собака...»

В лавке, пропахшей свежей древесиной, селедкой и керосином, стоял за прилавком старший Нохимов сын Ицка. Кроме него было только двое глинищанцев, пришедших, видимо, побеседовать, потому что покупать ничего не собирались, и Ицка сразу вцепился взглядом в Ганну и Чернушку.

Чернушка по давней своей привычке сперва начал брать разную мелочь, что подешевле: три коробки спичек, пять фунтов соли, два фунта мокрых, с едким запахом селедок. Он уже намеревался приступить к самому важному и трудному, к самой большой трате, когда появился и сам Нохим.

— А, Чернушка! Здоров будь! — радостно, как хорошего знакомого, приветствовал он. Нохим знал почти всех не только в Глинищах, но и в ближайших деревнях.

— Здоров будь и ты.

— Богатый будешь, слышал я! Дочку выдаешь замуж?

— Выдаю...

Нохим быстро ощупал Ганну таким пристальным взглядом, что она покраснела.

— Красавица! Евхим толк в бабах знает! Сам бы женился на такой, кабы молодейший был. И не жид. Ты ж не отдал бы за жида, а?

— Старый ты, Нохим. Грех такое говорить.

— Старый? Я — старый? — Нохим глянул на Ицку, который весело засмеялся, потом на крестьян. Один из них поддержал:

— В самом соку! Аккурат жениться!

— О, чуешь, Чернушка! А ты говоришь: Нохим старый!.. — Он сразу же, почти тем же тоном произнес: — Но ты, видать, приехал ко мне не только дочку показать? Купить что-то хочешь?

— Ситец, говорят, у тебя на кохту есть... — решил отец. — Девка надясь видела...

— Есть. Трохи еще осталось. О, твоя девка, Тимох, вижу, знает, что хорошо, что плохо...

Нохим протянул небольшой сверток. Когда Чернушка стал мять ситец крючковатыми, как сухие ольховые корни, черными пальцами, зачем-то рассматривая на свет, Нохим посоветовал:



— Знаешь, Тимох, что я тебе скажу. Раз уже у тебя такой праздник, то я дам, чего никому не давал. Сатин у меня есть атласный. Из самого Киева. Блестит, переливается, как шелк. В нем твоя девка будет чистая королева!

— На королевское, Нохим, у меня карман мал...

— Эге! У него на сатин карман мал! Стыдился б, Тимох, говорить! Ну, ладно, как хочешь: бери не бери — я не набиваюсь. Погляди хоть, что оно такое!

— Да что глядеть, коли все одно не возьму...

— А ты погляди! Я за погляд денег не беру!

— А что глядеть, когда оно дорого.

— Дорого? Вы чуете, он говорит — дорого! Он еще не видел товара, не знает цены, а уже говорит — дорого! Его еще никто не режет, а он кричит — ратуйте!

Нохим ловко подкатился к Ганне, деликатно склонился перед ней.

— Прошу прощения, гражданочка, но надо прировнять товар к вашему лицу, чтоб ваш батька видел все натурально! Потому что мужик такой, что не поверит, пока не посмотрит сам! — Нохим приложил развернутый край белого сатина к Ганнинному плечу и шее.

— Гляди, Тимох, если есть глаза! И если ты добра хочешь дочке! Если ты хочешь, чтоб она была первая красавица на свадьбе! А не, извини, задрипанка какая-то!

Батька поскреб затылок: и правда ж, товар, лихо его матери, славный, так и переливается, как вода на солнце, Ганна в нем словно уже и не Ганна — красавица из сказки! И ей, видать, материя по душе: вон как глаза блестят, просят, молят! Да ведь — копейки у него все считанные.

— Не дорого, говоришь? Сколько ж оно?..

— Не бойся. У тебя останется еще куча денег.

— Смеешься ты все, Нохим. Хватило бы хотя!

— Хватит, говорю. — Нохим перестал смеяться. — Я знаю, Тимох, что у тебя теперь неууправка. Сам женился и знаю, что такое свадьба! И хоть ты не позовешь меня, дам тебе облегченье! Большое облегченье! Можешь теперь, Тимох, не платить всего. Заплатишь только рубля каких три, а остальное можешь и совсем не платить. Отробишь какой-нибудь мелочью. Съездишь зимой в Мозырь за товаром и один раз в Юровичи...

Чернушка поскреб затылок: три рубля — деньги такие выложить! — да еще после в Мозырь и в Юровичи в холодину переться! И все ж, видно, надо взять — очень уж Ганне к лицу!

— Дак дорого ж — страх! Столько и грошей и езды — шутка сказать!

— Ой, какой ты скупой, Тимох! Ну, ладно, еще коечек двадцать скину! Коль уж у тебя расход такой — свадьба!

Что ни скажи, не все платить сразу, какое ни на есть, а облегчение. А там — будь что будет! Пока дай бог свадьбу осилить. Чернушка вытащил из-за пазухи узелок, развернул его, стал считать деньги.

— Ну, меряй уже!

Нохим ловко крутнул рулон, развернул, отмерил деревянным аршином, отрезал. Прежде чем сложить отрезанное, он провел его по своей ладони, чтобы все видели, как блестит-переливается ткань, аккуратно завернул в бумагу.

— Носите на здоровье, мадамазель-дивчина! Будьте счастливая в этой кофте!

С Нохимом уже заговорил другой покупатель, но, когда Чернушка пошел к дверям, торговец прервал разговор, поинтересовался:

— А где ты, Тимох, шить будешь? Такой товар загубить — не шутка!

— Да от, думаю, к Годле...

— Иди к Годле. Чтoб ей на том свете сто тридцать три раза перевернуться каждый день! За ее поганый язык, которым она плетет всякую несусветную чушь про Нохима. Но Нохим не злой, не мстит. Он продает товар и сам посылает людей, чтоб поддержать эту дурную бабу, которая готова ни за что сничтожить своего человека... Так и скажи, что послал сам Нохим!

Годля жила близко, в черной, источенной шашелем хатенке с черной соломенной крышей и маленькими оконцами. Чернушка знал, что хата эта досталась ей от глинищанского бедняка, который подался в примак. Купила она хату года через два после войны, сама, говорили, приглядела, сама сторговалась, сама привезла из Наровли голодных детей вместе с тихим, неприметным мужем своим Элей. Но наибольшее людское любопытство вызывало, слышал Чернушка, диво, которое внесла она в дом: чудной столик на железных ножках, с блестящим колесиком и мудреными шпеньками. Диво это, которое именовали ножной швейной машиной и подобного которому не было не только что в Глинищах, но и в других селах, куда достигали глинищанцы, уже само по себе поставило Годлю на почетное место среди людей. Еще больше уважение это выросло, когда увидели, как ловко Годля управляется

с мудреной своей машиной, какие ладные шьет девочкам юбки и хлопцам рубахи.

Чернушке шить у Годли не доводилось: обходились, слава богу, сами — сами и пряли, и ткали, и шили, — но Годлю хорошо знал. Очень уж выделялась она среди деревенских женщин: быстрая, суетливая, спокойно шагу не ступит, все бегом да бегом. Единственный глаз ее тоже быстрый, все примечает, все понимает. И ко всему еще такая странность, о которой только и разговору во всей округе: всю зиму — и в мороз и в метелицу — без платка, только узел на затылке торчит, и хоть бы простудилась!

Входя в сени, где в темноте залопотали куры, Чернушка пригнул голову: двери низковатые, недолго и гузак на лбу набить.

Годля, целясь в печь, в которой шевелились отсветы огня, подгрребала жар под чугуны. Поставив кочергу в угол, она ответила на Чернушково приветствие, быстро окинула единственным глазом отца и Ганну, скомандовала:

— Соня, дай гостю габуретку! А вы... — она бросила взгляд на Ганну и вдруг крикнула: — Фаня, возьми свои тряпки с услона!

Чернушка снял шапку, но сесть не захотел: не расслаиваться пришел.

— Ничего, постоим... Я тут с дочкой по делу...

— К Годле все приходят не гулять. Кохту пошить или юбку?

Чернушка протянул ей свой сверток, вспомнил про наказ Нохима.

— Нохим сам послал.

— Ой, какой он добрый, — произнесла презрительно Годля. — Сам послал к Годле. Вы слышали? — сверкнула она глазом туда, где на печи сидели дети. — Сам послал ко мне! А куда же еще ему послать, если тут одна Годля и шьет?

Она привычно и ловко осмотрела сатин, спросила, сколько заплатили Нохиму.

— Обдирала, ой обдирала! — покачала она головой. — Обдерет человека, голым, без рубахи, извините, пустит, да еще — спасибо ему скажите! И таким крутелям советская власть волю дала, таким поганым нэпманам! Надо было революцию делать, кровь проливать, чтоб Нохим обдирал людей! — Она бросила взгляд на печь, крикнула: — Эля, там молоко выбегает!

Эля подбежал к печке, засуетился с ухватом около огня. Годля достала из ящичка в машине мерку, но только спросила, какой Ганне фасон хочется, как Чернушка, предупредив Ганнин ответ, предусмотрительно заговорил о плате. Может, еще и не сторгуются, чего ж тогда огород городить! Боялся, что Годля заломит и много и деньгами.

Он заметно смягчился, когда Годля сказала, что может взять мукою или картошкой. Но, хотя Годля брала и недорого, как ему и говорили те, у кого он выводывал загодя, Чернушка все же поторговался. Не потому, что ощущал в этом необходимость, а потому, что было так заведено. Все так делали. Годлю тоже не сердило это пререкание-торг, не впервые такие разговоры вела. Как только согласие было достигнуто, она, словно бы и не спорила совсем, спокойно и деловито принялась ходить вокруг дивчины с меркой.

Хоть обмерка эта выглядела со стороны очень просто, в том, как Годля делала ее, молчаливо и серьезно, как, померив, прищуривала глаз, всматривалась в цифры метра, было что-то таинственное, недоступное. Впечатление необычности дополнялось самой обстановкой в хате, делавшей жилье совсем непохожим на деревенское. Правда, у Годли стол и лавки были такие же, как у всех, самодельные, некрашенные даже, но все-таки у стены стоял, пусть ободранный, обшарпанный, а все же городской красный комод. И кровати были, и на кроватях не тряпье, не одеяла домашние, а перины с красным исподом. Перины — тоже старые, засаленные. Даже картины на стенах висели старые, засиженные мухами...

— Небогато ж, грэц его, и ты живешь, Годля!

— А с чего мне быть богатой?

— Машина своя. Шить умеешь...

— Толку с той машины! — отозвалась Соня, старшая дочка. — Когда в месяц приедет с полволости три человека, то она и рада!

— Соня, помолчи! Не пухнем, как в Наровле, с голоду!

— Не пухнем, потому что огород свой, куры, корова!

— Соня, ты стала слишком умная!

Кончив мерять, Годля осмотрела Ганну озабоченным глазом, словно проверила, не ошиблась ли, обмеряя, в чем-нибудь, и неожиданно сказала:

— В городе женщины лифчики на грудях носят. А у вас, не при мужчинах будь сказано, лучше, чем у которой с лифчиком...

Ганна покраснела, но не удержалась, неуверенно спросила:

— Какие... лихчики?

— Какие?! Конечно, откуда вам знать! Лифчик — это от тут такие, как лучше сказать... такие мешочки из материи на шлеечках...

— А-а... — не поняла Ганна.

— Они, чтоб груди были красивые, как у девчат, чтоб не висели. А то, бывает, у которой грудей и совсем нема, дак она напихает в лифчик ваты. И ходит, как с правдашними грудями!..

— Это слышал я в солдатах, — брезгливо произнес Чернушка. Он плюнул с отвращением: — Распутство!..

Косо взглянул на Ганну: неловко было слышать такой разговор с дочкой, но Годля видеть ничего не хотела.

— Конечно, у нас не диво, что женщина, извините, девушка спрашивает, что такое лифчик. У нас в Глинищах, в Куренях, может, мало кто знает и что такое рейтузы. Даке рейтузы — женские штаны. А их не знают, потому что никто их, не при мужчинах будь сказано, не носит!

— Еще чего не хватало, чтоб бабы в штанах ходили!

— Конечно, нашим глинищанским или куреневским бабам и так хорошо! Будто им совсем не холодно, как городским!

— С распутства придумали это городские! — возражал Чернушка.

— Ой, не скажите, дядька Чернушка! А то я тогда забуду, что у вас тут дочка, и скажу вам такое!.. — Эля, молча прислушивавшийся к беседе, весело засмеялся. Годля деловито спросила у Ганны: — Вам, конечно, надо скоро пошить?

— До субботы чтобы...

— Все просят, чтоб я спешила как на пожар. Всем надо скорей! Ну, хорошо, нехай будет, как вы хотите! До субботы, дак до субботы! В пятницу можете забрать!

Когда вышли на улицу и стали усаживаться на телегу, Чернушка сказал удовлетворенно:

— Ну от, будет у тебя кохта! Не сором будет перед людьми показаться! Хоть Глушак, хоть сам бог!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Перед самой свадьбой пришла в дом Глушака еще одна неприятность: слух, что будут проводить передел земли. Хоть давно знал, что землеупорядочение должно быть, все же надеялся: может, как-нибудь обойдется, минует. И теперь, когда надежде этой приходил конец, очень встревожился.

Из-за этого мысли о свадьбе приутихли, не болела уже так душа из-за баламутного поступка сына — беда другая, куда большая, надвигалась, как туча с градом, грозила его благополучию. Оттого, что беда была столь велика, он, человек трезвого, ясного взгляда, хоть и чуял опасную близость ее, все-таки никак не хотел поверить. Не хотел терять надежду на лучшее.

Тихий, приветливый, острый взглядом и слухом, сновал он в дырявом колушке по селу, прилипал к людским группкам, прислушивался: почти всюду только и было разговору, что про упорядочение земли.

— Все-таки сделают, ребятки? — говорил в кучке куривших на призде сельчан Зайчик. — Думали — дуля, а нá тебе — правда.

— Землемера уже назначили, — сказал Грибок. — Только он другим пока делает. А как только закончит там, дак сразу до нас.

— Да, может, пока он там управится, тем часом тут снег ляжет?..

— Миканор тое ж говорил, да Апейка, та-скать, авторитетно заявил: скоро, — вмешался Андрей Рудый. — Вы, наказал, куреневские гражданы, только управьтеся подготавитьс! А его, следовательно, не заждетесь!

— Апейка — да? — переспросил Дятликов Василь.

— Апейка.

— Апейка — цена копейка! — дурашливо вставил Зайчик, но никто не засмеялся.

Хоня с уважением сказал:

— Не то что копейки, а и рубля мало.

— А какая тут подготовка нужна? — не столько спросил, сколько возразил Василь. — Чего тут готовиться!

— А того, — охотно и наставительно отозвался Андрей Рудый.

Старый Глушак, видя, с какой важностью собрался Рудый объяснять, подумал со злостью: хлебом не корми,

пустобреха, дай ему слово вставить! Старик насторожился, догадка подсказала — услышит что-то неприятное.

— А того! Тут такое дело, абы-как, наперекосяк не сделаешь! Народ весь затронет оно, — следовательно, с навучным подходом сделать нужно! Чтoб комар носу не подточил. Первее переписать всех надо: сколько у кого земли и сколько душ — и рабочих, и детей. Потом — взять на учет всю огулом землю и всех людей. И, та-скать, поглядеть — сколько у кого на рот перепадает!

— Со всех боков проверить! — помог Рудому Грибок.

— Со всех-то со всех боков! Да только ж земля не у всех одинаковая! — накинулся на них Василь.

— Это правильно, — согласился Игнат. — У кого земля нибыто земля, а у кого такой песок, что никакой черт расти не хочет!

— Надо, чтоб они разобрались, какая где земля!

— Ага, чтоб без подману!

— Разберутся! — заверил Хоня.

— Разберутся! Как приедет землемер, дак ему и за-слепит глаза горелкой! — сказал убежденно Василь.

Алеша Губатый попробовал успокоить:

— Миканор сам проверять будет.

— Надо, чтоб Миканор!..

— Того Миканора землемер сорок раз вокруг пальца обведет! Такого грамотея, как Миканор!..

— Не обведет!

Лесник Митя, который прибрел сюда с неразлучным своим ружьем, засмеялся:

— Еще и дельба не началась, а уже готовы загрудки схватиться!

— Добро́ тебе — не пашешь, не сеешь, — позавидовал Грибок.

— Живу. Не плачу.

— Погоди, может, и поплачешь, — отозвался Зайчик.

Алеша уверенно напрозорчил:

— Доберутся и до тебя!

— Нехай добираются! Добрались уже. Только у меня все чисто, как в церкви.

— Докуль это ты будешь шлаться, та-скать, как бездомный! Женка вся извелась с хозяйством, с детьми, шкилет, та-скать, один остался, а ён хоть бы что! Еще хвалится!

— Об моей бабе — не твоя забота!.. Ты от постарайся другой раз в лесу не попадаться, не то как застукаю на шkode, влеку штрафу! Поскулишь...

— А он — с пол-литром! — поддел Хоня.

— Плюю я на его пол-литра!

— Давно это?

Мужики захохотали. Под хохот этот Глушак встал и тихо потопал к своей хате. С виду будто бы спокойный, он весь полнился тревогой, ощущением беды, что надвигалась все неотвратимей. «Поразявлялись! — аж дрожало что-то у него внутри от беспомощности и ненависти. — Не у всех поровну на рот перепадает! Не поровну! Только и знают, что разевать рот на чужое! Заимели б — съели бы враз все. Съели б — да и кричали бы еще: не поровну! Голодранцы вшивые! Трясцы вам, а не земли, саранча ненасытная!»

Он вспомнил, что сказал молодой Дятлик: «Земля не у всех одинакая!» Не одинакая, потому как люди не одинакие. Один гнется день за днем, ухаживает каждую латку, а другой — отлеживается, да и хочет, чтоб добро было! А потом — разявляется, что земля не одинакая!..

Злость была на всех: все, чуял, готовы накинуться, растаскать его землю. Но особенная злость закипала в нем, когда вспоминал Дятлика, который все начал. «Ты купил ее, возделал, чтоб уцепиться, угод ты смердючий?»

От горшка три вершка, а такой завидуший! Еще мох, и тот на бороде расти, видно, не хочет, а вона куда замахнулся! Давно ли, кажись, как рыба немой, жался под масляковым обрезом. Небось, и рот раскрыть боялся, дыхнуть, и то, может, не осмеливался, не то, чтоб подумать что-нибудь насупротив...

Забыл! Посмелел, как побии Маслака! И все посмелели! Разве ж, бывало, отважился бы кто разявить рот на чужое, на его, Глушаково? Жили тихо, по-божески жили, боялись.

Теперь же Грибок, и тот голову поднял. А этот Рудый, пустобрех, дак болтает смело, ровно какой юровичский комиссар. Старый Глушак посожалел: «Эх, кабы был теперь Маслак жив, кабы чуяли его в лесу!..»

Весь день старик недовольно бурчал сам себе, кричал на испуганную жену, на детей.



Беды довелось ждать недолго. Уже на другой день созвали сход и выбрали комиссию, которая должна была проверить заново, правильно ли занесены в списки семьи, количество трудоспособных, детей, а также — сколько в каждом хозяйстве записано земли. Этой комиссии поручили всю землю обмерить — где бы она ни была запахана: на огороде, в поле или на какой-нибудь поляне. Обо всем наказали доложить на следующем сходе.

В полдень комиссия ввалилась к Глушкам. Мужики на лаптях втащили с улицы в хату липучую черную грязь, но только Глушачиха заикнулась было проворчать что-то, как Глушак грозно оборвал ее. Вежливо пригласил непрошенных гостей сесть на диван, пододвинул табурет.

Никто не сел — даже, считай уже свояк, Чернушка, что неловко жался позади всех, у дверей. Зато Миканор, вошедший первым и стоявший впереди, вел себя как в своей хате.

— У вас все правильно записано? — спросил он строго, безжалостными голубыми глазами глядя на Глушак.

— А что там записано?

— Глушак... — Миканор повел поцарапанным пальцем по бумаге, будто не помнил. — Едоков — семеро... Какие это у вас семеро едоков?

— Семеро? Семеро и есть. Коли записано, то, значит, есть... Я. Кулина, женка, значит, сын Евхим, Степан, дочка Антося...

— Какая Антося?

— Какая? Дочка. Одна у меня дочка, Антося.

— Дак она ж замужем. Замужем — не считается.

— Чего это не считается? Как все одно уже не моя. — Глушак, не тая обиды, даже нарочно показывая ее, просипел: — Одну отдал, другая от-от придет в хату.

Глушак кивнул на Чернушку, который тихо откликнулся:

— Сговор был...

— А списки, дядько, складали еще весной. Как это вы загадя рассчитали?

Миканор глянул строго:

— Ну, нехай — пять уже есть, а где еще двое?

— Шестая, говорил уже, Антося. — Глушак еле сдерживал злобу. — Все одно, ровно бы она и не дитя мне.

Ровно бы не я вырастил ее. — Он жалобно заморгал глазами, чуть не заплакал. Вздыхнул. — А остатний — Иван...

— Иван — не ваш. Иван — батрак.

— Мне батька его, — опять твердо заговорил Глушак, — препоручил как сына! Значит, он мне все одно как сын!

— Что Степан, что он — одинакие дети, — помогла Глушачиха.

— Вы, тетко, не говорите! — Миканор заявил как окончательное: — Ивана, не секрет, мы запишем за батрака!

— Да какой же он батрак?

— А может, он не робит на вас?! Кого вы обдурить хотите?

— Я не обдуриваю. А как он кормится при мне, то и робить какую-нито мелочь должен? Как и все дети!

— Робит на вас, на чужого человека. Значит, батрак. — Миканор не дал сказать Глушаку. — А вы знаете, какой закон о батраках?

Глушака прорвало:

— Дак коли вы говорите, что он — батрак, то мне его не надо! Нехай хоть сегодня бежит до дому. Обойдусь!

— Дак тогда должны рассчитаться за все дни, что он робил у вас. По закону.

— Я уже рассчитался.

— А может, не совсем? — кольнул Хоня.

— Совсем. Еще и лишне. — Глушак загоревал: — Сколько я скормил ему да сколько перевез батьке его в Мокуть, то он и половины того не заробил!..

— Ничего, дядько. Мы, не секрет, все проверим и сделаем по закону! — Миканор строго спросил: — А земля у вас правильно записана?

— Земля?

— Земля.

— Власть наделяла, власть и записывала, — сказал безразлично, а сам подумал со злостью, с тревогой: «От она, беда!..»

— Вы на власть не кивайте. Вы говорите прямо.

— Я и говорю. Налогу начислили — тьму. Дохнуть нема как. Копейки не наскребешь, коли нужда какая...

— Уже сбеднели!.. — не выдержал Хоня.

— Я не сбеднел! Кабы от богаче был, дак до начальства подался б, добился б — нехай бы сняли хоть часть. По справедливости дали...

— Значится, вся земля записана?

— Что ты, ей-богу, прилип, как лист: вся, вся? Была б еще земля как земля, что столько обиды через нее.

— Вам, дядько, грех жаловаться. Кабы у всех была такая!

— У других была б лучше, когда б гнулися на ей столько, ни дня ни ночи не видя. Это от людской кривоты сдается, что мне лучшая попалась. От зависти. Людской глаз — завистливый!..

— А все-таки вы, дядько Глушак, так и не сказали прямо: все или не все записано?

— Сказал уже...

— Значит — все?

— Все.

— Мы проверим!

— Проверяйте!

Глушак побагровел от злости. Но все же сдержался, перемог себя, даже принял добродушный вид.

— От же недоверчивые стали все. Хоть оно, сказать, так и надо — верить по нынешним временам особенно нельзя. Всякого теперь наплодилось... Ну, да и, сказать, — выбранные люди, комиссия!.. — Старик виновато покачал головой, упрекнул себя: — А я, гнилой пень, так рассипелся. Да еще и перед своим сватом. И Миканор, сказать, первый раз в хату заглянул!

Глушак затоптался около стола:

— Посидим от трохи! Где кому сподобней, тот там нехай и садится! Уважить сватов да молодых перед свадьбой! Не погребуйте, сказать!..

Он хотел уже бежать за угощением, но Миканор преклонно заявил:

— Не надо! Не время!

— Время, Миканорко! Самое время. Свадьба скоро, сговор сгуляли.

— Попробуй, что мы тут гостям готовим, — засуетилась Глушачиха. — И все нехай попробуют!

— Чтоб, значит, после знать, идти или не идти к нам в гости. — Глушак заметил: некоторые мужчины были не прочь посидеть. Оживился: — А времени завсегда будет мало. Управитесь еще. Дело — не волк...

— Волк не волк. Некогда, дядько!

— Дак же ради свадьбы, ради молодых. Почитаючи свата моего, выбранного в комиссию!..

— Все одно! — Не сказав и слова Глушаку на прощанье, Миканор скомандовал всем: — Пошли! — и сам первый решительно застучал сапогами в сенцы.

Чернушка, который с самого прихода жался к дверям, пропустил всех, помялся минуту неловко, комкая в руках шапку. Виновато подал руку:

— И мне, тем часом, надо...

Когда он вышел вслед за Миканором, Глушак стал топтаться в куту, ковыряться на припечке, но все делал бестолково, бесцельно: переставлял, бросал. Сам не знал, что делает, в груди кипела обида и лютая злость — на Дометикова сморкача, что забрал себе силу, на всех, кто помогал тому, на то, что гнулся перед ними, как батрак, на беспомощность свою перед ними. «Проверим!.. Проверим!..» — гнала душу страшная угроза...

Жена, собиравшая со стола нетронутое угощенье, не то посожалела, не то попрекнула:

— Надо было сразу посадить, как вошли...

Глушак бросил с раздражением:

— Сразу, не сразу — один черт.

— Как взяли б горелки чарку да селедку, дак помягчели б, быть не может!..

— «Помягчели б»! Эта зараза помягчает!

— Все-таки — люди ж! И Дометиков этот — человек...

— Нашла человека! — Глушак не мог больше терпеть, крикнул люто: — Не втыкай носа, куда не надо!

Тут произошло такое, чего Глушак никак не ожидал. Деликатный, пусть себе и никудышный, не пригодный для хозяйства, но все же тихий, послушный сын Степан, который, пока не ушли незваные гости, не промолвил и слова, неожиданно вскочил от окна, стал около матери, приказал старику:

— Не кричите!

Глушак заморгал глазами.

— Ч-что?

— Не кричите, говорю! На матку! — повторил тихо, строго Степан.

— Т-ты это — мне? Т-ты м-не — указ?!!

— Сами виноваты! Дак... не срывайте на других!..

— Я — виноватый!!! Я!!! Ты это — батьке?

— А если — правда!

— Правда?!! — Глушак налился кровью. — Молчи! Щенок!!!

— Нехай — щенок!.. А только... нужна вам та земля, что около леса? Все мало! Все мало!

— Ты знаешь — сколько мне земли надо!.. Да когда б не та земля, когда б батька не понадрывал на ей жилы, ты б давно с голоду опух!

— Хватило б и без ее... А коли уж прибрали себе, дак нехай бы признались, что не вся записана. — Степан задел самое больное: — Все одно найдут!

Глушак затрясся от гнева:

— Замолчи ты! Вошь! Гнида!

— Можете называть как вам охота. А только...

Глушак не стерпел — не помня себя от бешенства, напившего всего его горячей лютой злобой, ударил сына по лицу. Тот не шевельнулся, слова не сказал, только что-то недоброе, непримиримое вспыхнуло в незнакомом — взрослом и самостоятельном — взгляде. Но Глушак не хотел видеть этого: бешеная злоба, ожесточение против сына, осмелившегося перечить, попрекать, учить его, нестерпимо жаждали утolenия.

— Гнида! Сморкач! Выучился!.. Выучился на отцовом хлебе! Выучился да и поблагодарил!.. Черта! Хватит! Навоз будешь возить! За скотиной смотреть! Может, трохи поменьше станет ума!

Никакие угрозы словно бы и не доходили до Степана. Он не только не пал ниц, но и виду не подал, что жалеет о том, что потерял враз. Глушаку не пришлось познать облегчения. Не было утolenия гневу.

— За батрака будешь робить! Он поедет до дому, а ты — за него. Навоз возить! Кормить свиней!..

Старый Глушак еще долго шипел, грозился, злобно снуя из угла в угол, пока не охрип, не обессилел совсем. Тогда он свалился на колени, поднял дряблoе, бледное, с глазами мученика, лицо навстречу богу, что смотрел с золоченой иконы. С надеждой зашевелил сухими губами, зашептал...

Но и после молитвы покоя на душе не было. Где бы ни ходил, чтобы ни делал — помнил, ни на миг не забывал: там, на его поле, ходят, меряют. Как хозяева, топчут его поле, его добро. Распоряжаются, не спросясь. Злость жгла, особенно когда вспоминал стычку с сыном, молчаливую фигуру жены, которая слова не сказала этому сморкачу!..

За ужином Евхим сказал:

— Перемеряли все наше...

— Чтоб им на том свете!.. — засипел старый Глушак, но не досказал, зорко глянул на Евхима: — Говорил с кем?

— С тестем. С Чернушкой. Три десятины нашли, говорит, неписанные...

— Нашли! Когда лежала земля век вечный без пользы, дак охоты никому не было до ее! А как взял, распахал, обсеял — дак на тебе!.. Вырежут теперь?

— Вырежут. Да и, видно, не три десятины, а все пять.

— Пять?! Это — почему? Если там всего три было?!

— И без того, нашли, лишек у нас был.

— Лишек! Лишек! Всё — лишек! Может, и сам я уже лишек!.. Чтоб им на том свете! На горячих угольях!

Злость сменялась обидою, ярость — слабостью. Тогда чувствовал себя несчастным, одиноким, беспомощным, едва удерживался, чтобы не пожаловаться. Да и перед кем было юни распускать: перед глупой старухой, перед этим сопляком, что попереk батьки пошел? После ужина, когда Степан подался на улицу, а старуха вышла в хлев, сказал Евхиму:

— Пораззявились... Кабы могли — съели б...

— Съесть не съедят, — спокойно, рассудительно промолвил Евхим, — а за ляжку схватят, может, и оторвут ку сок...

— Живое рвут клыками... Бога у них нет.

Евхим снова сказал рассудительно, как старший:

— Ничего не сделаете им, тато...

— Воли богато дали им!

— Власть им потакает...

— Осмелели. — Опять охватывала старика ярость, теснила грудь. — Осмелели, как Маслак пропал. Жив был бы — небось сидели б, как лягушки в корягах!.. — Искренне, горько вздохнул: — Эх, пропал человек! Будто и не было!..

Помолчали. Потом Евхим странно сказал:

— А может, он и не пропал?

— Кто?

— Он, Маслак...

Глушак так и рванулся навстречу, дохнул горячо в лицо Евхиму:

— Слышно что?

— Будет слышно...

— Как это — будет слышно?

— А так — возьмет да опять объявится!

— Дак это — неправда? — Глушак был настолько раздосадован, что готов был озлиться.

— А коли неправда — дак что? Не было правды, дак неправда поможет. Абы — помогла...

Умно говорит! Досада сразу прошла. Глушак забеспокоился:

— А что, как не поверят?

— Поверят... Один не поверит, второй, а богато других и поверят...

— Дай бог, чтоб поверили. Притихли б трохи!.. — Глушак подумал вслух. — Это правда: есть он, Маслак, нема его — абы про его слышали, знали. А будут знать, он и будет все одно как живой...

Евхим сказал:

— И тень его пужать будет. Абы она шевелилась!..

— Ага. Это все правда.

Ночью Глушак долго не мог заснуть. Разбередили душу воспоминания — как год за годом, можно сказать, всю жизнь гнул, жилы надрывал ради своей земли, которую ненасытная голытьба за здорово живешь хочет порезать. Сколько хлебнул горя, муки принял, чтоб только занять тот клочок, что возле цагельни. Все добро свое, приданое все женино посвозил на ярмарку, копя деньги... Долю свою, можно сказать, поломал через это: из-за приданого ведь женился на нескладехе этой, Лантуховой Кулине. Гнилого Лантуха, батьку ее, взвалил себе на шею, только бы прибавить к своим золотые лантуховские червонцы. Его обманули — золота оказалось много меньше, чем думалось. Только удачно продав лантуховскую полоску, сумел, наконец, купить ту желанную пустошь, что около цагельни. Все делал, жил, можно сказать, ради той земельки, потом, кровью своей удобрил ее!..

А та, что возле сажалки, разве легко досталась?

Один бог знает, сколько попередал добра всякого тому Дятлику одноногому, пока не стал хозяином на его полоске. Сколько потом еще наговоров перенес, сколько от людей обиды перетерпел ни за что!..

Все-таки, как оно ни было в ту пору, на бога грех роптать: непогано все шло тогда, в начале войны с германцами. И от службы господь уберег. Правая рука не действо-

вала как надо, но, по всему, не посмотрели б на нее, кабы не тот добрый бочонок масла доктору.

Нет, как кого, а его в ту войну бог миловал, самое время было жить! У других неуправка, а ему удача сама в руки шла! Вскоре после того как прибрал земельку одиногого, прихватил еще малость у Дятликовой вдовы. Дятлиха не очень торговалась: ей все равно ни к чему была та земля, без мужика, без работника... Тогда завидующий ее сопляк, Василь, только то и знал, что тянуть за подол да ныть: есть хочу! Он дал сопливому, когда тот немного подрос, хлеба, заработок дал — взял вроде за пастушка, хотя какой там из него пастух был!.. Спас, можно сказать, а он, войдя в силу, как отблагодарил?

Все после пошло насмарку, все, что до этого как будто бы сулило счастье. За что, за какие грехи, боже всемогущий, наслал ты на землю страшную эту кару, напасть, поветрие это — революцию, которая все перевернула, перепутала, дала волю разным голодранцам ненасытным! Как и не бывало, ушла твердая почва из-под ног, не стало надежности в жизни! То бойся, как бы после пана, ошавши, и на тебя не накинулись, как бы не ухватили клыками, то бойся немца-пришельца, то дурня-поляка остерегайся. Немец-то еще туда-сюда, с немцем ужиться можно бы, а вот балаховцы — те, как припекли их большевики, сами же чуть не кокнули его, когда хотел коня уберечь от обоза. Не посмотрели, что не голодранец, а хояин...

Земля под ногами была — как трясина, колебалась, готова была в любой миг прорваться, поглотить его вместе со всем добром. Насмотревшись всякой всячины, набравшись страху, уже не слишком доверялся, когда немного поутихло, стало налаживаться. Но год от году шло ровней, и вздохнуть уже можно было, стал снова вроде бы поправляться, входить в силу, веселей глядеть вокруг, как на тебе — за что, боже! — эта беда, новый передел земли!

Снова вспомнился приход комиссии — как держался и что говорил Миканор — и злость закипела горячей. Землю наживать не смей, даже к той, что лежит без пользы, под сорняком и травой, не прикасайся! Потому что лишек будет! Потому что у других меньше! Потому что другим, голытьбе гулящей, глаза колет!.. Мало того что к земле, дак еще и к батраку прицепились! Батрака жалеют! Батраку плати, как пану! Того и гляди, работать за него, за батрака, прикажут!.. Все глаза колет, во все влезть



готовы с копытами! Ровно не ты, а они — в твоём дворе, на твоей земле — паны-хозяева, голодранцы вшивые!.. Особливо этот — зараза конопатая, Дометиков приبلуда! Без него, может, и тихо было б, дак нет же — принесло, заразу, приперло, гада подколодного! Чтоб ему и на том и на этом свете, как гадюке на рожне, корчиться!..

Мысли о земле, о Миканоре мешались с мыслями о сыновьях, о жене, и тогда снова оживали обида и гнев на Степана. Давно заметил, что надежды большой на младшего возлагать нечего, недотепа, негодящий для хозяйства, но думал, утешал себя, что, может, с науки его польза будет. Аж вот тебе, дождался пользы. Выучился сынок, нечего сказать! Обучился — на батьку гаркать!.. И то подумать: можно ли было верить теперешним учителям, которые только на большевиков и стараются, бога не признают. Дождешься от них, чтоб они чему доброму выучили!.. Но не только их тут вина. Много, видать, и женка виновата — жалела, пестовала, нянчила. И донянчилась — вырастила яблочко!

А Евхим, слава богу, вроде бы за ум взялся. Не спутайся он с этой голодранкой, дак можно было б только радоваться, на такое дитя глядя. Но, может, и так еще выправится — может, эта хвороба — любовь — не высушит все мозги... Глушак подумал, что хвороба — любовь — передалась сыну не иначе как от матери — у той смолоду, да и потом в голове много дури всякой водилось.

Думал про эту дурь не так горячо, как раньше, новые беды глушили давнюю обиду, к тому же после разговора с Евхимом в этот вечер в душе был какой-то просвет. Евхим один понимал его, один был надёжным пособником. «С Маслаком это непогано придумано. Как припугнуть хорошенько, дак, глядишь, все штучки конопатого и сойдут на нет». Злость на Миканора все же не отпускала, жгла, не утихая: «Гад, ну и гад!.. И все гады — голь не насытная!..»

#### 4

Евхим так ловко пустил поголоску, что к полудню не было в Куренях человека, который не знал бы, что Маслак — живой и здоровый — объявился снова и что в любой подходящий момент может оказаться рядом. Знали в Куренях, что Маслак опять не один, а с бандой, о силе которой ходили самые разные слухи. Одни говорили, что в ней

полтора десятка, другие — что больше сотни бандитов. В том, что Маслак и впрямь объявился, почти никто не сомневался, очень уж хорошо помнился он всем с того недавнего времени, когда его вот так же не все видели, но все чувствовали. К тому же теперь называли села, около которых он побывал, и людей, которые нарвались на него, причем рассказывали до мелочей обо всех обстоятельствах этих встреч.

Задолго до полудня слушок с Сорокою вернулся назад в Глушакову хату.

— Жив! — загадочно, с удивлением сказала Сорока. — Не берет ни хвороба, ни сгуба! Не сломало ему ни зуба!

Глушак просипел равнодушно:

— Про что это ты?

— Век не угадать, не знаючи!

— Тьфу! — Глушак даже обиделся: — Нашла с кем придуриваться! Я тебе что, сопляк какой, чтоб в загадки играть?

— Век не угадал бы! Хоть бы и хотел!

— Угадал бы не угадал, а не для меня эта глупость!

— Глупость! Это он — глупость? — Сорока таинственно, важно помолчала. — Маслак?!

— Что?

У Глушака глаза полезли на лоб, так поразился человек. Перекрестился со страху. Не поверил.

— Т-ты что плетешь?

— От, как перед богом! — поклялась Сорока.

— Брешешь?

— Правда чистая!

Глушак так и осел на топчан, до того растерялся. Пожалел от души:

— Выкрутился, волкодав! — Бросив острый взгляд на Сороку, подумал, что скоро полсела будет знать, как он был напуган и поражен. Зло упрекнул: — Что ж ты звонишь так, голова! Еще и смешки тебе!..

— А тебе чего бояться? — лстиво успокоила Сорока. — Ты в чем-нибудь перед ним виноват?

— А то не? Не проклинал его, гада?.. Да хоть бы и не виноватый был, он что, спрашивать станет — виноват ай нет?

— Спрашивать не станет. Сам знает, какой Игнат виноват! Слышал, говорят, про Миканорчика и про других, наказывал, чтоб ждали! От, видать, Грибок трясется! Он,

Маслак этот, коли сказал, что придет, дак нехай хоть земля провалится, а он — объявится.

— Опять рыскать будет в потемках под окнами, волкодав! — Глушак спохватился, тревожно огляделся. — Надо ж такую хворобу на нашу голову.

— И не говори! — поддакнула Сорока.

Испортилось настроение у Глушака. Настолько испортилось, что не мог с собой совладать, недовольно упрекнул Сороку:

— От же, приволокла новость! Ровно покойника внесла!..

Хмурый, расстроенный и попрощался, даже и не помыслил угостить чем-либо. По всему было видно: выбила из колен, встревожила человека!

Только когда Сорока скрылась из глаз, Глушак дал волю радости, не мог натешиться Евхимом: «Молодец, одно слово — молодец! Батьково семя!» В радости затеплилась надежда: «Теперь, может, поостынут эти — устроители».

С таким настроением веселей было возиться в гумне, на гуменнике. Тревога, правда, не оставляла: не мог не видеть, что все впереди тонет еще в неопределенности, что неизвестно, как оно все обернется. Ныло сердце. Но хотя покоя и не было, не было и прежней беспомощности. Был хоть какой-то просвет, жила, подбадривала душу надежда: услышав про Маслака, может, не осмелятся, побоятся на рожон переть. Может, и конопатый этот обьянет, одумается: что ни говори, никому неохота слишком рисковать головой. А не одумается он, дак другие остерегутся — все равно ему одному не развернуться никак...

Все же на душе было тревожно. Хотелось что-то делать, предпринимать что-то такое, чтоб угроза беды отошла, совсем оставила в покое.

Услыхал, как тюкает за двумя гумнами цеп на Зайчиковом току, подался на эти звуки. Молотил сам Зайчик: под латаной рубахой ходили худые подвижные лопатки, било цепа то, поблескивая, легко вскидывалось, то падало на снопы.

Глушак хориными острыми глазками окинул почти пустые отгородки, отметил на всякий случай: кончает молотить. Мигом припомнил, сколько Зайчик свез возов, подумал: дольше, чем до рождества, на своем ему не продержаться!..

— Помогай бог! — просипел, улучив тихую минуту

Зайчик опустил цеп, оглянулся.

— И вам — того же! — Он повесил цеп на сучок сохи, поскреб спину, сел на отгородку. — Помогает он, лихо ему, невпопад. Нет того, чтоб с житом помочь, дак он одно — детей подбавляет...

Глушак перекрестился, укорил строго:

— Грех говорить такое!

— А коли правда?

У Зайчика была, что называется, полна хата детей, сам Зайчик, когда спрашивали, сколько их у него, отшучивался, что никак сосчитать не может. Считал-считал, да и сбился — одни на свет появляются, других бог прибирает. Глушак же и впрямь не знал, сколько у Зайчика детей: не то восемь, не то девять, да четверо или пятеро на кладбище...

— Слышно, женка опять скоро рассыплется? — сказал Глушак, давно заметивший, что Зайчиха на сносях.

— Скоро. Да как бы, черт ее дери, двумя за раз не стрельнула! Что-то уж больно толстая, как Денисова колода!

— Двумя так двумя. Не с хаты, а в хату. Прибыток! — попытался пошутить Глушак.

— Прибыток! Это такой прибыток, что все — дай да дай! С этим прибытком — бери торбу да по миру иди! — Поскреб спину, пожаловался: — Нет того, чтоб хлебу уродить, дак подкинул еще одного!.. Слеповат он стал, верно, на стрости, бог-то, — не видит, что делает!

Глушак строго покрутил головой:

— От он и карает тебя за такие твои разговоры. Он, бог, тоже не любит, когда не уважают!

— Сам меня такого сотворил, сам и не любит? — Зайчику, видно, хотелось подразнить Глушака. — Я разве виноватый, что он таким языком меня наделил?

— Язык языком, а зачем голову он на плечи дал? Чтоб думать, что к чему! А не молоть этим языком всякую глупость! — Глушак хорошо помнил, что пришел сюда не для свары, сказал мирно:

— На крестины позовешь?

— Коли охота есть, дак хоть крестным! — Зайчик засмеялся. Думал, подковырнул старика, но тот просипел просто, как равный:

— Можно и крестным...

Зайчик бросил быстрый взгляд: Глушак не шутил. Насмешник уловил, что в этом неожиданном согласии что-то таится, но виду не подал. Скрыл догадку за шуткой:

— А крестную в пару попрошу — молодую, ядреную!

— Стар я для молодой.

— Э, это еще поглядеть надо!..

Глушак перевел разговор на другое:

— Забыл ты что-то дорогу в мою хату.

— Забыл. — Зайчик подумал: ошибки нет — что-то намеревается плести старый паук. Сказал весело: — В свою хату — и то другой раз дорогу забываю, как выпью...

Зайчик, как и многие куреневцы, выпить, погулять любил. Глушак весело, в тон Зайчику, попросил:

— Заходи, посидим, сказать... Поговорим...

— Да можно и поговорить, когда будет на что поглядеть!

— Может, накапаю какую слезину!

Вечером Зайчик сидел в сумраке Глушаковой хаты подвыпивший, чавкал соленым огурцом, все никак не мог взять в толк, зачем понадобился хитрому старику.

— И у меня этот год, сказать, не уродило. Пустое выросло. Так, только солома с виду, а колосье — пустое.

— Не скажите, дядько Халимон. Кабы у меня такое выросло, как у вас, дак я и в ус бы не дул! Был бы кум королю!

— Не уродило, пустое. Как перед богом... — Глушак подвинулся ближе к Зайчику, положил руку на плечо ему: — Да, когда на то пошло, дак и ты, Иван, сказать, не очень бедуй. Если что — чем-нибудь поддержу.

— Не знаю, дядько, как вас благодарить за вашу ласку...

— А нема чего благодарить. Я от доброй души поддержку! Раз ты меня поддерживаешь, дак и я тебя поддержу! Кто мне, тому и я — всей душой!..

Бедностью принужденный хитрить, сообразительный от природы, Зайчик сразу учуял, что разговор вот-вот подойдет к тому местечку, где спрятана тайна. Он насторожился, подобрался, чтобы не дать маху, не просчитаться.

— Я к вам, дядько, и сам завсегда, можно сказать, с дорогой душой!..

— От же и я, Иванко! От, когда на то, хоть теперь возьми куса два сала! Чтобы борщ, сказать, а то бульён какой закрасить. А то ж, верно, нема уже своего?

— Где там! Заколол весной поросю — с котенка! — дак и оглянуться не успел. Из-под рук моих похватали. Как хищная стая, рвали!

— Известно, сказать, — голодная детвора.

Глушак потопал в клетушку, вынес сало, положил перед Зайчиком на стол.

— Возьми от пока что. А там — увидим...

— Как вас и благодарить — не знаю! Кабы я богатый был, король какой, то отдал бы за вашу доброту — все царство!

— Не надо мне ничего. — Уже не таился, пожаловался: — И то, что есть, некоторым глаза колет. Кабы могли, самого б, сказать, съели б...

— Есть такие! Кабы дали волю, глотки поперегрызли б один одному. — Зайчик уже знал, что тревожило старика. — От же, лихо ему, земельное это устройство выдумали. — Он презрительно плюнул. — Нужно оно тут, как собаке рога, а корове чоботы. Нема чего делать кое-кому! Выгуляется на городской воле с какой-нибудь размалеванной пеклеванной молодежи под ручку, булок наестся сколько хочет, дак он и выдумывает. А темное наше болото и радо! Нашим абы злость на ком сорвать!

Он почти не кривил душою: сало-то было прямо перед глазами, подзадоривало. А то, что говорил не так, иначе, чем недавно думал, не свое, — это не только не тревожило, но, пожалуй, и незаметно было самому. Впервые ли подлаживался он под другого!

Глушак уцепился за его слова:

— Это ж, говорят, уже обмеряли всех и сходку собираются созвать.

— Э-э, толку, дядько, с той сходки!

— Не скажи, Иванко! Начальство будто бы какое-то понаехало. А как выступят все да скажут переделить, дак и переделят. Перекроют всю землю наново...

— Это еще, дядько, вилами по воде писано! Слыхал, может, что говорят, — Маслак объявился! Не так-то каждый и осмелится вылазить! Что, как Маслак возьмет да заявится!

— Боятся теперь того Маслака! Будто, сказать, ужа какого! Теперешним временем есть такие, что ни бог, ни черт ему нипочем...

Зайчик смекнул, куда клонит старик.

— А если на то пошло, дядько, дак я первый выйду к столу, к самому начальству, и заявлю — прямо в глаза:

не мутите воду, не тревожьте людей! И езжайте себе назад, пока тихо!

— Смелые мы все, Иванко, по закуткам! А как придет к делу, дак и язык будто присыхает!

— У кого присыхает, а у кого и нет! У меня, дядько, такого не было! Я не то что Криворотому — кому хочешь не побоюсь правду резать!

По тому, как хмельной, запальчивый Зайчик говорил, было видно: не попусту хвалится, не сробеет ни перед кем, но Глушак не поверил. Наливая чарку, сказал, как хвастуну:

— Не вижу, так и не верю!..

Зайчик загорелся еще больше:

— А и увидите, коли на то пошло!

Он решительно опрокинул чарку.

Когда Зайчик, держа под мышкой завернутое в тряпицу сало, зацепив плечом столб, выбрался со двора, Глушак еще долго не ложился спать. Чувствуя, что и его немного пошатывает от водки, стоял перед образами, смотрел в темный угол, шептал молитвы. Шепоту его неожиданно помешал вой собаки. Он узнал, что воет слепая, подумал, что, видно, учуяла волков на болоте. Пес выл, почти не переставая, и Глушак путался — вой сплетался с молитвой, нагоняя тоску. Тоскливое это состояние не прошло и после молитвы, когда, набросив кожушок, выполз на холод, к амбару. Пес больше не выл, стал, скуля, звякая цепью, тереться о ноги. Ни тут, возле амбара, ни с крыльца Глушак не увидел, не ощутил во мраке ничего подозрительного. Тихо, голо было и в стороне болота, и старик подумал о собаке: «С тоски, видать, выла...»

Глушак вернулся в хату, лег рядом со старухой, но почувствовал, что уснет не скоро. Сон не приходил. Забота одолевала. А тут еще в потемках двора тягуче, как по покойнику, опять завыл пес. Словно взбесился волкодав! Под это завывание и текли, кружились в беспокойной Глушковой голове думки. Хотя и верил, что Зайчик может закинуть слово, тревога все же не отпускала: мало толку от Зайчиковой подмоги. «Пралентарият-то пралентарият этот Зайчик. А ѓт кабы начальство поддержало, то совсем иначе повернулось бы все...»

Мысль о том, чтобы заручиться поддержкой начальства, засела занозой, бередила душу. Давно думал об этом, но сдерживала привычная осторожность. Начальство — это тебе не Зайчик, с ним поспешить — не то что людей на-

смешить, а и загубить все недолго. И беды после не обещались...

Потому и кружил коршуном, что нацелился на опасную добычу, и так, и этак высматривал, прикидывал, примерялся. Давно подучил Евхима, чтобы познакомился поближе, набился в приятели Криворотому из сельсовета, сам, можно сказать, почти что влез в компанию. Уже раза три заходил Криворотый, проверял крепость его, глушаковской, самогонки, захмелев, похлопывал дружески Евхима по плечу, да и с ним, старым Глушаком, вел себя как со своим человеком. Даже облобызал однажды по пьяному делу. Смолотили ему задарма жито — волокли молотилку черт знает куда, через гиблое болото, по трясине, можно сказать. И сала добрую торбу жене всучили. Он сам, правда, прикинулся, мол, видеть не видел, но быть того не может, чтоб женщина утерпела, не сказала...

И все-таки нет твердой уверенности, что поддержит. И не только уверенности такой нет, но и черт его знает, что он потом еще может выкинуть! Даже как подступиться к нему, чтобы намекнуть, закинуть словечко, и то думать-гадать надо. Старику вспомнилось, как Криворотый, пьяный в дым, выхвалялся перед Евхимом: «Ты, Глушак, не думай, что раз я пью, то и разум пропиваю! В жизни такого не было, чтоб я пропивал голову з-за этой поскуди! Не было! Я, Глушак, пью, пью, а сам все время кумекаю — что к чему! Смекаю! Не теряю мозгов! На моей работе мозги терять невозможно! Мне не то, что другому: выпил, ну и выпил, ложись хоть под забор. Я — выбранный человек, власть, голову должен держать прямо и знать все время — что к чему! — Криворотый взял Евхима за ворот рубахи, приблизил к нему красное лицо: — Я от сижу с тобою тут, Глушак, пью, и ты мне — товарищ, первый товарищ! А когда я на работе, ты мне — все одно что незнакомый. Я тебя — знать не знаю, ты для меня такой же, как все другие-прочие. Что ты, Глушак, что другой кто — мне все едино! Потому — меня выбрали, я власть, а власть советская ко всем ровная! Это не то, что при царе было: теперь что богатый, что бедный, что брат, что сват — одно — одинакие! И я ко всем — одинакий ко всем — по закону!»

И правда, слышал от людей старый Глушак: ни свату, ни брату поблажки никакой Криворотый не давал. Это и тревожило старика, удерживало от того, чтоб добиваться какой-либо поддержки у неподатливого знакомого. Но выбора не было, идти было больше не к кому. А тут надежда,



хоть и слабая, а все же теплилась, искушала попытаться. Душой чувствовал, что самому и соваться к Криворотому нечего. Если и можно хоть чего-нибудь добиться, то только одному Евхиму, запросто, по-приятельски.

Оттого и не ложился, ждал сына. Когда Евхим, проголодавшийся, жадно накинудся на хлеб, на холодный борщ, просипел:

— Звал ты уже Криворотого на свадьбу?

Евхим, жуя, выдавил:

— Нет.

— Дак, может, завтра сходил бы да сказал...

— Успею. Завтра или послезавтра — все одно.

— Лучше — завтра. — Старик помолчал, прежде чем подступиться к главному. — Будешь звать, то, может, закинул бы слово про землю...

Евхим не ответил, жевал себе, но старик видел, что слов его не пропустил мимо ушей, думает.

— Скажи, как и что: про обмер и что, слышно, обкорнать хотят. И выведай, не помог ли бы он...

— Черта лысого добьешься у него.

— Все одно попробовать надо. А то ж от этой конопатой заразы спасу нема. Съест, если молчать будем!

— Все не съест. Откусить, может, откусит, а там — подавится.

— Может и съест! У этого зубы здоровые и пасть широкая.

— Обломать можно, если слишком ощерится.

— Не очень-то обломишь. Не к тому идет.

— Обломаем! — заверил Евхим, и у старика стало легче на душе: хотя и знал цену словам сына, но как бы поверил, ухватился за эту поддержку.

— А ты все-таки сходи к этому, — сказал напоследок, залезая под одеяло.

— Схожу.

Как и обещал, Глушак-младший на следующий день отправился в сельсовет. Старик едва дождался, пока тот вернется: что бы ни делал, мысли кружили вокруг Евхима — то смутно, недоверчиво надеялся, то отчаивался.

— Ну, что? — встретил Евхима, едва лишь тот ступил во двор.

— Придет, сказал...

По тому, как ответил сын, как недобро повел взглядом, стараясь не встретиться с ним глазами, старый Глушак все

понял. Но так велика и неодолима была тревога за землю, что не выдержал:

— Что про обрезку?

— Ничего.

— Все-таки — сказал что-нибудь?

— Сказал.

— Что?

— Что надо, то и сделаем.

— И опосля — на свадьбу притащится?!

— Придет. Позвали ж!..

— Позвали!..

Старый Корч матюкнулся.

## 5

Давно Глушаку не было так муторно, как в тот вечер, когда собирался на сход о переделе земли... Оно, может, спокойней для души было бы не идти на сход, чтоб не растревлять себя, но как ты не пойдешь, если не кого другого, а тебя самого резать должны. А может, надо будет сказать что-нибудь, заступиться за себя, защититься?

Хоть радости там ждать не приходится, а все же, когда ты будешь у всех на глазах, то, пожалуй, не такие смелые будут, не так будут языку волю давать. Если отсиживаться в хате своей будешь, дрожать, — чего доброго, и совсем утопить могут.

Хочешь не хочешь, а идти надо. Глушак перекрестился, натянул латаный кожушок, нахлобучил побитую молью старую шапку. Увидел, что пола кожуха в заскорузлых белых потеках картофельной похлебки для свиней, но вытирать не стал: не в церковь, не в гости собирается. Да и то подумать: теперь такие приметы в почете, как документ, что свой человек, не дармод...

С картофельными потеками на кожухе, с трухой на воротнике и на шапке и потопал по-стариковски из хаты. Так рассчитал выйти, чтоб не быть на сходе ни первым, ни последним. Припереться первым — подумают, что боишься, осмелеют; последним приползешь — как бы поздно не было. Снюхаются друг с дружкой, сговорятся.

Народу, еще со двора приметил, собралось уже немало. Страх и враждебность шевельнулись в душе, заставили сжаться в комок, приготовиться к опасности. «Сбежались. Выщерились на чужое добро! Только команды ждут!..» Много толпилось курунцев и в сених, — правда, в боль-

шинстве не хозяев, даже не хлопцев и девок взрослых, которым свои гнезда вить в недалеком времени, а так мелюзги всякой, сопливой детворы. «Шпиктакль нашли! Дрючком бы погань эту! Чтоб не смердела!»

В хату тоже набилось немало молодежи, но много было и хозяев. У припечка Прокоп бородатый степенно разговаривал с Чернушкой. Сорока уселась на полатах, толкала в грудь Зайчика, тот весело гоготал. Приперся, известное дело, Андрей Рудый, прилепился к самому столу, к начальству. Глушак вознамерился было пробиться к Прокопу и Чернушке, но они были слишком на виду, а ему, может, ни к чему глаза мозолить. Кто его знает, как там оно пойдет, каково будет сидеть на виду. А если на то пошло, то и так все заметили, что он не где-нибудь, а тут, слышит все и видит. Так что можно и здесь, в уголке, скрючиться и выглядывать.

Вот только близко оказались Хоня и Дятликов Василь: Дятлик как увидел его, Евхимова батьку, взгляд отвел в сторону, конечно же, от злости, с досады, что Евхим отбил Ганну. Насупился, затаил что-то недоброе. «Ишь ты, молодой такой, а тоже — с хванаберией! Тоже — хозяин, дюба сопливая!»

Но если даже не брать в расчет Дятлика, то сидеть, забившись в угол, было не в радость: хоть бы присел кто поблизости, с кем бы можно словом перекинуться, отвести душу. Таил тревогу, потел в колушке, томился, казалось, нескончаемыми ожиданием и одиночеством. Когда протолкался в хату Ларивон и стал, как дуб, возвышаясь над всеми, Глушак обрадовался, хотел окликнуть.

Не окликнул: из-за спины Ларивона вдруг показался из сеней Миканор, за Миканором появился Дубодел. Они обошли Ларивона, протискались мимо Глушака, стали пробираться к столу. Глушак почувствовал, что тревога его растет.

За Дубоделом пробились к столу еще двое незнакомых. «Землемеры, видно», — подумал старик, разглядывая то одного, то другого так, словно хотел угадать свою судьбу. Один был уже немолод, лысоват, в поношенной поддевке, с виду вроде бы и не злой. Но Глушак, который всего насмотрелся и был готов к худшему, подумал убежденно: «Тихий-то он тихий. А только скомандуй, то нож всадит, верно, и не поморщится...» Второй, совсем непохожий на этого, моложавый, с холеным лицом, держался решительно, важно: прежде чем сесть за стол, он, стройный, с во-

енной выправкой, непонятно чему улыбаясь, степенно снял фуражку, военную шинель, поправил сильной рукой тоже военный мундир с большими карманами на груди. Сидя за столом, одного за другим стал разглядывать куреневцев, спокойно, медленно подступил взглядом к Глушаку. Старик втянул голову в плечи, когда глаза военного стали ощупывать его. Взгляд был острый, пронзительный, словно сверлил насквозь, и такой уверенный, что стало не по себе.

«У этого рука не дрогнет. Этот и батьку родного утопит, когда надо, за советскую власть! К этому и не подходи близко, не проси милости. Партийный весь, до ниточки. Сразу видно!» — подумал Глушак, когда военный перевел взгляд на других. Но тут встревожило Глушака странное чувство, будто встречал уже где-то этого человека; и он долго пытался вспомнить, где это было. Однако, как ни старался, вспомнить не мог: случайно, должно быть, видел, мельком. На улице или на дороге — иначе разве забыл бы такого?

Глушак снова поглядел на лысоватого: а этот, может, и правда тихий да добрый. Видать, можно было б попросить осторожно подступиться. Сразу скажешь, что не слишком сладко живется: и поддевочка вон какая, и еды не лишек — щеки аж ввалились. Кабы сделать аккуратно, дак, видно, не отказался бы от ляжки свиной...

Но теперь и думать не думай об этом — лысый и близко не подпустит, если тут этот партийный «до ниточки». Глушак вдруг заподозрил: а может, партийный этот и не землемер вовсе, а какой-нибудь начальник. «Из ГПУ, может, принесло, разнюхать, что и как. Харчева приятель...»

Рассуждая, прикидывая, старик внимательно слушал, что говорил Дубодел. Но, хотя Глушак и не пропускал ни слова, очень многого он, как, впрочем, и другие, не понимал, на многое просто не обращал внимания. Криворотый долго и нудно говорил не о деле, а о политике. Только когда Дубодел перешел к землеустройству, старик настоялся. Дубодел, однако, опять долго плел о том, для чего надо переделывать землю, какая это важная задума — землеустройство и для чего надо перераспределить землю, томил, пугал Глушака туманом неопределенности. Чем больше плел он, тем больше пропадала у Глушака слабая надежда на то, что, может, минует, обойдет его эта беда. Оборвалось в холодную пустоту сердце, когда Дубодел объявил:

— У нас тоже комиссия, какая была выбрана по всем законам на общем сходе деревни Курени, нашла разные факты. А именно — неправильную запись земли сельсовету, что привело в свою очередь до неправильной оплаты налога со стороны этих укрывателей...

— А кто такие эти укрыватели? — не утерпел Андрей Рудый.

— Можно и назвать, хотя избранный старшина этой комиссии Дятел Миканор в своем рапорте после меня все доложить сам. Это такие особы, как Черняк Прокоп, Дятел Змитро...

Он, вероятно, назвал бы всех, но лесник Митя, услышав свою фамилию, оборвал его, заявил во весь голос:

— Это все — ер-рунда!

Дубодел возмутился:

— Что — ерунда?!

— Все! — с пьяной непреклонностью разъяснил Митя. В хате засмеялись, загоготали.

— Неправильно записано, — откликнулся не очень уверенно, больше для виду, Прокоп.

— Вы, дядько, помолчали б! — не сдержался, вскочил Миканор, готовый ринуться защищать свою честь.

Дубодел подал ему знак сесть.

— От тут гражданин вашей деревни Курени Дятел Змитро, — снова заговорил он солидно, тем же тоном руководителя и оратора, — заявляет...

— Заявлял и буду заявлять — ерунда!

В хате опять засмеялись. Краска выступила на лице Дубодела:

— Гражданин Дятел Змитро, вам слова не давали. Прошу не перебивать. Тем более что своими выкриками вы некультурно замахиваетесь не только на сельсовет, но и на выбранный всем народом вашего села орган — комиссию!..

— Плевал я на твою комиссию! — Митя рвался к столу, но его удерживали. Он кипел: — Комиссия! Тоже мне — указ! Начальство!.. Я в лесу — сам начальство! Над всеми елками и палками. Я сею — где хочу! И не суйся!

— Л-ладно! — зловеще сказал Дубодел. — Мы тебе покажем, куды можно и куды невозможно соваться выбранной комиссией и сельсовету, который есть полная власть на местах!..

— Покажи! — Митя не слушал ничьих уговоров. Душила обида: — Всякое лезет в начальство! А того не допетрит, что у меня свой закон, своя власть!

— Все свое у тебя! Правильно! — с хохотом поддел Хоня.

Смех и веселый галдеж, которые становились все громче, подогревали Митю. Неизвестно, чем бы кончилась эта перепалка, если бы из-за стола не встал незнакомец в военном кителе. Спокойно, твердо приказал:

— Прошу вывести пьяного!

Митю окружили, взяли под руки, под веселые смешки Хони силком вывели из хаты. Подождав, пока перестанут шуметь, человек одернул китель и уже удивительно незлобивым голосом объявил:

— Если есть какие-нибудь претензии к комиссии по землеустройству или если такие претензии появятся завтра, — как бы подчеркнул последние слова незнакомец, — прошу предъявить их либо комиссии, либо мне лично.

— А кто ты такой? — крикнула ему Сорока.

Человек с улыбочкой посмотрел на Дубодела: ваша вина, что не догадались познакомиться вовремя.

Дубодел не столько назвал, сколько упрекнул Сороку в невежестве:

— Товарищ Зубрич это! Специальный уполномоченный из волости.

Зубрич кивком головы поблагодарил его, снова обратился ко всем:

— Таким образом, товарищи, со всеми жалобами, которые возникнут, прошу обращаться ко мне. Мы их, не откладывая, тут же на месте вместе с вами проверим и решим, как нам быть дальше.

Зубрич добродушно улыбнулся. Эта улыбочка Зубрича старого Глушак не только не успокаивала, а наоборот, настораживала: даже когда улыбался уполномоченный из волости, чувствовал старик, что этот человек всегда себе на уме. «Смеется, а усмешка будто бы не его, — подумал Глушак. — Чужая будто».

Другим же Зубрич, заметно было, пришелся по душе. В хате после его слов стоял одобрительный гул: правильно, по-справедливому надо разбираться, вместе с людьми.

Уверенная строгость Зубрича к Мите и обходительность с людьми вызвала уважение к нему и доверие. Зубрич вдруг стал живой надеждой куреневцев.

Он понял это, легко, незаметно стал руководить собранием сам, объявил, что слово имеет председатель комиссии по землеустройству Дятел Миканор. Миканор вышел из-за стола, и Дубоделу, который так и не договорил, волей-неволей пришлось сесть.

— Дак от, тут дядько Прокоп, — сразу пошел в наступление Миканор, — сказал, что комиссия неправильно вымеряла...

— Не я один. Митя вон больше говорил... — прогудел, оправдываясь, Прокоп.

— Митя — он пьяный и вышел из хаты.

— Ну дак что, коли вышел?

— А то, что о пьяном, да еще коли нема его — и говорить нечего!

— Дак коли он, Прокоп, выйдет — и про него говорить не будут? — вмешалась Сорока.

— Ага, правда! — обрадовался поддержке Прокоп.

Он, заметно было, хотел только отступить с достоинством, уклониться от ударов. Но Миканора это распалило еще больше.

— Вы не крутите, дядько!

— Чего ты насел на меня! — вдруг вспылил Прокоп. Шея его налилась кровью.

— И правда, прицепился! — опять поддержала Прокопа Сорока.

Глушак мысленно был на стороне Прокопа, но сдержался, не вступился за него: скажешь слово наперекор этой конопатой заразе, только беды лишней накличешь! А тут и без того неведомо, что будет и как самому отбиться придется.

«Ах ты — зараза! От же зараза, скажи ты! — подумал о Миканоре. — И такой нахальный! Про Маслака даже и не думает, неужели и опаска не взяла, что он может появиться?» — Глушак при этой мысли почувствовал себя слабым, беспомощным...

— Я на вас не наседаю! — не оставлял Прокопа Миканор. — А только я не люблю неправды! Не люблю, когда обманывают, да и других же потом виноватят!

— А он и не виноватит никого — ни черта, ни бога! — заступилась Сорока.

— Не виновачу!..

— Дак не дурите голову, что неправильно померяли. Вы полторы десятины не вписали!

— А что ему — самому вписать надо было? — подал голос Ларивон, и Глушак согласно кивнул.

Тут в спор вмешался Хоня, подпустил шпильку:

— Попросить надо было кого-нибудь — кто грамотный!

Миканор окинул взглядом хату, кого-то отыскивая.

— От тут еще один забылся померить свою землю. — Из одних этих слов Глушак понял: о нем сейчас говорить будет. — Недомерил без четырех саженой три десятины.

— Кто это? — вылез Андрей Рудый.

— Это — Глушак Халимон.

Лицо, плечи, руки Глушака налились чем-то тяжелым, как горячая глина, но он пересилил злобу, сказал спокойно:

— Ну, дак спасибо за это, что перемерил.

— Нема за что, — съехидничал Миканор.

— Ну, постарался ж, походил всюду. Сам я, может, век бы не собрался померять!

— Вы и семью сосчитать не собрались, лишнего человека вписали.

— И за это спасибо, что помог.

Глушак запахнул полы кожуха, и лицо его опять стало сонным: не поймешь, то ли слушает человек, то ли дремлет. Но внутри у него все кипело: «Перемерил! Сосчитал! Некому перемерить тебя по спине дубиной! Да сосчитать твои ребрины, тряща шелудивая!»

Он от злости даже голоса Миканора слышать не мог, но и не слушать нельзя было. Если трезво рассуждать, самое важное было еще впереди: сколько же постановят отрезать у него? То, что этот конопатый выскочка ткнул его в грязь, еще полбеда: стыд не дым, грязь можно и утереть с лица. Придет, наконец, такой час, что и самого приبلуду этого ткнуть в грязь можно будет, да так, что не оботрется он, не отмоеся. А земля — это земля, не дым, не сором — режут ее, все равно что сердце режут...

— Дак от, чтоб не было такого, — бередили Глушака Миканоровы слова, — такого, что у одного поле с версту, а у другого — как баба сядет, дак юбкой все и закроет, — надо кое-кому подбавить земли. А кой у кого, не секрет, конечно, отрезать. Чтоб не было у одного густо, а у другого — пусто.

Эти слова Миканора отозвались в хате довольным гономом.

«Рады чужого добра урвать, орава гулящая!»



Где только научился хитрить Дометиков приبلуда: начал разговор про передел не с того, у кого надо поубавить земли, а с того, кому и сколько подбавить надо. Ровно как приманивал, звал к себе. И это ему, видно было, удалось: хотя и с опаской, не высываясь слишком, люди слушали его одобрительно.

Глушак невольно отметил, что больше полдесятины «прирезали» Зайчику, почти столько же Дятликову Василию. У этого сопляка, как услышал, сколько прибавят, аж глаза загорелись. Словно бы уже принимал землю, прикидывал, хороша ли, не мало ли! «Ну и хищная дюба!»

«И Зайчик — хоть бы слово! Поманили обещанкой, он и готов, перекинулся!»

Но мысли эти были почти как посторонние в сравнении с тем недобрый и хмурый, что грозно, страшно приблизилось: сколько же отрежут?!

— Эту землю нам никто с неба не скинет! — говорил Миканор. — Не бог, не царь и не герой, как говорится в нашей песне «Интернационал». Царя, не секрет, давно уже нема, и кости погнили. Как уже доказано, бога и не было никогда. А герой теперь — это народ. Народ и устанавливает теперь порядок. Народ и делит землю так, чтоб было справедливо... Дак от и мы должны обрезать землю у тех, у кого лишне.

Глушак аж зубы стиснул от этих слов: «У кого лишне!» Еле сдержался, чтобы не закричать: видел, знал, что все равно никто не поддержит. «Лишне! Чтоб тебе за это лишнее весь век на том свете гореть!»

— Дак от, у таких людей мы должны отрезать. — Голос Миканора как бы окреп. Решительно, непреклонно объявил: — От Глушака Халимона — пять десятин!..

— Ого, распорядился! — первым откликнулся Евхим, стоявший где-то в сенях.

Старого Глушака душил гнев. С трудом осилил задышку, разъяренно выдавил:

— Ты д-давал мне их, эт-ти п-пять десятин?! Что распоряжаешься!

— Это — решение комиссии.

— Комиссия твоя дала нам эту землю? — крикнул Евхим.

— Советская власть дала! — заявил Зубрич.

Глушак, взбешенный, хотел матюкнуться, но вовремя сдержался. Евхим выбрался из сеней, протолкался на се-

редину хаты — готов был, казалось, ринуться к столу в бой.

— Советская власть дала, — заговорил, закричал он, — дак она дала ее, эту землю, не на то, чтобы вы ее отбирали!

— А мы и не отбираем! Мы обрезаем лишнее!

— А ты спросил у меня, лишняя она или нет? — дрожа, просипел Миканору старик.

— Мы и так знаем.

— Как же это ты дознался?

— Из советского закону.

— Знаешь ты их, эти законы, грамотей! — стоял, брызгал слюною старик.

— Ничего! — промолвил уверенно и вместе с тем с угрозой Евхим. — На вас тоже управа есть!

Сильный, широкоплечий, в кепке, лихо сдвинутой на ухо, он повернулся спиной к столу и твердо, решительно, тая какую-то угрожающую уверенность, снова двинулся к сениям. Старый Глушак запахнул кожих и, чувствуя, что все внутри еще дрожит от гнева и ярости, сел. Заметил, как тихо стало в хате. Если и нужно было давиться, париться тут в этой духоте, то хотя бы ради этой минуты. Все пускай видят, что он так просто не поддастся, не позволит так легко обобрать себя!

«Евхим — молодец: хорошо сказал! И насчет управы вовремя заметил! Вон как остыли многие — все-таки боятся! — У Глушака опять ожила надежда: — Может быть, не осмелятся брать, откажутся... Сорвется все, может?...»

Миканор собрался говорить снова, но его опередил Зайчик.

— Есть тут неясность одна!

— Что за неясность?

— А такая. Ты, Миканорка, видать, просветлишь ее. Как председатель. С землей этой заодно, Миканорка, коней не прирежут?

Дурашливый вопрос этот вызвал смешок, особенно среди молодежи, у которой Зайчик-штукарь был не абы в каком почете. Смеялись не только тому, что он уже сказал, но загодя и тому, что он еще выкинет: знали, что Зайчик вымудрил что-то!

Миканор, думая о перебранке с Глушаком, не сразу понял странный вопрос и смешок.

— Про что это вы, дядько?

— А от спрашиваю: коней тем, которым прирезают землю, не прирежут заодно?

Под смехок Зайчик разъяснил:

— Кому, мол, коня. Кому — полконя. Кому — четверть. Кому — хвост, а кому — гриву...

— Дятел, тут тебе не вечорки! — строго заметил ему Дубодел.

— Дак я и сам вижу, что не вечорки!

— Видишь, дак нечего кривляться. Серьезное дело разбираем. Это тебе не комедия!

— А кто сказал, что кумедия! Кумедия — это ѓт вся болботня про землю, про передел. — Зайчик не дал Дубоделу прервать себя: — Что мне в той земле, коли я, коня не имея, все одно обробить ее не смогу!..

Глушак осторожно, но удовлетворенно кивнул. «Сдержал свое слово Зайчик, заступился! И тоже — вовремя!» Он подумал, что надо будет как-то отблагодарить за это, чтобы подохотить на другой раз. Тут же, правда, отметил про себя: в словах Зайчика прозвучало не столько желание помочь ему, сколько горечь за свое невезение. Но Глушак готов был простить это. Все-таки помог...

— Чем я засевать ее буду, эту вашу землю, когда дети с весны от дубовой коры пухнут? — светлые Зайчиковы глаза по очереди пробежали по Миканору, Дубоделу, Зубричу.

— Дак чтоб не пухли они, земли надо, следовательно, — поучающе вставил Андрей Рудый.

— Это мне напоминает байку про того дурня, что купил золотую — как у пана — миску. Сел рядышком с ней и думает, что она сама кормить будет! Она, земля, что ко-рова — дашь ей, накормишь, дак и она тебе даст! А что мне земля эта, коли с нее — дуля!

В хате согласно загомонили. Глушак подумал: «Рады были б, чтоб до земельки да и коней додали и семян! — Пожелал злорадно: — Трясцы вам, а не коней. Подавитесь вы этой землею, полынью да лебедой засевая!»

Радости, однако, не было: вошел в душу непокой — как бы, упаси бог, свору эту на коней и на семена его не напустили!

Испугавшись, посмотрел на Зайчика иначе, с подозрением: помощник, называется, — одной рукой вроде бы вытаскивает, а другой — похоже — утопить готов!

— Дядько правильно говорит, — согласился с Зайчиком Миканор. — С одной землей, не секрет, из беды не выкрутишься. Дак от же я и говорю, чтоб одолеть лихо это, гуртом собираться надо, всей громадой воевать. Товари-

щество организовать на все село, семена, какие у кого найдутся, в кучу собрать! Собрать гроши со всех и вместе коней купить.

Миканор говорил горячо, убежденно, но слушало его большинство людей или недоверчиво, или даже недоброжелательно. Чем больше он говорил, тем больше рос недовольный шум. Послышались выкрики:

— Снова — эти товарищества!.. Как не надоест, ей-богу!

— Греблю не кончили, а еще — товарищество!

— От, скажи ты, прицепились!

— Придет Маслак — он «организует» тебе товарищество! — крикнул кто-то.

— На том свете закаешься!

Мысль о Маслаке, должно быть, все время, пока шло собрание, жила меж людей, потому что при упоминании о бандите все задвигались, заговорили только о нем.

Миканор попытался пересилить шум.

— Все это с товариществом только потому страшно, что еще не попробовали. А как попробуем, поживем, дак, кабы кто и захотел, потом от товарищества не оторвал бы! — Он опередил протестующие голоса: — Что касасемо Маслака — дак тут, не секрет, чья-то выдумка!

— Зажурился кто-то без Маслака! — звонким голосом поддержал Миканора Хоня.

— Оживить захотелось! — прибавил Алеша Губатый.

— Брехня! — заявил и Дубодел.

— От как заявится сюды — покажет брехню!

— Чикаться не будет!

Чернушка попросил:

— Нехай представитель от волости разъяснит про Маслака!

Зубрич встал, усмехнулся:

— Я просто удивлен тем, какое внимание вы уделяете какому-то пигмею! Какому-то отщепенцу, который скрывается в болоте!

— Нету тут никого! — заявил опять Дубодел. — Сплетни все это, что Маслак жив!

— Я тоже думаю, что сплетни. Да если бы и правда была, если б и впрямь он действовал тут, никаких оснований для паники, для страха все равно нет. Он — один, их — ничтожные единицы, а вас — легион. За вас вся страна, армия, народ. Есть кому за вас заступиться!

— Заступиться-то заступятся...

— Да пока эта заступка придет!..

— И раньше заступники были!

— От, ей-богу, переполохались все! — с насмешкой сказал Хоня.

— Одного духу маслаковского!

— Значит, в волости, та-скать, ничего неизвестно про эту особу, про Маслака и его отряд? — хотел добиться ясности Рудый.

— Я, откровенно говоря, не интересовался этими сведениями. Но думаю, что если бы они были, то меня предупредили бы — однако, вернувшись, я проверю их и, если будет нужно, обещаю принять соответствующие меры...

— Пока вы эти меры примете, дак он справдит свою угрозу!

— Сказал, накормит землей — и накормит!

— Неужели вы, — добродушно удивился Зубрич, — настолько испугались тени какого-то Маслака, что от землеустройства, от того, чтобы навести порядок в пользовании землей, готовы отказаться?

— Коли из-за этого куска земли губить себя, то нехай ее черт берет!

— Дружину организовать надо! — крикнул кто-то из хлопцев. — Не сунулся б!

— А сунулся б, дак дали бы по зубам!

Зубрич похвалил хлопцев, потом мягко, с укоряющей улыбкой заговорил о том, что лишь бы как относиться к землеустройству, как некоторые тут, на собрании, — это показывать полную свою несознательность, неуважение к государственным интересам. Государство давно хочет навести порядок в землепользовании, ликвидировать анархию и самоуправство, и долг каждого честного гражданина — всемерно помогать осуществлению этой великой цели.

Глушака аж злость взяла: так хлопотал за государство волостной уполномоченный.

«Все только и знает, что государство да государственные интересы!.. Батьку родного для государства своего не помилует!»

Говорил уполномоченный легко, красиво: видно было, разумный, ученый человек. Слушали его внимательно, с доверием, но чем больше слушали, тем больше становились молчаливыми, настороженными к этому не столько мужицкому, сколько государственному делу — землеустройству. И как ни хвалил уполномоченный его и государ-

ство, настороженность не только не проходила, а росла. Понятно, тут были во многом виноваты слухи про Маслака, но и приезжий, заметил Глушак, тоже дал крен: перестарался, заступаясь за государственные интересы. Как ни силился, не столько поправил дело, сколько охладил, затуманил людей.

«Старательный ты слишком,— подумал Глушак.— Распинаешься за свою советскую власть, а того не знаешь, как к мужику подступиться, чем подкупить...»

— Все-таки, видать, с этим переделом обождать надо,— промолвил рассудительно Чернушка, и у Глушака снова ожила надежда.

— Не ждать, а кончать надо!— крикнул Хоня.

Ему не довелось сказать больше ни слова, потому что неожиданно вскочил нетерпеливый, разъяренный Василь.

— Ждать, ждать! Все — ждать!— Обида, отчаяние и ярость кипели в его крике.— Докуль же все это будет! Ждать да ждать! Все всюду давно уже сделали это! А мы — все ждать! Дак докуль мы будем маяться?!

— Кому-кому, а тебе можно было б и помолчать,— заявил Ларивон.— Забыл, как водил?

— Забыл не забыл, а только... Докуда же это все будет? Кому хорошо — земля как земля! А у меня — песок один! Полынь и та расти не хочет! Ничего!

— А у меня — дак лучше?— поддержал его один голос.

— А у меня?

— Правду сказал!

— Ну от! — как бы обрадовался Василь. Он весь горел, готов был, казалось, растерзать каждого, кто станет поперек. Поддержка людей придавала ему смелости, и уже не отчаяние, не обида, а возмущение слышалось в его голосе: — Докуль же это мы будем гнуться на одном песке! А другие будут себе, как паны, роскошествовать! Это что — так надо? Это — по советским законам?

В хате закивали головами, заговорили одобрительно. Многие слушали с удивлением: первый раз видели Василя таким, слышали такого на людях. Глушака распирала злоба: чувствовал — снова надежда рушится...

— Нехай кто как хочет думает, а только, по-моему, надо, чтобы поровну всем было! Чтoб и у нас была земля как земля, а не песок!— Люди опять зашумели, и он сбился. Хотел было сесть, но выпрямился, тихо, решительно заявил: — Как кто, а я от земли не отказываюсь!

Глушак видел, как горят глаза у хлопца и после того, как он замолчал, сел. Старик аж задышался от гнева, от бессилия: немногих за свою жизнь он ненавидел так, как этого мальчишку, щенка этого ненасытного. «От, гаденыш, нема на тебя кола!» — думал о Дятлике.

Никакой надежды на то, что все обойдется, теперь не было, и лютая ненависть его смешивалась с болью...

После того как Миканор дочитал, сколько у кого найдено лишней земли, споров о том, когда начинать передел, уже не было. Почти все сразу согласились: завтра.

Уполномоченный от волости объявил, что слово имеет землемер.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Для Василя эти дни тоже были полны тревоги. Было ее много до собрания, жила она, билась в нем на собрании, с нею же ушел он и домой, неся в себе целую бурю сомнений, беспокойства, недоверия.

Тревога, сначала смутная, неясная, смешанная с радостью, с надеждами на лучшее, вспыхнула в нем, когда он увидел, что комиссия пошла по хатам. Радуюсь тому, что желанный передел все же будет, гадая, сколько перепадет ему земли, он вместе с тем волновался, как бы не обошли его, не обхитрили и не обделили. И на людей, выбранных в комиссию, он смотрел с ожиданием и опаской, как бы гадая, что они присудят ему. Среди этих людей наибольшее беспокойство внушал ему батька Ганны, который теперь, казалось Василию, быть того не может, чтоб не стал заступаться за Корчей, свояков своих, подрывать Василевы шансы на удачу...

Комиссия не обминула Василевой хаты, перемерила и его поле. Василь сам говорил, и они записывали, сколько у него земли и какая семья, шагал рядом, когда перемеривали полосу. В те дни, как никогда, тянуло его подружиться с Миканором, и не было дня, чтобы Василь раз, а то и два не заглянул к своему соседу. Но Миканор дома сидел теперь редко, и приходилось поневоле разговаривать в одном старом Дометиком, от которого не было никакого проку. Правда, и встреча с Миканором ничего не давала: Миканор как-то заважничал, что-то таил в себе, не выка-

зывая большого дружелюбия. Только и дознался Василь, что кое у кого нашли излишки, что ему должны прирезать с полдесятины, но что это будут за полдесятины — земля или пустошь — так и не узнал. У Миканора на все выпытывания был один ответ: сход соберется, комиссия обсудит — и Василь видел, что на какую-то особую благожелательность надеяться нечего. Гадая, какой стороной повернется к нему судьба, приученный ждать худшего, он про себя не раз, не два недобрым словом поминал Миканора.

Злорадно прислушивался Василь к разговорам, что особенно много земли должны отрезать у Глушаков. Некоторые говорили, что должны укоротить глушаковское поле не меньше, чем наполовину, другие — что даже больше. Были и такие разговоры, что если уж отрезать, то лучше было бы, чтобы отрезали не лишь бы какую землю, а ту, возле цагельни. Правда, потом поползли слухи, что опять объявился Маслак, грозился кормить землей всех, кто до нее слишком жадный, и разговоры о переделе притихли.

Конечно, и ребенку любому было ясно, что хотя люди теперь и меньше говорили о переделе, думали, наверное, еще больше. Думал и Василь. Слухи про Маслака, которые напоминали ему ту, не такую уж давнюю, страшную ночь, конечно же, пугали хлопца больше, чем кого другого. Он и сейчас, казалось, ощущал спиной прикосновение бандитского обреза, и теперь, при одном воспоминании, холодело сердце... И все же надежда на землю, ставшая такой близкой, не хотела умирать, точила и точила его. Страх и надежда мешались в душе, боролись друг с другом, то заставляли молчать, таиться, то переполняли хлопца отчаянной смелостью, отвагой, и он был готов на все.

Такое смирение и бунтарство, страх и отвага боролись в нем особенно сильно тогда, когда он сидел на собрании, следил, как то приближается, то отступает его счастье. Он поначалу и не думал высказываться — надеялся, что и без него обойдется, но вдруг трясина, показалось, расступилась и под ним. Он почувствовал, что гибнет. Надежды ни на кого не было. Надо было спастись, воевать за свою жизнь самому. И он вскочил, ринулся в бой. Закричал, не помня себя, не боясь ничего...

Теперь он шел по темной улице, месил куруневскую грязь и помаленьку остывал на сыром, холодном ветру



с болота. Неподалеку брели люди, слышался разговор, но он не присоединился ни к кому и ничего не слышал, жил своим волнением, своей заботой. Было тревожно оттого, что вот не удержался, выскочил против Маслака, и неизвестно, что теперь будет. Но ни страх, ни раскаяние не брали, крепла в душе упрямая непреклонность и решимость.

«Ну и нехай, нехай грозятся! Что ж мне — от земли самому отрекаться! Так можно и ни с чем остаться, если бояться всего! Нехай еще сами подумают, как бы их кто земель не накормил!..» В эту минуту не только Миканор и другие куреневцы, но и Харчев с Шабетой вспоминались без обиды не как недоброжелатели, а как союзники. «И свободно, может быть, что «накормят» маслачков. Харчев, видно, только и ждет, выслеживает где-нибудь. Нехай только сунутся!..»

Рядом очутился Игнат, Хадоськин батька, пошел в ногу.

— Богато еще молотить?

— Да уж скоро. Может, с копу какую...

— И мне небогато. Легко этот год...

— Ага. Не тяжко...

Дальше шагали молча, но Василь чувствовал, что человек не так себе подошел, держится рядом не так себе — считается с ним, уважает. Видно, за смелость сегодняшнюю, за то, что не побоялся, высказал правду перед всеми!

Когда Игнат свернул на свой двор, у Василя осталась от этого согласного дружеского молчания хорошая, добрая радость.

Дома чадила, трещала лучина, и возле припечка возился в безрукавке дед Денис. Василь видел его на собрании и не знал, каким образом старик управился вернуться раньше: должно быть, не добыл до конца.

— От и герой наш! — удовлетворенно сказал дед. Он весело приказал матери: — Дай-ка чего поесть!

Поставив миску с рассолом и чугунок с картошкой, мать присела на лавку и долго смотрела на Василя полными тревоги и жалости глазами.

— Ну, чего вы! — не выдержал, неласково буркнул Василь. — Все одно как не видели век!

— Боязно мне, сыночек. На что тебе было выставляться?

— А что было, тем часом, не рыпаться, коли все молчали, как воды в рот набравши? — одобрил Василя дед.

— Все одно. Как бы, упаси бог, поганого чего не вышло!

— От, ей-богу! — Василь, осердясь, готов был бросить ложку. — Вечно вы!

— А ты не кипи! — строго глянул на него дед. — На то она и матка, чтоб за дитя бояться!.. А ты, — он упрекнул уже мать, — лезешь со своим стоном не в пору, поесть не дашь!

Уже когда легли, дед Денис сказал впотьмах с печи:

— Этого старого Корча аж трясушка взяла, когда ты говорил. Разорвал бы, кабы мог! Не попадайся теперь ему либо Евхиму! Но ты, тем часом, не бойся! Не очень-то и уступать надо! И никому уступать не надо! Никто за тебя не заступится, если не сам. Дак нехай, тем часом, знают, что и у тебя зубы есть!

Помолчал немного, повозился на печи, устраиваясь: должно быть, лежанка припекала. Словно прочитал Василевы думы, когда посоветовал:

— И завтра, тем часом, не дремли. Как будут делить, скажи — абы какой земли не хочу! Чтоб человеческую уделили, потребуй, одним словом! Не уступай!

## 2

Василь проснулся рано, до первых петухов. В хате все еще спали, только Володька на печи что-то бормотал во сне. Это бормотание, должно быть, и разбудило Василя. Он уже готов был опять задремать, как сонную безмятежность его вдруг пронзило воспоминание-тревога: сегодня! Сегодня должно начаться!..

Едва осознал это, как покоя словно и не бывало. Вспомнились споры на собрании, страх, что отложат передел, вспомнились, закружились, обожгли снова горячие слова, что вырвались у него на собрании. Опять словно говорил, кричал, нападал на тех, кто опасениями, трусостью едва не сорвал передел, заступался за себя, за свои полдесятины. «Добро вам говорить, когда есть с чего прокормиться: вдосталь земли, и такой, что ни кинь в нее, дак вырастет... А как мне, на одном песке, на пустоши этой? Как?!» С этими думами-обидами снова переплетались мысли о Маслаковых угрозах, но и теперь страху не поддавался: «Сами нехай не очень вылазят, коли хотят целыми быть, змеюки болотные!»

О чем бы ни вспоминал, рядом, ни на минуту не оставляя, жила в нем, тешила и бередила душу дума о земле. До вчерашнего дня он только мечтал о ней, а теперь она была чуть ли не у него в руках. И не горсточка, не малость какая — больше полдесятины! Если бы повезло при дележе да по-божески кусок отвалили, плодородный — это же все равно что враз разбогатеть!

Не впервые упрасивал, молил про себя: ту бы землицу, что возле цагельни, ту, что у Корчей отрежут!

Мечтал, а сам распалял себя, предрекал уверенно, словно знал наперед: «Ага, жди, так тебе и дадут ее! Увидишь, как свои уши! Много там дурней таких в комиссии и серед тех, что около отираются, чтоб такой ласый кусок отдать кому другому!» Он почти воочию видел, как этот — такой желанный, давным-давно облюбленный — кусок переходит в чьи-то другие ловкие, хитрые руки. «На ласый кусок ловцов тут хоть отбавляй. И не оглянешься, как выхватят из-под носа! Из кармана и то, если б спрятал, ловцам этим вытащить — раз плюнуть!»

Тревожась, полный злости на удачливых ловцов, из-за которых никогда не избыть недоли, Василь повторял слова дедова наставления, оно еще больше распаляло его, придавало смелости: «Не уступай! Нехай знают, что и у тебя зубы есть!»

Легко сказать: не уступай! Василь готов был разозлиться на деда Дениса: пусть бы сам попробовал не уступить, живя с такими людьми!

И все же Василь не хотел и не мог уступать: очень уж лакомым был этот кусок у цагельни! Очень уж обидно было бы упустить добро такое, позволить, чтобы завладел им кто-то другой.

Оно же так близко, добро это. Почти в руках. Только бы не проморгать, не отдать его другим. Самому схватить раньше! Не ожидая, покуда кто из комиссии заграбастает. Вдруг похолодел: а может, пока он рассуждает попусту, тот кусок кто-нибудь уже и заграбастал! Не одному же ему постановили дать землю! «Встал от затемно и — захватил! И ждет только, когда подойдут другие — чтоб показать!»

«А чего там — приедет с плугом, вспашет — и хозяин уже! И никто ему ничего не сделает!»

Василя так встревожила эта мысль, что он не мог уже лежать. Вскочил и стал быстро одеваться. Не подумал даже, что может разбудить мать или деда — не до того было. Но

никто и не проснулся. Им и заботы мало, что в эту минуту кто-то, может быть, из-под рук выхватил их богатство!

На дворе, черном и тихом, только шелестел по соломенной стрехе, булькал по невидимым лужам дождь. Тихо было и во всем селе, ни один огонек не желтил темноту. Но Василия не успокоила эта тишина: хитрые ловцы обделывают свои дела тишком. Не такой он дурень, чтобы поверить, что если на селе вроде бы тихо, то все спят.

Оскальзываясь на мокрой дорожке, Василь пробрался огородами к гуменнику, без колебаний двинулся в шелестящую черноту дождя. Он то шел, то трусил рысцой, мысли, как оводы, одолевали, убеждали: запоздал, проворонил, заняли уже. Захватил кто-то. Захватил — и ничего ему никто не сделает. Будет себе паном над таким добром...

Душу его теснила зависть к этому неизвестному, который так обвел его. Не просто зависть, а зависть враждебная, она все крепла в нем, становилась злее. А как же иначе — чуть не из рук вырвал, хапуга! Кому же, как не Василию, должен принадлежать этот кусок, давным-давно присмотренный, облюбленный, взлелеянный в мыслях? Еще никто и думать ничего не думал, когда Василь выбрал его. И вот — выхватили, считай, прямо из рук, и никто не восстановит справедливость, никто не сгонит хапугу, сразу эту: по закону, скажут, забрал — на собрании, мол, все слышали, что должны прирезать. От, господи, люди! Чего только не натерпишься, живя с такими!

Хотя было темно, еще издавлекa уловил: на Глушаковом поле пусто, спокойно. Никого вроде бы нет. Он, однако, не поверил: убавив шаг, настороженно, внимательно прищелкнул взглядом соседние загоны, прошел по мокрой поуже до края полосы, вернулся. На душе стало легче: никого не было!

Он какое-то время стоял тут, полнясь радостью, — земля не была занята, свободная была. Он мог забрать ее, стать хозяином, владельцем ее. Тут, среди поля, среди тьмы, наедине со своими мечтами, которые сейчас ничто не сдерживало, в счастливый миг померещилось ему, что не только может, но что уже стал хозяином и владельцем желанной этой земли, всего, что таила она под мокрым жнивьем, во тьме.

Все же Василь был человеком, который обычно хорошо чувствовал реальную действительность, он очень быстро пришел в себя и в эту счастливую минуту. Стало неудобно,

темно и заботно, радость мгновенно погасла, как будто ее и не было. И уже словно бы не было земли этой чудесной и всего того добра, что она сулила. Он потащился обратно с таким чувством, словно ему пообещали, даже дали поддержать сокровище, но только для того, чтобы посмеяться,— вдруг выхватили, обманули, ограбили. Но он не хотел быть ограбленным, не хотел и не мог: даже самой малости не любил упускать Василь, если она попадала ему в руки.

И теперь мысли его неотступно возвращались к земле, которой он, пусть в мечтах, но владел какое-то мгновение. Почему же она должна принадлежать кому-то, а не ему, если никто так не жаждал ее, если никому на свете она так не нужна? Да и по закону разве не ему она принадлежит? Разве не объявили на собрании во всеуслышание, что больше чем полдесятины должны прирезать?

Почему же она должна достаться кому-то другому, а не ему?

Но и так можно подумать: впрямь ли нужно сидеть сложа руки и ждать, что там вымудрят эти в комиссии, которым самим неймется отхватить кусок пожирнее? И почему это кто-то обязан за него выбирать, словно он сам слепой, дурной, выбрать не может?

На минуту припомнилось, как лежал на соломе в юрвической клетушке,— крохотное оконце вверху, грозный Шабета, неприступный Харчев,— стало не по себе: как бы снова не прицепились? Но земля у цагельни так манила, так бередила душу непокоем — не ускользнула бы из рук,— что страх отступал, глож: не прицепятся. Василь говорил себе: «Помнишь, что сказал Апейка, освобождая из-под стражи: «Хотите, чтобы за вас все делали, а сами и за себя постоять не хотите!» И хотя — Василь хорошо знал — Апейка говорил о другом, все же, припомнив эти слова, окончательно успокоился...

«Дед правильно сказал: не надо уступать! Будешь уступать — век будешь в дураках! Век будешь с голоду зубами щелкать да голым телом светить!..»

В темноте, на мокром сером небе обозначились черные покатые стрехи — прислушиваясь, вглядываясь во тьму, Василь прошел между гумнами. В селе по-прежнему не было видно ни одного огонька, не слышно было ни одного голоса, но хлопцу все же стало тревожно. Охватило предчувствие опасности.

Но он не поддался страху, не остановился. В душе была твердая решимость: он займет, запашет землю возле Глинища, аккуратно столько, сколько выделено. Запашет, пока не спохватился никто из комиссии. А как запашет — пусть посмеют провести! Хочешь не хочешь, а дадут! Быть не может, чтоб не дали!..

### 3

Добравшись до своего двора, в хату, черную, молчаливую, как и все хаты на селе, не пошел, а сразу направился под поветь, выволок плуг. Тихо заскрипели ворота хлева; ласково потрепав по шее, вывел послушного Гуза, стал запрягать. Отворил уже было ворота, за которыми шла дорога на гуменик, как вдруг поблизости увидел тень. Мать.

«Вечно она, когда не надо!»

— Где ты был? — хриплым со сна голосом спросила она. Василь промолчал. — Ты куда это?

— Да от... Гуза повожу. Застоялся...

— А плуг зачем?

«От пристала! Как Шабета. Все ей знать непременно!»

— Там трохи... осталось... Сладонь...

— Дак ночью зачем? — Она, кажется, не поверила ему. Почувствовала что-то странное.

— Не допахал надясь...

— Дак днем что — невозможно?

— Днем, днем! Скоро уже и день!..

— И не светает еще.

— Покуда доеду да побуду трохи...

— Не езд! — попросила она. Василь услышал в ее голосе тревогу. На миг в душу его проникло сомнение: а может, и правда не ездить? — Днем поедешь, — добавила она.

Василь вдруг вскипел.

— Днем! Днем! — Он взял вожжи. — Прилипла!

— Не вздумай, упаси бог, чего поганого! Со света сживут!

— Сам знаю.

— Смотри, Василько! Уж и так наплакалась!

— От еще!..

Василь вывел коня за ворота. И до гуменика и особенно в поле Гуз плелся нехотя, ему явно не нравилось,

что вытащили из тепла в такую рань, гонят в темноте под дождем. Его, как пьяного, время от времени водило в стороны. «Спит, падла, никак не проснется! — злился Василь. — Жрать дак подавай ему самое лучшее, а робить дак не разбудишь его!» Злорадно думал хлопец, что, как только разживется копейкой, продаст эту падаль какому-нибудь дурню, купит хоть бы жеребенка.

Злился на коня еще больше оттого, что и сам шел без прежнего пыла. Надо было сорвать злость на ком-то: совсем пропало недавнее нетерпение, улетучилась неизвестно как и куда смелость. В душу забирался бессильный страх, вползала липкая, как болотный туман, боязливость: уже не теньями бесплотными, а грозными недругами вставали в памяти Маслак, Евхим, старый Глушак.

Он глушил малодушие, гнал страх. Но ему было одиноко. Он стоял один перед неизвестностью. Никто не помогал, не поддерживал даже. Потому и брала злость на коня, который только и знает, что жрать да спать. И о матери со злостью думал: нашла время душу бередить! Нет того, чтобы, как другие матери, подохотить, подбодрить... Только и лезет со стонами своими: «Смотри же! Уж и так наплакалась!»

И без того на душе муторно, а тут — хоть бы слово доброе. Как тут не быть злости. На матку, на ковыляку-коня, который даже идти как следует не может!

Но ни одиночество, ни страх, как ни тяжело ложились они на душу, все же не одолели его. Хотя иногда и являлось желание остановиться и, невзирая на все свои недавние, теперь уже присмирившие мечты, повернуть обратно, он шел и шел. Груз тяжких мыслей и чувств вместе с тем укреплял в нем упорство. По горькому своему опыту он не то что знал, а давно считал как бы законом жизни, что, если хочешь чего-то добиться, надо пересиливать слабость, нежелание, страх. Вся жизнь, привык он считать, — это беспокойство, неприятности, тяжесть труда и борьба с бесконечными преградами.

Сердясь на мать, Василь словно брал на подмогу деда Дениса. Правильно говорил дед, подбадривал себя хлопец: нельзя уступать! И он, Василь, не уступит! Не отдаст за здорово живешь добра своего! Только не надо лишних страхов выдумывать! Смелей идти надо, и все будет хорошо!

Изо всех сил Василь заглушал тревогу, подстегивал себя, подбадривал. Но тревога не проходила. Неотступно

шла она с ним до Глушаковой полосы, была в нем, когда он, ощущая внутри недобрый холодок, поставил лемех на Глушаковой меже, когда повел борозду.

Идя за плугом, управляя чепыгами, он в привычной трудовой заботе на время почти успокоился. Но когда стало рассветать, тревога снова заняла. Чем больше светлело, чем шире открывалась даль, тем больше росла и тревога. Она исходила даже от самих борозд, исполосовавших чужое поле, от поступи Гуза, который хоть и медленно, но все тащил и тащил плуг вперед и вперед.

Теперь Василь следил уже не столько за бороздой, сколько за дорогой, за полем в стороне села. Хат почти не было видно за ольшаником возле сажалки, только крыши выглядывали, над ними шевелились, уползали к низким, синеватым тучам дымки. Дымки эти тоже усиливали тревогу. Они словно видели его, указывали на него людям.

До Василя доносился из села визг свиней, мычание коров. Оттого, должно быть, даже вид пустынной дороги, безлюдного поля и ольшаника не успокаивал — поглядывал туда с беспокойством, ждал: вот-вот появятся люди. Когда они зачернели — кучка неторопливых фигур, — холодок тревоги усилился.

Он сделал вид, что не интересуется ими, но почти каждую минуту бросал в их сторону косые взгляды. С меркой идут — значит, мерять выправились. Откуда начнут, куда сперва подадутся? К цагельне, где он ведет круг, или же к лесу, на ту сторону поля? Заметили или не заметили его?

Группка еще издали свернула к лесу. На другое поле пошли, не остановились, не обратили внимания. Но глаза наблюдали — то за этой группкой, то за началом дороги у ольшаника. Не зря поглядывал: вот еще показались из-за ольшаника три фигуры. Медленно плетутся, должно быть, не спешат. Один из них очень высокий, издали видно, двое других едва до плеча ему. Высокий, верно, Ларивон, догадался Василь: а кто же с ним? Может — Евхим там или старик? Фигуры все двигались по дороге, в том же направлении, что и первая группка. Может, свернут, не заметят? Нет, заметили, стали, присматриваются.

Минуту постояли, глядя на него. Потом один стал догонять первую группку, а двое — Василь насторожился — направились прямо к нему. Ларивон и Зайчик. Остановились на краю поля прямо перед ним, ждали...



Не обойти. Хочешь не хочешь, а надо идти. Ну и нехай, он подойдет, виду не подаст, что побаивается! Только вот на всякий случай — если этот дурень Ларивон полезет за своего дружка в драку — подготовиться надо. Чтоб не застал врасплох. Василь изо всех сил стиснул кнутовище — нехай попробует только!

— Здорово, Василь! — весело крикнул Зайчик.

Василь поздоровался с ним, но не остановился.

— Ладным куском тебя наделили! — насмешливо позавидовал Зайчик.

Василь не ответил. Через минуту услышал — его догоняют: по топоту сапог узнал, что это — Ларивон, сильнее стиснул кнутовище.

Ларивон зашагал рядом. Вот-вот размахнется, ударит пудовым кулаком.

— Тебе это — выделили? — спросил, чуть запыхавшись.

Василь опасливо зыркнул на него, промолчал. Упрямо месил свежую землю в борозде.

— Эге! — понял наконец Бугай. — Умник! — Он матюкнулся и отстал.

Дойдя до поворота, Василь увидел — Зайчик подался к тем, которые вымеряли, а Ларивон топает к селу. «К Евхиму!» — догадался Василь, и его снова охватили сомнения, страх. Захотелось бросить загон, землю, которая не так притягивала, как пугала, грозила бедой. Но он не оставлял, шагал и шагал по борозде.

Земля словно не отпускала его. Ноги прилипали к ней, могли ступать только ровной канавкой борозды. Не мог оставить, потому что начало уже было положено. Потому что его уже видели тут, видели, что он сделал. Отступать было некуда, дорога была только вперед.

«Все одно: начал — дак надо до конца!.. Не уступать! — Василь попытался заглушить страх, успокоить себя: — Еще поглядим, чья возьмет! Мало что он прибежит! Нехай попробует согнать, коли постановили обрезать! Нехай попробует сунуться! Увидит!»

#### 4

Василь заметил — люди из села все идут и идут. Некоторые, как и Зайчик с Ларивоном, останавливаются, глядят в его сторону, но потом направляются к тем, что меряют. Там народу все прибывает. Взгляд Василя следит

не столько за ними, сколько за дорогой, за теми, кто появляется из-за ольшаника...

Кто-то сбочил, напрямки быстро шпарит к нему. Это не он, не Евхим. Это — как Василию не узнать издалека! — мать. Не нежность, не радость вызывает она, а досаду: вечно не вовремя! Вечно появится тогда, когда не надо. Узелок в руках — несет поесть. Вспомнила!

Самое время сейчас — рассестся, взять в руки ломоть хлеба да огурец! Аккурат подходящий момент — когда вот-вот чубатый или старый Корча заявятся!

Ближе подошла — побежала. Как на пожар спешит. Споткнулась, чуть не упала. Остановилась, удивленно, растерянно оглядывается. Ровно не видит, не понимает ничего!

— Зачем пришла! — хмуро сказал, придерживая коня.

— Поесть ѓт возьми! Проголодался ж, видно! — ласково подошла к нему мать.

Василь раздраженно оттолкнул протянутый ему узелок. Как малого обмануть хочет! Ублажит, а там начнет свое...

— Уходи! — приказал ей строго. Она не пошевелилась. Тень беспокойства пробежала по ее лицу. Не притворялась больше:

— Сыночек! Что ж это ты? — Василь отвернулся, чтоб не смотреть на нее. Огнем жгло каждое слово: — Наду-мал!.. Чужое! Дознаются ж — беды не оберешься!

В эту минуту издалека заметил: свернул с дороги, идет напрямик еще кто-то. Евхим! В груди у Василя похолодело, показался себе как никогда слабым, одиноким. Злобно оборвал причитания матери:

— Тихо ты! Приперлась!.. Иди домой!

Не слышал уже, плачет или не плачет она. Следил только за Евхимом. Пытался подбодрить себя, вернуть себе смелость. Нехай бежит, нехай! Увидит! Сам не знал, чем грозит, — что Евхим может увидеть. До боли сжимал рукоятки плуга, кнутовище. Кнутовище было его единственным оружием.

Чубатый все ближе, ближе. Уже хорошо заметно: лицо багровое, разъяренное. Ошалел, земли под собой не чувствует... Ноги у Василя противно ослабели, вот-вот подогнутся...

— Василько! — увидев Корча, ужаснулась мать. — Не перечь! Уступи!..

Василь не шелохнулся. Будто не слышал. Не сводил глаз с чубатого, подзадоривал себя: «Нехай бежит, нехай! Увидит!..» Удивлялся: это ж надо, чтоб так ослабели ноги.

Мать неожиданно бросилась навстречу чубатому, крикнула, умолая:

— Евхимко!.. Евхимко! Родненький!.. Родненький!.. Не серчай, дороженький!

Он на бегу толкнул ее так, что она и не охнула — отлетела, упала на бок. Далеко откатился узелок. Чубатый напал на Василя. С ходу рванул за плечо. Василь отпустил плуг.

— Т-ты... ш-што это? — Евхим, задыхаясь, тяжело сопел. Рот злобно кривился, щерился. Того и гляди, пена на губах выступит. — Т-ты ш-што?! — Он угрожающе матюкнулся.

— А ты — что?.. — расхрабрился Василь. Натопырился, как молодой коршунок, готовый ринуться в схватку.

— Ш-што?! — Лицо Глушака еще больше налилось кровью. — Вон! — вдруг бешено, срываясь на визг, закричал он. — Сейчас же!! Чтоб духу твоего смердючего не было!

— Василько! Уступи! — бросилась к Василю мать. Схватила за руку, хотела оттащить. Он вырвал руку. Заявил Глушаку:

— Это еще посмотреть надо — у кого дух смердючий.

— Василько!..

— Ты — угод желторотый, спорить еще? Выметайся вмент! Пока не поздно!

— Василько! Уйди, сыночек!..

Василю было не то чтобы боязно, а страшно. Понимал, что лучше бы послушаться, отступить, но не мог пересилить себя. Самолюбие, злость на Глушака за землю, за Ганну, за все заупрямились, заплотонили его. И виду не подал, что боится.

— Вона! Испужал!..

— Василько, уйди! Не трогай!

— Вот еще! — оттолкнул Василь мать.

— Не уйдешь?.. Н-ну, ладно же!

Василь внимательно следил: вот-вот чубатый набросится, ударит. Он невольно стиснул кулаки. Отталкивая мать, борясь со страхом, пытаясь схитрить, сказал:

— Кто ты такой? Чтоб приказывать?

— Кто? Не узнаешь? Показать, может?

— Ев-химко! — мать бросилась к Глушаку, заслонила сына. — Родненький! Ты — умнее!

Чубатый толкнул ее, бешено закричал Василию:

— Показать? На чью землю всперся?! Чье поле погалишь?!! Не видишь?!! — Евхим схватил Василия за ворот так, что стало трудно дышать. Но Василь глотнул, прохрипел:

— Было... ваше...

— Было?! — Чубатый дернул плечом, отшвырнул Дятлиху, которая вцепилась, словно когтями, старалась оторвать его от сына.

— Было... Теперь — на-ше...

— Ваше?.. Брешешь, гад!! — Евхим что есть силы стиснул Василию ворот, швырнул хлопца так, что тому показалось, будто туловище у него оторвалось от ног. Василь так грохнулся затылком оземь, что в голове загудело.

— Твое? Еще лезть будешь?

— Буду... Не твое!..

— Зверь ты, зверь! Корч проклятый!.. — вцепилась опять в чубатого Дятлиха.

Василь выдохнул злорадно, мстительно:

— Кончилось ваше время, Корчи!.. Хватит!..

Евхим отшвырнул Дятлиху, приказал яростно:

— Молчи!.. Прочь, щенок! Покуда цел!

— Плев-вать мне! — Василь встал на карачки, пытаясь подняться.

Евхим ринулся на него.

— Плевать? — Жестокий удар снова свалил Василия на жнивье. Показалось, что сломана шея. — Не уйдешь?

— Гад ты, гад! — налетела коршунихой мать, вцепилась в рыжий чуб, стала в беспамятстве рвать, мотать его. Это спасло Василия. Улучив момент, он вскочил, с кнутовищем, о котором только теперь вспомнил, тяжело пошел на Глушака. В это время чубатый изловчился, ударил мать коленом в живот. Она охнула, скрючилась от боли, осела. Василь и Евхим встретились лицом к лицу. Глушак опередил, сильно ударил в челюсть, но Василь устоял. Глушак ловко увернулся, и кнутовище Василия едва задело его плечо.

Боль в челюсти, во рту, во всей затуманенной голове, неудача придали Василию ярости. Обида, все обиды, что давно жгли, ждали возмездия, теперь враз ожили, запылали все сразу, всего его переполнили одним желанием: достать, размолотить эту ненавистную чубатую харю.

Неведомо откуда взялся, неожиданно палетел старый Глушак, рванул руку с кнутовищем.

— Ты что это, воночка!.. Кинь!!!

Чуть не вывернул руку. Откуда и сила у хлюпика старого взялась, еще немного, скрутил бы Василя. Спасибо матери, выручила — накинулась на старика, вцепилась в загривок, затрясла, ошеломила проклятиями — и старик отпустил хлопца.

Рядом с Евхимом очутился брат его, Степан. Но, вместо того, чтобы помочь Евхиму, почему-то стал оттаскивать его назад. Чубатый сразу озлился, ударил Степана в лицо. Вышло так, что Евхиму пришлось драться не только с Василем, но и с братом!

Василь изловчился — треснул Евхима кнутовищем по голове так, что тот взревел. Ошалев от боли, чубатый тут же оторвался от Степана и, не помня себя, как разъяренный кабан, рванулся к Василю. Василь мельком увидел налитые кровью, беспощадные глаза, почувствовал, что Евхим жаждет уже не только мести — смерти его. Убьет, не побоится ничего. Дикая ненависть кипит в нем, по глазам видно. Василь отскочил и ударил его еще раз кнутовищем. Ударил так, что от толстого, дубового кнутовища остался в руке только кончик.

— Ах т-ты!.. — Евхим схватился за голову и снова, с еще большей яростью, ринулся на Василя. Василь замолотил по ненавистной морде концом кнутовища, кулаком. Но отбиться не сумел: Евхим дорвался, схватил за ворот, навалился. Василь дернулся, пытаясь освободиться, — Евхим не устоял, и они упали. В следующую минуту оба катались по жнивью, по свежей пашне, кровавили один другому лица, в клочья рвали рубахи.

Глушак вырвался наконец из рук Дятлихи, бросился на помощь Евхиму, вцепился Василю в голову, стараясь пригнуть к земле. В это же время Степан схватил брата за плечо, за руку, стал изо всех сил оттаскивать от Василя.

Дятлиха снова напала на старика, но увидела окровавленное лицо сына, услышала, как он хрипит, в ужасе, в отчаянии вскинулась, заметалась взглядом по полю, запричитала:

— А-а, боже! Людцы-ы!!! Ратуйте-е! Забивают!!!

Она побегала навстречу курунцам, которые возле леса слышали ее вопль. Бежала и все причитала, подготавлила себя:

— Забивают!!! Збивают!!! Ратуйте!!!

Немного отбежала, опомнилась, снова бросилась к сыну. Отбиваясь от нее, Глушак заметил мужчин, что подбегали во главе с Миканором, согнулся терпеливо, покорно. Терпел удары осатанелой Дятлихи, пока она сама не оставила его, не вцепилась в Евхима.

— От, ей-богу, как рехнулись! — пожаловался по-стариковски Глушак, когда люди подбежали. — Разнимите, ей-богу, дурней этих!.. Степанко, отойди! Без тебя уж обойдутся!..

Мужчины, с которыми был и Ларивон, бросились разнимать дерущихся. Степан сам отступился, Дятлиху тоже без труда оттащили, а Василь и Евхим не поддавались, заседали друг на друга, молотили кулаками, хрипели, грозились.

— Эх, вояки! — выворачивал назад Евхиму руку Миканор. — Не выпускай! — приказал он Хоне, который держал Евхима сзади.

— Как черти! Недолго и до смерти! — бегала вокруг испуганная Сорока. Она кричала, созывала: — Сюды! Забивают!

Сгоряча Василь так двинул в челюсть Андрею Рудому, который отрывал его от чубатого, что тот заохал и отскочил, со страхом ощупывая челюсть ладонями...

Семеро мужчин еле разняли их. Но и разняв, с трудом удерживали: Евхим и Василь жаждали снова сцепиться, рвались друг к дружке, кричали:

— Смотри... Попадешься теперь, угод! Подстерегу где-нибудь!..

— Сам смотри, хряк! Чтоб... сам не попался!..

— Эх, бранцбойта нема с холодной водой! — сказал Хоня. — Чтоб остудить!

Мать ломала руки, причитала над Василем, как над покойником:

— А-а, сыночек мой!.. А-а, божечко ж!.. А что они с тобой сделали!.. А дитятко ж ты мое!..

— Евхимко, будь хоть ты разумный! — посоветовал сыну старый Корч: все по выражению его лица могли видеть, как их, Глушаков, обидели. И как ему не пужна такая беда — только ж разве его тут вина!

Дятлиха даже опешила:

— Ах ты, гнилая зараза! «Разумный»! Бить помогал, а теперь — разумный! — Она заголосила: — Сыночек ты мой!..

— Не трожь, Евхимко! Беды не оберешься. Видишь!.. — терпел напраслину от Дятлихи Глушак. — Сами ж начали и сами ж виноватят.

Но Евхим не слушал ничего, грозился:

— Помочишь еще кровью землю, угод!..

— Корч шелудивый! Сам гляди!..

Народу вокруг собиралось все больше. Подошли Дубодел и Зубрич, протолкались вперед. Дубодел решительно, важно, Зубрич мягко, деликатно.

— Что тут такое? — строго поглядел на Василя, Евхима, на других Дубодел.

— Кабы трохи еще — дак поубивали б один одного! — выскочила первой Сорока.

По тому, как она сказала, как покачала головой, понятно было: такой ужас, такой ужас!

— Из-за чего это произошло? — Дубодел взглядом приказывал Василю отвечать.

Кровь заливала Василю глаза. Он оттолкнул мать, которая хотела помочь, вытер лоб черной ладонью, почувствовал, как саднит содранная кожа. Боль мешалась с обидой, со злобой, которые жгли теперь, казалось, еще сильнее, чем до драки.

Ответил за него Глушак старый:

— Чужое поле хотел захватить силой! Супротив советского закону! Супротив сельсовета!..

— Заодно уже и супротив советской власти! — ехидно поддел Миканор.

— Не супротив! — отозвался Василь.

— А коли и супротив! Коли и распахал сам! — накинулась на Глушака Дятлиха. — Дак за это бить надо? Забивать до смерти?

— Никто его не забивал! Сам он Евхима чуть на тот свет не отправил!

— Сам? — Дятлиха забожилась, заголосила, как только могла. Все понимали, что причитанием своим она пытается защитити, спасти сына.

— Стихните, тетко! Еще не знаете, что будет, а голосите! — попробовал успокоить ее Хоня, но она запричитала еще громче.

Зайчик улучил момент, весело вплел:

— От и начался, деточки, передел!

Засмеялся только Ларивон. Но и он глянул на Евхима и тут же умолк. Никому больше Зайчикова шутка, должно быть, не показалась смешной.

— Эти, может, нехай пойдут по домам,— сказал Дубоделу и уполномоченному Миканор.— Потом разберемся. А то ж — начали обрезать, собрали столько народу. Довести б до ладу обрезку.

— Правильно! Время — дорого! — поддержал его уполномоченный, и Дубодел со всей строгостью приказал Василию и Евхиму:

— Завтра чтоб были в сельсовете! С утра! На расследование!

— Я только должен на несколько минут задержать их,— снова неожиданно вмешался — вежливо и вместе с тем твердо — уполномоченный.— Для предварительного выяснения причин и обстоятельств.— Он кивнул Миканору и Дубоделу: — Продолжайте пока без меня.

Как только люди стали расходиться, притихшая было Дятлиха, которая прислушивалась, что говорят о судьбе Василя, опять сразу заголосила. Зубрич поспешно допросил ее, перебивая, кивая утвердительно: да, да, понятно, мягко сказал, что она может идти. Дятлиха, однако, не послушалась, снова запричитала, и уполномоченный пригрозил, что воплями своими она только помешает справедливо разобраться в поступке сына. Повредит ему...

Вслед за этим уполномоченный, все так же понимающе кивая, быстро допросил Степана и старого Глушака, тоже разрешил уйти. Но никто из них, как и Дятлиха, в село не пошел, отступили только на сотню шагов, ожидая, что будет дальше...

Им не было слышно, что говорил уполномоченный Василию и Евхиму. Но, похоже, держался он с ними обоими иначе, не кивал головой: сунув руки в карманы, выпрямился внушительно, строго и все вроде бы чем-то угрожал, неприступный, безжалостный. И Дятлиха, и Глушак не на шутку встревожились.

Уполномоченный, оставшись один с Василем и Евхимом, заговорил не сразу. Держа руки в карманах, внимательно, даже как-то пронзительно рассматривал сначала одного, потом другого и не спешил выкладывать то, что думал. Очень долго, показалось обоим, молчал — аж немногого стало терпеть молчанку.

— Ну-с, значит, так,— разжал наконец губы уполномоченный,— сами начали землеустройство! Т-так...

Евхим возразил:



— Я не начинал... Он ко мне залез! Я только за добро свое вступился!..

— Было твое! Полдесятины теперь мои!.. Полдесятины мне выделили!..

— Эти тебе выделили?

— А какие? Может, те, что ты сам выберешь?

Зубрич оборвал строго, жестко:

— Прекратить спор! Здесь не дискуссия! Я допрашиваю вас! И будьте любезны слушать меня! И отвечать, когда я спрашиваю! — Он посмотрел на Василия, вдруг ударил вопросом: — Сидел уже?

У Василия в груди похолодело.

— Ну, что молчишь?

— М-меня отпустили...

— Можем вернуть назад! — Василь смотрел, не узнавал уполномоченного: была ли когда на этом лице улыбка? Не лицо, а камень. — Опять туда захотел?!

Василь был раздавлен.

— Безобразие! — возмущался уполномоченный. — Что хочу, то и беру! Законы ему — ничто! Нуль!.. Советские законы ему не писаны! Разбой среди бела дня! Открытый бандитизм!..

— Я не... бандит...

— Не бандит, так бандитский пособник!

— И не... пособник...

— Мы все помним! Мы не забыли, как вы Маслака водили под окна советских депутатов!

— Дак они ж заставили! Обрез к животу приткнули! — Василь готов был зарыдать от обиды.

— Обрез! Кто вам поверит! Нашли дураков! Вы же и теперь — едва Маслак, опекун ваш, объявился — опять распоясались! На законы советские плюете! Решили, что при Маслаке все дозволено! — уполномоченный гневно погрозил пальцем перед носом Василия: — Нет, руки короткие! Советская власть не таких утихомиривала! Не таких одергивала!..

Зубрич с той же гневной угрозой приказал:

— Ступайте! И ждите, что мы решим!.. — Он увидел, что хлопцы и не глядит на мирно дремлющего Гуза. Крикнул вслед: — Лошадь заберите!

Василь опомнился, пошел за лошастью.

Мать, обрадованная, что допрос окончился так скоро, что Василия отпустили, хотя и видела, что у сына совсем убитый вид, вытерла слезы, сказала весело:

— А я боялась, что, упаси господь, заарестуют! Аж нет, отпустил!! И не мучал долго!— Она, видно, хотела успокоить сына.— Добрый, говорят, справедливый он! Каб это Криворотый, не дай бог, тот бы уж подержал!..

«Добрый!— У Василя аж в горле перехватило от слов матери.— Чтоб ему на том свете, такому доброму — не знаю что!.. Все они добрые, справедливые такие, не зная бы их сроду! Смотрит, что волк на телянка!.. Маслака приплел! В пособия Маслаковы записал, справедливый такой!.. Помним, говорит, не забыли. Не докопались только... Но — докопаются! Такое выкопают, чего и не было век! Набрешут, а ты попробуй докажи, что неправда! Таким докажешь!..»

Не видел, как добрался до загуменной дороги, побрел между овинами, гумнами, плетнями. Из Чернушковых ворот к нему бросились радостный Володька с Хведькой, но Василь даже не глянул на брата. Хведька тотчас же отстал, убежал к себе, а Володька долго шел молча, таил какую-то озабоченность.

— Ты ему дал?— не выдержал, спросил он уже у самой хаты.— Правда дал?

— Что?— не понял Василь.

— Этому Корчу — дал?

Василь рассердился:

— Иди ты, допытчик...— Одумался: — Дал, конечно...

— Я так и знал!— обрадовался Володька. Он сказал с восхищением, с завистью:— Ты — сильный!..

## 6

Проследив, как хлопец плетется к лошади, уполномоченный долгим взглядом снова посмотрел на другого виновника драки. Посмотрел уже не так внимательно, но с какой-то загадочной, острой улыбочкой, за которой таилось, как почувствовал Евхим, что-то угрожающее. Уполномоченный, казалось, готов был в любую минуту чем-то его сразить. Но, как и вначале, он не спешил: ему словно бы удовольствие доставляло смотреть на жертву, которой все равно некуда деться.

«Нехай попробует... Я ему не Дятлик!» — обнадеживал себя Евхим, готовый защищаться. Но храбрости хватило ненадолго: скоро и он, как перед тем Дятлик, оказался в железных руках товарища уполномоченного.

Зубрич, усмехаясь уже откровенно, сказал с каким-то игривым упрёком:

— Что ж это вы, товарищ Глушак? Кулачками право свое защищаете?.. Я понимаю вас — и даже, можно сказать, хвалю... За то, что заступаете за свое добро... Не отдаете покорно, как послушный теленок! Это с точки зрения борьбы за существование — правильно! Нужно держаться, воевать за свое место под солнцем!.. Но воевать — не кулаками. Даже если они такие, как у вас!.. Кулаками в наше время многого не добьетесь! Это — атавизм, пережиток!.. Тем более что слово «кулак» теперь и звучит не очень хорошо!

Чем больше Евхим слушал его, тем больше не понимал: «Что он несёт, зачем разводит эту антимонию?.. Дурачка нашёл, запутать хочет, или как?..»

— Уж не на эти ли кулачки, — с той же игривой улыбочкой сказал уполномоченный, — вы рассчитывали на собрании, когда угрожали: «И на вас управа есть!» Это что же — на комиссию по землеустройству, на представителей сельсовета и волости?..

Евхим насторожился: «От, от оно, то самое, к чему он вел!.. Такое говорит — и смеется, хоть бы что! А признайся, дак упечет, что и не выберешься!.. Э, тут мы тебе скажем как надо!»

Но сказануть не пришлось. Зубрич опередил, ответил сам:

— Не на кулачки? А, знаю! Знаю — надеялись на советские законы?.. Советская власть не даст в обиду трудового человека!..

— По советскому закону не положено этого. Чтоб отнимать у человека, что нажито своим горбом...

— Не положено! По советскому закону!.. — Уполномоченный хитренько, недоверчиво хмыкнул. Игриво рассмеялся: — Врете! По глазам вижу, что врете! Не умеете лгать!

— Вы меня не разыгрывайте! — с достоинством, резко сказал Евхим. — Я эти смешки не люблю.

— Не любите! Что ж, похвально! — Уполномоченный перестал смеяться. — Хотя мне и случается шутить, но я тоже люблю серьезные разговоры! Серьезных людей! Будем разговаривать как серьезные, взрослые люди!.. — Спокойный, даже, казалось, задумчивый, он в то же время не сводил с Евхима пристального взгляда, словно пытаясь угадать, как тот реагирует на его слова. Этот неотрывный

взгляд держал Евхима в напряжении. — Если желаете, я могу вам сразу же пояснить: мне хорошо известно, что означала ваша угроза! У меня нет никаких сомнений в том, на что вы надеетесь! — Уполномоченный искоса обвел взглядом поле, понизил голос: — Атаман Маслак!

Евхим обомлел, но виду не подал. Ишь, подступает, на крючок берет! «Из ГПУ! По всему видно, из ГПУ послан!..»

— Вы меня не путайте! — снова твердо сказал Евхим. — Если вам так охота, — дак возьмите себе этого гада!

Он заметил: уполномоченный иронически усмехнулся, ни одному слову не поверил. По спине Евхима забегал холодок: «Знает что-то...»

— Гад! М-да! Вот как — гад! — В голосе уполномоченного послышалась издевка. — Был другом, надеждой, спасителем, стал — гадом! Какие зигзаги судьбы!..

Евхим снова похолодел, спокойная, издевательская уверенность уполномоченного убеждала: «Знает! Что-то знает!..»

Уполномоченный помолчал, сказал раздумчиво:

— А вообще-то, если говорить откровенно, мне ваша осторожность абсолютно понятна: от этого опасного типа теперь надо всячески открещиваться! Это, несомненно, правильно! Подобная осторожность только на пользу!.. Но между тем, сей гад интересовался вами... Чуб!

Евхима пронизало страхом: «Пропал! Конец!»

Маслак часто называл его Чубом... Выходит, Маслака и впрямь не убили? Он жив? А как же слухи, что он убит?

— Не знаю я его. В глаза даже не видел...

— Не видел! Темно было! Где вы встретились в последний раз? Когда уговаривали его прийти, припугнуть кое-кого из рьяных землеустроителей?.. Не у кладбища?

Последняя надежда оставила Евхима: «Все известно! Думал — ни одна душа не знает. Как трясинной затянуло, думал. Аж на тебе — знают. И кто — уполномоченный, считай, ГПУ!..»

— Кто это... наплел такого?

— Все известно. Этот Дятел, с которым я только что, благодаря вам, познакомился, если не ошибаюсь, был в ту ночь неожиданным помощником? Ведь это вы на него так ловко навели? Интересно, знает он, кого нужно благодарить за ту ночь, за каталажку в Юровичах?..

— Все это выдумка... — лишь бы не молчать, сказал окончательно припертый к стене Евхим.

«И откуда он взялся, Маслак,— как воскрес, скажи ты!.. Воскрес — да не где-нибудь, а может, в камере тюремной! Выследили да накрыли неожиданно, скрутили руки? Допрашивали?.. Выложил все, что было!.. Погибели нет на черта!»

Уполномоченный вдруг рассердился:

— Брось! Не мели чепухи! Противно слушать! Взрослый человек! — Он смотрел на Евхима с презрением. — Разве не видишь — все знаю! В этой тайне для меня нет ничего тайного! Все — явное, понял? Брось чепуху!

— Откуда же вы... дознались про это? — пошел на риск Евхим. — Кто это вам сказал?

— Вот это уже по-мужски, деловой разговор! — похвалил уполномоченный. — Сказал тот, кто подарил тебе польский карабин.

— Костка? — Так в банде иногда называли Ольхового, сообщника Маслака.

— Он.

— Что с ним?

— Живет. Вдвоем с атаманом. А где — считай: не знаешь...

Евхим почувствовал, что вынырнул на поверхность со дна холодного, темного омута, где видел себя уже утопленником. Страх, тревога еще, правда, жили в нем, но уже не так, как за несколько минут до того.

— Кто вы такой?.. Я ж бы век не подумал! — как бы оправдываясь, сказал он уполномоченному. — Все еще как-то не верится...

— Я — сотрудник волисполкома. Прошу запомнить. Советский служащий, — строго подчеркнул Зубрич. — На людях — мы не знакомы. Мы не только не знаем ничего про какого-то отщепенца по фамилии Маслак, но и друг друга. Я не знаю вас, вы, — меня. За исключением того, что имел с вами неприятную для вас стычку как работник волисполкома. Ясно?

— Ясно. Не маленький.

— Не забывай. — Зубрич заговорил мягче, доверительно: — Учти также: о тебе помнят, если будет необходимо — к тебе придут. И ты должен сделать, что прикажут!.. Ну, что еще? Еще — вот что полезно иметь в виду: ты, выражаясь высоким штилем, не один! Нас — много!.. В селах, в местечке, в городе, за границей!.. Да, да — много! Мы до поры до времени молчим! До сигнала, по которому все начнется!.. Может быть, и не скоро, но его

подадут! Когда наступит этот час, для нас начнется иная, настоящая жизнь. Не горсточка — вся земля вокруг станет нашей! Поля, леса, луга — все!

Зубрич увлекся, и Евхиму слушать его слова было — как добрую сказку. В этой сказке Евхима наделяли не какой-то там полоской — огромными угодьями земли, лесами, делали его хозяином большого дома, коровников, конюшен. Работать в этих коровниках и конюшнях такая мелкота, как Дятлик, почитали за счастье. Все они трепетали от одного его взгляда, ловили на лету любое его желание. Он был царь и бог...

Евхиму было досадно, что Зубрич быстро оборвал эту сказку и сухо, отделив себя от него, приказал:

— А пока — конспирация и конспирация!.. И если выдашь кого-нибудь из нашего легиона, — знай: головы — не сносить! Нигде не скроешься!

— Вы это мне не говорите! — обиделся Евхим. — Мне это — лишнее!

Зубрич как будто и не заметил его обиды. Озабоченно, деловито сказал:

— Человек, который придет от нас, спросит у тебя: «Не видели вы черного коня, что припадает на заднюю ногу?» Это будет наш человек. Ясно?

— Ясно...

— Ну, вот и все. — Он напомнил: — Мы по-прежнему не знакомы. Я здесь только отчитывал тебя. — Зубрич холодно, кивком головы попрощался, глянул в сторону села, коротко, по-военному, приказал: — Иди!

Евхим, шагая рядом со старым Глушаком и Степаном, рассказывал, что уполномоченный сильно ругал его за драку, даже угрожал судом, и старик не находил слов, проклиная уполномоченного. С проклятиями он и отстал от Евхима и Степана, поплелся к толпе, что брела по полю вслед за землемером.

От радости Евхиму легко было идти, шутить хотелось. Но когда веял со Степаном жито и снова перебирал все в памяти, опять ожила тревога: а что как он — подосланный, этот уполномоченный, и только выведал все для ГПУ? Очень уж странно, неожиданно все повернулось.

Он вспоминал, как этот человек сидел в президиуме, как протискался сквозь толпу, как костил Дятлика, как грозился ему, Евхиму. Перебирал в памяти все, что слышал от него. Спокойствие, уверенность не приходили: очень уж много было странного, непонятного. Разные,

совсем разные слова, разные поступки. Словно два разных человека. Совершенно не похожие друг на друга, даже враги... Конечно, в жизни часто доводится говорить одно, а делать другое — мало ли самому Евхиму приходилось душой кривить. Но в самом себе хорошо видно, где правда, а где ложь. Да и в других куреневцах не так уж трудно было отделить одно от другого. А тут, как тут спокойно отнестись к этим двум разным людям в одном человеке, знать, что один из них докопался до такой тайны!

Хотелось верить, что обмана нет, бояться не надо. И верил иногда, успокаивался. Но спокойствия хватало ненадолго, выползала другая тревога: как бы не стало это известно кому не следует. Если разговор с Маслаком и Ольховым, которого никто, кроме их троих, не знал, дошел аж до Юрович, то почему не могут дознаться и про это? Если он, этот юровичский, и не из ГПУ, то кто может поручиться, что он не нарвется где-нибудь на них? А там, как прижмут, разве не выложит все? Выложит как миленький наизнанку вывернется, абы за соломинку ухватиться! Неужто ж его пощадит, Евхима?

Хорошие сказки баял он. А только сказки — не для взрослых. Сказка — сказкой, а жизнь — жизнью. Как бы, поверив в те байки, погнавшись за журавлем в небе, не потерять и того, что еще осталось. Погано не погано, а все ж таки живешь! Какое ни на есть, а хозяйство не хуже, чем у людей, — не ходишь с торбой по миру. А можешь пойти — корочке сухой будешь рад где-либо на Соловках!..

И радости ненадежной хватало, и тревоги. И лишних хлопот, непривычной, неотвязной заботы мыслям — перед самой свадьбой! Но, думая о драке с Дятликом, злорадствовал: «Придет время — запищишь, угод желторотый!» Не раз, не два вспоминал встречу на кладбище, сожалел: надо ж было тогда такого маху дать! Чего было не кокнуть сморкача! Не подсказал им, дурень!

Много беспокойства было у человека перед самой свадьбой!

## 7

На следующее утро мать Василя, вернувшись со двора, поставила порожнюю лохань, сказала обеспокоенно:

— Боже! Этого еще не хватало!

— Что там такое? — откликнулся дед, который вырезал из кленового бруска ложку.

— Идите на крыльцо, поглядите.

Василь вышел первым, не одеваясь, в белых исподних портках и рубаше. Хотя еще не совсем рассвело, на дверях отчетливо был виден большой черный крест. Деготь кое-где подтек, пополз полосами к половицам.

— Маслаки? Неужто — маслаки? — вслух подумала мать, когда все снова собрались в хате.

Она верила и не верила: сдержанная, рассудительная, она была совсем иной, чем вчера на поле. Была такой, как всегда.

Дед повертел кленовый обрезок, тоже подумал:

— Маслак-то, может, и Маслак. Только, тем часом, может, такой Маслак, что живет не в болоте и не за болотом...

— Это Корчи. Их работа! — заявил Василь.

— Эти теперь спуску не дадут!..

— А нехай не дают! — оборвал мать Василь. — Плевал я!

— Плевать, тем часом, не дуже наплюешься!.. Это такая зараза... А тут, коли у его еще шайка...

— В сельсовет бы на них! Упекли б в Юровичи!

— Ага! Упекли! Не доказавши!.. Не пойман — не вор!

— А можно было б и подстеречь!

— Подстереги, тогда и скажешь! — Дед подумал: — Чует и моя душа, тем часом, что тот Маслак, и правда, близко. И такое может быть...

Мать пала духом:

— Может быть. От же гадюка, никак не прижать, чтоб не выкрутился!

— Помогают гаду некоторые...

— Остерегаться надо, — деловито рассудила мать. Как несмышленишу, сказала Василию: — В лес один чтоб не ездил! С дедом, со мной ай с кем из добрых товарищей. И с ружьем дедовым!

— Ну, от — учите!

— А и учу! Учить надо! Рано от маткиной науки отбиться захотел — от и вышло такое!.. Вечером чтоб не ходил поздно. И ночью — чтоб ни на шаг с крыльца!

— Дак, может, мне и... Как малому все одно.

— А и в хате. Али в сенцах, коли уж так соромно. Пан, вон, сказывают, Аскерко, дак век ночью не выходил. Не только в холод, а и летом...

— Пан! От, ей-богу, сказала! Курам на смех!



— Смотри, чтоб сам жив остался! — строго сказала мать. Добавила мягче: — А что такого, что дома — знать никто не будет. Не бойся...

— Все одно.

— Не все одно. Под пулю нечего лезть!

— Правду говорит, — кивнул дед.

Василь плюнул в сердцах, вышел из хаты.

В тот же день, чуть попозже, Евхиму пришлось еще повстречаться с Хадоськой. Подкараулила за огородами, перехватила. Евхим вскипел:

— Чего пристаешь! Знаешь ведь, что уже кончилось все! Свадьбу справлять собираюсь!

— Знаю. А только скажу, — горько глотнула она слезы, — скажу: нехай тебе на том свете будет так, как мне — на этом...

Не выдержала, губы задрожали, слезы выступили на глазах. Но опередила его, сказала неожиданно твердо:

— От и все мое слово! Последнее! — В голосе ее слышалось столько ненависти, что ему стало не по себе. — Больше — не прицеплюсь! Не бойся!.. И не увидишь больше!

Она поспешно отвернувшись, ушла первой, незнакомая, пугающая. «Последнее? Не увижу?..» — Евхим проводил ее взглядом. Она шла твердо, видно, не притворялась. От недоброй догадки стало беспокойно на душе: знает кто-нибудь обо всем или не знает? А что, если узнает Ганна?

Надо же — столько неприятностей перед свадьбой!

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Хадоська была в отчаянии. Что делать? Думала, думала — и не могла придумать ничего, не находила выхода.

Дитя... Радоваться, казалось, надо бы. Милое, дорогое существо родиться должно. Ее дитя, не чье-нибудь. Она так любит детей, даже чужих, как же любила бы она своего! И как хотела бы его — увидеть, приласкать, побаюкать! Как зачарованная думала она о том, что — она знала, хоть и не всегда верилось — уже как-то странно зачалось в ней... Зачалось неведомое никому, только ей да Евхиму...

Должна бы радоваться! Но то, что было в ней, не только не радовало, но и покоя не давало, всю жизнь омрачило, запутало все. То, что жило в ней, было не таким, как у других, божьим даром, оно было от греха, могут сказать даже — страшно подумать об этом — от блуда! Как ни больно, а выходит — согрешила, как ни суди, а теперь, когда Евхим отказался, так и думать не думай иначе: дитя это — от греха.

Отказался. Нагуляла с кем-то, говорит. Будто она и вправду блудница какая-нибудь. Разве она не упрасивала, не молила, разве не просила попомнить бога, разве не с ним единственным, с Евхимом, против бога пошла — а он уломал, добился, натешился и еще говорит такое! А теперь вот — помолвку справил, совсем забыл, что обещал ей, отрекся совсем. Раньше хоть надежда какая-то была, что совесть его пройма, одумается, дитя свое пожалеет, а теперь — так и совсем ничего, никакой надежды! Бросил, и грех — уже только ее грех, ее беда...

Теперь всякий скажет: грех, блуд — и не защитишься, не оправдаешься. Всякий может, как Евхим, сказать: «нагуляла с кем-то», любой может блудницей назвать, а какая она блудница, поверила просто, надеялась, думала — правда, женится на ней!

Обидно. Ох, как обидно. От обиды слезы все выплакала. А боль жгучая в груди не утихает, не унимается. Чувствовала порою — нельзя больше такой муки выносить; терпеливость, отчаяние сменялись злобой, жаждой мести: а что, если пойти к Ганне да все и рассказать? Пусть знает, что было у него, с чем посватался, какой он!

Были минуты, когда мысли порывались еще дальше: к старому Корчу пойти, рассказать. Он богу послушен, побожески жить старается, пусть и рассудит по-божески! И когда думала об этом, угрюмый Корч, которого боялась раньше, представлялся ей уже добрым, участливым другом, родным отцом, избавителем. Этот избавитель вдруг словно позвал ее, — торопливо собралась, почти бегом, задышавшись, с радостным облегчением направилась по улице к хате Корча. Сердце так колотилось, что готово было вот-вот выскочить, надежда, которая вдруг вспыхнула, билась в нем, подгоняла и подгоняла ее... Но как только приблизилась к хате Корчей, остановилась растерянн — надежда куда-то пропала, подступил страх! Корч снова представился суровым, неприступным — не станет слушать, раз-

гневаются, выгонит. Не осмелилась зайти, замирая, прошла мимо...

Осунулась, затаилась угрюмо, перестала смеяться... По ночам не спала — мысли и за полночь не давали покоя. Днем ходила по хате, по двору как больная, все время забывала, что ей нужно сделать. Глаза ее словно не замечали никого, не соображали.

Отец, мать тревожно спрашивали, что с ней. Она хмурила брови, отвечала, чтоб отвязаться:

— Ничего... нездоровится трохи!..

А что еще могла она сказать!

Ей было так тяжело. Так нужно было ей сказать кому-то о своей беде, хоть немного успокоить изболевшую душу — просто выплакаться перед кем-нибудь. Ей помогло бы одно слово утешения, не то что совет! Но ей приходилось молчать, таиться от родителей, от девчат, ото всех. От одной мысли, что это может обнаружиться, она готова была умереть.

Она несла в себе свою беду, свою горькую тайну одна, металась в одиночестве, искала в отчаянии: что делать? Билась, искала — и не находила, спасения не было. Ее ждал позор. Людское презрение и позор. Когда она видела в мыслях эту минуту, у нее так болела душа, что смерть казалась ей радостью. Покончить сразу с этой мукой, с этой безнадежностью! Все сразу исчезнет, как и не было. Не будет стыда, легко, хорошо будет!..

Она настойчиво, нетерпеливо обдумывала, где и как это сделать. Утопиться в речке за Михалевым. Нет, в озере у Глинищ... В речке вода быстрая, омут сразу затянет... Берег высокий. Можно броситься... Бросишься — и вмиг закружит, затянет... Вмиг... Подумать не успеешь... Сразу...

Но вслед за минутами горячечного, больного бреда наступало трезвое раздумье: убить себя — божий грех, нельзя этого! А больше всего сокрушало напоминание: таточка, мамка — что с ними будет, когда узнают, что дочка руки на себя наложила! И это — она сама принесет им такую беду!

Но и то сказать, если жить останется, радости им от нее все равно не будет. Стыд, позор на все село, на веки вечные!..

А может, еще что-нибудь можно придумать? Придумать! Что придумаешь? Одна надежда разве что на Захариху, глинищанскую знахарку. «Она вмент сделает», —

говорил Евхим. Слышала, бывало, и от других, что Захариха тайно пользовала женщин от этого, делала, что надо. Верно, делала, не зря ж люди говорят, конечно, делала — Захариха и не такое умеет! Да только — как же пойти к ней, как сказать, открыться, совсем чужой, колдунье! Дать ей учинить над собой такое, еще один грех взять на душу, такой грех!..

Что же делать? Что делать?

Она еще не сознавала ясно, еще не знала толком, что делать, когда стала собираться в дорогу. Был только страх перед тем, что, чувствовала она, скоро, непременно совершит над собою: конец ее беде, ее мучениям близок! Сегодня она все сделает, что бы там ни случилось. Страшась того, на что решилась, затаившись, она нарочито спокойно сказала матери:

— Мамочко, я хочу к тетке навеститься...

Мать даже обрадовалась:

— Сходи, сходи! Погуляй! Развейся!..

Хадоська заметила, как она глянула — с нежностью, с болью — пожалела! Ей, видно, захотелось утешить дочку:

— Может, коня запрячь?

— Не-е. Дойду... Недалеко...

— Ну, иди!

«Ой, мамочко, кабы знала ты, куда меня, дочь свою горемычную, с такой радостью выправляешь!» Мать куда-то озабоченно вышла. Хадоська надела лучший свой платок, взяла из сундука припрятанные деньги — все, что сберегла, что собирала не один месяц, — с братиками, с сестрами попрощалась; целовала будто бы и спокойно, а сама думала: может, уже и не увидимся никогда! Поглядела вокруг — низкие, темные лавки, прогнивший пол в углу, откуда лазали мыши, стекольца в черных окнах — запотевшие, словно заплаканные, — все показалось таким милым, таким дорогим!

Мать внесла связку сушеных грибов, завернула в тряпицу.

— На от гостинца тетке снеси... Негоже без гостинца...

Хадоська взяла. Когда выходила из хаты, мать перекрестила ее. Хадоське показалось, будто мать чувствует, что дочка что-то недоброе задумала, — так посмотрела, отпуская ее. Но это, должно быть, только так показалось — мать и словом не предостерегла.

Все же глаза ее — жалость, тревога и любовь — запали в сердце. И пока шла улицей и дорогой к гати, взгляд материнский обжигал сердце. А идти старалась намеренно спокойно, чтоб и не помыслил никто ничего. Знала, смотреть могут на нее, следить...

День был холодный, хмурый, грязная, мерзлая трава на обочине дороги была словно посыпана солью. «Зима скоро, — прошло в мыслях. Почему-то подумала грустно, словно завидуя: — Вечорки скоро начнутся...» Больше уже не замечала ничего: ни дороги, ни гати, которая вскоре началась, ни чахлого ольшаника и лозняка, подступивших вплотную, смотрела тупо, мучительно, незрячими глазами, а в голове стояло такое же тупое, безысходное: что делать?

Перейдя подмерзшую греблю, за которой невдалеке чернели олешиничьи хаты, пошла не селом, а приболотницей, по тропинке. Никого не хотелось видеть, хотелось быть одной со своей заботой, со своей тайной. В голове так и не прояснялось, так и не знала наверняка, что делать. Знала только одно: надо зайти к тетке, мать просила...

Вот уже и глинищанское кладбище, глинищанские хаты. Огороды с одной стороны лезут в болото. Взглядом произвольно отыскивала лесок за тем концом села, почувствовала, как тоскливо защемило в груди: там Захариха. Хата на отшибе, в зарослях. Одна, как леший... А чуть поодаль — озеро, страшное «око»...

Хадоська направилась к тетке, вновь стараясь идти так, чтоб не заметили ничего, не подумали худого.

Тетки дома не было. Поехала с дядькой на луг. В хате только дети играли. Хадоська достала из платка гостинец, дала каждому по сушеной груше, исполнила материн наказ — положила на стол связку грибов. Поговорив, сама не помня о чем, погладила меньшого по головке и стала снова собираться в дорогу.

Она сначала пошла не в ту сторону, где было озеро и где жила знахарка, а будто бы в Курени. За глинищанским выгоном сворачивала в болотный кустарник стежка, по которой добирались до Куреней, когда болото подсыхало — тут до Куреней было намного ближе. Хадоська и пошла этой стежкой. Но версты через полторы перебралась на другую, что вела уже к речке. Вдоль речки, кустарником, она и решила идти к озеру, к Захарихе.

«Пойду лучше к Захарихе, — решила она. — Сделает и знать никто не будет... Как и не бывало...»

Успокоив себя, она шла уже легко и быстро, с той ясностью и определенностью, которые приходят, когда знаешь, что надо делать. Но чем ближе подходила она к месту, где жила знахарка, тем больше улетучивались и легкость и уверенность. Становилось жутко: Захариха с нечистой силой, говорили, знает. С ведьмаками встречается.

Она пошла медленней. Какой неприветливый день, какой недобрый этот голый, черный болотный кустарник! Густая, холодная вода в реке, трава мерзлая, мокнет в воде. Даже самой холодно делается. Холодно и неудобно. Думать не хочется, ничего не хочется... «Не пойду к колдунье... Грех — у колдуний...»

Из-за чахлого ольшаника выглянула открытая, с редкими купами кустов прогалина, чубы очерета. На прогалине там и тут лужи, темная полоска воды у камыша. Невольно остановилась. Озеро.

Едва ступила на прогалину, сразу почувствовала, как осела, заколыхалась под ногами трясина — вот-вот расступится. Тут уже постоянно стоит вода, просто за лето сошла немного, сухмень такая была! Холода прихватили лужи ледком, кочки стали твердыми — оседая, потрескивают, ледок крикает, лопается. Чувствуя, как прогибается трясина, пошла невольно осторожней: чтобы не провалиться. Тотчас опомнилась, подумала смутно: теперь уже все равно, расступится не расступится — бояться нечего. И все же ступала осторожно...

Ну, вот и все. Сейчас... Там, за очеретом...

А очерет — перед глазами... Шаг, еще шаг... Тишина какая. Нигде ни души... Никто знать не будет... «Не поминайте лихом, мамочко, татко!.. Не карай, божечко, ты видишь, иначе невозможно!» Шла, как во сне, провалилась одной ногой по колено, едва удержалась на кочке, побрела дальше. Вот уже камыш, он почти всюду в воде. Надо рассмотреть сухие кочки, добраться до глубокого места...

Там, где «око», провалилась, говорят, церковь. Было ровное, сухое место, а провалилась церковь, и образовалось «око» — озеро. Не такое, как другие, без дна...

Вот тут, возле лозового куста, суше. Можно подойти, у бережка — чистая вода... Глубина... Почувствовала, как студит, обжигает холодом ногу, глянула: на лаптях, на онучке черная жижа стынет. Вытерла краем свиты — кожа красная, аж заходится от холода! И вода, верно, студеная!.. Не стоять, не думать, скорей — туда!..

Трясина прогнулась еще глубже. Вот-вот прорвется. Какая же она черная, жуткая — глубина «ока»! Еще бы — без дна! У всех рек и озер есть дно, а это — без дна! Поэтому оно такое черное, страшное! Недаром черти облюбовали его!.. Только два-три шага... И все... И бездна... Показалось вдруг — что-то тянет туда, в бездну! Голова кружится!.. Ужас наполнил грудь, сковал холодом. Хадоська ухватилась рукой за ветки куста, только бы удержаться!

Показалось, чувствует: оплывает, ползет вниз кромка... А то, неведомое, страшное, все ведет, тянет в омут, все кружит голову... Хотела уйти, отбежать — и сдвинуться не могла. То, страшное, словно держало за руки, за ноги!.. «Мамочко, татко!» — застонала, закричала, но и голоса не услышала. Лишилась голоса. Словно онемела!..

Она двинулась, еще не соображая ничего. Чувствовала, что кто-то смотрит вслед, боялась оглянуться.

Страх полнил всю ее, но она шла. Трясина колыхалась, оседала, трещала. Хадоська совсем не думала о том, что может провалиться. Ощущала за собой только то страшное, что тянуло в бездну...

Она уже была близ ольшаника, обступавшего прогалину, когда услышала неожиданный треск. Треснула сухая ветка, но она не поняла, что это. От неожиданности она как бы пришла в себя, встрепенулась и дико ринулась к лесочку...

## 2

Отбежав от озера, Хадоська не сразу успокоилась. Долго плутала по ольшанику, боясь оглянуться, пока начала разбираться, где очутилась и куда надо идти.

Ни снежка, ни инея здесь не было, и густой даже теперь кустарник казался на диво темным. Место было глухое, хоть бы след где попался. Она шла наугад, заплутала совсем, незаметно подошла чуть не к самым Глинищам — за деревцами, совсем рядом, на бугорке виднелись огороды, хаты. Только тогда поняла, где она, как отыскать хату Захарихи.

Вот она — темная, притаившаяся халупа, которую искала. Окна черные, стреха нависла, зеленая, в потеках. Над хаткой дымок вьется. Хадоська глянула подозрительно, не увидит ли чего в том дыме. Нет, дым как дым.

Хадоська стояла, никак не могла отдышаться, чувствовала, как зябнут ноги, но стучаться не торопилась. Медленно наползали сумерки, деревья густели, приближались друг к другу, надвигались, обступали плотней.

Когда решилась постучаться, за дверью послышалось осторожное:

— Кто тут? — Голос был низкий, словно простуженный.

— Это я... — выдавила Хадоська.

— Кто? Не узнаю. Авдоля?

— Я... Хадоська...

— Какая Хадоська?

— Из Куреней...

— Из Куреней?

В хате звякнула щеколда, дверь приотворилась, и в узком проеме показалась голова. Только посмотрев, женщина отворила дверь смелей и впустила Хадоську.

Сразу же, едва Хадоська вошла, щеколда звякнула снова. В хате было уже совсем темно, и Хадоська остановилась, как слепая.

— Вот тут — лавка, — потянула за рукав, усадила ее знахарка. С минуту она молчала, и это молчание показалось Хадоське долгим и недобрим... Хадоська словно почувствовала на себе пронзительный взгляд. Как может знахарка видеть что-то в такой темени?

— Что у тебя? — просипела наконец старуха. — Болит что-нибудь?

Хадоська почувствовала, что у нее запылало лицо. Не могла произнести ни слова.

— А ты — если что такое... не думай ничего!.. Нема чего соромиться!

Хадоське опять показалось, что знахарка в темноте приглядывается к ней. Чего-то ждет. Но Хадоська по-прежнему молчала, смущенно, настороженно.

Знахарка вдруг спросила, как ударила:

— Нагуляла?

Хадоська вся сжалась, сгорбилась. Чуть не сгорела со стыда — показалось, знахарка смеется над ней! Захотелось вскочить, бежать. Лишь бы куда, только бы из хаты! Куда глаза глядят! Дурица, явилась! Понадеялась!.. Но Захариха сказала просто, сочувственно:

— Что ж — дело молодое...

Она подошла к печи, поднесла к огню лучинку. Развела огонь в камельке. Хадоська недоверчиво всмотрелась



в Захариху и немного успокоилась — ничего страшного, женщина как женщина. Не старая, не худая, лицо такое же, как и у других, нос широкий, совсем не такой, как у ведьмы. И волосы забрапы под платок. На щеке черное пятнышко сажи...

— Не одна ты... Не первая, не последняя... — Захариха тоже внимательно посмотрела на Хадоську. — Давно это у тебя? Месяц, два?

Хадоська, краснея, ответила. Захариха успокоила:

— Ничего, не поздно.

Когда Захариха стала занавешивать рогожками окна, осмелевшая Хадоська оглянулась: огонь из камелька хорошо освещал полати, накрытые рядниной, стол, на котором под холщовой скатеркой горбиком обозначалась краюха хлеба. В уголке над столом, убранные рушниками, тускло мерцали образа, такие же, как и у всех. И все было такое же, как и у других, полка с мисками у дверей, и деревянное ведро на лавке, и небольшенький старый сундук, только с темных, обомшелых, с кривыми щелинами стен свисают космы сушеной травы. Да на полочках возле печи — какие-то пузырьки...

— Смотришь, как живу? — перехватила ее взгляд Захариха. — Погано живу! Завидовать нечему...

Хадоська молча кивнула головой.

— Было время — жила! Да кончилось все! Дурости в людях развелось!.. Выгоды своей не знают. Слепые, что дети... На антихристов, на душегубов этих, докторов, надеются!.. Надеются — и пропадают через это: доктора не только режут да травят... — Она заговорила доверительно, шепотом: — Приказ такой вышел, чтоб всех, которые путром недужные, извести. Чтоб, значит, порченных не было. Будто если который недужий совсем, дак и не человек! Я вон сколько таких хворых вылечила, живут да бога и меня хвалят. Дак начальники тех докторов злость великую на меня заимели за то, что я лечу людей... Не по закону, говорят, лечишь. Не имеешь права, мол, хворых лечить, хворых по закону надо извести!..

Хадоська слушала, от души сочувствуя несчастным: больных истребляют приказывают, подумать только!

— И оттого грозить мне стали начальники. В тюрьму даже обещал один шалопут, из сельсовета... — Захариха вздохнула. — Тяжко, ой тяжко! Хоть в прорубь... — Она бросила взгляд на Хадоську, деловито спросила: — Принесла чего-нибудь?

Хадоська, задумчивая, растроганная, не поняла:

— Что?

— Ну, это — чтоб заплатить за работу...

— А-а... Принесла...

Хадоська достала из-за пазухи платочек с деньгами, выбрала все до копейки, отдала. Сняла свиту, сбросила богатство свое — жакетку расшитую: скажет матери, что потерялась. Захариха, которая намеревалась было считать деньги, схватила жакетку, нетерпеливо повертела в руках, осмотрела. Жакетка, видно, пришлась по вкусу — еще бы, такая жакетка чтобы не понравилась! Захариха даже надела ее, но тут же спохватилась, сняла, свернула.

Сосчитав деньги, знахарка глянула на Хадоську.

— Это — всё?

— Все... — прошептала Хадоська. Много же ей надо! Еще, чего доброго, и делать не захочет!

— Этого мало...

Хадоська молчала. Ну конечно же, не захочет. Вернет деньги, скажет: ступай, откуда пришла! Да где же ей, Хадоське, взять тех денег!

— Нема больше!..

— Ну, нехай, ладно... — промолвила, смягчаясь, Захариха. — Одно только — жалко мне тебя... Добрая я...

Она спрятала деньги куда-то под мышку, положила жакетку в сундук, который тут же заперла на замочек, отошла к печке, велела Хадоське разуться, дала рваные сухие онучи, принесла горячей воды с чебрецовой заваркой...

Хадоська переобулась, напилась. Почувствовала, как по телу разлилось умиротворяющее тепло, охватила истома.

— Угрелась? — заметила Захариха. — А ты разденься. Сними свиту... Чего там...

Хадоська опять сняла свиту. Теперь уже сидела, как дома, в серой посконной кофте, синей юбке, по которой краска пошла пятнами. Сидела, следила за знахаркой, — та ковырялась в печи, — и чувствовала, что уже почти не боится ее. Ныло только в груди от тоски, от страха перед тем неведомым, недобрым и страшным, что было теперь совсем рядом.

Отойдя от печи, Захариха опять глянула так сурово, что Хадоська испугалась.

— Поклянись — чтоб ни слова нигде! Никогда, никому.

Хадоська быстро, торопливо сказала:

— Никогда, никому ни слова! Как перед богом! — Она перекрестилась.

— Скажешь — добра не жди! — пригрозила Захариха.

Хадоська так глянула в ответ, что было видно: пусть режут, пусть огнем жгут — не узнают ничего! Тогда Захариха велела:

— Ложись!

Хадоська не шелохнулась, словно не слышала. Знахарка хотела уложить ее сама. Но только дотронулась, как Хадоська дико отшатнулась:

— Нет!

— Дурная, чего ты?!

Хадоська промолчала. Стыд, страх, отвращение, отчаяние — все сразу отразилось на ее лице. Оно пылало огнем...

— Кабы что особенное... Кабы ты — одна такая!.. Хватало тут, перебивало таких...

Глаза у Хадоськи тоже пылали, дикие, полные отчаяния... Не верилось ничему...

— Дело — простое, девичье... Нечего тут!..

Захариха пошла к полочке, вернулась с чашкой какого-то настоя.

— На óт испей... Успокойся...

Хадоська послушно взяла. Зубы ее мелко, тревожно стучали о край стакана...

### 3

Все было так страшно, так больно; но хуже всего — было очень гадко, противно, стыдно. Так гадко и стыдно, что не в силах была глаз поднять на Захариху, хотелось скорей бежать отсюда. Только бы не видеть, не слышать ее возле себя!

А Захариха говорила, успокаивая:

— От и все. Уже, считай — ничего и нет... Как и не было... Кровь еще будет идти, но ты не думай ничего. Так и надо... А так, считай, все уже... Ничего нет...

Она сама проводила Хадоську за лес.

Хадоська шла безмерно уставшая, странно обессиленная, чувствуя в себе незнакомую, страшную опустошенность, с тупым удивлением думала, что вокруг все еще тот же самый вечер, который наступил, когда она пробиралась сюда! Тот же вечер — только стемнело так, что деревьев не

различить. Так мало прошло времени, а сколько передумано, пережито. Насколько все, кажется, изменилось. Она уже словно не она, другая совсем. Так изменилась. Совсем как незнакомая... А вечер — все еще тот самый, только и всего, что стемнело... Тогда лишь начинало темнеть, а теперь — мрак, деревья кажутся пятном, стежка — пятном чуть посветлей. Небо едва сереет. Все так скоро кончилось, а кажется — не скоро. Много, кажется, времени прошло... И так тяжело на душе. Так пусто и гадко... Грех — перед богом... Он смилуется. Простит. Смилуйся, божечко! Ты все знаешь... Прости.

— Да-к кровь будет еще... Ты не бойся, коли что... А так — как и не было... — Захариха напонила с угрозой: — Да-к — чтоб никому ни слова!

Хадоська почувствовала облегчение, когда знахарка пропала в темноте. Теперь Хадоське хотелось побыть одной, никого не встретить, никого не видеть. Остаться наедине с тем нехорошим, гадким, что угнетало ее, заставляло сторониться всех. К тетке она не пошла. Обошла по полю село, чтобы случайно не встретиться с кем-либо из родни, миновала, как и днем, Олешники. На болоте обступила ее грозная тьма. Хадоська пошла крадучись, внимательно прислушиваясь. Подступил, сжал сердце страх: «Боже, не карай меня! Смилуйся, божечко!..»

Обошлось. Перебралась через греблю спокойно. Бог пожалел. Но едва зажелтели редкие огоньки села, нехорошее, мерзкое ожило снова. Возле черных хат остановилась совсем — будто не свое село, чужое. Идти отважилась не скоро, пошла, прижимаясь к плетням, боясь, что кто-нибудь повстречается...

Не повстречался никто. Дома тоже спали. Мать проснулась, пробормотала сквозь сон, что ужин в печи, Хадоська сказала — есть не хочется. И хата своя показалась не такой, как раньше. Все стало иным. Хадоська быстро разделась, легла, укрылась с головой. Ничего не слышать, ни о чем не думать! Уснуть сразу, проснуться, забыв обо всем. Но не спалось, все, что видела нынче, всплывало и всплывало в памяти. Было чего-то нестерпимо жаль, и было горько, и слезы душили ее. И она плакала, захлебываясь слезами, боясь, чтобы кто-нибудь не услышал. В слезах и уснула.

Разбудило ее потрескивание огня в печи, скрип дверей. Мать готовила завтрак. Отец скинул охапку дров. Хадоська хотела, как обычно, вскочить, одеться, но едва пошеве-

лилась, почувствовала — низ живота обожгло, как огнем. Сорочка была мокрой, она поднесла руку к глазам: кровь! «Ничего... — успокоила себя Хадоська. — Захариха говорила, что кровь будет, чтоб не пугалась... Так, видно, должно быть». Ее больше беспокоило, как бы мать и отец не увидели, не стали допытываться.

Весь день Хадоська ходила, хлопотала, как могла, старалась отогнать, заглушить стыд и отвращение, которые никак не отступали, не утихали. Не могла смотреть в глаза родителям — казалось, вот-вот узнают про ее позор. Ей было так тяжело! И если б одна та мука, что на душе. Боль в животе была по временам такой резкой, что губы кусала, чтоб не застонать.

Под вечер мать послала ее в погреб принести картошки. Едва Хадоська подняла корзину с картошкой, как ее пронзила такая острая и сильная боль, что даже дыхание перехватило. Сразу же неудержимо пошла, полилась кровь...

Ее охватил ужас. Не помнила, как выбралась наверх. Когда вышла из погреба, голова закружилась так, что она едва не упала. Все же как-то добралась до крыльца и тут бессильно осела на ступеньки. «Люди увидят...» — подумала с тревогой. Но встать сразу же не хватило силы.

Она на коленках доползла до порога, цепляясь пальцами за бревна стены, поднялась, вошла в сени, отворила дверь в хату. Мать, едва увидев побелевшее лицо ее, ужаснулась:

— Дочечко! Что с тобой?!

Хадоська с трудом доковыляла до кровати, упала. Мать запричитала испуганно:

— Ой, горюшко ж ты мое!.. Что ж это?! Съела что-нибудь поганое, или что?! Горюшко ж, горе!..

Хадоська молчала. Она чувствовала, как кружится голова, удивительно пустая, огромная, как все ее тело колышут какие-то волны. Стало почему-то холодно ногам, плечам, спине, ее била мелкая неумная дрожь. Мать укрывала Хадоську сперва одеялом, потом свитой, а холод этот все не проходил, дрожь не утихала. Когда приехал из лесу, вошел в хату отец, она увидела его словно сквозь воду и слышала словно сквозь воду: «Тебе, может, что нужно?...» Она только молча помотала головой.

А кровь шла и шла, и казалось, не остановится уже никогда. И казалось, что вместе с кровью уходят из нее и тепло, и жизнь. Зажмурив веки, на которые падал из камелька багровый отблеск, она сквозь дрему подумала

вдруг: «От и конец мой наступил... Смерть моя...» Подумала — и не почувствовала ни страха, ни сожаления, все было безразличным, пусто было в душе. Только одно дошло до сознания, встревожило: поднося какое-то снадобье, мать сказала, что, может, надо Захариху-знахарку позвать.

Хадоська пришла в себя, подняла голову, тихо, но решительно произнесла:

— Нет!

Всю долгую ночь мать не отходила от нее, укрывала, вздыхала, шептала молитвы, поила снадобьем. Хадоська то дремала, то просыпалась, в голове ее переплелись, теряя очертания, сон и явь. «Помру. Ну, и нехай помру...» — думала она, приходя в сознание.

Под утро отец запряг коня, поехал за доктором в Загалье. Они приехали, когда в окнах было уже бело — порхали первые, ранние снежинки. Доктор, раздевшись, согрев возле печи руки, велел всем выйти из хаты. Когда он приблизился, Хадоська запротивилась было, но двигаться, разговаривать не хватало сил. Да и желания не было. Все стало безразличным.

— В Юровичи! В больницу — немедленно! — сказал врач, вызвав отца из сеней...

Когда заплаканный Игнат, Хадоськин отец, вез дочку через гать, ему повстречался Чернушка, ехавший из Глиниц от Годли. Чернушка, довольный тем, что так удачно уладилось с шитьем кофты, охотно остановил коня.

— Куды это, Игнат?

— Дочка... — Губы у Игната горько задержались. — Помирает!..

Ганна соскочила с телеги, испуганно подбежала к Хадоське. Ее поразило: Хадоська лежала, как в гробу. Неуживаемо похудевшая, без кровинки, как неживая.

— Хадосечко!.. Что с тобой?!

Хадоська глянула на нее словно издалека. Она, казалось, не сразу узнала ее, но когда узнала, ожила, веки затрепетали тревожно, неприязненно. Сразу же враждебно закрылись.

«Глядеть не хочет!» — опешила Ганна.

Хадоськин батька провел рукавом по лицу, тронул коня.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Последние перед свадьбой дни проходили в лихорадочной спешке. Обдирали, резали, рубили телушку; смолили, свежевали кабанчика; пекли хлеб, коржи, коржики — смолили, жарили столько, что с непривычки от запахов делалось дурно. Все, над чем тряслись не один месяц и с чем нужно было дотянуть до лета, мгновенно, на глазах, превращалось в жареное и печеное, ненадолго сносилось в сырой, покрытый цвелью, Чернушкин «погреб». Отец Ганны с утра до вечера пропадал где-то на приболотице в зарослях, затемно возил туда бочки с брагой, оттуда украдкой таскал бутылки и баклаги с самогоном.

Своих запасов, хотя и подмели дочиста, не хватило — кинулись по хатам, где только можно, — занимали. Не думали, гнали страх — как потом жить, как рассчитаться с людьми: думай не думай, все равно не выкрутишься иначе. Пока хоть бы одну заботу сбыть, свадьбу осилить. А там — будь что будет...

Об одном старались — лишь бы побольше всего было, лишь бы хватило. Хата переполнялась суетой, гомоном, чадом. По вечерам у Ганны болели руки и спина, во рту было горько, сон приходил тяжкий, нездоровый. От усталости, недосыпу, чада в голове было мутно, тяжело. И сама вся словно огрузнела, ходила, делала все без прежней ловкости, медленно, равнодушно. Отец и мачеха двигались тоже, как заведенные, старались больше потому, что надо было спешить: подгонял их непокой — не опоздать бы, управиться бы вовремя...

Вечером в субботу созвали подружек молодой, ближайшую родню, посидели немного за столом. Посидели так, чтобы не расходоваться до поры, просто — чтобы показать, что помнят «закон» и уважают, и чтобы стыдно не было перед людьми, у жениха ведь — гуляли. В воскресенье с самого утра Чернушка стал готовить свадебный поезд. Повозка была чужая, взятая взаймы — более справная, на более легком ходу, прочная, аккурат для того, чтобы ехать в такую дорогу. Одолжаться пришлось и еще одним конем. Чернушка накормил его хорошо вместе со своим, дал даже овса, чтоб веселей катили повозку, не позорили молодую. Когда подружки невесты украшали лен-

гами уздечку, шлею, дугу, он положил в повозку лучшего лугового сена, которое припас загодя, старательно застлал его одеялом.

Собирался уже запрягать коней, когда из хаты прибежал Хведька.

— Вас мамо зовет...

Чернушка ощупал хомут, нехотя подался к крыльцу. В хате было несколько женщин, девчат, Ганниных подружек и товарок.

Бабы хлопотали вместе с мачехой у печи, у столов с горелкой и едою, девчата в уголке возле дверей шушукались о чем-то. Ганна была с ними.

Мачеха, едва увидев Чернушку, с озабоченным видом отвела его в уголок к окну, сказала тихо, серьезно:

— Молодую наряжать пора...

— Пора дак пора... — Чернушка сдержал вздох.

— Пора... — Мачеха подошла еще ближе, заговорила еще тише. — А сам — что наденешь?

— Что есть, то и надену. Был же вчера в чем-то...

— Был! В дырявых штанах!.. Заплата на заплате!..

— С заплатами дак с заплатами. Бесда не велика. Не жених, грэц его...

— Не жених-то не жених! Даки невеста — дите твоё! Невестин батько! Не чужой, чтоб абы-как можно было, чтоб так — нищим — к жениху выйти!.. Вчера-то еще ничего, свои были! Такие ж голяки, сказать! А тут — соберутся со всего свету! Да и жених кто? Богатей первый!

— Богатей, богатей! А что он — чужой, не знает, сколько у меня капитала! И то еще — нехай спасибо скажет, что угощение собрал!

Мачеха нетерпеливо, искоса посмотрела — никто из посторонних, вроде бы не прислушивается к ним, но все-таки зашептала еще тише. Поостеречься никогда не мешает...

— Угощение угощением, а только глаза не зашьешь! Все разглядят да и обговорят!.. Одеться надо — чтоб перед Глушаками не позориться. И сидеть же с ними тоже придется!.. Я дак у Химы займу. У нее кохта есть синяя, с палериной... — Мачеха намеревалась уйти. — А ты бы — к Грибку сбегал, пока суд да дело. Штаны у него добренны. Со службы которые принес...

— Мне и в своих непогано. А кому не правится, нехай не глядит!



— Тебе-то, может, и непогапо, дак дочке — как? — Мачеха бросила взгляд на Ганну, которая подошла послушать — о чем они? Думала, Ганна поддержит, но та — хоть бы слово. — Мне — как? На виду у всех! Глядеть будут, все высмотрят, что было и чего не было. Абы дал зацепку, засмеют. Голое тело, мол, заплатами прикрыл. А тоже — к богатым лезет, мол!

— Нехай смеются, кому захочется! А мне — все одно!

— От, ей-богу, разум! Как дите! — потеряла остатки терпения, вскипела мачеха. — Дите, и то догадалось бы!

— Знаешь что, — вскипел и батька. Он заговорил уже так, что бабы и девчата притихли, стали удивленно слушать. — Хочешь до Химы идти, дак ступай, а меня — не тронь! И так — черт душу скребет! Не до штанов поганых, чтоб они сгорели! Тут такое на душе, а она, грэц ей, — штаны, заплатки!.. Иди, коли хочешь!

Мачеха оглянувшись, перехватила взгляды женщин, сказала Тимоху как можно мирно:

— Мне — что? Я ж — о тебе. Чтоб тебе лучше!.. А не хочешь, не надо!

Она хлопнула дверью. Отец от души плюнул, сделал вид, что ищет что-то на черном, чисто выскобленном, вымытом подоконнике возле полатей, сказал Ганне, словно оправдываясь:

— У Грибка возьми! Ровно на чужбине, ровно никто не знает, какие штаны у меня, какие у Грибка! Кто тех штанов уже не носил: с полсотни свадеб справили! Чуть не каждый жених в Грибковых штанах! — Он повертел в руках свои выходные штаны. — Какие есть, такие есть, зато не чужие...

Ганна, задумчивая, серьезная, отозвалась:

— Дырка в них на заплате, на колене... Давайте зашью.

— Ты б сказала, чтоб саму собирали. Вот-вот приехать могут!

— Управляюсь.

Она взяла штаны, присела на полати, застланные новым одеялом, под которым лежало всякое тряпье, начала привычно орудовать иголкой.

Штаны были не то серые, не то желтые: их пытались как-то подновить, покрасили, но краска оказалась с фокусами, взялась неровно, а местами и вовсе размалевала в какой-то луковичный цвет. Но Чернушка будто и не видел этого свидетельства своей бедности — с грустью,

с умилением смотрел на дочку, на ее руки, на черные волосы, смуглый лоб. Когда Ганна подала ему штаны, он почувствовал, как подступают неуместные слезы, с трудом сдержался.

— Ну от, прохожу как-нибудь! В своих!..

Мачеха вернулась от соседки довольная, с кофтой, но, едва увидев Чернушку, обиженно нахмурилась, отвернулась, должно быть, не собиралась мириться. Отец тоже, судя по всему, стоял на своем...

— Матко, молодую пора одевать, — сказала старая Авдоля, возясь у печи.

— Знаю сама, что пора! — Мачеха, не глядя на мужа, положила кофту на полати, велела Ганне сесть на уклон. Все, кто был в хате, бабы, девчата окружили Ганну: одни, чтобы помочь мачехе, другие — подружки, — чтобы сделать то, что положено им, третьи — чтобы просто посмотреть. Ведь такое событие!

Чернушка пошатнулся, двинулся к дверям. Заметил на печи Хведьку, который тоже притих, навострил глазенки, — угрюмо кивнул головой: слазь!

Взяв мальчика за руку, отец рванул щеколду и скрылся в сенях...

Он вышел на крыльцо — кони были уже запряжены, мокрый ветер шевелил ленточки на уздечках, на дуге. Чернушка постоял растерянно, держа в руке штаны, потопал назад, в сени. В сенях он умылся, сходил в кладовушку, смазал бараньим жиром волосы, чтоб лежали, переделся в хлопчатобумажные, с луковичными плешинами, штаны, вдруг бессильно опустился на кадку. Известно, сколько бы он сидел вот так, но Хведьке надоело это, и хлопчик потянул батьку за руку. Чернушка поднялся. Когда он снова вошел в хату, Ганна уже стояла причесанная, в новой атласной кофточке, в красной в зеленую клеточку поневе, в красных материнных черевиках-полусапожках.

Чернушка глянул — веноч на Ганне, фата свешивается вниз, легкая, будто не весит ничего. Над белой атласной кофточкой, в фате так хорошо, так красиво ее смуглое лицо, дуги бровей, а глаза влажные, как спелые вишни на рассвете. «И вся она — как вишня! Как вишневый цвет!..» — подумал Чернушка, чувствуя, что душу сжала великая печаль.

Веноч, фата. Увидев их, он, как никогда, почувал беду. Нет, он не только почувал, он, казалось, увидел эту беду —

в венке, под фатой, грозную, страшную. Он опять ощутил такой приступ слабости, что едва хватило силы, чтобы поднять руку, стереть с глаз что-то мокрое, туманящее. Он сразу оторвал взгляд от Ганны, стал ходить по хате, лишь бы двигаться, лишь бы не думать, не смотреть на дочку в венке, под фатой...

Все, что он видел, что чувствовал, отзывалось в нем тоской. Несколько раз вбегали в хату девчата, объявляли: «Едут!» Начинались суета, переполох, и тоска в нем становилась еще более жгучей, потом оказывалось, что тревога преждевременная, все притихали, но его кручина не проходила. Девчата, женщины спокойно разговаривали, пели, скучали, а его все точила и точила тоска.

Даже то, как безучастно сидела, ждала своего дочка, тоже бредило его душу. Ганна была такая тихая, какой отец и не помнил ее никогда, слова, кажется, не проронила. Вокруг нее пересмеивались, нетерпеливо прислушивались, только она одна была молчаливой, тихой. Егоза, непоседа всегдашняя!..

Ничто не переменилось в ней и тогда, когда слышалась музыка: сначала только буханье барабана — бух, бух, бух, потом торжественные, с жалостным всхлипом, перебивы гармоник, тонкий, пронзительный визг дудки. Музыканты быстро приближались, дудка и гармошка слышались все лучше и отчетливее...

Одна из подружек невесты, шустрая, вертлявая Маруся, вскочила, прислушалась со страхом, обвела глазами девчат, крикнула:

— Дружино! Это ж — чужие какие-то подъезжают!.. Молодую нашу Ганночку, видно, отнять хотят?! — она грозно нахмурилась, бросилась к дверям: — Не отдадим ее!..

— Не отдадим!.. Выручим!.. Прогоним, если что!.. Или — нехай по-хорошему! Выкупят нехай! — Все, кто был в хате, кроме Ганны, с веселым шумом, криками высыпали на крыльцо, во двор.

Чернушка глянул на Ганну: только она не ожила. Вздохнул, тихо вышел вслед за другими...

## 2

Музыка на улице — перед самой хатой — смолкла, и Ганне стал слышен гомон многих голосов, возгласы, какие-то команды. Споры, хохот, веселые препирательства...

«Не пускают. Выкупа требуют...» — промелькнуло в голове. «Богато народу, наверно...» — подумала она, как думают о чем-то далеком, чужом. Весь этот галдеж, пререкания, возня эта, что доносились с улицы, со двора, доходили до нее, как во сне, будто бы совсем и не касались ее.

Она сама была как во сне. Жила переживаниями недавнего. Это началось вчера, когда сошлись гости... Пили, ели, гомонили... Она тоже пила. Пила не потому, что хотела, а потому, что не пить горелку молодой не подобает. Есть она совсем не могла. После той, казалось, бесконечной стряпни, от которой и теперь болели руки и было муторно, на еду и смотреть не хотелось.

— Что ты, Гануля, не ешь ничего? — подходил отец. Он смотрел на нее пристально, грустно. — Съела б чего-нибудь, а, дочечко?

— Наелась уже... не хочется...

— Пирога б взяла. Или — холодца?

— Я разве коржик возьму...

— Ешь. А то быстро опьянеешь.

Она, и правда, быстро опьянела. В голове шумело, перед глазами все качалось, плыло — миски, стаканы, мачеха, гости. И от этого крепло странное ощущение, что весь этот шум, пьяное застолье — все это не для нее, далекое и чужое — чужое веселье, чужая свадьба!..

Когда гости разошлись, у нее, опьяневшей, едва хватило силы раздеться, забраться под одеяло, но сон долго не приходил. В голове кружилось, путалось — гомон, песни, лица. Колыхалась, плыла куда-то кровать, была какая-то тяжесть в груди, и казалось, это никогда не кончится... Уснуть, уснуть бы как-нибудь, не слышать, не видеть, забыть все!..

Сон был таким, что и в нем что-то долго путалось, перемешивалось, плыло. Вдруг она закричала, застонала, проснулась вся в поту, полная омерзения и страха. Рука ее, все тело было напряжено, дрожало.

— Что ты? Что с тобой? — тревожно спросила мачеха.

— Н-ничего. Сон п-приснился...

— А-а... Перекрестись. Спи...

За окном моросил дождь, было черно и тихо, как в могиле. Лежа, понемногу успокаиваясь, она попробовала было вспомнить, что приснилось, но не смогла: вспоминались только обрывки. Луг, залитый солнцем. Василий косит. Копна сена. И вдруг — обруч гадюки на ноге!..

Дурман этого сна не проходил все утро. Жил и теперь. Что он значит, этот сон? О чем говорит, что предвещает?

Она чувствовала усталость во всем теле, как после тяжелой работы. Болела голова и, как счастья, хотелось тишины, покоя, одиночества. Но на крыльцо, в хату шел гомон, люди, много людей. Будто во сне, как чужого, увидела она Евхима, который под визг и грохот музыкантов, заигравших во дворе марш, ввалился в хату с Ларивоном, с Сорокой, с целой оравой приятелей своих, такой же, как они, шумливый, возбужденный, веселый. Он был в новом костюме, в кожаных блестящих галифе, в блестящих сапогах, сам весь блестящий: красное лицо лоснилось, как смазанное салом. Даже глаза казались смазанными, блестели маслянисто, радостно. Картуз с широким блестящим козырьком залихватски съехал на самое ухо. И весь он бросался в глаза необычным ухарством. Не видно было и намека на то, что он не спал ночь, гулял, пил.

«Набрались уже и сегодня, опохмелились...» — промелькнуло в голове у Ганны...

— Бог помощь в хату! — громко сказал Евхим, глянул масляными глазками на Ганну.

— Спасибо... Спасибо на добром слове! — забежала вперед мачеха. Ганна увидела — она, как ребенка, прижимала к груди новые сапоги — должно быть Евхимов подарок. — Озолотил ты меня! — аж пропела она. — Век — пока живая буду — богу буду молиться... за твою ласку!..

Все вокруг шумели, завидовали мачехе: это так подарок — богатство целое! Вот же счастье привалило Тимошихе!

— Это — чтоб не грязно и не холодно ходить было к своему зятю! — Евхим так говорил, так смотрел на всех, что Ганне подумалось: уверен — он тут самый желанный, самый достойный, хозяин и бог!

— От, пехай тебе, Евхимко... — не могла успокоиться мачеха, — что ты хочешь — пехай все будет. За твою такую доброту... — Она посмотрела на сапоги, жалобно скривилась, засморкалась и вдруг полезла к Евхиму целоваться. — Чтоб тебе всякого добра — возами! Чтоб удача велась, не переводилась...

Когда Евхима повели в красный угол, она бежала рядом.

— От тут... От тут, Евхимко, зятек ты мой золотой!.. Тут твое местечко!.. А тут — бояре твои!..

Евхим сел за стол, скомандовал:

— Бояре-гусаре! Наша позиция, сказано, тут! Садись!

Ганну и подружек посадили за другой стол. Как только расселись, бородатый Прокоп налил чарку горелки, и за столами, и не только за столами — у порога, возле печи, где толпились любопытные, даже за окнами, в которые вплющились лица, враз притихли: все знали — сейчас начнется зрелище, да еще какое!

— На тарелку, на тарелку поставь! — услышали все в хате Сорокин шепот. Сорока дернула свата за рукав.

— Не трещи! Сам знаю! — одернув руку, объявил громко Прокоп.

Сорока надула губы, обиженная, злая. Прокоп же поставил чарку на тарелку, неуклюже, с важным видом поднес Ганне. Чувствуя на себе взгляды многих, Ганна, словно исполняя давно заученную роль, положила на чарку платочек. Все, кто сидел за столами, стоял у порога и за окнами, хорошо знали, что и как будет дальше, но наблюдали с неослабевающим вниманием. Жизнь у людей была не очень-то богата событиями, развлечениями — не сводя глаз, все следили, как Евхим взял платочек, как вынул из пиджака, положил на тарелку деньги. «Целых три рубля!» — задвигались, зашептались люди.

Многих удивило, что Ганна взяла такие деньги равнодушно, словно это были не три рубля, а так что-то. «Ишь ты, гонористая качка!.. Еще и не поженились, а уже — как богачка!» — осудила молодую Сорока.

Сорока наблюдала за всем не так, как другие, подстерегала, изнывала от нетерпения: вот-вот наступит момент, когда она покажет себя! Но и недотепа Прокоп и Ганна, словно назло ей, делали все, как нужно: приняв деньги, молодая взяла потом и чарку, выпила...

Как только выпила чарку Ганнина свашка Маруся, мачеха вытолкала к столам растерянного, испуганного Хведьку, который, очутившись на глазах у всех, стал диковато оглядываться — явно намеревался шмыгнуть в сени. Столько говорила, учила мать, что нужно делать, как наступит его черед, а вышел — сразу забыл все.

— Иди ко мне! — позвала его Ганна. — Возьми за руку.

— Иди, иди! Не бойся, браток! — подбежала к Хведьке Сорока. — Веди к столу молодого, чтоб — дал золотого!

Хведька оглянулся на сени, подумал немного, неохотно послушался, взял руку, протянутую Ганной. Глянул, куда же вести?

— Туда, к сватам! — шепнула братику Ганна, направляясь к Прокопу и Сороке, которая уже важно сидела за столом.

— Скажи, чтоб заплатили за молодую! — не утерпела, помогла мать.

Хведька выжал:

— Заплатите... за молодую...

Страшный, как леший, Прокоп положил ему в ладошку большой тяжелый кружок: это был пятак. Хведька заинтересовался, поднес ладошку с кружочком к лицу, не сразу и заметил, что о нем забыли. А когда заметил — как птица, перед которой раскрыли дверь, нырнул в сени...

После того как отец и мачеха благословили молодых на венчание, под визг дудки, плач гармонии и буханье бубна Ганна и Евхим вышли во двор. Ганне бросились в глаза музыканты в лаптях, облепленные грязью до колен...

Было по-прежнему ветрено, пасмурно, как перед дождем.

— Надо же — столько грязи! — сказал отец и заторопился к лошадям. — Ближе подгони! К самому крыльцу! — крикнул он хлопцу, державшему вожжи.

Ехать в церковь намеревались тремя повозками: на первой Ганна с подружками, на второй Евхим с братом Степаном и компанией, на последней — Прокоп и Сорока. Надо было отправляться уже, а процессия не двигалась: музыканты, которые должны были идти пешком впереди поезда, оглядывались на возы, топтались. В нескольких шагах холодно поблескивала лужа — по колено, не меньше.

— Что стали?! — весело крикнул Евхим. — Не бойтесь! Не утонете!...

Он захохотал. Под этот хохот музыканты осмелели, заиграли марш и, хоть и неохотно, но и без нареканий, побрели к луже. Долг есть долг...

Хорошо, что хаты были край села: улица, слава богу, наконец кончилась. За селом вскоре дорога пошла не такая топкая, более твердая, да к тому же тут музыкантам — по закону — можно было уже сесть в телегу. Они, обрадованные, полезли к сватам.

Теперь, как и положено, помчались вскачь, с уханьем, со звоном, аж грязь летела из-под копыт, из-под колес.

Мчались недолго. За цагельней придержали коней, съехали на гать. Хоть было вязко, повозки поначалу шли твердо, легко, лишь мелко подрагивали. Что там ни говори,

хорошую греблю намостили. Жаль только, что не доделали...

— Ну, помогай бог! — крикнул Евхим, когда первая, Ганнина, повозка, переваливаясь на невидимом валежнике, въехала в болотную гущу.

Но бог не хотел помогать. Вскоре что-то под телегой хрустнуло, и она осела так, что подружки с криком повскакивали — грязь была под самой грядкой телеги. Вот-вот на сено, на сиденье заползет. А тут еще — кони остановились. Как ни грозился, ни стегал их ременным кнутом возница, как ни напрягались они, ошалело поводя глазами, телега не сдвинулась.

— Эй, что там?! Расселись! — крикнул на подружек Евхим, хохоча. — Прыгайте на землю! Помогайте!

— Сам выпрыгнул бы, такой добрый! — отозвалась Ганна.

— Мне — неможно! Я — молодой!

— От и пособил бы — молодой своей!

Евхим вдруг весело встал, выпрямился:

— Это — правда! Молодой пособить надо!.. Правду сказала!

Он, как стоял, в поддевке, в наваксенных сапогах, спрыгнул в грязь. Увязая почти по пояс, переваливаясь, с разбитной улыбочкой направился к Ганне.

— Молодую надо выручить из беды!

Залез в грязь он, чувствовала Ганна, тоже из форса: пусть, мол, смотрят, видят все, какой он, — и все же поступок этот, смелость его, преданность растрогали, утешили.

За Евхимом влез в грязь Степан и еще двое.

— А ну — взяли! — скомандовал Евхим вознице, товарищам своим. Он попробовал поднять повозку сзади, толкнул вперед. — Взяли! Раз, два!

Ганна увидела близко влюбленный, горячий взгляд его, посмотрела мягко, благодарно. Он делал это ради нее, он и не такое готов был для нее сделать, если понадобится, — так виделось Ганне. Форс его — только для прилику, для других, пустяк.

Повозка выползла из ямы, осела в другую, накренившись так, что, казалось, еще немного — и перевернется, выбралась и из этой, и из третьей; и все время, пока не кончились эти ямы, Евхим шел следом, помогал.

Тащились по гребле долго, хотя до олешиницких хат на низком черном пригорке было, казалось, рукой подать.



Холодная, липкая топь вдоль гати, голая, упылая щетина кустарника словно держали, приковывали к себе, не хотели отпускать, отступали медленно, неохотно.

Когда выбрались на сухое, остановились, соскочили с повозок. Ключьями сена, которое выдергивали из-за грядок, вытирали конские животы и ноги, колеса, чистились сами, приводили себя в порядок.

Евхимовы дружки, кто сам не слишком вывозился в болотной грязи, с хохотом суетились вокруг Евхима: снимали сапоги, выкручивали портянки, обтирали штаны.

— От дак жених! — доносилось оттуда ржание. — Самой Захарихе пара! И та испугалась бы!..

Ганна тоже была озабочена: хотя пересидела в повозке, выкрашенную свитку и паневу осыпало грязью, как дробью...

— Это ж надо, чтоб так развезло! — удивлялась Сорока. — То мороз, то снег, то грязи — по уши! Чуть не утопили души!

В село въехали, как и положено въезжать в село молодым, важно, торжественно. Евхим велел — катить так, чтобы знали наших! Музыканты, которые опять впереди месили грязь лаптями, как только приблизились к первым хатам, дали такого звону, грохоту, что олешиниковцы, кто в чем был, мигом высыпали на улицу, как на пожар. Старые, малые, теснясь у плетней и ворот, разглядывали процессию, переговаривались. Больше всего говорили, должно быть, о ней, и Ганна чувствовала себя неловко, как в Куренях, когда справляли сговор. Опять были в душе стыд, ощущение вины, недобрая, неясная тревога...

Невдалеке за поворотом показался под жестяной крышей поповский дом, за которым, чуть в стороне, на краю поля, забелела стенами, зазеленела куполами окруженная частоколом и голыми березами церковь. Чем ближе подъезжала Ганна обсаженной деревьями улицей к этой церкви, тем тревожней, тяжелей становилось у нее на душе.

Перед церковной оградой коней остановили, и молодые, и все их окружение пошли к церкви по утопанной дорожке. Когда Ганна ступила за ограду, тревогу ее вдруг, как и в тот вечер после помолвки, пронзило жгучее сожаление о том хорошем, дорогом, чего она еще недавно не только не берегла, но и не замечала. И заметила, почувствовала так поздно. Перед тем, как потерять. Взойдя на крыльцо, она невольно приостановилась: так захотелось постоять, подождать, оттянуть то, что должно было сейчас

свершиться, должно было провести черту между нею и всем прошлым, непозабывым еще, дорогим. Так скоро и — навсегда!

Но ни стоять, ни ждать нельзя было. Сзади, по сторонам толпились люди — подружки ее, Евхим, дружки его, Сорока, Прокоп, олешниковцы. Ее, словно щепку вода, несло это людское течение в проем дверей. Прямо перед ней, поблескивая позолотой, багрово светились алтарь, образа, лампы. Ганна увидела мерцание ризы и обратила взгляд на лицо батюшки: старик смотрел в ее сторону, по-казалось, проницательно, строго, словно видел, знал все.

«Что ж это я? Грех же! Грех! Боже мой!..» — Опомни-лась, пришла в себя Ганна и виновато, быстро пошла на-встречу блеску ризы, строгому взгляду.

Теперь вся она была исполнена послушания и покор-ности, той покорности, которая властно охватывала ее здесь с тех давних времен, когда впервые привела ее сюда, маленькую, пугливую, покойница-мать. Послушание, страх, покорность, которые при этом сиянии и таинствен-ности вошли в нее в тот день, так и остались в Ганне на все годы; пусть и не такие сильные, как в детстве, но все же живые, неотступные.

С обычным здесь послушанием делала она все, что надо было, внимательно прислушивалась к каждому слову ры-жего олешниковского старосты и батюшки, — следила без мыслей, как проворная Сорока с Прокопом расстилают сверток полотна на полу, кладут на него два пятака. По знаку рыжего олешниковца покорно стала рядом с Евхи-мом, наступив правой ногой на монету, сняла свое колечко. Батюшка, на лице которого от зыбкого света морщины то почти исчезали, то прорезались кривыми глубокими ка-навками, подал ей зажженную свечу, которая мигала и чадила, и Ганна стояла, словно окаменевшая, пока он перед богом и святыми, мерцающими, следящими отовсю-ду, надевал Евхимово кольцо ей на палец, а ее кольцо — Евхиму. Из всего, что происходило здесь, эта минута по-казалась ей самой важной. Кольцо Евхима, которое она хорошо чувствовала на пальце, было свидетельством ее нового положения.

«От и все. Уже — муж мой, а я — жена его...» — от-четливо промелькнуло в голове. Эта мысль теперь не вы-зывала уже ни тревоги, ни сожаления. Ганна почувство-вала даже странное облегчение. Столько думала, трево-жилась, а оно — вот пришло, совершилось, и все стало на

свое место. Совершилось, как у людей, по-божески, и думать больше не о чем...

С этим облегчением, бездумная, опустошенная, ехала она, тряслась через гать обратно, пока под визг и буханье марша не сошла возле своей хаты, перед которой уже стоял во дворе стол. Когда она проходила рядом с Евхимом сквозь толпу, сжимавшуюся, шевелившуюся вокруг, внезапно увидела Володьку, брата Василя; он смотрел на нее, показалось, недобро, безжалостно. Она на миг остановила на нем пристальный взгляд, поняла, что он просто растерялся, оказавшись впереди всех, оттого и глядит исподлобья, — и в тот же миг почувствовала, как непрошенные, оставленные в церкви сожаление, тревога снова закрались в душу.

Подружки словно поняли это, словно заглушить тревогу ее хотели — запели охотно, громко:

Виходзь, матко, з свячати,  
Пазнай дзіцятку між нами...  
Мы тваё дзіцятко звянчалі...  
А цяпер виходзь, матухно, проціў нас  
Да вітай кубачкам ўсіх нас.  
Да пытай донечку, дзе була...  
У божым доме — не твая,  
Госпаду богу прысягла,  
Яўхіму ручаньку аддала...

Ганна сперва почти не слышала, что пели подружки. Дошло только последнее: «...господу богу присягла, Евхиму рученьку отдала». — Дошло, отозвалось такой печалью, что в горле запершило.

«Евхиму рученьку отдала!»

### 3

Когда молодые с подружками, со сватами, с родственниками втиснулись в дверь хаты, мачеха забежала, запричитала:

— Молодые наши! Женишок наш дорогой! Сваточки, гостечки!.. Садитесь, отведайте, что бог послал, что его милостью назапасили!.. Чтоб посидеть вместе, угостить с такой радости!..

— Садитесь! — тихо сказал и Ганнин отец.

— А что ж — и сядем! — весело объявил Евхим. — Мы — не гордые, можно сказать, для этого и приехали!

Их посадили вместе, Евхима и Ганну, в красном углу. Гости еще долго толпились возле лавок, лезли за столы

друг за другом, рассаживались. Завязывался оживленный, радостный разговор со смехом, чувствовалось, было в хате то настроение, которое обычно приходит перед гульбою, выпивкой, доброй едой. Мачеха, разговорчивая, помолодевшая, ссутулившийся, задумчивый отец пошли с бутылками вдоль столов, начали наливать корцы, стаканы, взятые взаймы аж в Михалеве тонкие рюмки.

— Чтоб счастье молодым было! — сказал Прокоп и грозно поднял корец к черной бороде.

— Чтоб пилось и елось, чтоб было всего, чего хотелось!..

Евхим выпил сразу, перевернул корец, пусть видят — до дна! Ганна же, словно что-то перехватило горло, едва пригубила.

— Все надо! До дна! — первым заметил, крикнул Евхим. Все враз зашумели, поддержали его:

— До дна! Все!

И пришлось послушаться, пересилить себя. Потом вскочила Сорока, как бы пробуя, пригубила чарку, скривилась, как от полыни, стараясь перекричать всех, заявила, что пить не может, потому что горелка горькая, и люди, давясь едой, заверещали, загудели:

— Горькая! Горько-о!

Евхим молодецкато вскочил, привлек Ганну. Она снова увидела перед собой раскрасневшееся, довольное лицо, будто смазанные маслом озорные глаза. На плечо ее легла сильная, уверенная ладонь...

Когда опустилась на лавку, почувствовала, что в голове начинает шуметь. Но закусывать не стала, не хотелось. Усталыми вишнями-глазами поглядывала на гостей и снова не могла избавиться от ощущения, будто видит все во сне. Люди за столами пили, ели, словно изголодались в поле, почему-то почти не говорили, а кричали так, что дрожали стекла.

— Евхимко, зятек мой дороженький, — увивалась возле молодого мачеха. — Пей и закусывай, что бог послал! Не гребуй, Евхимко, коли что такое ненароком... Чем богаты, тем и рады, от души старались... чтоб все хорошо было, чтоб не хуже, чем у других людей... и вы, гостечки, дружина, кумпанья вся, пейте и закусывайте, чего кому хочется!

— А мы и пьем и закусываем! — окидывал взглядом дружицу Евхим. — Мы эту работу любим! Нам абы поболее — такой работы! — Его приятели дружно ржали. —

Только от — молодая что-то не ест, не пьет! — наклонился Евхим к Ганне.

— И так уже в голове шумит, как в дождь, — сказала, оправдываясь, Ганна.

Отец услышал, вступился:

— Неволить не надо! Каждый сам знает, сколько кому выпить! Сколько кто может, нехай столько и пьет. — Он попытался отвести разговор от Ганны, обратился к Евхимовым хлопцам: — Которые могут, нехай пьют, не боятся. Горелка, сказать, не купленная... Грошей не переводил. Сам в кустах нацедил!..

— А едкая, ядри ее! Жгет — хуже огня! Это не то, что хвабричная! — похвалил Ганниного батьку Ларивон.

— А закуска — и того лучше! — поддержала хозяев, помня о своих обязанностях, свашка Маруся. — Такое все смачное, и жаренье, и печенье!

Девчата, женщины дружно закивали головами, стали хвалить еду, мачеху, Ганну, отца — хвалить все, что нравилось и не нравилось. Ганна слушала без удовольствия, знала — хвалят больше потому, что так положено в гостях. Да и чему удивляться: многим не из чего было привередничать — дома картошку с рассолом за счастье почитали...

Люди пьянели, и крик за столом все усиливался. Мачеха уже не поглядывала с беспокойством на столы, на гостей, не прикидывала — хватит или не хватит, — ходила неровно, пила и ела со всеми, подавала, что только было. Ганна видела, как она подходила то к одной, то к другой, приподнимала длинную поневу, показывала подаренные Евхимом сапоги, которые были уже у нее на ногах.

— В самый раз! Как на меня пошиты! — хвалилась она Марусе. — А кожа — пощупай, — просила она и, когда Маруся щупала голенище, говорила, довольная: — Кожа — плотная, выделанная! А подошвы — как железные!.. На весь век хватит! Хоть каждый день носи — не сносишь!..

Но этого было мало, счастье ее должны были видеть все — она вышла на середину хаты.

— Гляньте! Гляньте, какой подарок сделал мне Евхимко! — Она повела глазами, полными счастья и слез, в сторону Евхима: — Зять мой, золотая душа!

Отец взял ее за руку, хотел увести в уголок, подальше от греха, но она не послушалась, отмахнулась от него, повернулась кругом, чтоб видели со всех сторон — что за сапоги!

— От занимала зятка! — Под шум и гомон гостей, раз-

мазывая по лицу счастливые слезы, пошла к Евхиму, обняла: — Озолотил ты тещу свою, Евхимко... Век не забуду... Такие сапоги!

— Носите на здоровье, мамо! — громко и тоже доволь-но сказал Евхим. — А порвете — новые подарю! Носите, не жалейте!..

Он был пьян, но держался еще крепко. Он, кажется, больше всех тех, кто сидел поблизости, и пил, и кричал. Он и тут чувствовал себя самым важным, самым сильным — как бы похвалялся тем, что пить и кричать может без конца...

Когда стали перебраниваться припевками сваты и подружки, Ганна неожиданно снова увидела братика Василя. Он, оказывается, был уже в хате, сидел с Хведькой на припечке и смотрел, и слушал — опять, показалось Ганне, угрюмо, не по-детски серьезно. Он, должно быть, один не смеялся, слушая, как подружки во главе с задиристой, звонкоголосой Марусей подтрунивали, издевались над сватами:

Наш сваток не ўмее ля стала стаяці  
Дай з дружкамі размаўляці.  
Ідзі ў места ды куні сабе мыла,  
Штоб жонка любіла!  
Штоб дзеці пазналі  
Дай бацькам назвалі!

Ганна смотрела на мальчика виновато и нежно, подавляла в себе желание подойти к нему — угостить, погладить по головке, сказать что-нибудь хорошее, ласковое. Как ни туманил голову хмель, помнила — все знают, что было у нее с Василем, и нежность к его братику осудят...

И все же желание подойти к хлопчику не отступало, не хотело слушаться рассудка. Опьяневшей, ей так трудно, просто невозможно было прогнать внезапное искушение. «Подойду — вроде к Хведьке... Скажу что-нибудь Хведьке, а потом — ему... Вроде случайно...»

Она поднялась, постояла немного возле печки, при-слонившись спиной к побеленной стенке. Стоять было не-легко: пол качался, как плот на воде. Теперь пели, под-трунивали над подружками невесты сваты — на нее, Ган-ну, не смотрел никто. Будто ее и не было здесь, будто и не ее свадьба! И правда, может — не ее, сон только... Вздор какой — чего только не померещится сныяну!.. Не сон, не сон — пропивают ее! Не кого другого!.. Пропили уже!.. Но, думая так, она теперь не тревожилась, не жалела ни о чем,

все было безразличным. Хотелось только одного — подойти к Володьке, чудному серьезному хлопчику, которого раньше словно и не замечала.

Она нашла в печке несколько коржиков, взволнованно протянула мальцу:

— На, возьми, отведай!.. — Он не сразу взял, с минуту как бы раздумывал, брать или не брать. — Белые, маримонские! — Ганна не удержалась, ласково провела ладонью по его голове. — Ох ты, беленький мой! — Дала наказ обоим: — Смотрите же, живите хорошо, друженько!..

Едва только сваты и подружки перестали петь, за столами стало очень скучно. Все было съедено, водки не наливали. «Как ни тужились, не хватило!» — прошло в голове у Ганны. Должно быть для того, чтобы не позорить хозяев и не томить людей за столами, догадливые сваты объявили, что пора делить каравай, но вдруг обнаружили, что пропал куда-то отец Ганны.

Мачеха вскоре вернулась, хмурая, злая, засипела тихо Ганне:

— Сором какой! На все село!.. Пьяный, как Митя! — Она почему-то скривилась от плача: — За всю мою ласку! За все! Отблагодарил!

— Где он? — оборвала ее всхлипывания Ганна.

— За погребом... На колоде...

На дворе было сыро, холодно и так темно, что, если бы не тусклый отблеск света из окон, и крыльца бы не разглядела. Ганна постояла немного, чувствуя, как от свежего ветра яснее голова, крепнет тело. Стараясь не поскользнуться, направилась через желтые полосы в темень. Отец, едва заметный, даже не шевельнулся, когда подошла. Будто дремал.

— Тато, вам погано? — склонилась она над Чернушкой.

— А, Гануля! — Отец поискал ее руку, ласково взял в свою. Он огляделся: — А этой, гадюки, нету?

Ганна догадалась, о ком он спрашивает, сказала, успокаивая:

— Нема никого... Шли бы вы, тато, до дому... Ищут там вас. Каравай делить надо...

— Поделят... Успеют... — Он вдруг недобро, с болью хмыкнул, промолвил расслабленно: — Ты помнишь, дочечко, мать-покойницу?

— Ну да! Почему же не помню?.. Идемте, тато. Холодно — простудитесь еще, не дай бог.

— Не дождалась. — Ганна услышала в голосе отца жгучие слезы. — Не увидит, не поплачет...

— Не надо, тато.

— Или я враг дитяти своему, дочечко?

— Не враг, тато. Да не надо растравлять себя. Все хорошо будет...

— Хорошо? — Ганне показалось, что он послушался, успокоился. Но через минуту он загоревал снова. — Ой, дочечко ты моя! Ганулечка!.. Увидела б все покойница!

— Не надо, тато! Все хорошо будет. Это вам только кажется так. Выпили вы трошки лишне...

— Жалко мне тебя — ох как!..

— И я вас жалею, тато. А только не думайте ничего поганого. Все хорошо будет... Разве ж вы не знаете свою Ганну?

— Знаю, знаю, а — только...

— А знаете, дак не бойтесь... И не журитесь, а то и мне тоскливо станет. Чуете?

— Чую. Не буду! — Отец отпустил ее руку. Распрямил плечи.

— Будьте веселый, чтоб и мне весело было. И встаньте. Люди ждут, неладно. Дайте я приберу вас трохи... Идемте...

— Идем, дочечко.

Разговор с отцом опять нагнал на Ганну тоску, но она и виду не показала, что у нее на душе, вошла в хату спокойная, даже веселая, ласково держа отца за руку..

— Нехорошо что-то стало ему, — сказала гостям. — Горелка, видно, не пошла...

Отец сдержал слово: на мачеху глядел мирно, бедный подарок, на который только и наскребли денег — бумажные штаны в полоску, — поднес молодому приветливо, душевно. Кивнул согласно, когда мачеха добавила:

— Чем богаты, Евхимко, тем и рады. Не прогневайся.

— Меня вы и так одарили! Всем подарком — подарок! — Евхим обнял Ганну. Как он, должно быть, и рассчитывал, вокруг послышался смех.

Сорока встала:

— Это дак хвала батьке и мати — от разумного дитяти.

Евхим поклонился пьяно:

— И за это, за штаны, спасибо! Сгодятся!..

Только когда внесли каравай и трое женщин, встав на лавки, принялись снимать с Ганны венок и повязывать



платок, отец снова помрачнел и губы его передернулись печально и виновато. Ганна перехватила его взгляд, весело, с любовью улыбнулась, и он просветлел, словно озаренный ее улыбкой.

Тревожась об отце, она совсем не пожалела, что утратила веночек — знак своей девичьей воли. Но веселья, как ни старалась, хватило все же ненадолго, пока не поделили каравай. Посидели для приличия немного, и Сорока тоном знатока объявила:

— От, попили, погуляли, пора и выходить. Пора уже к другому дому — к суженому, к молодому!

Гости стали вылезать из-за столов быстро, охотно: впереди была и лучшая водка, и закуски вдоволь. Но Ганна не обижалась на них за это, другое подступило, снова вселило в душу сожаление, тревогу: видела, собираются выносить сундук, везти к молодому.

Вот и пришла пора уходить из дому, уходить совсем, навсегда. За старым дубовым сундуком, что остался после матери, пойдет и она, пойдет — и уже не вернется сюда никогда, как в свою хату, в свое пристанище. Другой теперь будет у нее дом, другое пристанище — и другая доля. Все, что было до этого — хорошее и плохое, — здесь останется, в этом таком милом уголке. Нет, плохое тут не останется, плохого тут, кажется, уже не было ничего. Тут было для нее только хорошее... А там — как будет там?

#### 4

Когда ехала по улице, хотя и старалась не смотреть, в темноте краем глаза заметила: на Василевом дворе — тихо, пусто. И хотя не увидела никого, хотя гости радостно, всю горланили, что-то колынуло сердце, как при виде его братика, — виноватое и живое...

Потому всю дорогу почти не слышала, не замечала ничего. Только и запомнилось, как — уже у Корча во дворе, — должно быть торопливо соскочив с телеги, Сорока поскользнулась и упала в грязь, но не растерялась, бодро вскочила, заверещала:

Выходзь, свякрухо губата, —  
Прыехала нявестка багата!..

Свекровь и свекор, которые уже стояли на крыльце, хорошо видимые на свету, что падал из хаты, запели:

— Заходяте... Заходяте... Невесточка моя... Люди все добрые... Под нашу стреху... Заходяте...

Глушачиха присмотрелась к Ганне, по-матерински поцеловала. Тут пьяная, растроганная мачеха прилипла к хозяйке:

— Ой, сватьюшко ты моя! Рыбчико ты моя!..

Едва Ганна в гомоне и шуме ступила в нынешнюю свою обитель, ее чувство вины перед Василием сразу исчезло. Ганна вдруг почувствовала себя удивительно неуверенной, несмелой, ступала с опаской, поглядывала беспокойно, словно боялась неприятной неожиданности. Казалось ей, словно ступила она на кладку, которую неизвестно как перейти...

Все здесь было таким непохожим на ее родной угол: и ровная, фасонистая печь, и деликатные, с хитро вырезанными спинками, крашеные скамьи, и внимательные боги, и холодная картина под стеклом с зелеными горами и желтыми церквями, и странный запах, тепловатый, душный, который пробивался даже сквозь запах жареного. Она уже видела эту комнату несколько раз: приходила заниматься на работу, приносила мешок из-под заемного жита — и каждый раз чувствовала тепловатый этот запах, каждый раз охватывала ее тут робость, угнетало что-то и хотелось поскорей выбраться на улицу, на волю. Может, в этом повинны были только неприятные воспоминания, но и теперь, хотя она входила хозяйкой, робость, стеснение опять непонятно охватили ее.

Ганна заметила, что и другие, из таких же, как и она, что входили в хату, тоже робели, быстро крестились на образа.

— Заходите, заходите, люди добрые, — оживленно сустился, тряс сухой головкой Глушак. — Свиты от тут повесить можно, на крючки. Альбо от на лавку кладите...

— У печки на полати можно, — помогала Глушачиха. — Кладите, кладите...

— И не топчитесь, как в гостях. Туда во, к столам сразу... Заходите, садитесь... Все давно готово уже... Проходите...

— Ага, заходите и садитесь. Где кому лучше, сподобней...

Но люди не проходили, переминались у дверей, возле стены, будто бы ожидали еще какой-то команды или примера какой-нибудь отважной головы.

— Садитесь, пока просят, — выступил вдруг не замеченный сначала в общей суетлоке Дубодед, который

стоял у окна на улицу. Он стоял, раскорячив циркулем тонкие ноги, дробный, горбоносый, в военной гимнастерке. Окинул мутными глазами гостей и, как в президиум, уверенно пошел за стол. Все молча наблюдали за ним: начальство.

— А то, верно, горелка уже усохла, — сразу поддержал его Евхим. — Ну, чего остановились, как все одно в гостях, — захохотал, толкнул он под локоть Ганну.

— И правда ж, будьте все как дома! — запела Глушачиха. — От глядите, как Андрейко, — кивнула она на Криворотого.

— Словом, берите пример с власти! — бросил старый Глушак. — Идите-ка сваток и сватьяшка, до детей своих.

— Овечка к ягнятам, а курочка — к цыплятам, — вставила Сорока.

Мачеха и отец Ганны послушно стали усаживаться за стол, за которым уже пристроились в углу рядом с Криворотым Евхим и Ганна. Проводив их немного, словно под стражей, усадив Сороку и Прокопа, старый Глушак острым коршуньим взглядом глянул на остальных: люди уже не топтались возле дверей, расходились, рассаживались по лавкам.

Ганна сидела в красном углу с той же робостью и настороженностью, которые не проходили, не отступались, сидела, почти не шевелясь, неподвижная и прямая, точно окаменевшая, смотрела перед собой. И так же неподвижно лежали на коленях ее руки. Из-за неловкой, слишком прямой, натянутой позы, от неподвижности чувствовала она в теле усталость, но терпела, держалась так, как, учили ее, надо было держаться в гостях. Здесь, в чужой хате, в державе, где царил строгий Глушак, как-то особенно давала себя знать нерушимая власть обычаев и законов.

Удивительно, какими все тут стали тихими, степенными, не только не кричали, но почти не разговаривали громко, перешептывались, а больше — молчали. Один Дубодел держался свободно — откинувшись на спинку дивана, засунув руки в карманы брюк, рассматривал Ганну таким взглядом, что ей было неловко. Она была рада, когда он отвернулся, поблуждал глазами по лицам гостей.

— А ты, Глушак, не промах! — промолвил Дубодел, не глядя на Евхима. — Девка — с перцем!

— Кто? Моя?.. С перцем — угадал!.. — Ганна услышала смех Евхима. — Глаз у тебя — с одного взгляда заметил.

— Разглядел! Как гляну, так вижу — что к чему!..

Разговор на этом прервался, потому что подошел Евхимов отец с бутылкой, стал наливать водку молодым. Налив Ганне, Глушак намеревался наполнить стакан Дубодела, но тот взялся за бутылку, посмотрел на фабричную наклейку, поморщился:

— Ты что мне, батько, эту городскую? Как все одно антилигенту — уполномоченному какому... — Он чувствовал, что все наблюдают за ним, и уже говорил вроде бы не одному Глушаку: — Ты мне — свойской, куруневского изготовления! Простой мне — как всему народу!..

Дубодел обвел глазами людей, словно ожидал одобрения. За столами шумели сочувственно.

— Нашей ему! «Кустовки» куруневской!

— Свой человек! По-простому!

Дубодел улучил минуту, когда шум унялся, крикнул осторожному Глушаку, который стоял, колеблясь:

— Не бойся! Шабете не передам!

Шутку покрыл хохот. Евхим сказал со смехом:

— Дайте, тато! Не бойтесь! Слыхали ведь — говорит, что не передаст в милицию!

## 5

Еще до того, как Глушак управился налить всем, Дубодел поднялся, расправил гимнастерку под ремнем, важно покашлял в кулак. Евхим крикнул:

— Тихо! Власть хочет говорить!

Хотя сразу стало тихо, Дубодел не спешил говорить.

— Граждане жители села Курени! — заявил он, выдержав надлежащую паузу. — На данном этапе, мы собрались тут у дядьки Глушака и сидим за столом, а также тут сидят молодые, которые вступают тем самым в совместную жизнь, — Евхим Глушак и его невеста, а теперь уже, можно сказать, его законная жена, — хоть они и венчались в церкви, а не регистрировались в сельсовете, как к этому призывает советская власть и большевистская партия всех сознательных аэлементов... На данном этапе советская власть и партия призывают всех селян, которые своим горбом робят на земле, организовываться в кооперативы, а также, которые могут, и в коммуну — чтоб, значит, обобществить все разом: и землю, и коней, и кур, и прочее, как в Вадовичах. А тех, кто еще не вступил и честно робит на своей земле сам, советская власть

и партия призывают так работать и дальше и выплачивать в срок налоги, не ждать, как некоторые, напоминанья и пены...

Изложив эту свою декларацию, которую гости слушали кто с почтительным, а кто с терпеливым вниманием, Дубодел мгновенно перевел дух и вернулся опять к молодым:

— А потому от имени Олешницкого сельсовета Юровичской волости желаю нашим молодым — Глушаку Евихиму и его невесте, а теперь женке Глушак Ганне, чтоб были здоровые и жили дружно и в достатке, как надлежит по советскому закону! — Он хотел еще что-то сказать, но мысль, видно, ускользнула, и он вдруг крикнул: — Одним словом — горько!

За столами охотно закричали следом за ним, и Ганна шевельнулась, послушно встала.

— Чтоб жилось и чтоб велось, — не преминула вставить Сорока.

Старому Глушаку и речь, в которой были неприятные, особенно в такой день, напоминания про налог да комму, и то, что чужой человек вклинился, поломал законный порядок за столом, оттолкнул его, хозяина, в сторону, все вместе — не понравилось, но он заставил себя смолчать и даже видом не показать неудовольствия. Черт с ним, с Криворотым этим: какой он ни есть, а все-таки власть. Рассудив так, Глушак даже подошел к углу, где сидел Дубодел, похвалил:

— Разумный ты человек, Андрейка! Как сказал, аж заслушаться можно! Калинин чисто!

— Калинин далёко, а он — близко, наш! — откликнулась Сорока, потянувшись с чаркой к Дубоделу.

— Калинин хоть далёко, да — голова. Над всем народом — голова! Всесоюзный староста!

— И ты, Андрейко, голова!

— Всем головам голова!

Дубодел не стал спорить: мутным, важным взглядом прошел по лицам гостей, задержался на Ганне. Глушак подлил ему в стакан и сказал, обращаясь ко всем:

— Тут сидит в гостях наша советская власть. Андрейко, товарищ Дубодел — наш олешницкий Калинин... Дак чтоб он был живой и здоровый!

Глушак уже поднес к губам стакан, уже гости зашумели: «Чтоб был живой и здоровый!» — как вдруг Дубодел вскочил и крикнул:

— Нехай живе смычка города с селом!

Под гул и крики одобрения он влил в себя полный стакан самогонки, поставил его донышком вверх, словно показывая, как надо пить за такое великое дело — до капельки. Дубодел не поморщился, не сразу стал закусывать, обратил на Ганну довольный, горделивый взгляд...

Он был нетрезв, еще садясь за стол, а теперь, замечала Ганна, хмель разбирал его больше и больше, и его пьяные взгляды вызывали у нее отвращение. Ей и так было здесь не свободно, не легко, а эти взгляды усиливали неловкость. Хорошо еще, что хоть сидел он не рядом, за Евхимом...

Но вскоре Дубодел с пьяной откровенностью сказал Евхиму, чтобы Ганна села между ними.

— Не одному тебе сидеть с ней!..

— А мне что? Нехай и возле тебя посидит! — Евхим захохотал. — Я не ревнивый! — Он велел Ганне: — Пересядь сюда!

Ганна не сразу послушалась. Думала сначала, что не будет заставлять, обернет все в шутку, но он молчал, и в молчании его чувствовалось упрямство, злость на ее непослушание. Он не собирался отменять приказание, ждал, и она пересела. Что ж, не в своем дому, не вольная воля.

— Почему не хотела пересаживаться?

— А вам это так важно знать?

— Вы, бабы, любите, чтоб мужчина красивый был?

— А вы не любите красивых женщин?

— А того не знаете, что искалечило меня так за советскую власть. Поляк саблей ударил под городом Барановичи. Ясно?

— Человек кровь проливал за советскую власть!

— Правильно, Глушак!

Дубодел потянулся к Евхиму, самодовольно, крепко ляпнул его, — Ганна, насколько могла, отстранилась от плеча, которое уткнулось ей в грудь. Едва смолчала.

Старый Глушак подлил водки, и Евхим с Дубоделом чокнулись. Тут председатель повернулся со стаканом к Ганне, заставил и ее взять чарку.

— Надо пить! — Он заметил, что Ганна ставит чарку почти нетронутую.

— Я выпила, сколько хотела...

— Всю надо!

— А коли я — не хочу?

— Все одно. Гостя уважить надо... — не отставал Дубодел.

— Всех не уважишь. Гостей вон сколько, а я одна..

— И он один,— заупрямился Евхим.— Он такой один — герой и начальство.

— Ну, может, и один. Дак нехай и пьет себе один.

— А я не хочу пить сам с собою!

— Дак выпейте с теткой Сорокой! Она будет рада!

— А он хочет с тобою!— загорячился еще больше Евхим.

— Тогда — коли ему так хочется — нехай потерпит. До другого разу.

— А он теперь желает!— наседали Евхим, приходя в бешенство от ее упрямой непокорности.

За столами все притихли. Как не были пьяны, почувствовали — нашла коса на камень. Еще не справили свадьбу, а уже сцепились, так сцепились, что, видно, и один не уступит, и другая не поддастся. Гляди, как сбычился Евхим,— ему и трезвому слова поперек не скажи, а теперь пьяный, что твоя рысь. И она — белая-белая, только глаза огнем горят!

— Выпей!— просипел Евхим.

— Не буду!— твердо сказала она. По тому, как сказала, чувствовалось, что ни перед чем и ни перед кем слову своему не изменит.

Дубодел сам попытался утихомирить Евхима:

— Не хочет, ну и нехай!.. Выпьем вдвоем!— Он сунулся со стаканом к Евхиму, но тот отстранил его руку.

— И она выпьет!

— Не буду!

Ганна внезапно вскочила, бросилась из-за стола. Сразу поднялась суматоха. Одни окружили Ганну, которая рвалась из хаты, утешали, успокаивали, другие держали, уговаривали Евхима.

— Воли богато берет!— кричал Евхим.— Слушать ничего не хочет! Подумаешь, паненка!

— Не буду я тут! Не хочу!— не слушала уговоров женщины Ганна.— До дому пойду! До дому! Пустите! До дому!.. До дому!..

— Тихо ты, тихо, Ганночко!— ласково говорила мачеха.— Пьяный он, пьяный. Выпил, ну, хмель в голову и ударил, замутил. Пьяный человек чего только не наговорит!.. Выпил, сама же видишь...

— Протрезвится — сам не рад будет,— помогала ей свекровь.

— До дому! До дому! Тато, идемте до дому!

— Тише ты, тише, Ганночко! Успокойся! Не вбивай себе в голову, чего не надо!.. Все будет хорошо! Хорошо будет, поверь!

Мачеха глянула на Ганниного отца, который стоял рядом, в любую минуту готовый помочь дочке.

— Отойди, без тебя разберемся!.. Успокойся, Ганночко. Все хорошо будет!..

— Не хочу тут оставаться! До дому хочу!

— На от выпей воды холодной! Или, может, в сенцы пойдем, остынешь! Пойдем, Ганночко, рыбка!

Когда уводили Ганну в сени, мачеха успокоила:

— Еще не такое будет. Всякое увидишь, поживши!

Молодых успокоили, примирили, усадили опять вместе, и остаток вечера догуляли, как надобно, по «зако-ну». Только когда гости разошлись и молодые остались одни на притихшей чистой половине, перед широкой, купленной к свадьбе в Юровичах железной кроватью, Евхим припомнил ссору, но беззлобно, сговорчиво:

— Забывать бы надо, что ничья была. Моя теперь, и слушать должна бы. Не позорить.

— Помнишь, что я тебе один раз сказала? — промолвила Ганна тихо: ей казалось, что за стеной прислушиваются старые Глушаки. — Что со мной надо — чтоб по-хорошему!

— По-хорошему, по-хорошему! Ну и цаца же ты! Будто бог знает где росла!

— Где ни росла, а такая выросла. Уродилась такая. И другой не буду!

— Деревья с годами меняются, не то что люди. Речка вон какие олешины выворачивает!..

— Ты не речка, а я не олешина. Помни — хоть и женка я, не своей волей жить должна, а только — чтоб по-хорошему со мной!

Евхим посмотрел на нее: вот же, скажи ты, упрямая, еще только вошла, а уже командует, — но спорить не стал, заставил себя засмеяться:

— Хватит уже разговоров этих! И так голова трещит! Ложиться, может, уже пора?

В ту ночь, первую ночь замужества, Ганна долго не могла заснуть. Отодвинувшись от Евхима, отвернувшись, стараясь не слышать, как он храпит, лежала она, опустошенная, усталая, отупевшая от переживаний, от недавнего гомона, от самогонного дурмана. Лежала в душной темно-



те, казалось, забытая всеми, покинутая, одна-одинешенька на целом свете.

«От и все», — как бы прорываясь сквозь туман, думала она с такой тоской, словно наступил конец света. «Все, все, все», — говорили, повторяли ей без конца ходики на стене. «Что — все?» — теряла, силилась она вновь уловить смысл этого «все» и часто не могла найти, вернуть хоть какую-то ясность голове, наполнявшейся тяжелым, недобрым туманом.

«Все одно. Рано или поздно... Никого не минует... Привыкну как-нибудь... Все привыкают, и я — тоже...» — прорывались иногда в голове тяжкие, тягучие мысли, потом все снова исчезало в тумане и отупении.

Во дворе то один, то другой, то оба вместе звенели цепью, лаяли, выли псы. Один — басовито, солидно, второй — по-детски пискляво, но так злобно, аж захлебывался. Ночные сторожа не спали, стерегли Глушаково добро, их лай сплетался с храпом рядом, с храпом за стеной, с размеренным тиканьем ходиков — звуками, которые все время напоминали, что она в чужом доме, в чужой жизни. «Привыкну, привыкну. Все привыкают, и я — как все...»

На третий день, когда свадебная суета улеглась, свекровь разбудила ее на заре и сказала:

— Ну от, погостевали, погуляли. Хватит вылеживаться. Надо свиней кормить!

Ганна слова не сказала, вскочила, стала быстро одеваться.

В конце этой недели куреневцы и олешниковцы, которые мостили гать, наконец встретились. Ровная, серая, а там, где только что закончили, желтая от свежего песочка, шла она среди топи, меж оголенного кустарника от низкого куреневского берега до широкого откоса перед Олешниками, как добрый знак человеческой силы. Она уже нигде не прерывалась рыжей болотной тиной, тина мокла только по сторонам — отступила перед греблей, перед человеческим желанием.

Мужики из обеих деревень, сойдясь, удовлетворенно покурили, потолковали, разошлись, каждый своей дорогой. Через день, в воскресенье, на откосе перед Олешниками, собрались на митинг. Народу стеклось столько, сколько не всегда бывало и на юровичской площади в базарный день. Пришли не только из Куреней и Олешников, но многие и из Глиниц, и из Мокути, и из других сел. Из Юрович на

тачанке приехали на праздник Апейка и двое рабочих.

В толпе там и тут пламенели весело знамена. Играли две гармони, басовито громыхал большой бубен. Люди шумели, пели, шутили — людям было весело. В этой толпе, может, одного Василя точила тоска; расшевеленный общим весельем, словно сам не свой сновал он среди людей, невольно ожидая увидеть Ганну. Непонятное чувство томило — и вроде хотел увидеть, и не хотел, злился, трусил. Знал, что с ней покончено, а душа все тревожилась, будто надеялась еще на что-то.

Вместо Ганны увидел Евхима. Лучше бы не приходил сюда Василь. Сердце больно заныло, когда увидел Корча: стоял Евхим с Ларивоном веселый, хохотал, весь аж светился счастьем. Даже лихо заломленный черный лакированный козырек счастливо сиял. В таком настроении Василь плохо слышал, что говорил Дубодел, который первым взобрался на телегу, служившую трибуной. Начал слушать только тогда, когда с телеги стал выступать Апейка.

— Дядьки и тетки! Хлопцы и девки! Дорогие наши товарищи! Мы все сегодня собрались тут, возле гребли, как на праздник. И правда — разве ж не праздник: от лежит она, ровная, сухая, новая гребля; в дождь, в слякоть, зимой и весной — езжайте по ней на телегах, идите пешком... Идите — не будете не то что тонуть по пояс, а и ног не замочите... Не только мужчина, дитё может перейти болото теперь в любую пору!.. Можно ходить в школу, можно ездить на ярмарку, можно в гости — друг к другу, абы захотелось!.. Большая радость — гребля! И все мы, вся волость, радуемся с вами и поздравляем вас! — Апейка переждал гул одобрения. — Гать эта связывает Курени, которые по полгода, можно сказать, были отрезаны от других сел, с Олешниками, с Юровичами, со всем миром. Теперь Курени будут всегда, как бы сказать, в общей нашей семье... Но и для Олешников гать не лишь бы что, я уж не говорю, что теперь дорога в лес, на сенокосы стала для них короче! — Люди, олешниковцы, снова загомонили одобрительно. — Гать эта связывает воедино села, луга, сенокосы. Связывает людей с людьми! По таким гатям пойдет в наши болота, в нашу темень свет, новая жизнь! Культаура и достаток!.. Книжка, кино и тракторы!..

Рабочий, что выступал после Апейки, сказал всего несколько слов, потом развернул красное полотнище, на котором были нарисованы с одного края — желтое поле

и желтый трактор, а с другого — желтая труба с дымом. Между трубой и полем соединились в крепком пожатии две руки. Рабочий передал знамя Дубоделу, по сигналу которого гармоники возле телеги под тяжелое буханье бубна заиграли «Интернационал».

Последним, от Куреней, взобрался на телегу Миканор. Он сказал, что бедность и темнота покрывают жизнь в Куренях, затягивают, как ряска болото. Ряска всегда цепляется за болото, за воду, которая не двигается, стоит. Чтоб разогнать ряску, надо расшевелить жизнь! И гать — это первый «глазок», первый проблеск в море вековой тины! Надо, не щадя ничего, без страха, не давать покоя болоту, расшевелить затхлую жизнь — и темнота, и тина навсегда исчезнут. Будет одна чистая, светлая вода, светлая жизнь.

Миканор произнес последние слова особенно горячо, во весь голос, и тем испортил свою речь. Хотя было видно, что он еще не кончил говорить, музыканты дружно грянули марш — волей-неволей пришлось слезать с телеги...

Когда возвращались назад, уже в самом конце гати Василь опять увидел Миканора. С Миканором был Хоня. Василь нагнал их, зашагал рядом. Долго шли молча, погруженные каждый в свои мысли. Кружились белые снежные мотыльки, мягко прикасались к лицу, таяли. Таяли под ногами людей — вся дорога была пестрой от человеческих следов.

Неподалеку от цагельни Василь не удержался, невольно пробежал глазами по Глушаковой полосе. Защемило в груди: ожила, как незажившая рана, тревожная ночь, надежды ее и страхи, как бы вновь ощутил под ногами темную мякоть свежей борозды. Вот то место, где налетел на него Корч, где сцепились, покатались. Где угрожал ему человек из волости... Угроза его пока так и осталась угрозой, а только кончилось все в пользу Корча...

Как нарочно, все напоминало Василию в этот день о неудачах, обидах.

— Греблю от провели! — промолвил Василь с упреком. — А Корч как сидел на добре, на лучшей земле, так и сидит!

— Далась она тебе, эта его земля! — отозвался Хоня.

— Расселся, как репа, на доброй земле — и хоть бы хны! И землеустройство ему нипочем! И не зацепи его! Советская власть сама за него!

Советская власть тут не виновата! — сказал Миканор.

— А не согнали ж!

— Согнали б, если б ты не влез!..

— Я — виноват! Нашли виноватого!

— Виноват! Этот Зубрич из волости, когда заикнулись отобрать полосу у Глушака, сразу врезал: преступление — поощрять беспорядок, разбой! Надо учить уважать советский закон! И оставили Глушаку, как было!..

Миканор добавил в раздумье:

— Все одно — если б и отобрали у Глушака и отдали кому другому — мало кто радовался бы. Обиды было б все одно богато. Всех не накормишь одним куском этим, не секрет. От чтоб к болоту приступить, да осушить, да поделить!..

— Э-э, слухать нечего! Абы почесать язык!

— Это только для нас диво! Болото целое! Подумать — и то страшно! Нам все — страшно! Все — выдумка!.. Ничего — придет время!

Неподалеку уже виднелись припорошенные снежком, вроде бы не такие унылые, как обычно, курулевские стрехи.

— Ты б от Ганну лучше держал при себе! — поддел Хоня. — Такую девку упустил!

— Упустил — не упустил, что с того? Зачем мне было держать ее?..

— Как это — зачем?

— А так — сам голый! Да еще голую посадить на шею!..

— Эта, не секрет, на шее не сидела бы! — сказал Миканор. — От девка — что красой, что руками, первая, ей-богу, на всю волость! Меня аж зависть брала, что она с тобою! Упустил!

— Упустил! — Василь вдруг вскипел. — Ну, упустил! Вам-то что!

Миканор растерялся: впервые почувствовал такую тоску, такую боль в этом молчаливом, недоверчивом хлопце. Чтобы утешить, успокоить немного Василья, сказал виновато:

— Ничего, может, еще и не все кончилось! В жизни, не секрет, всяко бывает.

Василь не ответил.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Серафим Андреюк. Его главная книга . . .</i>	5
---	---

### ЛЮДИ НА БОЛОТЕ

*Перевод Н. Кислика*

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая . . . . .	15
Глава вторая . . . . .	34
Глава третья . . . . .	59
Глава четвертая . . . . .	68
Глава пятая . . . . .	102

#### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая . . . . .	123
Глава вторая . . . . .	153
Глава третья . . . . .	185
Глава четвертая . . . . .	207
Глава пятая . . . . .	236

#### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая . . . . .	251
Глава вторая . . . . .	280
Глава третья . . . . .	313
Глава четвертая . . . . .	339
Глава пятая . . . . .	353

Мележ И.

М 47 Люди на болоте: Роман/[Пер. с белорус.  
Н. Кислика.; Вступ. ст. С. Андреюка].— Мн.:  
Маст. літ., 1987.— 383 с.— (Б-ка сов. романа).

Народный писатель БССР Иван Мележ (1921—1976) в своем романе «Люди на болоте» глубоко и правдиво показал важный поворот в жизни села — начало коренного социального переустройства в затерянной среди болот и лесов деревушке Курени. Быт полесской деревни в первые годы Советской власти, природа, образы людей из народа выписаны Мележем основательно и вместе с тем поэтично и мудро.

Роман «Люди на болоте» — первая книга «Полесской хроники» в 1972 году был удостоен Ленинской премии.

М 4702120200—114 152—87  
М 302(03)—87

ББК 84Бел7



Библиотека советского романа

*Иван Павлович Мележ*  
ЛЮДИ НА БОЛОТЕ

Р о м а н

Редактор Т. А. Зарицкая. Художник Б. Г. Лалыко. Художественный редактор А. И. Царев. Технический редактор Г. П. Тарасевич. Корректор Л. П. Белова.

ИБ № 2598

Сдано в набор 09.10.86. Подп. к печати 01.07.87. Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Высокая печать с ФПФ. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,37. Уч.-изд. л. 22,50. Тираж 90 000 экз. Зак. 2885. Цена 1 р. 70 к.

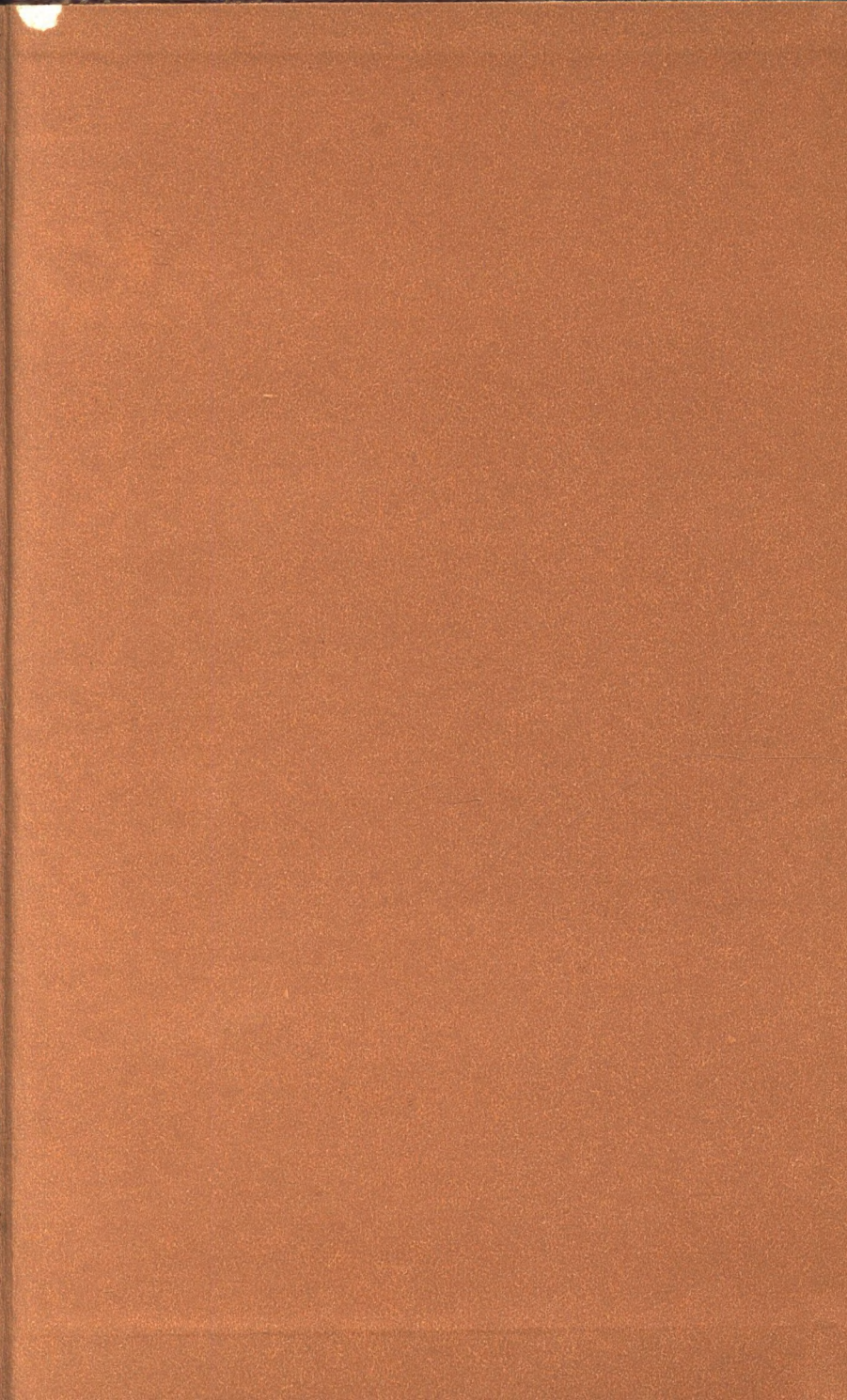
Издательство «Мастацкая літаратура» Государственного комитета БССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 220600, Минск, проспект Машерова, 11

Минский орденa Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МНПО им. Я. Коласа. 220005, Минск, Красная, 23.















# THE MIDLAND LIBRARY

THE MIDLAND LIBRARY